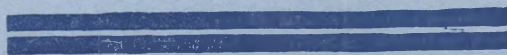


Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1970

7



1970

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVI

№ 7

Июль, 1970 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — <i>Далеко до океана</i> , поэма. Авторизованный перевод с белорусского Н. Кислика	3
ВАСИЛИЙ ШУКШИН — Рассказы	42
И. ИСАКОВ — <i>Каспий, 1920 год</i> . Из дневника командира «Деятельного»	74
ГЕЙНЦ КЮППЕР — <i>Молоко и мед</i> , роман. Перевела с немецкого Л. Черная	146

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. БЕРДЫШЕВ — <i>Мои друзья — колхозники</i> (Из записок председателя колхоза)	198
--------------------------------------------------------------------------------	-----

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

К. РЕХО — <i>Работы Ленина в Японии</i>	229
-----------------------------------------	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А БОЧАРОВ — <i>Проверено войной</i>	232
-------------------------------------	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	253
Н. Атаров. <i>Лиманские страницы</i> — В. Швейцер. «Я пишу, как дышу.» — В. Гурьев. <i>Плата за страх и победа над страхом</i> — И. Борисова. <i>Опыт одной судьбы.</i>	
<i>Политика и наука</i>	269
С. Плоткин. <i>Наука сегодня.</i> — В. Бочков. <i>Личность в истории и личность историка.</i> — С. Троицкий. <i>В творческой лаборатории А. С. Пушкина.</i>	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — Ф. Левин. — Н. Москвин. Конец старой школы. ◆ В. Мальт. — И. Крамов. Утренний зетер. ◆ Ю. Айхенвальд. — Вл. Муравьев. Первые песни. ◆ Л. Долгополов. — Д. Максимов. Брюсов. Поэзия и позиция. ◆ С. Григорьева. — Майя Ганина. Записки о пограничниках. ◆ Б. Розен — Р. Баландин. Планета обретает разум. Биосфера — техносфера. ◆ О. Овсянников. — М. И. Белов, Мангазей. ◆ Е. Третьяков. — Ж. Делаборд и Х. Лоофс. На краю земли (Огненная Земля и Патагония)	278
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285
«НОВЫЙ МИР» В 1971 ГОДУ	287

---





Прадедов труды  
С кровелькой тесовою,  
С дверкой — для воды,  
Чтобы вниз текла она,  
Покидая лог,  
Словно свет, что из окна,  
След, что за порог...

Хату, о которой я  
Память берегу,  
Я с самой историей  
Сравнивать могу,  
С малою державою,  
Где непрочный строй,  
Где — за краткой славою —  
Крах — не за горой.

---

Хата эта ставилась  
Перед гой войной.  
Только тем и славилась,  
Что была — корчмой.  
С гонтом над державою —  
Звездами в щелях,—  
С половиной правою  
Окнами на шлях.  
С левою неяркою —  
Не жил в ней корчмарь.  
Там мужик за чаркою  
Пел и плакал встарь...  
Сенцы посередочке  
С кухней — для шинка...  
Загубила водочка  
Мелкого царька,  
Уходила хилого...  
Дом с поминок хмур.  
Вскоре откупил его  
Мастер-винокур.  
А его —  
из всех гостей —  
Поп не забывал:  
Трижды здесь крестил детей,  
Дважды отпевал.

Скоро революция  
Тишину села  
Грозною, ревучею  
Лавой залила.  
Горем заклеянные  
Миром поднялись,  
Разнесли казенную  
Винокурню вдрызг.  
Так порой кипучею  
Вышло наконец,  
Что на хату купчую

Приобрел отец.  
 Мастер взял недорого,  
 Ставши не у дел,—  
 Сам он был из города...

А земли надел —  
 Латка, что бесплодную  
 При корчме была,  
 Как земля народная —  
 Даром отошла.

Старый строй пошел на слом,  
 Новый завели  
 В доме шкрабы — мать с отцом —  
 При клочке земли —  
 С баней, садом, грядками,  
 Книжками, тетрадками,  
 С новыми порядками  
 Трудовой семьи.

Новых, с новой справою  
 Принял дом людей,  
 С половиной правою,  
 С левой, что темней.  
 С правой, светлой, чистою,—  
 В этой жил отец.  
 С левой —

ночью мгlistою  
 Там чадил светец.  
 Там с лучиной жалкою  
 Дружба круглый год,  
 С верной самопрялкою,  
 Черной от забот,  
 Что гудит, журчит в тиши  
 Под напевы вьюг...

Матери-учительши  
 Прялка — первый друг.  
 Зимними неделями  
 Выпрядала там  
 Бороду кудельную  
 Мать на нитки нам.  
 Громыхая кроснами,  
 Ткала дотемна  
 Из тех ниток веснами  
 Стежки полотна.  
 Из беленных досиня  
 Стежек тех льняных  
 Нам рубахи к осени  
 Шила, чтобы в них  
 В сумерки метельные  
 Жадно — через год —  
 Бороде кудельной мы  
 Вновь глядели в рот.

Осенью полынною,  
 Долгой ночью, днем

Пахло там овинами,  
Током и гумном.

Там, вставая раненько,  
Мать в свободный день  
Молотила пральником  
Жито и ячмень.

Задожит над пущами —  
И другой урок  
Предстоит — вылушивать  
Боб, фасоль, горох.

Половицы битые —  
За доской доска —  
Там нуждой сосчитаны —  
Стонами валька.

Там и в ночь бессонную  
Чудилось средь тьмы  
Горе, затаенное  
По углам корчмы.

Печка — жарким сполохом,  
Ветер — под стрехой,  
Колыбель — под пологом,  
Крест — над головой.  
Песня самопряльная  
На краю села...  
Хата моя дальная,  
Ты такой была!

---

Правой половиною  
Ведал батька мой,  
Чистою — с гостиною —  
Стороной жилой,  
С тихой боковушкою —  
Ночевали там, —  
С грубкой, с кладовушкою  
Для оконных рам.  
Стены штукатурены  
Старым корчмарем,  
Кровля не закурена,  
Лампа над столом.  
Граммфон, что Ленского  
Пел, трубу задрал,  
Привозные, венские  
Стулья, книжный шкаф —  
Всё наследье скромное,  
Старый скарб жилья,  
Как и стены темные  
Там, где мать жила,  
Где лучина ночками  
Жаркою смолой  
Плакала над ночвами,  
Полными водой.  
Могут шпульки, прядево



И без лампы жить.  
 Лампа — чтоб тетрадами  
 Зренья не слепить.  
 Стоит свет не дешево,  
 Лампа — лишний рот,  
 Керосину тоже ведь  
 Нынче недород.  
 И торопит строчечной  
 Тропкою перо  
 Ленин, озабоченный  
 Планом ГОЭЛРО.

Не везут из города  
 Керосин и соль.  
 На Поволжье голодно,  
 На Полесье голь.  
 Детвора бездомная  
 Бродит... Выжить как  
 Без угла укромного? —  
 Рассуждала так  
 Мать. — Имеешь с хатюю  
 Все ж и хлеба кус,  
 А с двойной зарплатою —  
 Мыла лишний брус.  
 Как с бесхлебной думою  
 Сеять, что ни год,  
 Вечное, разумное?

Только огород,  
 Сад, хозяйство частное —  
 Это ж, наконец,  
 Не занятия классные! —  
 Полагал отец. —  
 Зимами суровыми  
 Думай про косьбу,  
 Про муку с половиною,  
 Про коня в хлеву.  
 В эти дни голодные  
 Как насытишь ты  
 Алчные, несчетные  
 Старой хаты рты:  
 Жадный жернов — гречкою,  
 Пчел весной — сытой.  
 А кормушки — сечкою,  
 Ночвы — лебедой?..  
 Дай квашне — ведь просит же! —  
 Теста и овчин,  
 Для зимы и осени  
 Нашепай лучин.  
 А для ступы — просо сей,  
 Грейд дровами печь,  
 Кашею березовой  
 Баню обеспечить.  
 Справною одежиной  
 Каждого снабди...

---

Сени, как положено,  
С кухней — посреди.  
В кухне той — с лежанкою  
Теплой для детей —  
Скатерть-самобранка есть  
С миской постных щей.  
На харчи скромные  
Рта не разевай:  
Жигница-го скромная —  
Могилевский край!  
Ранним утром — драники,  
«Бабка» — на обед.  
С кличкою «бульбяники»  
Шли мы в белый свет.  
Лапти, свитки бедные —  
Все они от нас  
На добытки хлебные  
Ездили в Донбасс.

Хорошо б отправиться  
В путь и нам с сестрой.  
Слышно, месяц славится  
Белою мукой.  
Из окошка б вылезти  
Тихо и — в поход,  
Когда месяц выблеснет,  
Когда дом заснет.  
Звездами отборными  
Блещет синева.  
Месяц над просторами —  
Не один, а два.  
Первый, что качается  
Над землею, — мой,  
А сестрин купается  
В заводи речной.  
Он через криничные  
Луки, бережком  
На блинцы пшеничные  
Поведет в свой дом.  
Рядом речка светится,  
Недалечко мост...  
А от них до месяца  
Сколько будет верст?

## II

### В ГОЛОДНЫЙ ГОД

Не судить, кто прав, не прав,  
Нам огца и мать.  
Чей тут был виною нрав,  
Нынче — не понять.  
Наш отец говаривал:  
Я не так, мол, глуп,  
Чтоб за миску варева

Рвать работой пуп.  
 Как все люди, горе мы  
 Одолеем, мать!  
 Сын и дочь не хворые  
 Постное хлебать.  
 Ну, а мать встревожена:  
 Близится беда!  
 Так насадка коршуна  
 Чуёт у гнезда.  
 Как спасти птенцов своих,  
 Накормить ребят?  
 Мы не знали, кто из них  
 Прав, кто виноват.

Слышали, что ссорятся,  
 Видели не раз,  
 А потом затворятся  
 От себя, от нас.  
 И копать нет нужды,  
 Чей там был почин,—  
 Для раздора у беды  
 Тысячи причин.

...Кухонька. Родители  
 С нами в ранний час...  
 Их развел, мы слышали,  
 Суд.

А как же нас?  
 Нам судейским языком  
 Батя объяснил,  
 Что меня с сестрой ни в чем  
 Суд не утеснил.  
 Что имеем все права  
 На отца и мать.  
 Только мы его слова  
 Не могли понять.  
 Втолковать доходчивей  
 Попыталась тут  
 Мама сыну с дочерью  
 Про развод и суд:  
 — Заживем по-новому,  
 Те же все, свои,  
 Всё под тем же кровом мы,  
 Хоть и две семьи.  
 Вдвое будем мы иметь  
 Всякого добра:  
 Бульбы — погреб, жита — клеть...  
 Будет для двора  
 Поле нам удвоено —  
 То-то благодать! —  
 Будет нам позволено  
 Двух коров держать.  
 И река молочная  
 С маслом пополам  
 Потечет,— пророчила

Наша мама нам.  
Тень лежит у глаз ее.  
Ждет. А я молчу.  
И взамен согласия  
Дочка:  
— Не хочу!  
Не хочу такого я  
Масла, молока,  
Не хочу двойного я  
Хлеба — ни куска.

Слезы градом брызнули,  
Пролились на стол.  
Так развод не признан был...  
Батя смотрит в пол  
И, обеспокоенный,  
Вылетел во двор.  
После за собою он  
Двери — на запор  
В половину правую.  
Мама — в угол свой.  
Занялась, исправная,  
Делом — молотью  
В хате раным-раненько.  
И стонал весь день  
Под тяжелым пральником  
Маминым ячмень.

Ночь... Развел родителей  
По углам корчмы  
Суд... А в той обители  
Посредине — мы.

---

Мать сулила правильно:  
Для двойной семьи  
С полгектара дали нам  
Полосу земли.  
Это — не под окнами  
Огород и двор —  
Хата одинокая  
Вышла на простор,  
Где ветрами веяло,  
Где участок свой  
Шагом перемеряла,  
Плугом, бороной,  
Тачкой, чтобы вывалить  
Камни у межи,  
Горстью, чтобы нивою  
Стали зерна ржи.

Выходила пóутру  
Сеять рожь севня,  
Подхватила под руку  
Мать, отца, меня.

Три шага оставила  
Для меньшей сестры,  
Чтоб и та добавила  
В почву горсти гри.  
Горсть за горстью отданы  
Нами зерна все.  
И пробилась всходами  
Рожь на полосе.  
Встала в поле сызнова  
Ратников стена,  
Снова хату вызвала  
На войну она.

Две жнеи на полосу  
Выводили рать  
Пленных — колос к колосу —  
Накрепко вязать.  
Северная с полночи,  
Холод затая,  
Южная на помощь ей  
С полудня — жнея.  
Руки одубевшие  
В стужу у одной,  
У другой вспотевшие  
В нестерпимый зной.  
За одну — голые  
Мокрые леса,  
За другой — веселая  
Света полоса.  
У одной — курлы-курлы! —  
Журавлиный клин,  
И стоят снопы, круглы,  
В сетке паутин.  
У другой — куга-куга! —  
Жизни вечный крик:  
Вновь дитя заплакало,  
Не уснет на миг,  
По-над колкой пожнею  
Облака низки,  
Наклонились позднею  
Горсткой колоски.  
И сошлись путиною  
Этой серп с серпом,  
Просинь — с паутиною,  
Солнце — с тусклым днем.  
Встретились и сбросили  
С плеч свои дары  
Жницы — лето с осенью —  
Две родных сестры.

Дарит лето осени  
Грузный скрип колес,  
Чтоб жила без слез она,  
Чтоб везла свой воз,  
Как хозяйка новая...

Повстречались днем  
Желтый лист — с дубровою,  
Желтый сноп — с гумном,  
С озерками, реками —  
Лен и конопля,  
Урожай — с сусеками,  
С бороной — земля,  
Сеятель — с наградою,  
С семенем — севня,  
Хлеб горячий — с хатою,  
С песнями — семья.

---

Песни граммофонные  
Снова в поздний час  
Под трубой зеленою  
Собирали нас,  
Как напоминание  
Вечеров былых,  
Где — порой недавно —  
Напевала их  
Мама нам — за пяльцами  
Или за шитьем, —  
Точно как у Вяльцевой,  
Тонким голоском.  
Граммфон задерганный  
Уставал хрипеть,  
Тут-то всей четверкой мы  
Принимались петь.  
Запевали слаженно  
О пловцах речных  
С вечною, бродяжною,  
Горькой долей их.  
Как у солнца с просинью,  
У листвы с травой,  
Как у лета с осенью,  
И у песен свой —  
У веселых, жалобных —  
Есть круговорот...

Пела, забывала в них  
Хата про развод.

### III

#### ОГОНЬ

С первой зимней стужицей  
В поле, у реки  
Желтым роем кружатся  
Листья-мотыльки.  
Вьются неприкаянно  
Посланцы берез,  
Крылья обжигает им  
Ветер да мороз,

Сивер карой жгучею  
 Угрожает им,  
 Замечает гучею —  
 Веником седым.  
 Чайка отправляется  
 За море — в отлет.  
 Для земли кончается  
 Круг — прошедший год.  
 Новый начинается  
 Кругооборот.

Санная, неспешная  
 Колея видна,  
 А уже тележная  
 Смена ей нужна.  
 Вместе с завирухою  
 Снежной за селом  
 Вольным громом бухает  
 Гулкий ледолом.  
 Холод с места стронется,  
 Поплывет, и вдруг  
 Небеса раскроются,  
 Вздогнут лог и луг.  
 Шуганет перунами  
 Туча с высоты,  
 В ноги лету юному  
 Выстелит цветы.  
 А когда уляжется,  
 Отгремит Илья,  
 Нива станет пажитью,  
 Пашней вновь — стерня.  
 Разгулявшись по полю,  
 Словно год назад,  
 Снова с темной опалью  
 Белый снегопад  
 За престол утраченный  
 Поведет бои...

---

У житья ребячьего  
 Есть круги свои.  
 Первый круг — завалинку  
 Шагом измерять,  
 Осторожным, маленьким,  
 Шириною в пядь.  
 Горизонты новые  
 Видеть, что ни год,—  
 Заросли терновые,  
 Баню, огород.  
 Круг второй — обжитые  
 Поле, лес и луг,  
 Речкою омытые...  
 Школа — третий круг.

У житья ребячьего,  
 Вольного житья,

На кругах назначенных  
Есть свои друзья.  
Мне доныне помнится  
Наш буланный конь,  
Легендарной конницы  
Ветеран —

Огонь.

Время шло шумливое  
Бурей над Огнем,  
Бой махал над гривую  
Огненным клинком,  
Полыхал зарницею,  
Залпом штурмовым.  
Вправе был гордиться он  
Списком послужным:  
Бился под Царицыном,  
Прорывался в Крым.  
Пули пели тоненько,  
Степью шел огонь...  
Трех отважных конников  
Схоронил наш конь,  
Смертью заарканенных  
В тот постылый свет...  
Трех бойцов израненных  
Сдал он в лазарет.  
А с последним воином  
Угодил и сам  
Прямо с поля боя он  
В руки лекарям,  
Те — спасибо — вынули  
Пулю, а потом  
Хворого покинули  
На дворе чужом.  
Кое-как залеченный,  
Жался у стены,  
Раною отмеченный  
Инвалид войны.  
Все ж отец мой встать ему  
На ноги помог.  
Так буланный за зиму  
Хворость перемог.  
И когда нагрянуло  
Вешнее тепло,  
Подавай буланому  
Сбрую и седло.  
Снова любо-дорого  
Было бы ему  
На погибель врагу  
Пролетать в дыму.  
Но рукою властною  
Разочтись с войной,  
Занимала Красная  
Угол красный свой.  
Меч переплавляется,  
Ждет работы плуг.  
В поле начинается



Пахота вокруг.  
 Да буланый с норовом —  
 Он не рвется в бой  
 С бороздою черною,  
 С житной полосой.  
 Что ему лемешная  
 Сталь, заплатки нив? —  
 Перед строем спешенным  
 Похвалил комдив  
 Эскадрон их, помнится...  
 Как девятый вал,  
 Заливала конница  
 Волгу, Дон, Урал.  
 И ему ли надобны  
 Плуг да борона?  
 Вон какая на дыбы  
 Взвита целина!

По шляхам, где Конная,  
 Не сходя с седла,  
 В битвах опаленное  
 Знамя пронесла,  
 Нарождались юные  
 Шумные миры,  
 Заселив коммунами  
 Панские дворы,  
 Звонами цимбальными,  
 Сходками селян,  
 Избами-читальнями  
 Гнали тьму-обман.  
 С фронта в хаты дальние  
 Люди от земли  
 Шрамы госпитальные  
 С гордостью несли.  
 Звали возвращавшихся  
 На родной порог  
 Сотни сел заждавшихся,  
 Тысячи дорог.

---

Подчистую выписан,  
 Вольной волей пьян,  
 Шел по месту жительства  
 Конармеец Ян,  
 Солнцу лучезарному  
 Радуюсь.

А я  
 Пас тут легендарного  
 Нашего коня.  
 Разбудил сонливое  
 Утро за селом  
 Ян: — Кось-кось!..

Над нивою  
 Конь, взметнувши гривую  
 Рыжею — огнем,  
 Вдруг заржал... и верстами

Эхо потекло.  
 Ян полями росными  
 Вел коня в село.  
 Ворота отворены  
 Яну и коню:  
 Принимайте война  
 В хате, как родню!

Гостю вольно дышится  
 И в чужом селе.  
 Шкварка и яичница  
 С чаркой на столе.  
 Со двора отцовского  
 Конь глядел в окно,  
 Словно не пил горького  
 Он вина давно.  
 И глядел растроганно  
 На коня боец...  
 — Дружба — дело строгое! —  
 Произнес отец,  
 Объявил решительно: —  
 Забирай коня!  
 Конь не для учителя —  
 Лишняя возня!  
 Мама робко вставила:  
 — Конь, он конь для всех.  
 Ян заметил: — Правильно!  
 Взять коня — не грех...  
 Кровной дружбой связаны  
 С ним, я знаю сам...  
 Только ж — мы обязаны:  
 Я — коню, он — вам.  
 Здесь его кровавая  
 Рана зажила,  
 Взять бы взял по праву я,  
 Да война прошла...  
 Нынче у товарища  
 Есть и хлев и хлеб,  
 Аж пока состарится  
 И пока не слеп.  
 Пусть живет, работает,  
 Я его всегда  
 Взять готов с охотою,  
 Если вдруг — беда.  
 Дружба — дело строгое...  
 Вот вам адрес мой...

---

И своей дорогою  
 Ян пошел домой.

---

А коню неможется  
 Одному в хлеву,  
 Бьется и тревожится  
 Он, презрев траву

Полевую с росами...  
 Посреди двора  
 Тысячеголосое  
 Слышит он «ура».  
 Он житье цивильное  
 Променять готов  
 На бывшее пыльное  
 Цоканье подков.  
 Молниями яркими  
 Вновь сжигает кровь  
 Сабельная, жаркая,  
 Смертная любовь.

---

Не под теми острыми  
 Саблями скачи —  
 Эй, буланый, верстами  
 Наши дни сочти!  
 Покоряйся выдумке —  
 Солнце догони!  
 Ягоды на вырубке  
 Облепили пни.  
 Где-то чибис мается.  
 Слышишь, дорогой?  
 Вот и завершается  
 Нами круг другой.  
 Тихою, тенистою  
 Просекой — насквозь —  
 Пулей в поле чистое  
 Вылетай — кось-кось!  
 Стихло эхо, скрылися  
 С глаз село и бор.  
 Из бывшего вырвемся  
 Лихо на простор.  
 За бесповоротными  
 Днями новый шлях —  
 Словно за воротами —  
 Есть в иных краях.  
 Ты неси ребячьими  
 Стежками, мой друг,  
 С думами горячими  
 Нас на третий круг!

#### IV

#### СКОРЬБЬ

Повстречался с пущами  
 Снег, с водою — лед,  
 С холодами жгучими —  
 Високосный год,  
 С болью беспредельною —  
 Непокойный час,  
 С мукою смертельною —  
 Разум Ильича.



В эти пять минут  
 Мы под школьной крышею  
 Нашей — словно тут  
 Он лежит, недвижимый,  
 В угол — головой.  
 И как будто заново  
 Над его судьбой  
 Опустился занавес  
 Тут, в глуши лесной.

---

Опустел заслуженный  
 Зал, где от людей  
 Глухо занавешена  
 Сцена, а на ней —  
 Нам воочью видится:  
 В бликах кумача  
 Гроб незримый высится  
 С телом Ильича.  
 Он,  
     храним почетною  
 Стражей у дверей —  
 Верною, несчетною, —  
 Пять ночей и дней  
 Будет здесь покоиться...

И его потом  
 Тропкой за околицу  
 Тихо понесем  
 Мы сквозь злые замяти,  
 Стужу многих дней  
 В негасимой памяти  
 Вечный Мавзолей.

---

Снова флаг над школою  
 Поднялся в свой срок.  
 Тишину окольную  
 Разбудил звонок,  
 Сумерками ранними  
 Созывая нас  
 С сумками и ранцами  
 На занятия в класс.  
 Снова та же самая  
 В зале пьеса шла,  
 Собирая заново  
 Зрителей села.

v

## ОДИН

Чей тут был виною нрав,  
 Нынче не понять,  
 Не судить, кто прав, не прав.  
 Нам отца и мать.

За меня и за сестру  
 Рассудил их суд  
 В год, когда на хлеб кору  
 Драл голодный люд.  
 А как минулась беда,  
 Заявился, строг,  
 Школьный год — гонец суда —  
 На родной порог.  
 Он принес (как листопад  
 Ветра поздний свист)  
 Исполнительный — на сад,  
 На хозяйство — лист.  
 Дети выросли, пора —  
 Говорилось в нем —  
 Разлетагся со двора,  
 Покидать свой дом.  
 Не выходит вместе жить  
 На одном дворе:  
 Мне — с отцом пристало быть,  
 С матерью — сестре.

---

Первый раз за много дней  
 Думала семья,  
 Как делить коров, свиней,  
 Хату и коня.  
 Две коровы.

И одна —  
 Мне, одна — сестре.  
 Опалила кабана  
 Мама во дворе.  
 Можно просто разделить  
 Тушу топором  
 На двоих.

А как же быть  
 С хатой и с конем?  
 Не посмеешь огоньком  
 Подсмолить стреху,  
 Не разделишь топором  
 Кровлю на шляху.  
 Школа видится в окне  
 Нашем сквозь лесок,  
 На подворье слышно мне,  
 Как звенит звонок.  
 Остается мне туда  
 Две зимы ходить.  
 С хаты съедем...

Как тогда  
 С обучением быть?  
 Опечален выпускник,  
 Затвердил, упрям,  
 Что, мол, за пять лет привык  
 Он к своим друзьям.  
 Что остаться должен тут...  
 Не поедет он

С батькой...

Вот и весь вам суд!  
Вот и весь закон!  
Скарб делили всей семьей  
Мы своим судом.

---

Так оставлен был за мной  
Двор, и конь, и дом.

---

Так решили мы, и всем  
Полегчало вдруг.  
Не распался нао всем  
Наш семейный круг.  
Луг приречный, дом родной,  
Поле и гумно  
Цепью связаны одной,  
Я — ее звено.  
Сиротой не глянет дом  
Окнами на шлях,  
Раз уж конь и я с конем  
На своих местах.  
И не все развеялось,  
Подошло к концу —  
Втихомолку верилось  
Маме и отцу.  
Отчуждение пройдет  
Через год, другой...  
Я, причина их забот,  
Был надеждой той.

Засевала вся семья  
Житом огород,  
Чтоб забот не ведал я  
На ближайший год.  
А чтоб долю трудную  
Скрасить нам с конем,  
Тетку бесприютную  
Пригласили в дом.  
С нею договорено —  
Старшей быть у нас.  
Принимай, Тодоровна,  
Сала, круп запас!  
И картошки ямину,  
Добрый стог сенца,  
Самопрялку мамину,  
Граммфон отца.  
Весь, бедой оплаченный,  
Скарб семьи моей.  
Заживем мы в складчину  
С этих самых дней.

---

Дни былые сгнули  
Эхом за селом.

Первыми покинули  
Хату мать с отцом:  
Увозил со станции  
Батьку паровоз,  
Маме перебраться я  
Сам помог.

Отвез  
Полям и дубравую  
В школу на коне.

Мать рукою правою  
Грустно машет мне.  
Тихо слезы катятся  
По морщинам щек,  
Время на занятия  
Ей... Звенит звонок...

Вновь дорогой долгою  
Я порожняком  
Битыми проселками  
Тарахчу с конем.  
Едем вдоль березника  
В сумрачный рассвет.  
Нам с конем-ровесником  
По тринадцать лет.  
Как нам в суеверные  
Годы — вот вопрос —  
С кладью непомерною  
Волочить свой воз?  
Как с бедою справиться,  
Ведь не свяжешь вдруг  
Цепь, что рассыпается  
На глазах, мой друг?

---

Вот уж я дорожную  
Пыль обил кнутом.  
Темен настороженный,  
Нелюдимый дом.  
Почему Тодоровна  
Света не зажгла?  
Может, бросив двор, она  
На село ушла?  
Долго шарил сослепу  
Я замок дверной,  
Словно пил без просыпу,  
Словно был хмельной...  
Бродит, не кончается  
Путь мой по корчме.  
Эхом откликается  
Каждый шаг во тьме.  
Мрак... Подались жители  
Кто куда — в отлет.  
Вот когда обидели  
Кров родной родители,



Вот когда — развод!  
 Воет ветер тоненько,  
 Словно бы с покойником  
 Здесь стоит в углу  
 Гроб, а по стеклу  
 Слезы молчаливые  
 Льются и дрожат —  
 Будто дни счастливые  
 В том гробу лежат.  
 Чую, шапку скинувши:  
 Над потерей той  
 Мамин ток с овинами  
 Стонет за стеной.  
 С горечью метельною  
 Прялка нити рвет,  
 Борода кудельная  
 Свой скривила рот.  
 Бьют в стекло горошины,  
 Плачет дождь в окне...  
 Горьких слез непрошенных  
 Не сдержать и мне.

## VI

## ВОСЕМЬ И ОДНА

Током и овинами,  
 Правой половиною,  
 Кухнею печальною,  
 Песней самопряльною  
 На краю села —  
 Чем ты только, дальняя  
 Хата, не была?  
 Прежде ты с корчемною  
 Ведалась тоской,  
 А вчера лишь — с темною  
 Мертвой тишиной.  
 А сегодня — разве что  
 Снится тишина —  
 Музыкаю праздничной  
 Ты полным-полна.  
 Не панов наехало  
 Во хмельном дыму  
 С песнями, как некогда,  
 С музыкой в корчму.  
 Нет! Кружок любительский  
 Здесь назначил сбор.  
 Занят ученический  
 Наш оркестр и хор  
 Спевкой генеральною...  
 Под веселый гром  
 С музыкой цимбальною  
 Повенчался дом.  
 Половицы битые,

Старые полы  
Свадьбой той сосчитаны  
В хате, а углы —  
Песней о криниченьке,  
Что хлопец копал,  
Грустью о девчиночке,  
Что любил — не взял.  
Спевка генеральная  
Кончена...

Пошла  
Музыка цимбальная  
Эхом вдоль села.  
На нее сбегаются  
К нам со всех дворов.  
Полька исполняется,  
И от каблуков  
Хата ходит ходором,  
Полная людей.  
Пляшет Ганна с Федором,  
С Зосою Агей.  
Не серчай, Тодоровна!  
Дом, что с детства люб,  
Пригодился здорово  
Нам под сельский клуб.

Мне с конем доверены  
Двор и клочок земли.  
Старый строй — за двери мы!  
Новый завели.  
В будни здесь и в праздники  
Хлопцы-одноклассники —  
Верные друзья,  
Новая семья.  
В долю полноправную  
Каждый взят жилец  
Половиной правою,  
Той, где жил отец,  
Левой, предназначенной  
Маме — для работ, —  
Кухнею, что в складчину  
Кормит свой народ.  
Заправляло хатою  
Правой восемь нас  
Хлопцев.  
А девятая,  
Старшая на класс, —  
Левой половиною,  
Где с былой кручиною  
Больше дружбы нет.  
Правила и правою, —  
Делом и забавою —  
Всем — в пятнадцать лет,  
Та, что запеваю  
Нашею была,  
Из Князей — из малого,  
Бедного села.

Не за родословную,  
 За красу она  
 Прозвана любовною  
 Кличкою — Княжна.  
 С запевалой нашею  
 В дружбе школа вся.  
 Звали ее Сашею,  
 Санею — друзья,  
 Пташкою — Тодоровна,  
 Я — Алесей звал.

Горе — с ней не горе нам,  
 С ней беды не знал  
 Дом, как было исстари...  
 Все — картошку чистили  
 И полы мели  
 В очередь... Без скуки мы  
 Службу ту несли.  
 Благо не безрукими  
 В семьях мы росли.  
 Все свое старание  
 Отдаем стряпне,  
 Чтоб почаще с Санею  
 Быть наедине,  
 Помогать ей с ведрами,  
 Ложки, миски мыть  
 По уставу твердому...  
 Баню с ней топить  
 Были мы не гордые —  
 Дым глотать и горькие  
 Вместе слезы лить.

---

Восемь хлопцев нас в семье,  
 И одна — она.  
 Окрестили нас в селе:  
 Восемь и одна.

Тот — над книгой за столом,  
 Этот — у окна,  
 За науку бой ведем —  
 Восемь и одна.

Стенгазету и плакат  
 (Неучам — война!)  
 Издает наш интернат —  
 Восемь и одна.

То, что нас ее хвостом  
 Числят — грош цена!  
 Знать не знаем мы о том —  
 Восемь и одна.

Девять нас — один кружок,  
 Вновь звенит струна,  
 Вновь поют овин и ток —  
 Восемь и одна.

Вновь играем польку, вальс  
Чуть не до видна  
Людам, что прозвали нас —  
Восемь и одна.

---

Свежей майской зеленью  
Отсветил простор.  
Отскрипел качелями  
Шумный школьный двор.  
Отыграл с бедовыми  
Хлопцами в крокет.  
Распахнулся новою  
Далью белый свет  
Нашим семиклассникам.  
Отзвенел звонок.  
Завершился праздником  
Их ученья срок,  
Откатился за реку  
Майскою грозой,  
Откружился парами  
В вечер выпускной.

Руки лету вольному  
Темный парк простер.  
Вековыми, школьными  
Липами в простор  
Полевой он тянется —  
Там в последний раз  
С нашей семиклассницей  
Мы идем сейчас.  
Хор наш на прощание  
Слышен за селом.  
Всходит солнце ранее...

С песней мы идем  
Все о той криниченьке,  
Что хлопец копал,  
С грустью о девчиночке,  
Что любил — не взял.  
Не в луга поемные  
Вышли по тропе —  
Взрослой отдаем ее  
Жизни и судьбе.  
С бубенцами, с песнею  
Там, как в старину,  
Люди неизвестные  
Заберут Княжну.  
Тайного, невнятного,  
Нам одним понятного,  
Горького до дна  
Смысла вновь полна  
Песня, что вздыханьями  
Будит дол и гать...  
Нам ли ей признаньями  
Нынче докучать?





Что ж ты машешь гривую,  
Вслушался, притих,  
Конь мой?..

    Это нивою  
Ходит с ветром стих.  
Босоногий, рбсится  
В жите — вымок он.  
И в бессмертье просится...  
Мчись за ним, мой конь,  
Стежкой этой новою,  
Что во ржи бежит!  
Выискри подковою  
Молнии из плит!  
Смерть не смеет жерновом  
Легендарный шлях —  
Ритмами просторными,  
Тропами неторными  
Жить ему в веках!  
Слышишь, с гулом гонится  
За стихом вдогон  
Строф чеканных конница,  
Строчек легион.  
В шумной ржи мгновенно их  
Поспеши догнать,  
В нашу сокровенную  
Залучи тетрадь,  
С ними сам депешею  
Ляг в грядущий день...

    Стих — призванье вешнее,  
Первое и вечное,  
Долгое, как тень.  
Поспешал с волнением  
Утренним, живым  
Бороздой весеннею  
Я за ним, за ним  
В теплый день, и ветренный,  
И в слепом снегу,  
Сея горстью щедрою  
Слово на бегу.  
А теперь неровною  
Ходит целиной  
Сам с севнею полною  
Стих за мной, за мной.  
Длинная темнеется  
Тень вдоль борозды,  
Все спешит отсеяться  
До ночной звезды.  
Как звезда подыметя  
Да приляжет день —  
Сеятель обнимется  
С ночью, с тьмою — тень.  
Утро не добудится  
Их, как всех живых...

Может, и не сбудется  
Новый день для них,  
Может, он не нивою,  
День тот молодой,  
Встретит их, а книгою  
Каменной — плитой.  
Пусть!.. Я дню лемешному,  
Выкладке бойца,  
Как призванью вечному,  
Конному и пешему,  
Верен до конца.

### VIII

#### ПЕСНЯ И ЖНЕЯ

На поля раздольные  
Жаркий день пришел.  
Дремлют классы школьные  
Ульями без пчел.  
С парт и подоконников  
Легкою рукой  
Час каникул  
школьников  
Смел за роем рой.

Хата-общезитие  
Смолкла без друзей:  
Разлетелись жители  
По округе всей.  
Их от скудной складчины  
К мамкам под крыло  
На блины горячие  
Лето увело.

Не спасает чтение.  
Долгий день горяч.  
Слышен в отдалении  
Чайки тихий плач.  
Жито полнит шумами  
Пустоту дорог...

Только так подумал я —  
Мама на порог.  
А за ней, непрошенно  
Юркнув со двора,  
Возвратилось прошлое —  
Светлая пора.  
И присев у выхода  
На мою постель,  
Притаилась, тихая,  
Смутная, как тень.  
Шумом огородного  
Жита у стены  
Снова беззаботные  
Навевает сны.



Набивает ватю  
 Слух, а чуб густой  
 Гладит виноватую  
 Маминой рукой.  
 Ветками зелеными  
 Память расцвела,  
 Жаждет всеми кронами  
 Света и тепла.  
 Прочно корни держатся,  
 Ожили они...

С материнской нежностью,  
 С лаской стали дни  
 Праздничными — будние,  
 Постные — скоромными,  
 Радостными — трудные,  
 Путаные — ровными.  
 Пусть пришел назначенный  
 Срок —  
                   по их часам —  
 С играми ребячьими  
 Расставаться нам;  
 Пусть, как в дни недавние,  
 Мне не рваться в бор,  
 Раков не вылавливать  
 Из подводных нор,  
 Сквозь осколок розовый  
 Не глядеть на свет;  
 Пусть в душе занозою  
 Прожитого след, —  
 Но опять угадывать  
 Счастлив я, что вот —  
 Мамин серп за хатю  
 Рожь, как прежде, жнет,  
 Знать, что за воротами  
 Теми, за стеной  
 Вновь ее заботами  
 Дом живет родной.

Мама встала затемно,  
 Не сомкнувши глаз,  
 Вышла зажинать она  
 Здесь в последний раз  
 Полосу созревшую,  
 Житный свой загон,  
 Радость отшумевшую  
 Прожитых времен,  
 Что с дорог завьюженных  
 Не позвать назад...

Не вернется суженый —  
 На другой женат.  
 Об отце — хоть знали мы,  
 Слышали о том —  
 В эти дни молчали мы,  
 Как о неживом.

Но когда над нивою  
 Начало светать,  
 Мама молчаливая  
 Не смогла молчать.  
 Всплыл над пожней раннею  
 Острый, как серпок,  
 Древним причитанием  
 Мамин голосок.  
 Полосою жнивною  
 С ней, как тень, с утра  
 Песня шла надрывная,  
 Горькая сестра.  
 Жалостью охваченный  
 Вслушивался я:  
 Вышли, как на барщину,  
 Песня и жнея.  
 Жнут они и горбятся,  
 А в глазах туман.

Для певуньи горестной  
 Голод — тот же пан.  
 Он, коли не выполнит  
 Свой жнея урок,  
 Ребятишек выгонит  
 За родной порог  
 И дорогой торною,  
 Сгорбив плечи им,  
 Поведет их с торбою  
 По дворам скупым.  
 А как выжнет голосом  
 И серпом загон,  
 Срежет вместе с колосом  
 И жнею закон  
 Бедности, прибитости,  
 Повелит — из жалости —  
 Быть служанкой сытости,  
 Каторжанкой жадности.

Неприметно синяя  
 Наступила мгла.  
 Мама обессилела,  
 Песнь изнемогла.  
 Возвращались полночью  
 На родной порог.  
 Рассчитаться полностью  
 Месяц им помог  
 С нивой колосистою,  
 Золотым серпом,  
 Стежкой серебристою,  
 Пожнею-ковром.

---

Оженился суженый  
 В стороне чужой...  
 Не были остужены  
 Незадачей той



Молотьбы поживою  
Лег на мамин ток.  
Смолотили спорое  
Жито за стеной,  
Помололи жерновом —  
Мельницей ручной.  
Дав наказ Тодоровне  
И простясь со мной,  
Пожелав счастливой нам  
Осени, зимы  
И весны, покинула  
Мама кров корчмы,  
Вынеши решительный,  
Непреклонный суд  
Брошенной обители...

Ей отныне тут  
Не держать в поскрюченных  
Пальцах шпуплек, спиц,  
Не топтать скрипучие  
Тропки половиц,  
Не корпеть согбенною  
Служкой крепостной,  
Скорбной, незаконною,  
Смирною женой.  
Не горбеть рабынею  
Прялки и дежи.  
Никогда отныне ей  
Сердца и души  
Даром не растрчивать  
На чужом дворе...

Лета дни горячие,  
Эхо на заре...  
Не смолкает жалостной  
Песни пересказ.  
Мама жито жала с ней  
Здесь в последний раз.  
Распростилась, странница,  
Как жнея с жнеей,  
С песней, что останется  
Навсегда со мной.

## IX

### ДОСТОЯНИЕ

Минул год.  
Отлетная  
Подошла пора.  
Вылетай, свободная  
Птица, со двора!  
В чем тебе, отеческий  
Дом, помощник я?  
Долею студенческой  
Стала и моя  
Доля долгожданная...

Ты ж имеешь дом,  
 Место постоянное,  
 Свет, что за окном,  
 Родословье гордое,  
 Деревянный век,  
 Назначенье твердое,  
 Что и человек.

Хата с хлевом, с банею,  
 Сад и городьба  
 Смолкли в ожидании,  
 Ибо их судьба  
 На меня возложена.  
 И с тоской в глазах  
 Конь мой растревоженно  
 Все глядит на шлях.  
 Видно, беспокоится,  
 Принапрягся весь:  
 Заберу с собою их  
 Иль покину здесь?  
 Отойдут в историю  
 Конь мой, дом родной —  
 Их в аудитории  
 Не возьмешь с собой.  
 Пусть я с этой кровлею  
 Скромной

навсегда

Связан нитью кровною...  
 Хата — для гнезда.  
 С места не поднять ее  
 За собой — в отлет...

Смотрят покупатели  
 Сад и огород.  
 Предлагают сходные  
 Деньги, оцени.  
 Говорят — негодные  
 Зубы у коня.  
 По полю, по выгону  
 Бродят неспроста,  
 Взвешивают выгоду  
 Каждого куста,  
 Грушицы запущенной,  
 Роя и летка,  
 Рам, что, верно, пущены  
 Будут с молотка;  
 Сколько стоит вишенья,  
 Знают — не секрет.  
 Откупить недвижимость  
 Предлагают...

Нет!

Двор мой — не товар еще,  
 Не аукцион:  
 Торговать товарищем  
 Не позволит он,  
 Хатою и пунюю,



До свидания,  
Старый отчий дом  
С лугом, садом, банею,  
Плугом и конем,  
Что везет с пожитками  
Расставанья грусть  
На железный, ниткою  
Вдаль бегущий путь.

---

Над рекой за пущами  
Прошумит состав,  
Как в работу пущенный  
Мельничный постав.  
Мелют рожь далеко там,  
Дерева гудят,  
Словно с грозным клочотом  
Дышит водопад,  
Облаками дымными  
Падая с вершин,  
Затихая ливнями  
На листве осин,  
Растянув по звездному  
Небу длинный след...

Мне кассир, как взрослому,  
Выдает билет.  
Богатырской глоткою  
Паровоз орет,  
К станции с короткими  
Вздохами ползет.  
Он громадой черною  
Встал на пять минут.  
Конь мой и Тодоровна  
Онемели тут.  
И к седлу вагонному  
Протолкался я,  
Прыгнул смелым конником  
На коня с коня.  
Двинулся со вздохами  
Шумный водопад,  
А земля за окнами  
Поплыла назад,  
Желтая, зеленая,  
В красках сентября...  
Наблюдал бессонным я  
Взглядом дикаря,  
Как быстрее поезда  
Прожитые дни  
Мчались пулей, с посвистом  
И в лесной тени,  
Там, за небосклонами,  
Таяли на нет,  
Словно пыль взметенная,  
Словно дымный след.  
Мимо — ширь безлюдная,  
Скошенная рожь...

Конь мой! — в дело трудное  
 Запряженный дождь,  
 Жернова могучие,  
 Пущенные в ход,  
 Что влекут под тучами  
 Груз людских забот.  
 Конь! Стальными рельсами  
 День и ночь греми,  
 Пронеси над реками  
 И меня с людьми.  
 Всплыл туман над пахотой...  
 Рысь, карьер, галоп...  
 Путь наш, вдаль распахнутый,  
 Тот же Перекоп!  
 Ты ответь, встревоженный  
 Конь железный наш,  
 Кто там, пулей скошенный,  
 Упадет в Сиваш?  
 Сколько душ в кровавую  
 Бездну на войне  
 Канут с громкой славою?  
 Что ты прочишь мне?

Мчал вперед неистовый  
 Жаркий паровоз  
 Со звездой лучистойю  
 На груди, и нес  
 Он сквозь дни кипучие  
 Беспокойных лет  
 На вопросы жгучие  
 Гулкий свой ответ.

х

### ЭКРАН

Темный гай, оставленный  
 Сорок лет назад,  
 Радуетя давнему  
 Другу...  
                   и звенят,  
 Тикают кузнечики,  
 Словно цепь минут  
 От утра до вечера  
 На стерне куют.  
 В предосенней свежести  
 Даль видна насквозь...

Нынче я — не зрелости  
 Беспокойный гость,  
 Не беглец от старости  
 В молодость свою,  
 Не стрелок, что в зарослях  
 Глухарей семью  
 Выследил неслышимо...



Нынче я — поток  
 Устья, посетившего  
 Чудом свой исток.  
 Перед новой рощицей  
 Думаю, притих:  
 — Сколько, сколько их  
 Пало, не воротится  
 Больше в круг живых!  
 Русла их веселые  
 Высохли до дна,  
 Выжгла жадным полымем  
 Пущи их война.  
 Сами рощей новой  
 Стали и траву  
 Живят трехметровую,  
 Спят... А я живу  
 Рядом... И обязан я  
 Перед той травой,  
 Перед теми вязами  
 Памятью живой,  
 Нынешней, которая  
 Воскресит в словах  
 Пепел крематория,  
 Бухенвальда прах.

---

Нынче я встревоженным  
 Аистом седым  
 Возвратился к прошлому,  
 К берегам родным  
 С чувствами нетленными...  
 Небосвод кругом  
 Мне жилища стенами  
 Служит, пень — столом.  
 На кругах загубленной  
 Вековой сосны  
 Сею неотступные  
 Я слова и сны.  
 Все служу упрямою  
 В счастье и в беде  
 Службой той же самою —  
 Зерен в борозде.  
 Я вернул из замяти  
 Безвозвратных лет  
 На экраны памяти  
 Прожитого свет,  
 Оживил свиданьями  
 Летопись утрат;  
 Под напластованьями  
 Суетливых дат  
 Откопал завьюженный  
 Стужами запал.

Отдыха не нужно мне.  
 Это — не привал.  
 Дальше, сверхфотонное

Сновиденье, мчи,  
Обгоняй зеленые  
Прошлого лучи,  
Возвращай их беглые  
Блики сквозь туман  
На страницы белые —  
Нынешний экран.

Так включай же счетчики,  
Время, и — в полет!  
Пусть часы рабочие  
Поведут отсчет  
Давним, неотсроченным,  
Памятным долгам —  
Тропам и обочинам,  
Верстам и кругам  
Жизни, что не рослою  
Вышла в путь большой,  
В волнах жита росного  
Прячься с головой;  
Что листом тетрадным,  
Белым, словно снег,  
Жаждет с рвением радостным  
Свой продолжить бег  
Ярый и безбоязно,  
Широко шагнуть  
В мураву — до пояса  
И в хлеба — по грудь...

Ну-ка, время, точные  
Счетчики включай,  
Мчись дорогой строчечной  
В молодости край!

*Авторизованный перевод Н. Кислика.*



---

---

ВАСИЛИЙ ШУКШИН

★

## РАССКАЗЫ

### *Сватовство*

**С**тарик Глухов в шестьдесят восемь лет овдовел. Схоронил старуху, справил поминки... Плакал. Говорил:

— Как же я теперь буду-то? Один-то?

Говорил — так всегда говорят овдовевшие старики. Ему, правда, было горько, очень горько, но все-таки он не думал о том, «как он теперь будет». Горько было, больно, и все. Вперед не глядел.

Но прошло время, год прошел, и старику и впрямь стало невмоготу. Дико стало одному в большом доме. У него был сын, младший (старших поубило на войне), но он жил в городе, сын, наезжал изредка — картошки взять, капусты соленой, огурцов, медку для ребятишек (старик держал шесть ульев), сальца домашнего. Но наезды эти не радовали старика, только раздражали. Не жалко было ни сальца, ни меда, ни огурцов... Нет. Жалко и обидно, что родной сын вроде уж и не родной сын, а так — пришей-пристебай. Он давал сыну сальца, капусты... Выбирал получше. Молчал, скрепя сердце, не жаловался. Ну пожалуйста он, скажи: плохо, мол, мне, Ванька, душа чего-то... А чего он, Ванька? Чем поможет? Ну, повздыхает вместе, разопьют бутылочку, и он уедет с чемоданом в свой город-городок, к семье. Такое дело.

И надумал старик жениться. Да. И невесту присмотрел.

Было это 9 Мая, в День Победы. Как всегда, в этот день собралось все село на кладбище — помянуть погибших на войне. Сельсоветский стоял на табуретке со списком, зачитывал:

— Гребцов Николай Митрофанович. Гуляев Илья Васильевич. Глухов Василий Емельянович. Глухов Степан Емельянович. Глухов Павел Емельянович...

Эти три — сыны старика Емельяна Глухова. Всегда у старика, когда зачитывали его сынов, горе жесткими пальцами передавливало горло, дышать было трудно... Он смотрел в землю, не плакал, но ничего не видел. И долго стоял так. А сельсоветский все читал и читал...

Тихо плакали на кладбище. Именно тихо, в уголки полушалков, в ладони, вздыхали осторожно, точно боялись люди, что нарушат и оскорбят тишину, какая нужна в эту минуту. У старика немного отпускала, и он смотрел вокруг. И каждый раз одинаково думал: «Сколько людей загублено!»

И тут-то он заметил в толпе старуху Отавину. Она была нездешняя, хоть жила здесь давно, Глухов ее знал. У старухи Отавиной никого не было в этом списке, но она со всеми вместе тихо плакала и крестилась. Старик Глухов уважал набожных людей... За их терпение и неко-

лебимость. Он присмотрелся к Отавиной... Горбоносая, дюжая еще старушка, может легко с огородом управиться, баню истопить, квашню замесить и хлеб выпечь. Старик не мог есть «казенный» хлеб — из магазина. И вдруг подумал старик: «Тоже ведь одна мается... А?»

Пришел домой, выпил за сынов... И стал думать: «Продала бы она свою избенку, перешла бы ко мне жить. А деньги за избу пусть на книжку себе положит. И пусть живет, все не так пусто будет в доме. Хоть в баню по-человечески сходить, полежать после баньки беззаботно... На стол есть кому поставить, есть кому позвать: «Садись, Емельян». Жилым духом запахнет в доме! Совсем же другое дело, когда в кути, у печки, кто-нибудь громыхает ухватами и пахнет опарой. Или ночью, когда не спится, можно потихоньку поговорить... Можно матернуть бригадира колхозного, например. Она, правда, набожная, Отавиха-то, но можно же другие слова найти, не обязательно материться. У самого дело к концу идет, к могиле, — хватит, наматерился за жизнь. Да нет, если бы она пришла, было бы хорошо. Как ты ни поворачивайся, а хозяйка есть хозяйка». Так думал старик. Даже маленько взволновался.

И вот выбрал он воскресный день, пошел к Ольге Сергеевне Малышевой, тоже уже старушке, но помоложе Отавихи, побашковитей. Эту Ольгу Сергеевну старик Глухов когда-то тайно очень любил. Тогда он был не старик, а молодой парень, и любил красивую, вздорную Ольгу. Помышлял слать к Малышевым сватов, но началась революция... Объявился на селе некий молодец комиссар, быстро окрутил Ольгу, куда-то увез. Увезти увез, а сам где-то сгинул. Наверно, погиб в бою. А Ольга Сергеевна вернулась домой и с тех пор жила одна. Как-то, тоже по молодости, но уже будучи женатым, Емельян Глухов пошел к Ольге Сергеевне в сельсовет (она работала секретарем в сельсовете) и открыл ей свое сердце. Ольга Сергеевна рассердилась, заплакала и сказала, что после своего орла-комиссара она никогда в жизни никого к себе близко не подпустит. Глухов попытался объяснить, что он без всяких худых мыслей, а просто сказать, что вот любил ее (он был выпивши). Что тут такого? Ольга Сергеевна пуще того обиделась и опять стала говорить, что все мужики не стоят мизинца ее незабвенного комиссара. И так она всех напугала этим своим комиссаром, что к ней и другие боялись подступиться. Но прошло много-много лет, все забылось, все ушло, давно шумела другая жизнь... И старик Глухов и пенсионерка Ольга Сергеевна странным образом подружились. Старик помогал ей по хозяйству: снег зимой разгребет, дровишек наколет, метлу на черенок насадит, крышу на избе залатает... Посидят, побеседуют. Малышева поставит четвертинку на стол... Глухов все побаивался ее и вел необязательный разговор.

— Ведь вот какая... аккуратная власть! Раньше как: дожил старик до глубокой старости — и никому не нужен. А теперь — пенсия. За что мне, спрашивается, каждый месяц пенсию отваливают? Мне родной сын пятерку придет сунет, и то ладно, а то и забудет. А власть — легулярно — получи. Вот они, комиссары-то, тогда... они понимали. Они жизни свои клали — за светлое будущее и за коммунизм! Я советую, Ольга Сергеевна, стать и почтить ихнюю память.

Ольга Сергеевна недовольно говорила:

— Сиди. Чего теперь?.. Нечего.

Она теперь редко вспоминала комиссара, а больше рассказывала, как на нее «накатывает» ночами.

— Вот накатит-накатит — всё, думаю, смертынька моя пришла...

— А куда накатывает-то? На грудь?

— А на всю. Всю вот так вот ка-ак обдаст, ну, думаю, все. А после расслабит всюё — ни рукой, ни ногой не шевельнуть. И вроде я плыву-у куда-то, плыву-у.

— Да,— сочувствовал Глухов.— Дело такое — так и уплывешь когда-нибудь.

После того, как старик схоронил жену, он еще чаще навевался к Малышевой. Они любили сидеть на веранде — пили чай с медом. Старик приносил в теске мед.

— Тоскуешь? — спрашивала Малышева.

Глухов не знал, как отвечать,— боялся сказать не так, а тогда Малышиха пристыдила бы его. Она часто не то что стыдила его — давала понять, что хоть ему и семьдесят скоро, а стоит больше ее послушать, а самому помолчать.

— Тоскуешь?

— Так...— неопределенно говорил Глухов.— Жалко, конечно. Все же мы с ей... пятьдесят лет прожили.

— Прожить можно и сто лет... А смысл-то был? Слоны по двести лет живут, а какой смысл?

Глухов обижался:

— У меня три сына на войне погибли! А ты мне такие слова...

— Я ничего не говорю,— отвечала Малышиха.— Они погибли за родину.

— Тоскую, конечно,— уже смелее говорил Глухов.— Сколько она пережила со мной!.. Терпела. Я смолоду дураковатый был, буйный... Все терпела... Жалко.

— Сознание...— вздыхала Малышева.— Тесать вас еще и тесать! Еще двести лет тесать — тогда только на людей будете похожи. Вот прожил ты с ней пятьдесят лет... Ну и что? И сказать ничего не можешь. У меня вон в огороде бурьян растет... Тоже — растет. А рядом клубника «виктория». Есть разница?

— Ты чего сердиться-то? — не понимал Глухов.

— Есть разница, я спрашиваю?

— Сравнила...

— И буду сравнивать! Потому что один человек живет — горит, а другой — глеет. У одного — каждая порочка содержанием пропитана, а другие... Делают только свое дело, и всё. Жеребцы.

— Не всем же комиссарами быть! — сердито говорил Глухов, обиженный за «жеребцов».

— Пятьдесят лет прожил,— передразнивала Малышева.— А из них неделя наберется содержательная?

— Ну, содержания-то, слава богу, хватало, чего доброго. С избытком.

— Оно и видно! — Малышева собирала губы в куриную гузку.

Глухов чувствовал, что чем-то он ее злит, но никак не мог понять чем.

И все же он продолжал ходить к Малышевой. Иногда — так вот — поругивались, иногда ничего, мирно расходились. И вечер, глядишь, проходил незаметно.

В это воскресенье Глухов пришел к Малышевой без топора, без ножки. Пришел поговорить. Посоветоваться.

— Я, Сергевна, за советом. Помогите.

— Что такое случилось? — наострилась Малышева. Она любила давать советы.

— Ты старуху Отавину знаешь?

— Ну.

— Поговорила бы ты с ей — не согласится ли она ко мне в дом перейти? А свою избу пускай продаст. Или так: пускай пока заколотит ее; поживем, уживемся — тогда уж пускай продает. Чтoб не рысковать зря. Как думаешь? Я один не на смеюсь с ей говорить, а ты сумеешь. Я не

обижу ее... На четырех-то ногах, хошь они у нас не резвые теперь, но все же покрепче стоять можно. Как думаешь? — Глухов непривычно для себя много и скоро говорил — ему было неловко. — Думал я, думал и вот — надумал. Чижало одному, ну ее к черту. Да и ей, я думаю, тоже полегче будет. Как думаешь?

Малышева очень была удивлена. Так была удивлена, что сперва не нашлась, что сказать путное.

— Жениться собрался?

— Ну, жениться... это... какая уж это женитьба? Так — сойдемся для облегчения.

— Юридически это все равно женитьба. Чего ты хвостом-то виляешь?

Глухов опешил.

— Ну, жениться. А что, это не поощряется?

Малышева внимательно и как-то с отчуждением, с каким-то скрытым враждебным значением посмотрела на старика.

— А она согласна? Хотя, ты говоришь, не успел с ей...

— Не знает она! Вот и пришел-то просить: поговорила бы ты с ей. Где поговорила, где и уговорила. Она старушка верующая, может, скажет — грех... А какой грех? Так-то разобраться-то. Я одинокий, она тоже одинокая...

— У нее дочь в городе.

— Да это-то!.. Это и у меня вон сын в городе. Толку-то от их нынче. А мы бы как-нибудь и скоротали бы остаток жизни-то. Кто первый помер, есть кому схоронить.

— У вас же дети! — вдруг нервно возвысила голос Малышева. — Чего вы сиротинками-то казанскими прикидываетесь?

Глухов замолчал. И в свою очередь внимательно и сердито посмотрел на Малышиху. Чего она злится? Чего?

— Ты чего, Сергевна? — спросил.

— Чего? Я ничего. Вы жениться-то надумали, не я. А ты меня спрашиваешь: чего я? Я-то ничего.

— Чего-то сердиться...

— Да нисколько! Она — буду я еще сердиться. Женитесь! Поговорить надо с Отавихой? Поговорю. — Теперь засуетилась Малышева, затараторила тоже. — Позову ее, и поговорим, мне не трудно. Узнаю: согласна она или нет? Чего же мне сердиться? Смеяться-то над вами будут, не надо мной.

— Как так?

— Что?

— Смеяться будут?

— А что — радоваться?

— Да разве не бывает так — старики сходятся?..

— Бывает, бывает. Давай завтра приходи в обед... Я ее позову пораньше, обговорю с ей сперва, а ты попозже, к обеду, приходи. Бывает так, бывает. Сколько угодно! Я поговорю, не беспокойся. Поговорю.

Глухов ушел от Малышевой с неясным чувством. Какой-то подвох почуял со стороны Малышихи. Странная какая-то старуха, ей-богу. Чего-то все злится. Всех бы она переделала, перекроила... Всех бы она учила жить, всех бы судила. Старик даже подумал: не вернуться ли да не сказать ей, что не надо никакой ее помощи, сам как-нибудь управлюсь. Даже остановился и постоял. И решил — ладно, черт с ней, пусть поговорит. У самого все равно не так выйдет. Пусть злится, а дело делает.

На другой день у старушек — Малышевой и Отавиной — состоялось свидание. И состоялся разговор.

Отавиха пришла к Малышевой, первым делом глянула в передний угол (нет ли иконки?), скромно присела на краешек плюшевого дивана. Поздоровалась.

— Я чего призвала тебя,— сразу начала Малышиха,— Глухова старика знаешь?

— Емельян Егорыча? Знаю, как же. У его трех сынов убило...

— Так вот он хочет на тебе жениться.— Малышева отчеканила слова.— Ты согласна?

— Свят, свят, свят! — перекрестилась Отавиха.— Да он что?!

— А что? — как-то даже взвеселилась Малышиха.— Вы одинокие... Ты подумай, подумай сперва, не торопись отвечать. Он такой же козел, как все, но поможет дожить остаток жизни. Как сама-то думаешь? Избу, говорит, можно пока не продавать, можно заколотить: если уживе-тись, тогда уж можно, мол, продать, а деньги — на книжку. Как дума-ешь-то?

— Да как я могу думать? У меня и думы-то все из головы убежали. Как же, с бухты-баракты — выходи замуж.— Отавиха мелко искренне засмеялась.— Эдак-то рассудка можно лишиться. Вот так невеста!

— Ну, и он тоже — жених. Как все же?

— Да погоди ты, Сергевна, дай с духом собраться...

— Он придет сейчас. За ответом.

— Эка! — Отавиха даже привстала с дивана и поглядела на дверь. И опять села.— Вот задача-то!

— Ну, я гляжу, ты уж почти согласная.

Старуха Отавина вдруг серьезно задумалась.

— Я тебе так скажу, Сергевна: он старик ничего, не пьет, не богохульничат особо, я не слышала... Только...— Отавина посмотрела на сваху.— Бывает — сходятся старики, живут...

— Бывает.

— А ну-ка да он ночами приставать станет?

Малышева даже рот открыла:

— Как?

— А как? Так. Они, знаешь, какие! Перьво-наперьво, я бы желала знать и быть в надежде, что он приставать не станет. И чтоб не матерщинничал. Табак курит... Ну, тут уж... все курют, тут не укоротишь.

— Так ты согласная? — изумилась Малышева.

— Погоди-ка, не гони-ка коней. Я вот и говорю: много у меня всяких условий получается. То нельзя, это нельзя... А старик подумает да и скажет: «Чего же тада и можно-то?» И все наше сватовство-то само собой и распадется.— Отавиха опять мелко засмеялась.— Вот не думала, не гадала... Господи, господи. Оно бы — так-то — чего? У меня вон товарка моя задушевная бывшая в Буланихе, где я раньше жила, тоже вот так вот: пришел старик, тары-бары, а потом и говорит: давай, мол, Кузьмовна, вместе жить. И жили. Он, правда, уж умер года два как... А она живет в его доме. И хорошо жили, я знаю. Сколько?.. Годов пять жили. Ничо, не обижал ее. К концу-то жизни люди умней делаются. Сейчас вон... поглядишь на нынешних-то... господи, господи!. Поглядишь — и ничего не скажешь. Оно бы, знамо, и мне в покое бы дожить да в тепле... Избенка-то у меня вся прохудилась, рада, что уж зима кончилась — никак ее не натопишь. Топишь-топишь, топишь-топишь, а все как под решетом.

— А к дочери-то почему не едешь?

— Куда-а! Самы ютятся там на пятачке... Жила. Внуки-то маленькие были. жила. Измучились. А теперь уж ребятишки-то в школу пошли, так я уж рада-радешенька — хоть мне эту-то избенку купили. Свой дом в Буланихе я продала. Когда дочь-то замуж-то вышла, продала. Кресто-

вый дом был, сто лет ишо простоят. Продала, что сделаешь. Им на капитив надо, а где взять? Он с армии демобилизовался, зять-то, моя тоже — техникум только закончила. Давай, мол, мама, продадим дом. А тебе, мол, потом купим, если с нами жить не захочешь. Вот и жила, ребятишек вынянчила, а потом уж — нет, давайте, говорю, покупайте мне хоть маленькую избушку. Не могу в городе, с души воротит. Ну, помялись, помялись, нашли денег на избу. В Буланихе-то постройки дорогие, здесь подешевше, вот я здесь и оказалась. Оно бы, конечно, так-то... на старости-то лет... в тепле бы пожить... Не мешало бы.

Старик Глухов ничего про этот разговор не знал. Он знал, что разговор у старух состоится, но какой состоится, не знал. На всякий случай он надел новый пиджак, прихватил бутылочку наливки, туесок меду и пошел к Малышевой.

Пришел... Поздоровался. Смутился чего-то, поставил на стол бутылку, туесок... Полез за кисетом.

— Ты погоди с бутылкой-то, погоди,— сказала Малышиха.— Не торопись.

У старика упало сердце. А он уж крепко настроился на совместную жизнь с Отавиной, все продумал — выходило все хорошо. Что же?

— Выслушала я вас обоих... Конечно, это ваша личная жизнь, вы можете сходитьсь... Люди с ума сходят, и то ничего. Но хочу все же вас спросить: как вам не совестно? А? — Она бросала эти слова в лицо Глухову и Отавиной. И с какой-то необъяснимой жестокостью, от всего сердца, наболевшего тайной какой-то болью, бросала. Бросала и бросала, как ни краснели, ни вертелись на месте, как ни страдали эти жених и невеста.— Как же вы после этого на белый свет глядеть будете? А? Да люди всю жизнь живут одинокие... Я всю жизнь живу одинокая, с двадцати трех лет одинокая... А что, ко мне не сватались? Сватались. Не ходили по ночам, не стучали в окошко? Ходили. Стучали. Ты, Глухов, не приходил ко мне в сельсовет, не говорил, что жить без меня не можешь? Не приходил? Ну-ка, скажи.

Глухов готов был сквозь землю провалиться.

— Я по дурости... выпимши был,— вякнул он.— Я не сватался... Чего ты? Зря-то. Я, мол, когда-то...

— По дурости! А теперь он умный стал — в семьдесят лет жениться надумал. Умник. А ты-то, ты-то!.. «Посмотрю, подумаю... в тепле пожить». Эх ты, богомольница! Туда же... На других пальцем показывае-те — грех. А сами? Какой же вы пример подаете молодым! Вы об этом подумали? Вы свою ответственность перед народом понимаете? — Малышиха постучала сухими костяшками пальцев по столу.— Задумались вы над этим? Нет, не задумались. Эгоисты. Народ сил своих не жалеет — трудится, а вы — со свадьбой затеетесь... на выпивку людей соблазнять и на легкие отношения. Бессовестные.

— Да какая свадьба?! — опять вякнул Глухов. Отавиха, га слова не могла вымолвить.— Сошлись бы потихоньку, и все. Какая свадьба?

— Совсем, как... подзаборники. Тьфу!

— Ну, это!.. знаешь! — взорвался старик.— Пошла ты к... — И выругался матерно. И вышел вон, крепко хлопнув дверью.

А за ним следом вышла и Отавиха. Какой вышли — вылетели как ошпаренные. За воротами, не глядя друг на друга, устремились в разные стороны, хоть обоим надо одним переулком идти — до росстани.

Старик Глухов дал по селу хорошего кругалю и пришел домой. И плевался, и матерился, места не мог найти... Сгоряча даже подумал: «Подожгу стервозу такую!»

Он, конечно, не поджег Малышеву. Но ходить к ней зарекся. А когда встречал ее на улице, отворачивался. Не здоровался.



А Отавиха в город ездила, в церковь,— грех замаливать. Очень страдала старуха, встречаться с Малышевой избегала.

Малышева же никому, ни одному человеку в селе не рассказала про редкостное сватовство. И Глухов и Отавиха ждали, что она всем расскажет. Нет, не рассказала.

### *Шире шаг...*

Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, говорила:

— Солодовников, напишу маме!

Солодовников смущался; Анна Афанасьевна (Анфас — называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам своим, которых судьба тоже растолкала по таким же углам; они еще писали друг другу, жаловались и остряли) приходила в мелкое движение — смеялась. Молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодого врача, молодого донжуана. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его — нравиться людям — пропадает зря: Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль; дай бог ей впредь и всегда добывать для больницы спирт, камфару, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппендицит. Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию,— писал он как-то товарищу своему.— Хотел большую подкожную загнать в руку — начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но... и но: струсил. Нет, не то: зрителей нет, вот что. Хучь бей меня, хучь режь меня — я актер. А моя драгоценная Анфас — не аудитория. Нет».

Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утреннюю сцену с Анной Афанасьевной: он нахмурится виновато, сунется к часам... Вообще он после таких сенок иногда чувствовал себя довольно погано. «Гадкая натура,— думал.— Главное, зачем? Ведь даже не во спасение, ведь не требуется!»

Но при этом испытывал и некое приятное чувство, этакое дорогое сердцу успокоение, что — все в порядке, все понятно, дело мужское, неженатое.

Солодовников вбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придержал ее, чтоб не грохнула... И, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. И когда раздевался, увидел на белой стене, противоположной окну, большой — в окно — желтый квадрат. Свет. Солнце... И как-то он сразу вдруг вспыхнул в сознании, этот квадратный желтый пожар,— весна! На дворе желанная, милая весна. Летел по улице, хрустел ледком, думал черт знает о чем, не заметил, что — весна. А теперь... даже остановился с пальто в руках, засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость — какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и вперед тоже тепло и радость — толкнулась в грудь Солодовникова. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился и поскорей захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном: вот — весна, надо теперь подумать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко подумать. Всего двадцать четыре года,

впереди целая жизнь, надо что-то такое решить теперь же, когда и сила есть, много, и радостно. И весна. Надо начать жить крупно.

Солодовников прошел в свой кабинетик (у него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик), сел к столу и задумался. Не пошел к Анне Афанасьевне. Она сейчас сама придет.

Ни о чем определенном он не думал, а все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас — с весной, светом — в душу, все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя... И невольно стал вслушиваться и в звуки за окном: на жесть подоконника с сосуллек, уже обогретых солнцем, падали капли, и мокрый шлепающий звук их, такой неожиданный, странный в это ясное, солнечное утро с легким морозцем, стал отзываться в сердце — каждым громким шлепком — радостью же. Нет, надо все сначала, думал Солодовников. Хватит. Хорошо еще, что институт закончил, пока валял дурака, у других хуже бывает. Он верил, что начнет теперь жить крупно — самое время, весна: начало всех начал. Отныне берем все в свои руки, хватит. Двадцать пять плюс двадцать пять — пятьдесят. К пятидесяти годам надо иметь... кафедру в Москве, свору учеников и огромное число работ. Не к пятидесяти, а к сорока пяти. Придется, конечно, поработать, но... почему бы не поработать!

Солодовников встал, прошелся по кабинету. Остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля... Огромная жизнь. Но — шаг пошире, пошире шаг, маэстро! Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход — вот отсюда, от этой весны.

Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке:

Отныне буду так:  
Холодный блеск ума,  
Как беспощадный блеск кинжала:  
Удар — закон.  
Удар — конец.  
Удар — и все сначала.

Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинету. Закурил. Его поразило, что он написал стихи. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их писать. Вот это да! Он подошел к столу, перечитал стихи... Хм. Может, они, конечно, того... нагловатые. Но дело в том, что это и не стихи, это своеобразная программа, что ли, сформулировалась такими вот словами. Он еще прошелся по кабинету... Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга: «Удар — конец. Удар — и все сначала». Что сначала: новый язвенник? Ничего... Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, а нашел мудрость обнаружить их смешную слабость. Но их надо сохранить: так — смешно и наивно — начиналась большая жизнь. Солодовников спрятал книжечку. Если к пятидесяти годам не устать, как... лошади, и сохранить чувство юмора, то их можно потом и вспомнить.

А за окном все шлепало и шлепало в подоконник. И заметно согрелось окно. Весна работала. Солодовников почувствовал острое желание действовать.

Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: «Шире шаг, маэстро!»

Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе. Они кивнули друг другу.

— Я понимаю, Николай Васильевич, — любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку, — я вас прекрасно понимаю... Да. Да!.. Пятнадцать листов!

«Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич», — съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку. Не зло съязвил, легко — от избытка доброй силы. Не терпелось скорей заговорить с Анной Афанасьевной.

— Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич!.. Хорошо. Бу сделано! — Анна Афанасьевна пришла в мелкое движение — засмеялась беззвучно. — Я в долгу не останусь. До свиданья! Нет, не у нас, не у нас... Что вы все боитесь нас, как... не знаю... До свиданья — на нейтральной почве! В ресторане? — Анфас опять вся заколебалась. — Ну, посмотрим. Ну, лады! Всего.

«Господи — весь юмор: «бу сделано», «лады», — удивился Солодовников. — И не жалко времени — болтать! Тут теперь каждая минута дорога».

— Ну-с, Георгий Николаевич... — Анна Афанасьевна весело и значительно посмотрела на Солодовникова.

— Да здравствует листовое железо! — тоже весело сказал Солодовников без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза.

— В смысле? — спросила та.

— В смысле: у нас будет самодельный холодильник. — Солодовников встал, подошел к окну, постоял, руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача... Качнулся с носков на пятки. И соврал. Крупно. Неожиданно.

— Начал писать работу, Анна Афанасьевна. «Письма из глубинки. Записки врача».

Это как-то случилось само собой — эти «Письма из глубинки». И Солодовникова опять поразило: это же ведь то, что нужно! С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не «удар — закон». Нет, это реально, умно, точно: это описание интересных случаев операционной практики в условиях сельской больницы. В форме писем к другу «Н». Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий, описание самодельного холодильника — глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом, — и — глубоко, вскользь — весна... Но, конечно же, главным образом работа, работа, работа. Изнуряющая. Радостная. Смелая. Подвижническая. Любовь населения... Уважение. Ночные поездки. Аутотрансплантация. Прободная в условиях полевого стана. Благодарность старушки, ее смешная, искренняя молитва за молоденького неверующего врача... Все это сообразилось в один миг, вдруг, отчетливо, с радостью. Солодовников повернулся к Анне Афанасьевне... Да, тут, конечно, и заботливая, недалекая хлопотунья Анна Афанасьевна, главврач... Которая, прочитав «Записки» в рукописи, скажет, удивленная: «Прямо как роман!» — «Ладно, а как врачу вам это интересно?» — «Очень! Тут же есть просто уникальные случаи!» — «А за себя... не в обиду на автора?» — «Да нет, чего обижаться? Все правда».

— Что, Анна Афанасьевна?

— Уже начали писать? — спросила Анна Афанасьевна. — Записки-то. Поэтому и опоздали?

— Поэтому и опоздал. — Солодовников обиделся на главврача: солдафон в юбке, одно листовое железо в голове. — Извините, — сухо добавил он, — больше этого не случится. — Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. «Все, — подумал он. — Хватит. Пора кончать эти... ужимки и прыжки». Вспомнил свое стихотворение.

— Какой-то вы сегодня странный.

— Что с этим язвенником, с трактористом? — спросил Солодовников. — Будем оперировать?

Анна Афанасьевна больше того удивилась:

— Зубова? Здрассте, я ваша тетя: я его два дня назад в район отправила. Вы что?

— Почему?

— Потому что вы сами просили об этом, поэтому. Что с вами?

— Да, да,— вспомнил Солодовников.— А эта девушка с мениском?

— С мениском лежит... Хотите оперировать?

— Да,— твердо сказал Солодовников.— Сегодня же.

Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее — как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза.

— Так,— молвила Анна Афанасьевна.— Ну, что же... Только вот какое дело, Георгий Николаевич: сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа... Причем это такой человек, что его надо ловить на слове: завтра железа у него не будет, надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске.

Солодовников было огорчился, но подумав, легко согласился:

— Хорошо.

Первая глава в «Записках» будет... о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельность и условия, в каких приходилось работать молодому врачу.

— Что все-таки с вами такое? — опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться.— Серьезная любовь?

Солодовников в свою очередь с любопытством посмотрел на главврача:

— Вы ничего не замечаете? Что происходит на земле...

Анна Афанасьевна даже выглянула в окно.

— Что происходит? Не понимаю...

— Не во дворе у нас, вообще на земле.

— Война во Вьетнаме...

— Нет, я не про то. Лады, Анна Афанасьевна, иду добывать железо! Куда надо идти?

— Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Ненароков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего, там дадут, я договорилась. Скажите Ненарокову, что мы, я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя. Это действительно надо сделать, я давно обещала. Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич. Любовь, да?

— Разрешите идти? — Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой.

— Разрешаю.

Солодовников вышел в коридор... Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на пятно, постоял... «Время идет»,— подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозначало: «Началось мое время. Сдвинулось!»

В кабинетике он опять достал записную книжку и записал:

«Сегодня утром я спросил мою уважаемую Анфас: «Что происходит на земле?» Анфас честно выглянула в окно... Подумала и сказала: «Война во Вьетнаме». — «А еще?» Она не знала. А на земле была Весна».

Это — начало первой главы «Записок». Солодовникову оно понравилось. С прозой он, очевидно, в лучших отношениях. Да, с этого дня, с этого утра время работает на него. На книге, которую он подарит Анне Афанасьевне, он напишет:

«Фоме неверующему — за добро и науку. Автор».  
Вот и все. Ну, а теперь — листовое железо!

В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, там не было.

— Вы, это, захайте за ним, он живет... вот так вот улица повернет от селпо в горку, а вы...

Солодовников поехал один в Образцовку. «Черт с ним, с рабочим, один погружу».

Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил, да Солодовников и не торопил его. Санная езда кончалась; как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежетали по камням; от копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях было голо, Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтоб раскинуть ее и развалиться бы на ней, как, он видел, делают мужики.

На выезде из села, у крайних домов, Солодовников увидел початый стожок сена. Стожок был огорожен пряслом, но к нему веда утопанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стожку. Перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше... И тут услышал сзади злой окрик:

— Эт-то что за елкина мать?! Кто разрешил?

Солодовников вздрогнул испуганно и выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе, без шапки. Нес в руке березовый колышек.

— Я хотел под бок себе...— поспешно сказал Солодовников и сам почувствовал, что говорит трусливо и униженно.— Немного — вот столько — под бок хотел положить...

— А по бокам не хотел? Стяжком вот этим вот... Под бок он хотел! Опояшу вот разок-другой...

— Я врач ваш! — совсем испуганно воскликнул Солодовников.— Мне немного надо-то было... Господи, из-за чего шум?

— Врач...— Мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача.— Надо же спросить сперва. Если каждый будет по охапке под бок себе дергать, мне и коровенку докормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездют...

Мужик явно теперь узнал врача, но оттого, что он тем не менее отчитал его, как школяра, Солодовников очень обиделся.

— Да не надо мне вашего сена, господи! Я немного и хотел-то... под бок немного... Не надо мне его! — Солодовников повернулся и пошел по целику прямо, проваливаясь по колена в жесткий ноздреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что — со стороны посмотреть — вовсе глупо: шагать целиком, когда есть тропинка. Но на тропинке стоял мужик, и его надо было бы обойти.

— Возьми сена-то! — крикнул мужик.— Чего же пустой пошел?

— Да не надо мне вашего сена! — чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись.— Вы же убьете, чего доброго, из-за охапки сена!

Мужик молча глядел на него.

Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжами кобылу и поехал. В какой-то статье он прочитал у какого-то писателя, что «идиотизма деревенской жизни» никогда не было и, конечно же, нет и теперь. «Сам идиот, поэтому и идиотизма нет и не было»,— зло подумал он про писателя.

Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь саднило, и он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвредить ссадины. Но оста-

новился, постоял и раздумал, решил, что в совхозе попросит спирту и протрет ноги.

Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще неплохое продолжение первой главы «Записок». Только с юмором надо как-то... осторожнее, что ли. При чем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь, без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудной, повседневной, нормальной, если хотите, жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких, холодных санях.

Николай Васильевич Ненароков, человек нестарый, сорокалетний, но медлительный (нарочно, показалось Солодовникову), рассудительный... Долго беседовал с Солодовниковым, присматривался. Узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края (по распределению?), собирается ли оставаться здесь после обязательных трех лет... Солодовникову директор очень не понравился. Под конец он прямо и невежливо спросил:

— Вы дадите железо?

— А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно... У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский, вот я и прошупываю, так сказать, почву. Конкурс большой?

— Да, с каждым годом больше.

— Вот,— решил директор.— Нечего и соваться. Есть сельскохозяйственный — прямая дорога. Верно? Специалисты позарез нужны, без работы не будет.

Солодовников пожал плечами:

— Но если человек хочет...

— Мало ли чего мы хотим! Я, может, хочу...— Директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, «может, хочет». Написал на листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову.

— Вот — на складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой, узнаете. Он небось с похмелья.

— Насчет лекции... Анна Афанасьевна просила передать...

Директор махнул рукой.

— Толку-то от этих лекций! Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню — приезжайте.

— Зачем? — не понял Солодовников.

— Ну, лекцию-то читать.

— А при чем тут картина?

— А как людей собрать? Перед картиной и прочтаете. Иначе же их не соберешь. Что?

— Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию.

— Не соберутся,— просто, без всякого выражения сказал директор.— Значит, Морозова спросите, завскладом.

Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест:

— Пятнадцать листов?! А где? У меня их нету.— Он вернул записку. И при этом пылливо посмотрел на врача.— Откуда они у меня?

— Как же? — растерялся Солодовников.— Они же договорились...

— Кто?

— Главврач и ваш директор.

— Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет.— Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача, а чего, Солодовников никак не мог понять.— А то они шибко скорые: Морозов, выдай, Морозов, отпусти... А у Морозова на складе — шаром покати. Тоже мне, понимаешь...

— Как же быть? — спросил Солодовников.

— Не знаю, не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря», они приедут за ним.— Морозов простуженно, со свистом покашлял в кулак... И опять глянул на врача.— Простыл, к черту,— доверительно, совсем не сердито сказал он.— Крутишься день-деньской на улице... Впору к вам ехать — лечиться.

Только теперь сообразил Солодовников, что Морозов хочет опохмелиться.

— Нет железа?

— Есть. Для других. Для вас — нету.

— А телефон тут есть где-нибудь?

— Зачем?

— Я позвоню директору. Что это такое в конце концов: я бросил больных, еду сюда, а тут стоит... некий субъект и корчит из себя черт знает что! Где телефон?

Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза на врача-молокососа:

— А полегче, например,— это как, можно? Без гонора. Мм?

— Где телефон?! — крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахрапистости.— Я вам покажу гонор. И кое-что еще! Мы найдем железо... Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон?

Морозов пошел под навес, сдернул со штабеля толь — там было листовое железо.

— Отсчитывайте пятнадцать листов,— спокойно сказал Морозов,— а мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию.

— Солодовников Георгий Николаевич.

Морозов записал.

— За субъекта... как вы выразились, придется ответить.

— Отвечу.

— Если всякие молокососы будут приезжать и обзывать...

— За молокососа тоже придется ответить. Вы на что намекаете? Что у нас молокососам жизни человеческие доверяют?

— Ничего, ничего,— сказал Морозов. Но такой поворот дела его явно не устраивал.

Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани.

Морозов стоял рядом, считал.

— Привет тете,— сказал Солодовников, отсчитав пятнадцать листов. И поехал.

Морозов закрывал толем штабель. На Солодовникова не оглянулся.

Солодовников поехал с хорошим настроением... Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводине саней, на железе — совсем холодно.

Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла, и лошадь всерьез напрягалась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней.

«Вот так и надо! — удовлетворенно думал Солодовников.— В дальнейшем будет только так». Неприятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом.

Но — то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек — радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, даль неоглядная, где распахнулась во всю красу мокрая весна,— стали безразличны все эти запахи, звуки, пятна... Ну, весна, ну, что же теперь — козлом, что ли, прыгать? Куда как приятнее и веселее

вечером. Вечером они уговорились — компанией в пять-шесть человек — играть в фантики и целоваться. Будет музыка, винишко... Будет там эта курносенькая хохотушка, учительница немецкого языка... Она хохотушка-то хохотушка, но умна, черт бы ее побрал, читала много, друзей интересных оставила в городе. Тут что-то такое... сердчишко у врача вздрагивает. Вздрагивает, чего там. Малость она, правда, вульгаритэ: носик. К тридцати годам носик этот самый на лоб ползет. Курносые предрасположены к полноте. Но где они еще, эти ее тридцать пять—сорок лет!

Солодовников подстегнул кобылку.

Пока он сгрузил в больницу железо и пока отвел лошадь в сельсовет и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Солодовников чувствовал, что устал. Руки тряслись. Он умылся в кабинетике, хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но решил, что завтра с утра. Вошла уборщица и сказала, что там называют без конца, а Анны Афанасьевны нету.

— Ну и что? Скажите, что ее нету.

— Может, вы послушаете. Они там говорят: кто есть, мол.

Солодовников пошел в кабинет главврача, посидел у телефона, дождался, когда он затрещал, снял трубку.

— Больница. Солодовников... Она в районе... А-а, это вы? Получил, получил. Пятнадцать листов, все в порядке. Спасибо... Лекцию?.. Нет, сегодня не получится. Нет. Я не смогу... занят, а Анна Афанасьевна... не знаю, когда она приедет. Нет, я занят. Я оставлю ей записку... Во сколько сеанс-то? Я напишу ей. До свиданья.

Солодовников положил трубку, посидел... И все-таки пошел в палату к девушке с мениском. Посмотрел ее ногу, поговорил с девушкой, с удвоительством похлопал ее по румяной щеке, пощупил. Поговорил с другими больными, послушал их справедливые, скучные слова. Сказал, что на дворе — весна. И ушел. Вошел опять в свой кабинетик, посмотрел на часы — без пятнадцати три, можно отчаливать. Он снял халат, поправил перед зеркалом галстук... Закурил. Нашупал в кармане записную книжку, хмыкнул, вспомнив про стихи, не стал их перечитывать, бросил книжечку в стол, подальше. И пошел из больницы.

Шел опять той дорогой, какой шел утром, старательно обходил лужи... Здравовался со встречными — вежливо, с достоинством (он поразительно скоро и незаметно как-то научился достоинству), но ни с кем не заговаривал.

«Нет, в курносенькой что-то есть,— думал Солодовников.— Определенно что-то есть. Но, пожалуй, слишком уж серьезно к себе относится — это при том, что неумолимая хохотушка. Бережет себя... Так — раззадорить можно, но не больше того. Нет, не больше».

---

## Срѣзал

К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой и дочерью. Попроведовать, отдохнуть.

Деревня Новая — небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси подкатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника... Сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, богатый, ученый.

К вечеру узнали подробности: он сам — кандидат, жена тоже кандидат, дочь — школьница. Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.



Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали Глеба.

Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали.

Глеб Капустин — толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, корреспондент... И вот теперь Журавлев — кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ — слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался, — тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж — вместе — к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника — с блеском, красиво. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось, что полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф, но фамилию перепутал, сказал — Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником... И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался... Бегали к учительнице домой — узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капустин сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался победителем; полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях». Удивлялись на Глеба. Старики интересовались — почему он так говорил.

Глеб посмеивался. И как-то мстительно шурил свои настырные глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались.

И вот теперь приехал кандидат Журавлев...

Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся... Ужинать не стал. Вышел к мужикам на крыльцо.

Закурили... Малость поговорили о том о сем — нарочно не о Журавлеве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлевой. Спросил:

— Гости к бабке Агафье приехали?

— Кандидаты!

— Кандидаты? — удивился Глеб. — О-о!.. Голой рукой не возьмешь.

Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривали с нетерпением на Глеба.

— Ну, пошли попроведаем кандидатов, — скромно сказал Глеб.

И пошли.

Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокойно, руки в карманах, шурился на избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь.

Дорогой говорили мало.

— В какой области кандидаты? — спросил Глеб.

— По какой специальности? А черт его знает... Мне бабенка сказала — кандидаты. И он и жена...

— Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные, эти в основном трепалогией занимаются.

— Костя вообще-то в математике рубил хорошо,— вспомнил кто-то, кто учился с Костей в школе.— Пятерочник был.

Глеб Капустин был родом из соседней деревни и здешних знатных людей знал мало.

— Посмотрим, посмотрим,— неопределенно пообещал Глеб.— Кандидатов сейчас как нерезаных собак.

— На такси приехал...

— Ну, марку-то надо поддержать!..— посмеялся Глеб.

Кандидат Константин Иванович встретил гостей радостно, хлопотал насчет стола... Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе...

— Эх, детство, детство! — сказал кандидат.— Ну, садитесь за стол, друзья.

Все сели за стол. И Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал. Но — видно было — подбирался к прыжку. Он улыбался, поддакнул тоже насчет детства, а сам все взглядывал на кандидата — примеривался.

За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина... И тут он попер на кандидата.

— В какой области выявляете себя? — спросил он.

— Где работаю, что ли? — не понял кандидат.

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем... Ну, можно и так сказать.

— Необходимая вещь.— Глебу нужно было, чтоб была — философия. Он оживился.— Ну, и как насчет первичности?

— Какой первичности? — опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба. И все посмотрели на Глеба.

— Первичности духа и материи.— Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда,— сказал он с улыбкой.— Материя первична...

— А дух?

— А дух — потом. А что?

— Это входит в минимум? — Глеб тоже улыбался.— Вы извините, мы тут... далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься — не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла. Почему — сейчас?

— Но явление-то открыто недавно.— Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату.— Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия — совершенно иначе...

— Да нет такой философии — стратегической! — заволновался кандидат.— Вы о чем вообще-то?

— Да, но есть диалектика природы,— спокойно, при общем внимании продолжал Глеб.— А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один... И почувствовал неловкость. Позвал жену:

— Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович все же чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.

— Давайте установим,— серьезно заговорил кандидат,— о чем мы говорим.

— Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?

Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся. И терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются.

— Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами... — Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать.— Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать. Верно?

— Вы серьезно все это? — спросила Валя.

— С вашего позволения.— Глеб Капустин привстал и сдержанно поклонился кандидатке. И покраснел.— Вопрос, конечно, не глобальный, но, с точки зрения нашего брата, было бы интересно узнать.

— Да какой вопрос-то? — воскликнул кандидат.

— Твое отношение к проблеме шаманизма.— Валя опять невольно засмеялась. Но спохватилась и сказала Глебу: — Извините, пожалуйста.

— Ничего,— сказал Глеб.— Я понимаю, что, может, не по специальности задал вопрос...

— Да нет такой проблемы! — опять сплеча рубанул кандидат. Зря он так. Не надо бы так.

Теперь засмеялся Глеб. И сказал:

— Ну, на нет и суда нет!

Мужики посмотрели на кандидата.

— Баба с возу — коню легче,— еще сказал Глеб.— Проблемы нету, а эти... — Глеб что-то показал руками замысловатое,— танцуют, звенят бубенчиками... Да? Но при желании... — Глеб повторил: — При желании — их как бы нету. Верно? Потому что, если... Хорошо! Еще один вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума?

Кандидат молча смотрел на Глеба. Глеб продолжал:

— Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите, допускается, что внутри живут разумные существа...

— Ну? — спросил кандидат.— И что?

— Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?

Мужики внимательно слушали Глеба.

— Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга?

— Вы кого спрашиваете?

— Вас, мыслителей...

— А вы готовы?

— Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо... Что предлагаете делать? Лаять по-собачьи? Петухом петь?

Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять внимательно уставились на Глеба.

— Но нам тем не менее надо понять друг друга. Верно? Как? — Глеб помолчал вопросительно. Посмотрел на всех.— Я предлагаю: начертить на песке схему нашей солнечной системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотря на то, что я в скафандре, у меня тоже есть

голова и я тоже разумное существо. В подтверждение этого можно показать ему на схеме, откуда он: показать на Луну, потом на него. Логично? Мы, таким образом, выяснили, что мы соседи. Но не больше того! Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе...

— Так, так.— Кандидат пошевелился и значительно посмотрел на жену.— Это очень интересно: по каким законам?

Это он тоже зря, потому что его значительный взгляд был перехвачен; Глеб взмыл ввысь... И оттуда, с высокой выси, ударил по кандидату. И всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент — когда Глеб взмывал кверху. Он, наверно, ждал такого момента, радовался ему, потому что дальше все случилось само собой.

— Приглашаете жену посмеяться? — спросил Глеб. Спросил спойно, но внутри у него, наверно, все вздрагивало.— Хорошее дело... Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает...

— Послушайте!..

— Да мы уж послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, господин кандидат, что кандидатство — это ведь не костюм, который купил — и раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо... поддерживать.— Глеб говорил негромко, но напористо и без передышки — его несло. На кандидата было неловко смотреть: он явно растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков... Мужики старались не смотреть на него.— Нас, конечно, можно тут удивить: подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов... Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели — и кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не так больно.

— Это называется — «покатил бочку», — сказал кандидат.— Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно...

— Не знаю, не знаю,— торопливо перебил его Глеб,— не знаю, как это называется — я в заключении не был и с цепи не срывался. Зачем? Тут,— оглядел Глеб мужиков,— тоже никто не сидел — не поймут. А вот жена ваша сделала удивленные глаза... А там дочка услышит. Услышит и «покатит бочку» в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не «катали бочку» на профессора. Верно? — Глеб встал.— И «одеяло на себья не тянули». И «по фене не ботали». Потому что профессоров надо уважать — от них судьба зависит, а от нас судьба не зависит, с нами можно «по фене ботать». Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко... «микитим». И газеты тоже читаем, и книги, случается, почитываем... И телевизор даже смотрим. И, можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от «Кабачка «13 стульев». Спросите, почему? Потому что там — та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конечно, ничего не сделаешь. Только не надо делать вид, что все там гении. Кое-кто понимает... Скромней надо.

— Типичный демагог-кляузник,— сказал кандидат, обращаясь к жене.— Весь набор тут...

— Не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал.— Глеб посмотрел на мужиков: мужики знали, что это правда.— Не то, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?

— Хочу, объясните.

— Люблю по носу шелкнуть — не задирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие товарищи...

— Да в чем же вы увидели нашу нескромность? — не вытерпела Валя.— В чем она выразилась-то?

— А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте — и поймете.— Глеб даже как-то с сожалением посмотрел на кандидатов.— Можно ведь сто раз повторить слово «мед», но от этого во рту не станет сладко. Для этого не надо кандидатский минимум сдавать, чтобы понять это. Верно? Можно сотни раз писать во всех статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. Так что когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней. Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свиданья. Приятно провести отпуск... среди народа.— Глеб усмехнулся и не торопясь вышел из избы. Он всегда один уходил от знатных людей.

Он не слышал, как потом мужики, расходясь от кандидатов, говорили:

— Оттянул он его!.. Дошлый, собака. Откуда он про Луну-то так знает?

— Срезал.

— Откуда что берется!

И мужики изумленно качали головами.

— Дошлый, собака. Причесал бедного Константина Иваныча... А? Как миленького причесал! А эта-то, Валя-то, даже рта не открыла.

— А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Костя-то, хотел, конечно, сказать... А тот ему на одно слово — пять.

— Чего тут... Дошлый, собака!

В голосе мужиков слышалась даже как бы жалость к кандидатам, сочувствие. Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял. Изумлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще.

Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим (играть будет), спросит мужиков:

— Ну, как там кандидат-то?

И усмехнется.

— Срезал ты его,— скажут Глебу.

— Ничего,— великодушно заметит Глеб.— Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берет на себя...

---

## *Митька Ермаков*

Всю темную, осеннюю ночь ровно и сильно дул ветер. Байкал к утру здорово раскочало. Утром ветер поослаб, но волны катились высокие — Байкал сердито шумел, хлестал в каменистый берег, точно на нем хотел выместить теперь всю злость, какую накопил за тревожную ночь.

На берегу собрались туристы, отдыхающие... Смотрели на Байкал, бросали в воду палки. Кто-то, глядя на эти палки, сказал:

— Смотрите, чем дальше палка от берега, тем дольше ее не выбрасывает.

— Да.

— Простите, это велосипед.

— Почему?

— Это давно известно. Корабли в шторм стараются уйти подальше от берега.

— Я думал не о законе как таковом, а о том, что это... похоже на людей.

— Каким образом?

— Сильные идут дальше. В результате в шторм... в житейский, так сказать, шторм выживают наиболее сильные — кто дальше отгребется.

— Это слишком умно...

— Это слишком неверно, чтобы быть умным.

— Почему?

— Вопрос: как оказаться подальше от берега?

— Я же и говорю: наиболее сильные...

— А может быть, так: наиболее хитрые?

— Я имел в виду другую силу — настоящую.

— Важен результат...

Очкарики... Все образованные, прочитали уйму книг... О силе стоят толкуют. А столкни сейчас в воду любого — в одну минуту пузыри пустит. Очки дольше продержатся на воде.

Вот в этом — что очки дольше держатся на воде, чем сам очкарик, — никогда в своей жизни не сомневался Митька Ермаков. Он в этот час тоже вышел глянуть на Байкал... Постоял на берегу (разговор очкариков слышал), криво улыбнулся и пошел к воде...

Но надо хоть немного рассказать о Митьке. Митька — это ходячий анекдот, так про него говорят. Определение броское, но мелкое и о Митьке говорящее не больше, чем то, что он выпивоха. Но главное, Митька — мечтатель. Мечтал смолоду. Совсем еще юным мечтал, например, собраться втроем-вчетвером, оборудовать лодку, взять ружья, снасти и сплыть по рекам к Ледовитому океану. А там попытаться продвинуться по льду к Северному полюсу. Мечтал также отправиться в поисковую экспедицию в Алтайские горы — искать золото и ртуть. Много мечтал. Все мечтал, но другие — отмечали и принялись устраивать свою жизнь... подручными, так скажем, средствами. Митька превратился в самого нелепого, безнадежного мечтателя — великовозрастного. Жизнь лениво жевала его мечты, над Митькой смеялись, а он — с упорством неистребимым — мечтал. Только научился скрывать от людей свои мечты. А мечты были — одна причудливее другой. Вот, допустим, узнал он одну травку... Травка так себе, неказистая, почти все знают ее, но никто не знает, что этой травкой можно лечить... рак. А Митька знает. Он по ночам, чтобы никто не видел, собирает с фонариком эту травку, настаивает и лечит направо и налево. В три дня. Славу Митьке поют великую, поговаривают, не отлить ли ему еще при жизни золотой памятник в рост... Митька только криво улыбается на эту затею, пьет шампанское, живет с женщинами, вылеченными им от рака... И напоминает людям, как они смеялись над ним. К нему — запись со всего земного шара. Митька по утрам обходит скорбные ряды и показывает пальцем: «Можно», «Подождать», «Подождать», «Можно», «Срочно ко мне». Лечит сперва тех, кто победней и помоложе. Женщины до тридцати идут вне очереди. Митька жесток: настаивит мужу рога, не задумается. И живет он с женщинами, вылеченными от рака, не таясь, открыто. И пусть только мужья заикнутся, что... Раза два было: мужья возмутились. Благодарные женщины

чуть не выцарапали им глаза. Ученые и президенты ползают на коленях перед Митькой: «Скажи, что за травка?» Митька криво улыбается... «Вы по ней ходите». — «Скажи!» — «Фигу вам!» Бывает, что он кричит на президентов: «Трепачи! Слюнтяи!.. Только болтать умеете!» Принимает Митька на берегу Байкала. У него огромный двухэтажный дом, причем весь второй этаж — спальня. Там у него гигантские фикусы, ковры на полу, ковры на стенах, туалетные столики, столики для газет и журналов, ширмы... На подоконнике — увлажнитель с «шипром».

В нетрезвом состоянии Митька проговаривается, но никто не понимает — о чем он.

— Да, знаю! — кричит Митька в магазине. — Но вам не скажу. Фигу вам!

— Чего ты, Митька?

— Вы по ней ходите. Ногами ее топчете, а дотумкать — вот!.. — Митька стучит себя по лбу и криво улыбается. — Не дано.

...Итак, Митька, послушав рассуждения о сильных и несильных, криво улыбнулся и пошел к воде. И начал снимать фуфайку, пиджак...

— Освежиться, что ли, малость! — сказал он.

— Куда вы? — удивились очкарики. — Вы же простынете! Вода — пять градусов.

— Простынете же!

Митька даже не посмотрел на очкариков (там была женщина, которую он с удовольствием вылечил бы от рака). Снял рубаху, штаны... Поднял большой камень, покидал с руки на руку — для разминки. Бросил камень, сделал несколько приседаний и пошел волнам навстречу. Очкарики смотрели на него.

— Остановите его, он же захлебнется! — вырвалось у девушки. (Девушка — еще и в штанишках, черт бы их побрал с этими штанишками. Моду взяли!)

— Морж, наверно.

— По-моему, он к своим тридцати шести добавил еще сорок градусов.

Митька взмахнул руками, крикнул:

— Эх, роднуля! — И нырнул в «набежавшую волну». И поплыл. Плыл саженками, красиво, пожалуй слишком красиво — нерасчетливо. Плыл и плыл, орал, когда на него катилась волна:

— Давай!

Подныривал под волну, выскакивал и опять орал:

— Хорошо! Давай еще!..

— Сибиряк, — сказали на берегу. — Все нипочем.

— ...авай! — орал Митька. — Роднуля!

Но тут «роднуля» подмахнул высокую стремительную волну... Митька хлебнул раз, другой, закашлялся... А «роднуля» все накатывал, все стегал наглеца. Митька закрутился на месте, стараясь высунуть голову повыше. «Роднуля» бил и бил его холодными мягкими лапами, толкал вглубь...

— ...сы-ы! — донеслось на берег. — Тру... сы спали-и!.. Тону!

Очкарики заволновались.

— Он серьезно, что ли?

— Он же тонет, ребята!

— Э-эй! Ты серьезно, что ли?!

— Да серьезно, какого черта!..

— ...у-у! — орал Митька. Он серьезно тонул. Видно было, как он опять хлебнул... Скрылся под водой, но опять выкарабкался. Но больше уже не орал.

— Лодку! Лодку!..— забегали на берегу.— Эй, держись!  
Побежали к лодке, что лежала метрах в ста отсюда и далеко от воды. Но кто-то разглядел:

— Она примкнута к коряге.

— Черт, утонет ведь! Еще хлебнет пару раз и...

— Ребята, ну что же вы?! — чуть не плакала девушка в штанишках.

Голова Митьки поплававком качалась в волнах, скрывалась из виду, опять появлялась... И руками Митька теперь взмахивал реже.

— Ребята, ну что вы?!

Двое очкариков начали торопливо сбрасывать с себя одежду. Вот скинул один, прыгнул в воду, ойкнул и сильно погреб к Митьке. И второй прыгнул в воду и стал догонять первого.

— Эй, держись! Держи-ись! — кричала девушка и махала зачем-то руками.— Ребята, они успеют?

— Успеют.

— Вот фраер-то!..

— Зачем он полез-то!

— Семьдесят шесть градусов, Николай верно говорил.

— Трепач-то!.. Хоть бы успели.

— Мне эти сильные!.. Сибиряки. Куда полез? Зачем?

— Ребят, успеют или нет? Где он, ребята?!

Ребята только-только успели: поймали Митьку за волосы и погребли к берегу.

Митька наглотался изрядно. Очкарики начали делать ему искусственное дыхание по всем правилам где-то когда-то усвоенной науки спасения утопающих: подложили Митьке под поясницу кругляш, болтали бесчувственными Митькиными руками, давили на живот... Митька был без трусов, и девушка просила издали:

— Ребята, ну наденьте ему брюки. Ребят, ну наденьте! Я помогу вам откачивать...

— Ты лучше беги в магазин,— попросил один из тех, что плавал за Митькой. Он прыгал на одной ноге, стараясь попасть другой в штанину. Его так трясло, что вблизи слышно было, как он щелкает зубами.— А то пропадешь, к черту... с этими моржами.

— Ребят, вам теперь медали дадут, да?

Те, что возились с Митькой, захихикали:

— Ирочка, без трусов не считается. Мы же его без трусов спасли...

Митька стал подавать признаки жизни. Открыл глаза, замычал... Потом его стало рвать водой и корезить. Рвало долго, Митька устал. Закрыв глаза. Потом вдруг — то ли вспомнил, то ли почувствовал, что он без трусов,— вскочил. Очкарики засмеялись. Митька — бегом по камням, прикрывая руками стыд, добежал к своей одежде, схватил, еще три-четыре прыжка — и он скрылся в кустах. И больше не появлялся.

Очкарики пошли в магазин — покупать лекарство для двух своих героев. А заодно полагалось выпить и за здоровье спасенного.

— Зря он сбежал! — сокрушались.— Лютенко нахмурится: «В честь чего выпивка?» — «Спасли утопающего». Не поверит. Скажет, выдумали. Ира, подтвердишь?

— Если вам не полагаются медали, то и выпивка не полагается. Я против.

— А зря он в кусты сиганул! Прямо детектив: спасли утопающего, он схватил одежду и был таков.

Беззаботный народ, эти очкарики! Шляются по дорогам... Все бы им хаханьки, хиханьки. Несерьезно как-то все это. В их годы... Но вернемся к Митьке.



Митька перед закрытием магазина пришел туда еще раз. Он был уже хорош. Отглянулся, спросил продавщицу негромко:

- Здесь бумажник никто не находил?
- Какой бумажник?
- Кожаный... в нем пятнадцать отделений.
- Твой, что ли?
- Не имеет значения. Никто не поднимал?
- Нет. А что там было?
- Деньги.
- Твои, что ли?
- Не имеет значения.
- Много денег?
- Полторы тысячи.
- Новых?!
- Новых... Новеньких. Никто не поднимал?

Тут только сообразила продавщица, что у Митьки «транс». Митька наскочил на новый сюжет.

— Господи!.. Митька, заикой сделаешь так. Да ведь как серьезно, черт такой! Ты хоть раз в глаза видал такие деньги?

Митька криво улыбнулся:

— Хочешь, я тебе сейчас... Ну, ладно. Замнем для ясности. Дай бутылку.

— Чего «я сейчас»?

— Ладно, ладно. Давай бутылку и помалкивай. Я про деньги не спрашивал.

— Женился бы ты, чудак человек, — с искренним сочувствием сказала продавщица, здешняя женщина, знавшая Митьку с малых лет. — Женился — заботы пойдут, некогда выдумывать-то будет что попало...

— Ладно, ладно, — сказал Митька. Взял бутылку и пошел из магазина. На пороге остановился, еще раз предупредил продавщицу: — Имей в виду: я про деньги не спрашивал. Если кто найдет, станут тебе отдавать — ты ничего не знаешь, чьи они.

— Ладно, Митя, не скажу. Только ведь не отдадут.

— Как?

— А то не знаешь — как? Найдут и промолчат. Полторы тыщи — это дом крестовый, какой же дурак отдаст. Присвоят, и все.

— На всякий случай: ты ничего не знаешь.

— Добро.

Митька ушел.

Да, опять у него это самое... Похоже, изобрел машинку для печатания бумажных денег. Опять будет помогать бедным и женщинам. Митька — щедрый человек, но очень наивный: ведь попадутся бедные и женщины с фальшивыми деньгами! И им же будет плохо. Об этом он почему-то не думает. Лучше уж рак лечить — безопасней.

## *Крепкий мужик*

В третьей бригаде колхоза «Гигант» сдали в эксплуатацию новое складское помещение. Из старого склада — из церкви — вывезли пустую вонючую бочкотару, мешки с цементом, сельповские кули с сахаром-песком, с солью, вороха рогожи, сбрую (коней в бригаде всего пять, а сбруи нашито на добрых полтора десятка; оно бы ничего, запас

карман не трет, да мышцы окаянные... И дегтярили, и химией обсыпали сбрую — грызут), метла, грабли, лопаты... И осталась она пустая, церковь, вовсе теперь никому не нужная. Она хоть небольшая, церковка, а оживляла деревню (некогда сельцо), собирала ее вокруг себя, далеко выставляла напоказ.

Бригадир Шурыгин Николай Сергеевич постоял перед ней, подумал... Подошел к стене, поколупал кирпичи подвернувшимся ломиком, закурил и пошел домой.

Встретившись через два дня с председателем колхоза, Шурыгин сказал:

— Церква-то освободилась теперь...

— Ну.

— Чего с ней делать-то?

— Закрой да пусть стоит. А что?

— Там кирпич добрый, я бы его на свинарник пустил, чем с завода-то возить.

— Это ее разбирать — надо пятерым полмесяца возиться. Там не кладка, а литье. Черт их знает, как они так клали!

— Я ее свалю.

— Как?

— Так. Тремя тракторами зацеплю — слетит как миленькая.

— Попробуй.

В воскресенье Шурыгин стал пробовать. Подогнал три могучих трактора... На разной высоте обвели церковку тремя толстыми тросами, под тросы — на углах и посреди стены — девять бревен...

Сперва Шурыгин распорядился этим делом, как всяким делом, — крикливо, с матерщиной. Но когда стал сбегаться народ, когда кругом стали ахать и охать, стали жалеть церковь, Шурыгин вдруг почувствовал себя важным деятелем с неограниченными полномочиями. Перестал материться и не смотрел на людей — вроде и не слышал их и не видел.

— Николай, да тебе велели али как? — спрашивали. — Не сам ли уж надумал?

— Мешала она тебе?!

Подвыпивший кладовщик, Михайло Беляков, полез под тросами к Шурыгину.

— Колька, ты зачем это?

Шурыгин всерьез затрясся, побелел:

— Вон отсудова, пьяная харя!

Михайло удивился и попятился от бригадира. И вокруг все удивились и примолкли. Шурыгин сам выпивать горазд и никогда не обзывался «пьяной харей». Что с ним?

Между тем бревна закрепили, тросы подровняли... Сейчас взрвут тракторы, и произойдет нечто небывалое в деревне — упадет церковь. Люди постарше все крещены в ней, в ней отпевали усопших дедов и прадедов, как небо привыкли видеть каждый день, так и ее...

Опять стали раздаваться голоса:

— Николай, кто велел-то?

— Да сам он!.. Вишь, морду воротит, черт.

— Шурыгин, прекрати своевольничать!

Шурыгин — ноль внимания. И все то же сосредоточенное выражение на лице, та же неподкупная строгость во взгляде. Подтолкнули из рядов жену Шурыгина, Кланьку... Кланька несмело — видела: что-то непонятное творится с мужем — подошла.

— Коль, зачем свалить-то хочешь?

— Вон отсудова! — велел и ей Шурыгин. — И не лезь!

Подошли к трактористам, чтобы хоть оттянуть время — побежали звонить в район и домой к учителю. Но трактористам Шурыгин посулил по бутылке на брата и наряд «на исполнение работ».

Прибежал учитель, молодой еще человек, уважаемый в деревне. — Немедленно прекратите! Чье это распоряжение? Это семнадцатый век!..

— Не суйтесь не в свое дело, — сказал Шурыгин.

— Это мое дело! Это народное дело!.. — Учитель волновался, поэтому не мог найти сильные, убедительные слова, только покраснел и кричал: — Вы не имеете права! Варвар! Я буду писать!..

Шурыгин махнул трактористам... Моторы взревели. Тросы стали натягиваться. Толпа негромко, с ужасом вздохнула. Учитель вдруг сорвался с места, забежал с той стороны церкви, куда она должна была упасть, стал под стеной.

— Ответишь за убийство! Идиот!..

Тракторы остановились.

— Уйди-и! — заревел Шурыгин. И на шее у него вспухли толстые жилы.

— Не смей трогать церковь! Не смей!

Шурыгин подбежал к учителю, схватил его в беремя и понес прочь от церкви. Щуплый учитель вырывался как мог, но руки у Шурыгина крепкие.

— Давай! — крикнул он трактористам.

— Становитесь все под стену! — кричал учитель всем. — Становитесь!.. Они не посмеют! Я поеду в область, ему запретят!..

— Давай, какого!.. — заорал Шурыгин трактористам.

Трактористы усунулись в кабины, взяли за рычаги.

— Становитесь под стену! Становитесь все!..

Но все не двигались с места. Всех парализовало неистовство Шурыгина. Все молчали. Ждали.

Тросы натянулись, закрипели, затрещали, зазвенели... Хрустнуло одно бревно, трос, врезавшись в угол, запел балалаечной струной. Странно, что все это было хорошо слышно — ревели же три трактора, напрягая свои железные силы. Дрогнул верх церкви... Стена, противоположная той, на какую сваливали, вдруг разодралась по всей ширине... Страшная, черная в глубине, рваная щель на белой стене пошла раскрываться. Верх церкви с маковкой поклонился, поклонился и ухнул вниз.

Шурыгин отпустил учителя, и тот, ни слова не говоря, пошел прочь от церкви.

Два трактора еще продолжали скрести гусеницами землю. Средний по высоте трос прорезал угол и теперь без толку крошил кирпичи двух стен, все глубже врезаясь в них.

Шурыгин остановил тракторы. Начали по-новой заводить тросы.

Народ стал расходиться. Остались самые любопытные и ребятишки.

Через три часа все было кончено. От церкви остался только невысокий, с неровными краями остов. Церковь лежала бесформенной грудой, прахом. Тракторы уехали.

Потный, весь в пыли и известке, Шурыгин пошел звонить из магазина председателю колхоза.

— Все, угорела! — весело закричал в трубку.

Председатель, видно, не понял, кто угорел.

— Да церква-то! Все, мол, угорела! Ага. Все в порядке. Учитель

тут пошумел малость... Но! Учитель, а хуже старухи. Да нет, все в порядке. Гробанулась здорово! Покрошилось много, ага. Причем они так: по три, по четыре кирпича — кусками. Не знаю, как их потом долбать... Попробовал ломиком — крепкая, зараза. Действительно, литье. Но! Будь здоров! Ничего.

Шурыгин положил трубку. Подошел к продавщице, которую не однажды подымал ночами с постели — кто-нибудь приезжал из района рыбачить, засиживались после рыбалки у бригадира до вторых петухов.

— Видела, как мы церкву уговорили? — Шурыгин улыбался, довольный.

— Дурацкое дело не хитрое, — не скрывая злости, сказала продавщица.

— Почему дурацкое? — Шурыгин перестал улыбаться.

— Мешала она тебе, стояла?

— А чего ей зря стоять? Хоть кирпич добудем...

— А то тебе, бедному, негде кирпич достать! Идиот.

— Халява! — тоже обозлился Шурыгин. — Не понимаешь, значит, помалкивай.

— Разбуди меня еще раз посередь ночи, разбуди, я те разбужу! Халява... За халяву-то можно и по морде получить. Дам вот сейчас гирькой по кумполу, узнаешь халяву.

Шурыгин хотел еще как-нибудь обозвать дуру продавщицу, но подошли вездесущие бабы.

— Дай бутылку.

— Иди промочи горло-то, — заговорили сзади. — Пересохло.

— Как же — пыльно!

— Руки чесались у дьявола...

Шурыгин поглядывался строго на баб, но их много, не перекричать. Да и злость их — какая-то необычная: всерьез ненавидят. Взял бутылку, пошел из магазина. На пороге обернулся, сказал:

— Я вам прижму хвосты-то!

И скорей ушел.

Шел, злился: «Ведь все равно же не молились, паразитки, а теперь хай устраивают. Стояла — никому дела не было, а теперь хай подняли».

Проходя мимо бывшей церкви, Шурыгин остановился, долго смотрел на ребятишек, копавшихся в кирпичах. Смотрел и успокаивался.

«Вырастут, будут помнить: при нас церкву свалили. Я вон помню, как Васька Духанин с нее крест своротил. А тут — вся грохнулась. Конечно, запомнят. Будут своим детишкам рассказывать: дядя Коля Шурыгин зацепил тросами и... — Вспомнилась некстати продавщица, и Шурыгин додумал зло и непреклонно: — И нечего ей стоять, глаза мозолить».

Дома Шурыгина встретили форменным бунтом: жена, не приготовив ужина, ушла к соседкам, хворающая мать заругалась с печки:

— Колька, идол ты окаянный, грех-то какой взял на душу!.. И молчал, ходил молчал, дьяволина... Хоть бы заикнулся раз — тебя бы, может, образумили добрые люди. Ох, горе ты мое горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди. Проклянут ведь тебя, проклянут! И знать не будешь, откуда напасти ждать: то ли дома окочурисся в одночасье, то ли где лесинной прижмет невзначай...

— Чего эт меня проклинать-то возьмутся? От нечего делать?

— Да грех-то какой!

— Ваську Духанина прокляли — он крест своротил? Наоборот, **большим** человеком стал...

— Тада время было другое. Кто тебя час-то подталкивал — рушить ее? Кто? Дьявол зудил руки... Погоди, тебя ишо сама власть взгрет за это. Он вот, учитель-то, пишет, сказывали, он вот напишет куда следоват — узнаешь. Гляди-ко, тогда устояла, матушка, так он теперь нашелся. Идол ты лупоглазый.

— Ладно, лежи хворай.

— Глаз теперь не кажи на люди...

— Хоть бы молиться ходили! А то стояла — никто не замечал...

— Почто это не замечали! Да, бывало, откуда ни идешь, а ее уж видишь. И как ни пристанешь, а увидишь ее — вроде уж дома. Она сил прибавляла...

— Сил прибавляла... Ходят они теперь пешком-то! Атомный век, понимаешь, они хватились церкву жалеть. Клуба вон нету в деревне — ни один черт не охнет, а тут — загоревали. Переживут!

— Ты-то переживи теперь! Со стыда теперь усохнешь...

Шурыгин, чтобы не слышать ее ворчанья, ушел в горницу, сел к столу, налил сразу полный стакан водки, выпил. Закурил.

«К кирпичам, конечно, ни один дьявол не притронется,— подумал.— Ну и хрен с ними! Сгрэбу бульдозером в кучу и пусть крапивой зарастает».

Жена пришла поздно. Шурыгин уже допил бутылку, хотелось выпить еще, но идти и видеть злую продавщицу не хотелось — не мог. Попросил жену:

— Сходи возьми бутылку.

— Пошел к черту! Он теперь дружок тебе.

— Сходи, прошу...

— Тебя просили, ты послушал? Не проси теперь и других. Идиот.

— Заткнись. Туда же...

— Туда же! Туда же, куда все добрые люди! Неужели туда же, куда ты, харя необразованная? Просили, всем миром просили — нет! Вылупил шары-то свои...

— Замолчи! А то опояшу разок...

— Опояшь! Тронь только, харя твоя бесстыжая!.. Только тронь!

«Нет, это, пожалуй, на всю ночь. С ума походили люди».

Шурыгин вышел во двор, завел мотоцикл... До района восемнадцать километров, там магазин, там председатель колхоза. Можно выпить, поговорить. Кстати, рассказать, какой ему тут скандал устроили... Хоть посмеяться.

На повороте из переулка свет фары выхватил из тьмы безобразную грудку кирпича, пахнуло затхлым духом потревоженного подвала.

«Семнадцатый век,— вспомнил Шурыгин.— Вот он, твой семнадцатый век! Писать он, видите ли, будет. Пиши, пиши».

Шурыгин надал газку... И пропел громко, чтобы все знали, что у него — от всех этих проклятий — прекрасное настроение:

Что ты, что ты, что ты, что ты!  
Я солдат девятой роты,  
Тридцать первого полка...  
Оп, гирдар-пупия!

Мотоцикл вырулил из деревни, воткнул в ночь сверкающее лезвие света и помчался по накатанной ровной дороге в сторону райцентра. Шурыгин уважал быструю езду.

## *Крыша над головой*

Вечером, в субботу, в клубе села Нового собрались обсуждать только что полученную пьесу. Собралось человек двенадцать — участники художественной самодеятельности.

Речь держит Ваня Татусь, невысокий крепыш, честолюбивый, обидчивый и вредный. Он в этом году окончил областную культпросветшколу и неумеренно пижонит. Он руководитель художественной самодеятельности.

— Я собрал вас, чтобы сообщить важную новость...

— К нам едет ревизор?

Это Володька Маров. Володька дружит с медсестрой Верой, которая нравится Ване Татусю, но Ваня это скрывает, надеется, что Вера сама заметит гордого Ваню и покинет дубинистого Володьку. Если же она останется с шофером Володькой, то пусть пеняет на себя. Основания для того, чтоб она потом страдала и расклевалась, будут. А Володька знает — почувствовал, что ли, — тайные помыслы Вани и ест его поедом. Для того и в самодеятельность записался. Медсестра Вера сидит здесь же — она помешалась на самодеятельности и тем еще злит Ваню, что с такой-то любовью к драматическому искусству не может, дурочка, сообразить, что любить надо — режиссера. Интересно, о чем они говорят с Володькой? О поршнях?

— Маров, острить будешь потом. — Ваня понимает, что не надо даже и замечать-то Володьку, не то что вступать в разговоры с ним, но не может сдержаться — старается тоже укусить соперника. — Мы получили из области пьесу. Пьесу написал наш областной автор. Мы должны ее отрепетировать и показать на областном смотре. Остри, Маров, тот, кто острил последним.

— Ослит, — поправляет Володька.

— Перестань! — сердито говорит Вера. — Про что пьеса, Ваня? Женские роли есть?

— Пьеса из колхозной жизни, бьет по... — Ваня заглянул в аннотацию. — Бьет по частнособственническим интересам. Автор сам вышел из народной гущи, хорошо знает современную колхозную деревню, ее быт и нравы. Слово его крепко, как... дуга.

— Как это — из гущи? — спросил Васька Ермилов, по общему мнению, дураковатый парень, тоже шофер, дружок Володьки. Володька привлек его с собой в самодеятельность, чтобы не скучно было. Васька, глядя на своего дружка, понял так, что здесь надо всюю остричь и подсмеиваться.

— Вася, помолчи, ради бога! — Вера гневно смотрит на Ваську.

— Но я недопонимаю: как это — вышел из гущи? Гуща — это когда пива на доньшке остается...

— Кто про что, а вшивый все про баню, — заметил один женатый мужик.

— А ты понимаешь?

— Из гущи — значит, из низов, из простонародья.

— Простонародья теперь нет. Из рядовых колхозников, — поправил Ваня.

— Так бы и писали, — ворчит Васька. Он совсем не умеет шутить.

— Я бы сказал так, — не унимается женатый мужик, — из трудового крестьянства.

Ходил еще в самодеятельность один старик, Елистратыч, вечный шут. Он среди молодых считался специалистом по вопросам старины, и все, что в пьесах касалось крестьянства, коллективизации например,

прямо касалось его. Когда сказали «крестьянство», Елистратыч встрепенулся:

— Крестьян теперь тоже нет — колхозники. (Он говорил: колхозники.)

— Ваня, женские роли есть? — спросила Вера.

— Помолчите, товарищи! — строговато сказал Ваня. — Я сейчас коротко расскажу содержание пьесы, и вам станет все понятно. В колхоз из армии возвращается хороший парень Иван Петров. Сначала он... — Ваня читает предисловие, — активно включается в трудовую жизнь колхозного крестьянства...

— Пожалуйста: колхозного крестьянства! — воскликнул женатик.

— Трудового — тоже можно говорить. Колхозное крестьянство — это и есть трудовое. Продолжаю: активно включается в трудовую жизнь, но затем женится... Есть, как видите, женщины. Иначе на ком же он женится? Он женится и попадает под влияние тестя и тещи, а потом и жены: становится стяжателем. Начинает строить себе дом, обносит его высоким забором... Пьеса называется «Крыша» на головой». «Крыша» взята в кавычки, потому что дом большой — это уже не крыша. Ивану делают замечание — чтобы он поумерился. Иван отговаривается материальным стимулированием...

— А отец с матерей его живые? — встрепенулся опять Елистратыч.

— Всех удивляет: откуда в нем это? — продолжает Ваня, не слушая Елистратыча. — Его продергивают в стенгазете, молодежь из самодеятельности сложила о нем обличительные частушки... То, что я предлагал сделать с Ивановым, но меня не поддержали.

— Иванов — трудяга.

— А этот? Вопрос: в чью пользу трудяга? В общем, озорные девчата исполнили эти частушки с клубной сцены; в зале — веселая реакция. Но Иван не унижается. Тогда его разбирают на колхозном собрании. Один за другим на трибуну поднимаются колхозные активисты, бывшие товарищи Ивана, пожилые колхозники — суд их суров, но справедлив. Все разъясняют Ивану, что он, возводя над собой так называемую крышу, тем самым отгораживается от коллектива... То есть под крышей надо понимать забор. Крыша тире забор. Это понятно?

— А какую позицию занимает жена? — Это все Вера.

— Там же сказано: действовали совместно, — сказал женатик.

Елистратыч вспомнил народную мудрость:

— Муж да жена — одна сатана.

— Она тоже присутствует на собрании?

— И только тут, на собрании, — продолжает Ваня, — Иван осознает, в какое болото затащили его тесть с тещей. Он срывается и бежит к недостроенному дому... Дом он уже подвел под крышу. Он подбегает к дому, трясущимися руками достает спички... — Ваня понизил голос, не торопится здесь — актер! Вот тут Ваня выдал: — И — поджигает дом!

Никто не ждал этого.

— Как?

— Сам?

— Он что?..

— Эт-то он... А пожарка в деревне есть?

Вера потрясена пьесой.

— Это трагедия, да? Вань?

— Если не трагедия, то... во всяком случае социальная драма.

— А мы чего-нибудь будем жечь? — интересуется один любитель пиротехники.

— Да, товарищи, — продолжает Ваня, — он сам поджигает дом, который сам, собственными руками рубил в неурочное время.

— Дом-то сгорел? — спрашивает Володька, задетый за живое Ваниным торжеством. Ему не верится, чтобы в современной пьесе сгорел дом.

— Когда дело-то происходит? — Женатик тоже не понимает, как это дом может сгореть. — Летом?

— Спокойно, спокойно, — говорит артист Ваня. — Он поджигает дом, но колхозники... Тут самый накал пьесы. Развязка. Обратите внимание, как автор подходит к финалу — резкими мазками! Иван срывается с места и с криком: «Подонки! Куда они меня завели?!» — выбегает с собрания. Жена...

— Он же уже выбежал.

— Жена бросается за ним. Убежала.

— Он же уже выбежал!

— Через некоторое время бледная жена прибегает на собрание... В это время собрание перешло к другому вопросу. Жена врывается на собрание и кричит срывающимся голосом: «Скорее! Он поджег дом!» Колхозники срываются с места и бегут к новому дому. Один старик... бежит совсем в другую сторону — к дому тестя Ивана. И кричит за кулисами: «Вы горите или нет?!» Это уже элемент трагикомедии. Мы всю пьесу будем решать в трагикомическом ключе.

— Но дом-то сгорел? — опять спрашивает Володька.

— Дом спасают колхозники. Ивану объяснили, что дом пойдет под колхозные ясли. Иван сам принимает участие в тушении пожара и все повторяет: «Подонки! Куда они меня завели!»

— Это про кого он? — не понял Васька.

— О боже мой! Да про тестя с тещей, неужели не понятно?

— Сильная пьеса!

— И все? Конец? — спрашивает Володька.

— В конце Иван, смущенный, но счастливый, подписывает вместе с другими парнями и девушками обязательство: сдать ясли к Новому году.

— А где он жить будет? — Это Володька.

— Поживет пока у тестя... — начал было Ваня, но спохватился: герой только что крыл тестя и тещу «подонками». — Найдет где жить.

— Где?

— А тебя что, не устраивает идея пьесы?

— Идея-то меня устраивает. Я спрашиваю, где он жить будет?

— А по-моему, тебя сама идея не устраивает.

— Ты мне политику не шей. Я спрашиваю, где он жить будет?

Женатику надоели эти пререкания.

— Допустим, он себе еще один домик срубит — поменьше. Доволен?

— На какие же такие деньги: один дом рубит, другой?..

— Другой — это уже за кадром, — резко сказал Ваня. — Другой нас уже не интересует. Перед нами — пьеса, и надо относиться к ней профессионально. Но, по-моему, тебя и первый дом не устраивает...

— На первое время к тестю пойдет, — сказал женатик.

— Да не пойдет он к тестю! — взорвался Васька. — Вы что? У них после этого ругань будет несусветная. Ведь он же помогал ему рубить дом? Тесть-то. Откуда у солдата деньги! Тесть помогал... А зять хотел спалить этот дом. И что, тесть после этого скажет ему: «Спасибо тебе, зятек?»

— Не меряй всех на свой аршин.

— Вот тесть-то меня меньше всего волнует, — жестко сказал Ваня.

Женатик встал.

— Здесь просто хотят подsunуть другую идейку! — И сел. Он не любил Володьку за длинный язык.



— Дальше? — спросил Володька. — Что ж ты замолчал? Какую идейку? Говори.

Женатик встал.

— Здесь просто хотят проявить сочувствие тестю.

Наступила нехорошая тишина.

— Предлагаю вывести Марова из состава драмкружка, — сказал женатик. — И Ваську тоже. Они не репетируют, а только зубоскалят.

— А меня за что? — обиделся Васька.

— Нет, Ваську не надо, — пожалел пиротехник. — Он одумается.

Раздались еще голоса:

— Васька — безотказный труженик. Он только на поводу у Марова.

Женатик предложил другое:

— Поставить Ваське на вид. И предупредить: пусть не злоупотребляет спиртными напитками.

— Вот за это стоит! — подхватил Елистратыч. — Это стоит. По праздникам — это другое дело. Но ты, Васька, и в будни — нет-нет да огреешь. А ты — на машине, недолго и до аварии.

— Совсем надо прекратить! — подала голос библиотечарша, женщина в годах, но очень миловидная.

— Нет, совсем-то... как, поди-ка, совсем-то? — усомнился сам Елистратыч. — Он же мужик...

Но тут взорвался женатик:

— Ну и что что мужик? А спросите его: что за причина, по которой он пьет? Он не ответит.

Тучи сгушались.

— По праздникам все пьют, — вякнул Васька. — А я что, рыжий?

— В общем, так, — подвел Ваня. — Двое упорствуют, двое настаивают на своем. Ставлю на голосование: кто за то, чтобы...

В это время через зал прошла и села на первый ряд Вдовина Матрена Ивановна, пенсионерка, бывшая завотделом культуры райисполкома, негласный шеф и радетель художественной самодеятельности.

— Здравствуйте, товарищи! Ну, как дела?

— Обсуждаем пьесу, Матрена Ивановна.

— Так, так.

— Выяснилось, что идея пьесы не всех устраивает.

— Как так? — удивилась Матрена Ивановна. — Я читала — хорошая пьеса. А кому не нравится идея?

— Мне идея нравится, — заговорил Володька, с презрением поглядев на Ваню, — только я не знаю, где он жить будет.

— Кто?

— Солдат.

— Какой солдат?

— Герой пьесы, Матрена Ивановна, — пояснил Ваня. — Надо яснее выражаться, Маров. Он уже давно не солдат.

— Я уж испугалась: как это — где будет жить солдат? Выражайтесь действительно яснее. А то ведь можно подумать, что у нас солдатам жить негде. А почему идея не нравится?

— Да вот... ставят двусмысленный вопрос: где будет жить Иван?

— Ты мне — не двусмысленный! — разозлился Володька. — Двусмысленный... Вопрос самый обыкновенный.

— Ну, ну?

— Дом он отдал под ясли, к тестю он после всего не пойдет... Где же он жить будет?

— Ну, нашли о чем спорить! Петухи. Жилье ему выделит колхоз. Обязан выделить. Человек отдал дом под ясли...

— В пьесе-то этого нет.

Вдовина подумала.

— А вот тут, возможно, что и упущение автора. Вот что, ребята: я свяжусь с автором по телефону, попрошу у него добавить насчет жилья. А то действительно можно не так понять... Можно понять, что его оставили на произвол судьбы. Я попрошу его уточнить с жильем. О том, что мы взяли его пьесу, я ему звонила, он поздравляет нас и передает всем привет. Дело серьезное, ребятки. Если мы займем первое место на смотре...

Тут все загалдели.

— То что тогда, Матрена Ивановна?

— Ой, ну скажите!..

— Матрена Ивановна, скажите.

— Звание народного театра?

— Ну, за один спектакль...

— Как сделать!

— Нам устроят турне по области?

Вдовина, улыбающаяся, захлопала в ладоши.

— Тихо, ребятки, тихо!

— Ну скажите, Матрена Ивановна!

— Нет, нет, даже не просите.— Вдовина улыбалась.— Не будете знать, лучше будете работать. Вот так. Это и педагогичнее будет. За работу, друзья!

В клуб вошла девушка с почты.

— Матрена Ивановна, вам телеграмма. Я была у вас дома, там никого нет...

Матрена Ивановна надела очки, прочитала телеграмму.

— Какое совпадение,— сказала она.— Только что о нем говорили...

— От автора?

— Да. Он пишет: «Песню «Мой Вася» снимите. Точка. Героиня поет: «Вот кто-то с горочки спустился». Точка. Желаю удачи. Копылов». Болит ретивое-то — думает.

— А она разве поет там? — спросил Ваня.

— Кто?

— Героиня-то. Она же у нас не поет.

— Да, верно... Я не помню, чтобы она у нас пела. Он, наверно, перепутал пьесы. Где-нибудь ставят еще его пьесу... Конечно, он перепутал. Я буду звонить, все выясню. А теперь — за работу, друзья. За работу!



---

---

И. ИСАКОВ

★

## КАСПИЙ, 1920 ГОД

*Из дневника командира «Деятельного»*

*Публикуемые ниже воспоминания адмирала флота Советского Союза Ивана Степановича Исакова (1894—1967) основаны на дневниковых записях, которые он вел в 1920 году, будучи командиром миноносца «Деятельный» Волжско-Каспийской флотилии. Работа завершена автором в 1960 году. Воспоминания печатаются в журнальном варианте.*

От автора. Выписки, предлагаемые читателю, сделаны из тетради, служившей в качестве своеобразного дневника командира одного из миноносцев Волжско-Каспийской флотилии. Записи велись не регулярно, по мере того как удавалось для этого выкраивать время.

Все факты и события, так же как и фамилии, являются реальными и вполне достоверными, так как в тот период автор не задавался другой целью, кроме желания сохранить для себя важнейшие события, свидетелем которых он был в исключительно напряженный этап истории нашей социалистической родины.

Естественно, что поле зрения командира одного из миноносцев флотилии было неизбежно ограничено не только в связи со скромной должностью, но и возрастом, и недостаточной политической подготовкой. Это обстоятельство снижает значение данной публикации записок, сделанных сорок лет назад, и вынуждает сейчас кое-что пояснять в сносках или в тексте. Кроме того, надо полагать, читатель не будет в претензии на то, что местами пришлось подправить стиль и грубоватую манеру письма молодого командира, тем более что при этой правке не внесено никаких изменений в существо излагаемых фактов.

*Февраль. Астрахань.*

Миноносец стоит в плавучем доке общества Нобель. Все помыслы и усилия команды направлены на то, чтобы скорее отремонтировать корабль и ввести его в строй.

Торопит комфлот. Торопит штаб. Но более всего торопят сами матросы. Большинство из них, не только машинисты и кочегары, но и боцманская команда и комендоры, участвует в работах.

Мастера из старожилов, поглядывая на весеннее небо и на подвижку темнеющих рыхлых льдин, уверяют, что весна ранняя и скоро 12-футовый рейд очистится от льда.

Это всех волнует, так как осеннее состязание в минных постановках

с белыми и англичанами, хотя и кончилось в нашу пользу<sup>1</sup>, все же происходило в советских водах. Даже на выходном фарватере.

Не надо быть морским стратегом, чтобы понимать, что если мы прохлопаем, то белые могут нас закупорить (заблокировать) минами, не выпустив в море. У них климатическое преимущество: временами все протоки Волги забиты дрейфующим с верховьев льдом, в то время как враг плавает на чистой воде. Больше того, в Баку уже ходят в весенних костюмах.

Ближайший фронт где-то за Лаганью. Какой-то расплывчатый и неясный. У меня даже нет армейской карты. Что это — сознательная конспирация или плохая организация штабной службы? Не знаю. Зато, как всегда в таких случаях, много слухов.

*...февраля.*

Стараюсь не показывать виду, но волнуюсь больше всех.

Сегодня после жарких прений в заводском комитете получили два уведомления:

шпилевая машинка отремонтирована не будет; рубашки цилиндров, размороженных в начале зимы, негде заварить, негде и выточить новые.

Вот спасибо! Это значит, что якоря придется выхаживать вымбовками, «хлебным паром»!

Ввиду отсутствия запасных гребных винтов (где-то как будто были, но найти портовикам не удалось) кромки старых обрублены и опилены.

Тоже спасибо! Корабль, очевидно, потеряет от одного до двух узлов. Это еще полбеды. Но главный инженер осторожно предупреждает, что на каких-то критических оборотах потерянная балансировка винтов «может вызвать вибрацию кормы».

Особо опасно опасается за правый гребневый вал, который может «начать бить» при определенном числе оборотов.

Все это благодаря некоторому опыту мне хорошо известно, хоть я и не техник. Но заранее определить (без испытаний) эти критические обороты не может даже главный инженер. Значит, я впервые узнаю, как и когда будет трясти миноносец, только после выхода в море, на свободную воду.

Но будут ли так любезны просвещенные мореплаватели и их «белые негры» из бывшего российского императорского флота, чтобы дать нам возможность испытать корабль до первых боев?

Тьфу ты черт! Если не сказать сильнее!

Досада не становится легче оттого, что и шпиль и винты повредили до моего прихода и я получил их, так сказать, по наследству.

*Март (первые числа).*

Что душой и разумом всей обороны является Сергей Миронович Киров — это понимают и знают абсолютно все. Как в Астрахани, так и в стане врагов.

Исторические слова Кирова о том, «что, пока в Астраханском крае есть хоть один коммунист, устье реки Волги было, есть и будет советским!», также известны всем, кому следует.

Что до меня, то они всегда, когда слышу, звучат вроде укора, так как я не состою в партии.

<sup>1</sup> 8 сентября 1919 года взорвался и погиб вооруженный белогвардейский пароход «Арага», а 7 октября за ним последовал пароход «Надежда» со 100-мм пушками.

Даже не могу упомянуть всех его должностей. Был председателем Военного ревкома края, а на днях в штабе видел документ, подписанный Кировым как членом Военного совета XI армии, и другой — в качестве члена Северо-Кавказского ревкома.

Но в отличие от зимних настроений и дел сейчас, в марте (хотя ничего пока официально и неизвестно), чувствуется новое биение пульса, но не обороны, а готовящегося наступления.

Только тот, кто прожил эту зиму в Астрахани, знает, как в матросском котле плавают редкие листы мороженой капусты и головки воблы (суп иронически называется «карие глазки»). Ощущение голода стало настолько привычным, повседневным<sup>1</sup>, что случайно выменянный кусок розовой и тягучей верблюжатины или подозрительно благоухающего кутума представляется сказочным богатством, которое радует глаз, но которое отказывается принимать желудок.

Хорошо, что в Кронштадте отучился курить. Даже газет не хватает на самокрутки. Все афиши начисто содраны с тумб. Курильщики — мученики.

Завтра намечен отход от завода, на городскую сторону.

Штурман Буш спрашивает:

— Заказывать ли буксиры, или пойдем своим ходом?

По лицу не поймешь — ловушка или серьезный вопрос? Когда ответил, что буксиров не надо, по улыбке понял, что он доволен и никакой ловушки, собственно, не было.

Наконец-то кончится на корабле эта суета и грязь, неизбежная на верфи. Только мало одной внешней чистоты! Придется призвать всех к военным порядкам. За зиму здорово подраспустились. Возможно, так было и на Волге, но для серьезной войны подобная самостоятельность не годится.

Случай удобный — переход в город, прием запасов, генеральная приборка, подъем вымпела... Если сейчас не использовать обстановку, потом уже будет поздно. Не в бою же с англичанами налаживать службу!

Ну-с, товарищ командир, скоро вам предстоит двойной экзамен!

*Март.*

Тяжело мне. И не только потому, что нет рядом ни близких, ни родных, ни друзей.

Моряк на корабле не может чувствовать одиночества, будь он командир или салага.

Старо, как мир, утверждение, что экипаж судна — одна семья. А лучше всех сказал С. О. Макаров: «На корабле — дома».

Но моя беда заключается в том, что я себя не чувствую ни в доме, ни в семье.

Сколько прошло времени, а ко мне все еще «присматриваются».

Команда — хорошо спаянный коллектив, но я знаком с ним только формально. Многие совсем мне неизвестны.

В Кронштадте или Шлиссельбурге я знал всех, и все знали меня. Были настоящие друзья (вместе с которыми воевал с немцами в Риж-

<sup>1</sup> Мы все это поняли весной, когда, заняв Петровск-порт, набрасывались на самую соблазнительную еду, но... не могли съесть больше одной котлеты или одного пирожного.

ском заливе в 1917 году и был в Гельсингфорсе во время Октября и Ледового похода). Мне верили. Исполняли приказания и даже оберегали от хулиганящих анархистов с других кораблей.

И все это далось мне очень нелегко.

Зато как много значила для меня дружба с комендором Капрановым, старшиной-машинистом Злыдневым, кочегаром Красыньшем и многими другими.

Два года напряженнейшего труда, многих боев, тяжелой контузии, революционных событий — и молодого мичмана комитет выдвигает в старшие помощники командира через голову более опытных! Не знаю, чего во мне было больше — страха перед ответственностью или гордости за такое доверие?

Холостой (родные в Закавказье, «под меньшевиками»), я не имел квартиры на берегу, и корабль, на котором служил, действительно был моим домом.

И вот итог... теперь все насмарку.

Обидно и тяжело, что через два-три года все надо начинать заново.

Если не знаю команды, то зато знаю устройство корабля.

В русском флоте существовала давняя традиция — новичку изучать свой корабль. Досконально и с первых дней.

Не гнушались этой полезной традиции и серьезные капитаны 2-го и 1-го ранга.

Хорошо помню, как мичманом, еще на заводе, по приказанию начальника, лазил на брюхе под котлами и машинами строящегося эсминца, зарисовывая в тетрадку схемы трубопроводов и электротехнических систем.

Надев «синее рабочее»<sup>1</sup> и начав с форпика «Деятельного», вот уже какой день извиваюсь ужом, пролезая во все горловины и люки вплоть до румпельного отделения.

Старенький корабль. Постройки 1908 года. Всю мировую войну и гражданскую — отвоевал. Уже два раза проходил капитальный ремонт. По законам технической эксплуатации, в этом году полагался третий, и последний, «капремонт». Но гражданская война имеет свои законы.

Чуть подлатают, и... в бой с белыми и интервентами!

Ждать некогда.

Трюмы запущены и давно не крашены (голод на сурик!).

Много мелких неполадок и неисправностей, к которым привыкают. Крысы сказочных размеров. Рыжие, облезлые и с голыми хвостами. Никогда таких не видел (возможно, из астраханских амбаров?). Если исходить из их размеров, то таким крысам не на «Деятельном», а на дредноуте плавать!

Приказал ободрать ржавчину под платформами, и если не «добудут» сурика на нобелевской верфи, то смазать хотя бы керосином или машинным маслом.

Выслушали в гробовом молчании, мрачно.

Исполнят или нет — не знаю.

Механику неловко. Изрекает в пространство:

— А действительно, давно не чистили, ребята? Ей-богу, непорядок.

Корабль знаю, но не знаю еще, как управлять им на ходу, как маневрировать, особенно при наличии речного течения.

<sup>1</sup> Рабочая одежда из синей материи (нанки, чертовой кожи и пр.), которую носила и носит «нижняя» команда (машинисты, кочегары, громные, электрики и т. д.).

А эта задача посложнее, чем изучать трюмную систему.

Присматриваюсь к команде.

Но тому, как работают (когда хотят!), как схватывают задачу с полуслова, по лаконичности и уверенности ответов — исключительно опытные, обстрелянные моряки.

Ни одного «молодого».

Семьдесят пять старых матросов. Сплоченность исключительная. Почти все в партии.

Есть сохранившиеся еще со времен перехода из Кронштадта по Маринской системе, но тон задает «черноморское» большинство.

Тон — твердый. Самоуверенный. Пожалуй, даже слишком.

Конечно, у них за спиной две революции, Колчак в Севастополе, бои с белыми и чехами, с астраханскими казаками. Но чувствуется, что наиболее сильный отпечаток оставила необходимость потопления своих же кораблей в Новороссийске, а затем — как пробивались эшелонами, группами и в одиночку к Царицыну: через районы враждебных кубанцев, донцов, киргизов и других банд, организованных белогвардейцами, когда за матросами гонялись особым, как за красной дичью.

В судкоме есть даже комендор с того эсминца «Керчь», который играл главную роль в трагедии 18 июня, потопил торпедным залпом наш линкор<sup>1</sup> у Дооба и сам затопился под Туапсе, дав историческое радио: «Всем! Всем! Всем!.. Предпочел гибель позорной сдаче Германии!»

Фамилия его Гридин. Пользуется большим влиянием.

Командный состав делает свое дело честно и добросовестно, но как-то тихо и незаметно. Работает, руководит... но не командует.

Уставов или инструкций — никаких.

Своеобразная вольница, и все идет почти нормально из-за революционной сознательности и опытности команды. Но достаточно ли этого для боя, если само слово «дисциплина» приводит их в ярость?

Комиссар пропадает больше вне корабля. То в судкоме завода, то в политотделе флотилии.

\* \* \* \* \*

Пытался анализировать, в чем моя беда.

1. Беспартийность! Если бы был членом РСДРП(б), то меня лучше бы знали и я знал бы все, чем дышит команда. Как понимает обстановку и задачи, которые я узнаю из газет. Учился бы у них той политике, которой не мог меня обучить старый флот.

2. Что никто меня не «представил» команде. Ничего они обо мне не знают, а ярлык «бывший офицер» — сейчас не очень удобная визитная карточка.

Даже приказа не объявили. Просто в один прекрасный день появился какой-то фрунт в офицерской фуражке и бушлате и сунул командиру предписание о том, что с такого-то числа военмор Исаков назначен командиром, а ему, то есть бывшему командиру, надлежит исполнять обязанности помощника!

3. Команда явно обижена. Почему снизили в должности командира, которого они знают, с которым воевали и которому доверяют, а главное — что он справлялся со своими обязанностями.

4. Наконец, как это ни странно, неприязнь ко мне вызвана частично и тем, что я «балтиец».

У моряков этот нездоровый «патриотизм» был всегда. Думаю, что при царе реакционное начальство его раздувало сознательно, чтобы

<sup>1</sup> Линкор «Свободная Россия», бывший «Екатерина II».

мешать объединению, чтобы прививать антагонизм и когда нужно — использовать.

Так или не так, а я для них «чужой».

А после VIII съезда, в марте прошлого года, думал, что все трудности для добросовестных «военспецов» уже прошли.

Помню, как еще до съезда вписал себе в дневник слова Ленина: «Совершенно незачем выкидывать полезных нам специалистов».

Но теперь оказывается, что я не все и не до конца понял.

*Середина марта. Еще в доке Нобеля.*

Сегодня один анекдот (к сожалению, не очень смешной) кое на что надоумил.

В кают-компании за обедом кто-то, расписывая таланты и остроумие Л. Рейснер, рассказал, что мичман Семченко (которого я хорошо знал до революции, вместе учились), задумав перебежать к врагам, захватил в степи верблюда и погнал его в сторону ближайшего расположения белых отрядов. Хозяин или погонщик — отказался сопровождать. Ни деньги, ни наган не имели воздействия.

Семченко, очевидно, решил «штурманить», ориентируясь по звездам, и на корабле пустыни углубился в пустыню.

Убаюканный мерным покачиванием, тишиной и однообразием ландшафта, мичман заснул. Проснулся на рассвете, задержанный нашими красноармейцами почти в «пункте отшествия».

Оказывается, верблюд в середине ночи повернул на 180 градусов и пошел обратно, домой. Штурманская часть подвела.

Семченко закончил сухопутное плавание и жизненный путь.

Так вот, будто по этому поводу Лариса сказала: «Верблюд оказался более честным, чем бывший офицер!»

Посмеялись.

А потом, в каюте, я думал: почему мне должны верить больше, чем Семченко? Что я не из дворян? Что участник Ледового похода и боев с англичанами на Балтике? Этого мало. Это не гарантия политической лояльности на всю жизнь. И еще — значит, я распыляюсь не только за себя, но и за семченков. А сколько их? И где они маскируются?

Получается, бывшее офицерство — вроде «каиновой печати».

Но не может это мне помешать идти до конца по тому пути, который я окончательно выбрал в 1917 году, то есть по пути с народом.

*Март (в доке Нобеля).*

Не тянет в город, хотя я в Астрахани впервые.

Не только потому, что надо изучать корабль, готовиться к выходу из дока и к началу кампании.

Я не видел ни одного более мрачного города.

При моем любопытстве ко всему новому — смотреть не хочется; причем главная причина не в выломанных проемах, заколоченных досками окнах или в выщербинах стен — от снарядов и сыпи пулеметных очередей. Более мрачное впечатление производят целиком выжженные кварталы. Огонь пожара, очевидно, постарался здесь больше, чем артиллерийский или ружейный огонь.

Сколько страданий должны были перенести защитники города и его жители! Кто расскажет об этом? Редкие прохожие. Даже собак не видно. Кладбище внутри города<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Перечитывая позже, вспомнил, что это ощущение наиболее бедственного разрушения города Астрахани оставалось во мне вплоть до 1942 года, когда пришлось побывать в Керчи. Страшные разрушения Керчи заслонили некогда поразившее в Астрахани. В свою очередь почти раскрошенный Севастополь еще позже заслонил Керчь.



А если прибавить лужи, грязь, мусор и пыль, щедро разносимые ветром, то становится понятным, почему город так пустынен (кроме толкучек на базаре, вокзале, пристанях) и почему самому неохота лишний раз пройтись по этим страшноватым, вернее — печальным улицам.

### Спасибо случаю

Окруженный нашими, стоит на палубе низенький паренек в облезлой кожаной куртке и что-то с жаром рассказывает.

Когда повернулся, вижу — Князев!

— Здорово, Князев!

— Здорово, товарищ мичман! А я как раз до вас собирался заглянуть после своего кореша, которого пришел проведать; да вот ребята все нашими отрядами интересуются.

— Какие такие отряды?

— Как какие? Конечно, кожановские! — При этом маленький Князев приосанился, чтобы показаться более высоким, солидным, а может, и грозным.

Час или полтора мы с ним болтали без умолку у меня в каюте, вспоминая эту самую Балтику.

Хорошо помню, как завязалась наша дружба на бывшем артиллерийском транспорте «Рига» (позже переименованном в «Трансбалт»).

Несмотря на молодость, был я назначен старшим помощником только потому, что капитан И. Буданов знал меня с 1917 года по Ревелю, а остальным бывшим офицерам флота он, как торговый моряк, не доверял. Готовились к срочному рейсу в Гамбург «под Красным Крестом» — за ранеными русскими военнопленными.

Живой, веселый, но очень «работящий» — Князев (машинный электрик) мне сразу понравился, и у нас установились хорошие, деловые отношения.

Как-то вечером, возвращаясь через Николаевский мост на корабль, стоявший у набережной Васильевского острова, я внезапно был остановлен Князевым, который, как оказалось, скрытно дежурил, специально чтобы перехватить меня.

— На корабле засада Чека! «Ваших» арестовывают. Надо спрятаться и переждать. А команда в обиду не даст. Мы сами пойдем и заявим, что вы за советскую власть.

Независимо от наивности плана, я поблагодарил, но спрятаться категорически отказался.

— Конечно, заявление команды мне поможет. Но скрываться не буду, так как ни в чем не считаю себя виновным. Авось разберутся. Пошли!

Но он постепенно отстал.

Еще на нижней площадке трапа я понял, что за мной защелкнулся один замок. На верхней — второй. Видел, как скучный Князев стоит на другой стороне набережной и наблюдает — чем все это кончится. Третий замок, в виде двух матросов с маузерами, закрылся в двери салона, куда были собраны все офицеры, отделенные от администрации Красного Креста.

Кончилось все относительно благополучно.

Мне объявили, что я арестован, но... «с исполнением служебных обязанностей». Не знаю, делалось ли «заявление» от команды и помогло ли оно, но через неделю чекисты, с которыми мы подружились и «забивали козла», ушли, даже не оформив моего освобождения.

Поход отменили. Большинство офицеров было уволено. Команду сократили. Транспорт как будто вымер<sup>1</sup>.

Я «нанялся» на сторожевой корабль «Кобчик», а Князев подался на Волгу и там вступил в один из первых отрядов И. Кожанова. Но это я узнал только сейчас, так как с уходом на «Кобчик» потерял Князева из виду.

Не успел сойти с миноносца Князев, как я заметил некоторое изменение в отношении к себе.

Мелочи, но явно подчеркивающие, что меня теперь лучше знают. Оценивают немного иначе.

Очевидно, кожановец «из балтийцев» успел в кубрике наговорить обо мне и, наверное, приукрасил, выдумав подвиги, которых за мной не числится.

Своеобразный «живой мостик» от Балтики до Каспия. Он заменил плохую работу штабов с личным составом, да и политотдела, опиравшихся на анкеты и послужные списки.

Обычно мою каюту убирал салажонок — старожил миноносца. Но у него было свое понимание чистоты. Поэтому, забравшись в каюту и выдрав лист из моей тетради, он садился старательно рисовать кораблики, высунув кончик языка, пока не слышал мои шаги на трапе.

Помахав веником и шваброй, смывался. После этого приходилось убирать самому хозяину каюты.

Сегодня, совершенно неожиданно, я застал за классической уборкой комендора от носовой пушки.

— А вы, товарищ командир, ему зря уши не оборвете! Посмотрите только, какую по углам грязь развел!

Я был рад и благодарен за приборку, но главное для меня было то, что я впервые услышал обращение — «товарищ».

Спасибо случаю. Но мне ясно, что рассчитывать я должен не на очередного Князева, свалившегося с неба, а на самого себя.

### *Март. «Военный совет».*

Были на совещании у комфлота. Ждали т. Кирова — не смог приехать. А может, его и нет в Астрахани?

Объявлен состав боевого ядра для активных операций — дивизиона эскадренных миноносцев.

Флагман — «Карл Либкнехт», самый сильный из нас, так как имеет «сотки»<sup>2</sup>. Мы давно с завистью следим, как все лучшее перепадает ему (по штурманской, шхиперской и прочим частям). Командир — А. А. Синицын. Из студентов. Знаю его еще по Ревелю 1917 года, но из-за его манеры снисходительно поучать всех и вся никогда в дружбе не был.

Второй в строю — «Деятельный».

Третий — «Расторопный», наш «систер-шип»<sup>3</sup>. Командует им мой друг В. П. Калачев — скромный, но знающий и хороший, честный офицер. Этот не подведет.

Четвертый — «Дельный». Там с командиром что-то неладно. Фамилия — Лей. Уверяет, что офицер германского флота, «участник кильского восстания». Это открыло ему все двери.

<sup>1</sup> Много позже узнал, как и почему был «блокирован» «Трансбалт». Кое-кто пострадал зря. Но в числе медицинского персонала и служащих Красного Креста оказалось несколько именитых фигур, намечавших побег в первом германском порту.

<sup>2</sup> 100-мм пушки.

<sup>3</sup> Sister-ships (суда-близнецы), построенные по одним чертежам.

Нам, командирам, совершенно ясно, что он моряк, но дальше унтер-офицера дослужиться не мог. Очевидно, из пленных. Незнание маскирует наглостью и высокомерием. «Играет» под немецкого офицера, но с самой худшей стороны. Только монокия не хватает. Боюсь, что авантюрист.

Вот и вся наша активная сила, так как остальные миноносцы заимовали на Волге или не готовы с ремонтом.

Наш начдив — С. А. Чириков, тихо и спокойно, но последовательно готовит дивизион к кампании. Старик симпатичный и надежный.

Большое соединение из плавучих барж, канлодок, минзагов, тральщиков и сторожевиков сформировано в «Оборону 12-футового рейда» во главе с вооруженным ледоколом «Каспий», который в иных документах именуется крейсером.

Во главе обороны другой мой приятель — Н. Ю. Озаровский. Самый скромный и самый храбрый<sup>1</sup>.

Задача флотилии, включенной в состав Юго-Восточного фронта, понята мною так:

1. Как только позволит лед — произвести развертывание «Обороны 12-футового рейда» (мины, плавбатареи, канлодки) для обеспечения развертывания остальных сил.

2. Там же развернуть плавучий тыл для активных сил.

3. Канлодка и транспортам с десантными отрядами Кожанова поддержать фланг XI армии от Лагани — в направлении к устью Терека.

4. Дивизиону миноносцев — провести активные операции против передовой базы англо-белых на острове Чечень, против форта Александровского или против Петровска<sup>2</sup>. Очередность — в зависимости от обстановки.

5. Часть сил обороны должна обеспечить доставку караванов с нефтью из Гурьева.

6. Установить контакт с Туркестанским фронтом — через Красноводск.

В дальнейшем все должно зависеть от темпа наступления XI армии и успеха революционных сил в Дагестане и Азербайджане.

Перед вторым этапом намечалось перенести базирование боевого ядра и гидроавиации — на Аграханский залив и остров Чечень после того, как оттуда будет изгнан противник.

Однако возможность выполнения и первого и второго этапа полностью зависит от того, кто первый успеет захватить 12-футовый рейд.

Разведка показала, что белые уже зашевелились и начали выходы от острова Чечень, так как там никакого льда не было.

Соблазн закупорить нас в протоках Волги и не дать развернуться, очевидно, велик, и значение такой операции для всей кампании слишком очевидно и для них и для нас.

Самое мрачное впечатление осталось у всех от доклада начтыла о необходимости беречь топливо. В частности, уголь для миноносцев.

Получалось так, что уголь мы «заимеем» в Петровске или в Баку. Но как дойти до них с боем, но без топлива? Никто не объяснил. Новое в военно-морском искусстве!

Хорошо, что я не летчик. Столярский<sup>3</sup> выступал. Летают на какой-то

<sup>1</sup> Озаровский Н. Ю. — ветеран Волги и Каспия. После обороны рейда командовал «Макаровым», эсминцем «Эмир Бухарский» и др. Особо отличился во время Великой Отечественной войны в должности командующего Ладужской военной флотилии. Умер после войны от болезни сердца.

<sup>2</sup> Махачкала.

<sup>3</sup> Столярский С. Э. — ветеран нашей гидроавиации и гражданской войны; умер в Ленинграде в звании генерал-лейтенанта авиации.

адской смеси. Острил: раньше ее хоть пить можно было («авиаконьяк»), теперь даже человек не выдерживает. А мотор нежнее человека.

Впервые слушал доклад нового начштаба Кукеля<sup>1</sup>.

Вот будет задаваться Гридин! Ведь это его командир на знаменитом эсминце «Керчь».

Забавно. Никогда не видел такую разношерстность командного состава, как сегодня в штабе.

На Балтике больше процент бывших офицеров, у которых в чемоданах питерских квартир сохранились кителя и тужурки прежних времен.

Здесь же, после Волги, все поизносились. Больше командиров, выдвинутых революцией. Поэтому общее впечатление — что твой маскарад.

Бывший офицер Генмора<sup>2</sup> Б. И. С., несмотря на потертые локти и нечищенные полуботинки, ухитрился сохранить крахмальный воротничок с лиселями<sup>3</sup>, привлекая всеобщее внимание и вызывая недоумение.

Затем — вывернутые и залатанные кителя, тужурки, бушлаты, кожанки, легкие куртки и унты... и даже один лихой матрос с георгиевской ленточкой, в огромных галифе с кожаным задом, со шпорами и обязательным маузером.

Все это бросается в глаза потому, что команда, в общем, одета однообразно и по форме.

В заключение комфлот Раскольников произнес пламенную речь. Что-что, а говорить (вернее, выступать) умеет. Очевидно, школа Кронштадта 1917 года не прошла даром.

Сволочи — англичане. Как всегда.

Это они организовали арест, увоз и расстрел бакинских комиссаров во главе со Степаном Шаумяном.

Это они организовали угон и вооружение нефтеналивных судов и создание белого флота на Каспии. Организовали бандитов полковника Бичерахова, имама Гацинского и десятки других контрреволюционных отрядов, полков и даже дивизий — мусаватистов, дашнаков и т. д. и т. п. Организовали ограбление всего Закавказья.

В общем, отличные «организаторы».

Для белых определения не найду. Бумага может не вытерпеть.

Но злость и досада берет, как подумаешь, что мы экономим керосин на копилки, заставляем наших летчиков летать на аптекарской микстуре, кораблям мазут отмеривается через мензурку (да еще и упрекают в расточительности); за нами — громадная страна без горячего (говорят, знаменитые Рыбинские баки и цистерны — пустые).

А они?

Купаются в бензине всех сортов. Нефтью — хоть залейся, торгуют через Батум со всем миром, а смазочные масла — хоть за борт лей, высшего качества!

Какая-то нелепость! В голове не укладывается.

Недаром на одном митинге я слышал страстный лозунг: «Даешь мазут!»

Приходилось воевать под: «Даешь Нарву!», «Даешь Юденича!»,

<sup>1</sup> Кукель 2-й, В. А. — рождения 1885 года, во флоте с 1902 года; к революции — старший лейтенант.

<sup>2</sup> Генмор — сокращенное наименование Морского генерального штаба.

<sup>3</sup> Традиционное название крахмальных воротничков с отогнутыми углами. Носились с скрутками.

читал про «Даешь Варшаву!», «Даешь Крым!» и т. д. А здесь: «Даешь мазут!»

Ну что ж! Пожалуй, здесь это главное.

Даешь мазут!

*17 марта. Астрахань (городская сторона).*

Лед тронулся. Не на реке, где его в пределах города не видно, а в моих отношениях с командой.

Буду помнить всю жизнь. Как артист — свой дебют.

Со стороны — пустыак. А для меня дело осложнялось тем, что на «Изяславе» желторотого мичмана к управлению кораблем не подпускали на версту. На «Кобчике», которым самостоятельно управлял впервые, сила машин была всего-навсего 1150 НР (при водоизмещении около 350 тонн), а на «Деятельном» 6000 НР (при почти тех же 380 тоннах — это же не корабль, а зверь!).

У сторожевика отношение ширины к длине — 1 : 7, а у миноносца — 1 : 10.

Я не только не управлял таким кораблем, но и никогда не плавал на нем или ему подобном.

А тут на тебя испытующе смотрят со всех сторон. И свои и чужие. Да еще знатоки — марсафлоты!

Дебют — так дебют!

Действительно, надо быть немного артистом: ведь если бы товарищи видели на моей физиономии все страхи и сомнения, терзавшие душу перед отходом до дока, то, наверное, попрыгали бы за борт.

Но надо записать все по порядку!

Управление кораблем — искусство.

Оно опирается на ряд математических дисциплин, на которых в свою очередь зиждется наука — теория корабля (изучающая остойчивость, ходкость, поворотливость и т. д. и т. п.).

Многому можно научиться на макетах и моделях, взять кое-что из книг «морской практики» и запомнить, наблюдая и анализируя маневры других командиров. Писаной методики обучения управлению кораблем не существует. Очень много дает тренировка и осмысленно накопленный опыт.

И несмотря на все это, есть люди, способные искусно и лихо управлять благодаря хорошему глазомеру, «чувству корабля» и знанию его инерции, циркуляции и других «повадок» в различных условиях (ветра, течения, осадки и т. д.). А есть и неспособные.

Я знал виртуозов, которые на больших судах без буксира и не используя якорь разворачивались в тесных гаванях легко и красиво<sup>1</sup>.

И в то же время приходилось видеть своими собственными глазами, как очень образованный и во всех отношениях достойный капитан 2-го ранга старого флота в простейших условиях на двухвинтовом корабле никак не мог подойти к стенке. Многократными сигналами телеграфа он совершенно измотал машинную команду, и высунувшийся до пояса из люка старший машинист, красный и мокрый от утомления, погрозил кулаком на мостик. После чего командир махнул безнадежно рукой и, отойдя на крыло мостика, предоставил выполнение маневра помощнику, который через три-четыре минуты поставил корабль на место.

<sup>1</sup> Одним из таких виртуозов до революции был командир транспорта «Рига» А. П. Максимов 4-й. Самое замечательное то, что он перешел во флот из поручиков армии перед русско-японской войной, выдержав экзамен экстерном.

Конечно, это крайний случай. Такие встречаются редко. Но бывают. Я думаю, что нет на свете командира, который без скрытого волнения, особенно на новом корабле или в новых условиях, приступал бы к маневрированию. Как артист, выходящий на сцену в новой роли.

Чем лучше освоен корабль, тем больше уверенности и приятнее это волнение.

Если же корабль новый, неизвестный или новые, необычные условия навигационной обстановки (течение, ветер, дрейф, теснота, освещенность, осадка, дифферент и много других факторов), то напряжение поднимается до высокого градуса.

Аналогия с выходом на сцену не случайна и особенно выразительна тогда, когда на стенке или на соседних судах стоят строгие критики и фиксируют каждое твое движение.

Это все равно что начинающему певцу знать, что в партере сидит Шаляпин, Карузо или еще какая-нибудь звезда первой величины.

Но во всех подобных случаях главное слово и оценка важны не со стороны наблюдающих сбоку и даже не от начальства, а от своей собственной команды!

Проверил себя.

Не боюсь ли?.. Нет, конечно. Но напряжен и волнуясь. И причина ясна. Не будь этой отчужденности от команды, настороженного и критического отношения ко мне — все было бы просто.

Удалось бы или не удалось первое маневрирование кораблем и швартовка — это не повлияло бы на дружеские отношения. Была бы досада, но не больше.

А сейчас — еще один довод против нового, «чужого» командира, если он плохо управляет кораблем.

Кроме того, у них есть свое, коллективное самолюбие. Так сказать, ревность к славе своего корабля. Они хотят, чтобы «Деятельный» был лучше других в дивизионе. Каждый настоящий моряк любит свой корабль.

Все сомнения разом отпали, как только подумал о Снежинском<sup>1</sup>. Ведь он моложе, не имеет опыта наблюдения за такими виртуозами, как Максимов, Дело, Шишко или Севастьянов<sup>2</sup>; он не имел опыта командования «Кобчиком»... и все же управлялся с «Деятельным» (и, говорят, неплохо). Так почему же мне приходится смущаться?

Должен управиться... и никаких!

Сижу в каюте, напряженно прислушиваясь.

Кораблик маленький, все слышно: и авральную дудку боцмана, и как осторожно провернули винты, как опробовали телеграф.

Не выхожу, чтобы не мешать другим и показать, что не сомневаюсь, что и без меня все будет сделано, как надо.

Прием? Да, прием. Воспитательный и неплохой. Больше всего не терплю суестьющихся и орущих командиров, независимо от должности.

Наконец в медном раструбе над головой раздается:

— Корабль к съемке со швартов подготовлен!

— Есть!

<sup>1</sup> Снежинский В. А. — ветеран Волжско-Каспийской флотилии, дважды командовал «Деятельным». Впоследствии профессор, инженер-капитан 1-го ранга, начальник кафедры Военно-морской академии имени Крылова, член КПСС.

<sup>2</sup> Известные своим опытом командиры кораблей старого флота. Максимов А. П. честно служил после революции. Севастьянов В. В. — знаменитый командир «Гавриила», погибший с кораблем осенью 1919 года в Копорском заливе.

В первый момент было побуждение выйти на мостик с таким «равнотелным», безразличным видом... мол, «это нам раз плюнуть!». Но сейчас же устыдился.

Кого я хочу обмануть?

Ведь все семьдесят пять человек — старые, опытные моряки, видели не одного капитана, были в разных переделках.

Разве их обманешь внешним видом, игрой? Нет! К черту! Буду самим собой... как есть... В общем, «полюбите нас черненькими...».

Опробовал телеграф.

Приказал переложить штурвал с борта на борт, а сам украдкой смотрю под корму. Как реагирует перо руля на слабое речное течение, которое ощущается только по проплывающей мимо щепке или древесной стружке.

Корма реагирует. Сильнее, чем думал. Видно по швартовым: провисают, а потом — как струна.

Огляделся вокруг: берег, баржа (между миноносцем и доком), река, небо, тот берег.

«Помахал ручкой» рабочим (больше для маскировки волнения), которые собрались провожать.

Условия благоприятные. Ветерок слабый, видимость прекрасная, на реке — изредка одинокие льдины. Движение редкое — еще не проснулась Волга от зимней спячки. Очевидно, что, помимо затяжного ремонта барж, судов и буксиров, топливный голод тоже дает себя знать.

Не люблю на мостике громких команд.

Кивнул головой Снежинскому, чтобы отдавал швартовы.

Рукой дал знак рулевому старшине. Подождал, когда нос начал сам отваливаться, и впервые дал ход (малый) левой машине.

Гробовая тишина выдает общее и напряженное любопытство.

Спасибо православным, что настроили столько церквей и колоколен.

По створящимся предметам на берегу (по носу и по траверзу) вижу, что этот замечательный кораблик на сильном течении, при малых оборотах одной наружной машины и руле, положенном на борт, движется почти боком.

Этот фокус мне уже известен, на «Кобчике» несколько раз приходилось подходить к стенке Шлиссельбурга. Там течение Невы раза в два сильнее.

Быстро оцениваю на глаз, сколько останется за кормой парохода, стоящего у стенки, и сколько до «Расторопного», который должен остаться у меня за кормой.

Пересекаю реку средним ходом и опять прибегаю к фокусу «перемещения лагом», так как течение вдоль берега вполне ощутимо.

И тут в командире происходит перелом:

— На баке!

— Есть на баке! — отвечает Гридин. Он стоит на банкете носовой пушки с бросательным концом, но из любопытства смотрит больше на меня, чем на приближающийся деревянный причал.

— Остановить бросательный!.. Подавайте огонь швартова прямо на тумбу!

Миноносец, как хорошо дрессированный зверь, плавно прижимается скулой к отбойному палу, а затем — только отклонением пера руля — корма как бы сама собой «приваливается» к стенке.

Инерцию погашают «деликатные» обороты на «задний ход».

Гридин улыбается и, забыв всякие военные приличия, набросив огонь на пушку, показывает мне большой палец — «на во!», да еще «с присыпкой».

Комиссар рад больше других:

— Как на катере!.. Здорово!

Я тоже рад и не особенно скрываю... Этих опытных моряков не обманешь. Но знают ли они, что у меня вся спина и ладони рук совершенно мокрые?!

Из-за бака «Расторопного» показывается Чириков и, блестя ободками пенсне, подходит к нашему мостику, который почти на уровне с причалом. Совершенно очевидно, что он следил за маневрами новичка, но, чтобы не смущать, — делал это тайком.

— Поздравляю! — Улыбается хорошо и открыто.

— Что вы, Сергей Александрович! Никакого ветра или других помех! Это не швартовка, а одно удовольствие.

— Ну-ну! Вы мне, старику, очков не вотрете!

Теперь, спустившись в каюту, после запоздалого комплимента салажонка, остался наедине с самим собой. Надо разобраться.

Все делают вид, что это мой личный успех.

Но ведь это не так.

Значит, мне задаваться нечего.

Конечно, командир — главная фигура, и главное зависит от него. Но успех общий. От слаженности в работе всех специалистов зависит этот общий успех.

А разве я обучал их? Тренировал, слаживал? Нет. Это многолетняя служба, война и их сознательность. Все это накапливалось без меня и до меня.

Это работа партии, комиссаров, таких командиров, как Снежинский и Лузгин, и самой жизни — опыта, практики.

Значит, новый командир может гордиться только тем, что не подвел и оказался на высоте. Причем экзамен-то был легонький, а впереди предстоят гораздо большие испытания.

*17 марта (док).*

Только ночью, обдумывая пройденный день, понял — откуда такое единодушие и сплоченность команды.

Весь секрет в том, что все коммунисты.

На «Изяславе» до Октября и даже позже, вплоть до «чистки» после так называемого «восстания на минной дивизии»<sup>1</sup>, кроме большевиков, были эсеры, меньшевики и анархистствующие бездельники. Один из эсеровских заправил, кондуктор Земсков, был арестован только после майских событий.

Вот почему споров и митингов было больше чем надо.

На «Кобчике» в 1919 году преобладание коммунистов было уже явное, но все же споры и раздоры мешали сплочиванию и делили команду на два лагеря, да еще с прослойкой из нескольких бузотеров, которые никого и ничего не признавали.

Процесс сплочения команд на платформе РКП(б) проходил быстро и неукоснительно, влияние партии через комиссаров и политотделы (а Смольный чувствовался как-то рядом, под боком) давало быстрые

<sup>1</sup> Май — июнь 1918 года.



разъяснения на все острые и злободневные вопросы. И как это ни парадоксально, но почти ежедневные налеты англичан, даже во время зимнего ледостава, по-своему помогали поддерживать дисциплину на должном уровне.

На «Деятельном» и, очевидно, на всей нашей флотилии политическое единство абсолютно крепко и вошло в самую жизнь. А вот сложный путь, пройденный «черноморцами», отдельные предательства и большие «антракты» между боями как-то еще не привили сознания, что дисциплина и строгий порядок службы необходимы, как воздух.

В этом есть чья-то ошибка и вина, в том числе и моя как командира. И нельзя валить все только на ненавистное матросам прошлое.

Забегал Князев проститься со своим «корешем».

Одет лучше. Поправился. Выглядит хорошо. Немного возбужден.

В каюте рассказал, понизив голос, что отряд Кожанова придан в состав «экспедиции» (он так назвал, а что это такое — объяснить не мог; маскирует незнание секретностью) вместе с одной из лучших дивизий XI армии «с кавалерией и пушками».

— На днях выступаем. Головные отряды давно ушли.

— На фронт?

— Нет! В экспедицию!

— Но куда? К Ганюшкино или к Лагани?

— Бери дальше, мичман! — И снизив голос до шепота, сказал: — Святой крест — Кизляр!

— Точно знаешь?.. Ведь ты рядовой боец. Вряд ли на Военный совет приглашали.

— А для матроса этого и не требуется. Обоз почти весь верблужатый. Все ингушские и чеченские сотни, которые Левандовский прошлый год вывел, обратно с нами. Бурдюки и баки с водой наготовлены... Разве так на фронт выводят?

— Счастливо!

— В Баку встретимся, мичман... Дашь Кавказ!..

### *17 марта. Накануне выхода из дока.*

Перед выходом — экзаменом и началом кампании — хочется «осмотреться» пошире. Вокруг корабля я уже осмотрелся.

В гости, на другие миноносцы, далеко<sup>1</sup>. Нет охоты ездить.

В городе — помимо редких вызовов в штаб — не бываю.

Стыдно сознаться, но даже газет аккуратно не читаю. Последние недели — ремонт, приемки, опять ремонт и т. д. Настолько отвлекают, что, сидя на корабле двадцать четыре часа в сутки, не успеваю всего сделать.

Да и снабжают нас газетами отвратительно.

Местные печатаются на какой-то оберточной бумаге, но беда в том, что редакции почти не располагают широкой информацией.

А московские из-за перебоев железной дороги приходят редко, не в черед, иногда вовсе не приходят и... на вес золота.

После вчерашнего выступления комфлота обстановка стала немного яснее.

С адмиралом (Колчаком) давно покончено. После него — с Деникиным. Проводили гостей с берегов Мурманска и Архангельска.

Колчака прикончили, а на Дальнем Востоке еще «гости сидят». И не сидят, а бесчинствуют и грабят. Но это так далеко, а на днях анг-

<sup>1</sup> Часть в городе, а часть у причалов верфи «Кавказ и Меркурий».

лийские самолеты сбросили две бомбы на Оранжевую, поэтому как-то о Владивостоке не хочется думать. Слишком близки «свои» враги.

Когда я уезжал из Петрограда, сразу после окончательного разгрома Юденича, то все мы считали, что едем добивать контрреволюцию на юге.

Вот почему было неприятно узнать, что крымский барон не только еще не разбит, а, наоборот, готовится к новому наступлению.

И самое скверное — что эта подготовка явно связана с сосредоточением польской армии у наших границ, несмотря на мирные предложения РСФСР.

Верховный совет Антанты (в Париже) объявил о прекращении блокады России.

Не знаю как где, но у нас на Каспии английская блокада в полной силе, и мы не можем получить ни пуда мазута из Грозного (через Петровск), из Баку или с Челекена.

В одних районах война кончается, в других — начинается. Слишком много войны.

В Баку как будто всем руководит из подполья А. Микоян. На Северном Кавказе — С. Орджоникидзе.

В Туркестане и командует армией и руководит народами М. Фрунзе. Здесь — Киров. Временами исчезает, и никто не знает куда. Но все знают, что туда — где жарче всего.

Однако мне не везет, Киров на «Деятельном» при мне ни разу не был.

В городе чаще других фамилий слышно «Атарбеков» — предчека и начальник особого отдела фронта. Кажется, уехал в неизвестном направлении. Видел раза два на митингах. Вид суровый.

Ну что ж! Я не знаю планов Ленина, Ставки, даже Кавказско-Каспийского фронта. Командиру миноносца не положено.

Но одно ясно — чем скорее мы разобьем белых и англичан на Каспии, тем скорее кончится война и на других театрах.

*17 марта (вечером). Астрахань-порт.*

Решил, что, опираясь на авторитет командира, такого удачного случая упускать нельзя. Вечером пригласил в каюту механика и боцмана с целью организовать разводку на работы.

Приказал: заранее наметить, кого и на какую работу поставить завтра с утра; наметить старшин; приготовить инструмент и материалы — одним словом, все, чтобы работа прошла организованно.

Начало работ после чая, по дудке.

То есть разводку провести как полагается.

— Как в старое время? — спросил многозначительно боцман.

— Не все было плохо в старое время. И небось вы сами многому научились в старом флоте.

Гробовое молчание.

Ушли мрачные.

Только потом я понял свою ошибку: что не пригласил комиссара, что не дал ему времени подготовить команду к резкому повороту в жизни корабля, опираясь на судовой комитет, на более сознательных.

Излишняя самоуверенность молодого командира.

Мог здорово поплатиться за свою ошибку.

Опять выучил случай.

29 марта. 12-футовый рейд <sup>1</sup>.

Несмотря на то, что этот эпизод из своей жизни никогда не забуду, все же его надо записать хотя бы задним числом.

### Критический момент

18 марта в 8 часов с минутами, после подъема флага, вышел на палубу и нарочито громко скомандовал:

— Боцман! Свистать на разводку!

Боцман смущен. Посматривает то на меня, то на комиссара. Тихо, как бы извиняясь:

— У нас такого сигналу нету.

— Ну, тогда давайте «по большому сбору».

Дальше пошло совсем плохо.

Несколько строевых, медленно шествуя, стали по правому борту с таким видом — «посмотрим, что из этого получится».

Один, явно паясничая, прошел мимо меня, печатая, как grenадер, выпучив «глаза налево» и взяв под козырек.

Машинная команда сгрудилась у своего люка, по левому борту, но не стала шеренгой. Все остальные расположились демонстративно в качестве зрителей.

Помощник и штурман стали оба около комиссара.

Механик Лузгин, очевидно желая спасти меня от осложнений и нарушить томительную и мрачную паузу, подошел и попросил разрешения развести «своих ребят» по машинам и котлам.

— Не разрешаю! Пусть сперва построятся по уставу... (Реплика: «А устав Колчак увез!») Затем пусть старшины объявят наряд кому и что делать. А вы должны следить за правильностью разводки, а затем руководить работами.

Только теперь я понял, что механик и боцман побоялись с вечера сказать команде (на что я рассчитывал), и поэтому происходящее для всех было абсолютно неожиданным.

Кое-кто стал примыкать к шеренге правого борта, и был момент, когда мне показалось, что попытка организовать разводку удастся. Но вдруг один из сзади стоящих кликнул:

— Братва! Даешь в кубрик на экстренное собрание!

Ясно было, что некоторые искренне считали необходимым обсудить такой серьезный случай. Для других это явилось предлогом выйти из строя, явно бесцельного в этих условиях. Мгновенно все зашевелились, и первые уже начали спускаться по трапу с весьма нелестными репликами по адресу командира.

Полный провал!

— Слишком перегнули! — сказал комиссар с некоторой укоризной. — Надо людей сначала убедить... — И во весь голос крикнул: — Товарищи!

Все приостановились, поворачивая к нему голову, но в тот же момент гулко затарахтели глушители истребителя <sup>2</sup> и чей-то голос в малый мегафон заорал:

<sup>1</sup> Происшедшее на миноносце утром 18 марта записано в конце месяца, на ледоколе «Каспий», на 12-футовом рейде, в каюте т. Озаровского, после минной постановки.

<sup>2</sup> В составе флотилии были палубные трехмоторные катера (переброшенные на Волгу из Новороссийска на платформах), которые строились как истребители подводных лодок в первую мировую войну и за которыми сохранилось официальное наименование «истребителей».

— На «Деятельном»!

— Есть на «Деятельном».

— Командир наверху? Срочно собирайтесь. По приказанию комфлота пойдете с нами!

Катер уже подошел вплотную. Флагманского штурмана Корсака я знал немного, а второго командира видел впервые.

— А как корабль?.. Что с собой брать?.. Я ничего не понимаю!

Второй (по всем признакам, тоже офицер штаба), не смущаясь тем, что наш разговор напряженно и с любопытством слушают семьдесят пять человек, с уморительной улыбкой сказал:

— А мы сами ничего не понимаем! Корабль сдайте помощнику. Время — одна минута. С собой возьмите полотенце и зубную щетку... Ну, вроде как когда на «губу»<sup>1</sup> садиться приходится... и на сборы еще одна минута!

Кто-то за моей спиной хихикнул.

Кто-то «догадливо» изрек:

— Своего выручают.

Но я повернулся к Снежинскому:

— Считайте, что корабль я вам сдал. Вы его лучше меня знаете.

Сбежал вниз, взял «малый флотский»<sup>2</sup>, швырнул в него две записных тетради и все, что полагается для «губы».

Перешагивал через борт при гробовом молчании. Еще через минуту катер сделал крутую циркуляцию и с трескотней всех трех глушителей помчался вниз по реке.

Откровенно говоря, все было так неожиданно и спешно, что я не успел разобраться в своих переживаниях.

Из одного затруднения временно выскочил, но что за сюрприз ждет впереди?

— Вы, надеюсь, не забыли, что являетесь не только командиром миноносца, но по совместительству еще флагманским специалистом по тралению и заграждению? — спросил, улыбаясь, комфлот, обращаясь ко мне, когда мы трое вошли в его кабинет.

— Никак нет. Хотя ни тралить, ни заграждать еще не приходилось.

— Ну так теперь придется.

Из штаба мы вышли через десять минут с огромными пакетами под сургучными печатями и добрыми напутствиями. И опять треск моторов вынуждал кричать в ухо соседа, а ветерок от большого хода заставил застегнуть бушлат на все пуговицы.

Век живи — век учись, а все равно...

С шиком и треском (глушителей) обгоняем рыбницы, буксирчики с баржами и без них.

В одном месте обходили бриделя землечерпалки, которую только-только устанавливают на фарватере (иногда называют его «канал», что, пожалуй, вернее).

Когда «перескакиваем» меляки, меняется характер (высота, гребень, шум) так называемой «спутной» волны, за кормой. Но это дело мне очень хорошо знакомо по Кассарскому плесу<sup>3</sup>, а вот чуть дальше — рот открыл от удивления.

<sup>1</sup> Традиционное сокращение слова «гауптвахта».

<sup>2</sup> Малый флотский парусиновый чемодан.

<sup>3</sup> Плес в Моонзунде, между островами Эзель и Даго. Место ожесточенных боев с немецкими миноносцами в начале октября 1917 года.

Оказывается, здесь фарватер обставляют не обычными вешками (с якорем, буйрепом и поплавком), а втыкая вехи в грунт.

Гидрографический катер тащит на буксире баржонку с грудой вех. Вежа — здоровенный кол, заостренный внизу и имеющий две плашки, набитые на высоте трех футов над уровнем воды в данном месте.

Катер притыкается к бровке канала, несколько человек вкалывают вежу в дно, после чего на нее лезет молодой калмык (рабочий гидрографического отряда) и, подпрыгивая, своим весом вгоняет вежу поглубже.

Посмотрел, как человек подтанцовывает и с «гаканием» ударяет подошвами по прибитым плашкам, и подумал: «А пожалуй, именно здесь, где на канале семь-восемь-девять футов, а рядом, на бровке, три-четыре-пять футов, лучше и не придумаешь».

Интересно, кто изобрел. Наверное, еще деды?!

Почти на выходе из фарватера (канала) навстречу попались катерные тральщики, сфабрикованные из армейских инженерных понтонов (с моторчиками).

Начальник дивизиона (кажется, по фамилии Плотников) доложил Корсаку, что ни одной мины не обнаружено, ни английской, ни нашей (из восемнадцати штук образца 1908 года и около двухсот типа «рыбка», поставленных поздней осенью, чтобы пресечь попытку форсировать дельту Волги).

Пока «лапти», как называли мы эти тральщики, танцевали вокруг нас на маленькой волнишке, их начдив выразил твердую уверенность, что, очевидно, все мины унесены льдом.

— А кто-нибудь из наших впереди есть?

— Как же! Мы «Каспия» и «Рошалья» выводили за тралами, а у Озаровского еще есть канлодки и сторожевики.

— Привет!

— Привет!

Команды «лаптей» были с синими руками и носами от прохладного весеннего ветерка.

А ведь укрыться даже негде. «Лапоть», он и есть «лапоть». Единственное его достоинство, что он «ничего не сидит»<sup>1</sup>, как говорят тральщики и минеры, и на нем меньше шансов взорваться. Но зато мореходность и обитаемость отвратительные. Работать на них — мука.

Да! Есть у нас труженики и сознательные морячки, готовые переносить такие лишения и опасности. Причем мало кто знает об их повседневном и скромном героизме.

*19—29 марта (12-футовый рейд).*

### Упреждение развертывания

Даже на школьной (гардемаринской) скамье объясняют, насколько важно упредить противника в развертывании своих сил для боя (тактического) или для начала войны (стратегического)<sup>2</sup>.

Приводят тысячу исторических примеров, хотя эта истина обычно принимается без особых сомнений скептиками в восемнадцать-девятнадцать лет: ведь каждый парень знает, как важно в драке раньше стать в позу и первым вцепить в ухо своему противнику.

Позже, в академиях, под это теоретическое положение подводят научную базу.

<sup>1</sup> Малая осадка: носом — 0, а кормой от  $\frac{3}{4}$  до 1 фута.

<sup>2</sup> В 1920 году у нас еще не было в обиходе понятия «оперативное развертывание».

Вношу свой вклад в разработку этой общеизвестной истины на примере Волжско-Каспийской флотилии. Причем самое замечательное, что флотилия два раза — весной 1919 и 1920 года — почти в аналогичных условиях обстановки решала и оба раза успешно решила задачу упреждения разворачиванием своих сил в северной части Каспийского моря (точнее, в районах 18- и 12-футовых рейдов и на флангах XI армии) с расчетом не дать сделать то же самое белым и англичанам. В случае неудачи флотилия оказалась бы заблокированной в дельте Волги.

Географическая и климатическая обстановка помогала врагу. У них большие глубины и свободные районы для маневрирования; у них почти не было льда<sup>1</sup>.

У нас — строгие и мелководные фарватеры, на которых ледоходом к весне срезает все вешки и буи; лед — или плотный и твердый, или крошеный, но зато торосистый иногда до самого дна. Плес для маневрирования еще надо отвоевать. При «угонном» ветре с северной части картушки — хоть пешком ходи, так как местами уровень падает на три-четыре фута.

Наконец, состав сил на море не в нашу пользу. Относительно более быстроходные миноносцы мы использовать не можем на меляках, а численность, вооружение, тоннаж и мореходность кораблей — не в нашу пользу<sup>2</sup>.

О топливе не говорю. Без того ясно.

И все-таки, несмотря на все его преимущества, флотилия упредила врага в 1919 году и организовала морскую оборону дельты, помогала флангам армии огнем и матросскими десантами. А это в свою очередь позволило провести и активные операции: был захвачен форт Александровский (30 апреля) и посыльное судно «Лейла» (5 мая) с важнейшими документами, которые вез генерал Гришин-Алмазов от Деникина к Колчаку (из Петровска в Гурьев).

Мало кто знает, что в операции против вражеского флота в заливе форта Александровского были развернуты не только миноносцы, но и подводные лодки «Макрель» и «Миного», переброшенные в Астрахань по приказанию Ленина.

За ошибки приходится платить, поэтому во втором бою за форт (21 мая) погибли эсминец «Москвитянин», минзаг «Демосфен» (оба знакомые по моонзундскому сражению осенью 1917 года) и один транспорт. Но сейчас речь идет о развертывании в начале кампании.

Его наши каспийцы в 1919 году выполнили отлично, несмотря на очень трудные условия.

В улучшенном виде предстоит осуществить план развертывания 1920 года.

1. Дозорные корабли наблюдают и предупреждают о подходе англичан. Если самолеты «нацедят» бензин, они дополняют дозорную систему, особенно в направлении острова Чечень.

2. Крейсер (ледокольный пароход) «Каспий» и канлодка «Росшаль» в поддержке. По каналу уже идет «главная артиллерийская сила» обороны — три или четыре плавучие батареи с шестидюймовыми пушками Канэ.

3. Мы должны выставить три минных поля (в два ряда каждое), чтобы оконтурить рейд базирования, оставив фарватеры для выходов

<sup>1</sup> Кроме слабого берегового припая в Кизлярском заливе, и то в течение одного-двух месяцев.

<sup>2</sup> Только некоторые наши калибры (100-мм) были дальнбойнее английских.

своих кораблей. После чего плавбатареи будут поставлены на прикрытые минных полей, что создаст минно-артиллерийскую позицию.

4. За это время (нам дается двое суток!) начнут выходить из Волги и становиться на мертвые якоря дебаркадеры, транспорты с углем, водой, боезапасом, плавгоспиталь, плавмастерские и т. д. вплоть до плавучего клуба, переделанного из бывшей пристани. То есть плавучий тыл.

5. Одновременно придет дивизион миноносцев и другие отряды поддержки фланга армии, которые только здесь смогут принять воду во все котлы и топливо<sup>1</sup> и тем самым подготовиться к активным операциям.

Своеобразный военный совет в «салоне» у Озаровского на «Каспии». Он старший. Отвечает за всю операцию и обеспечивает развертывание.

Информирует: пролетали поплавокые гидросамолеты, не то на Икряную, не то на Оранжевую. Его пока не трогали.

На горизонте (SSW) все время видны дымки, а в дальномер — стены. Однако приближаться не рискуют.

Его вывод: «Мы вышли, мы здесь, а это главное. Значит, не уйдем! Что-то белые и англичане, очевидно, замышляют, но, очевидно, еще не готовы. Могут ударить в любой момент. Поэтому торопитесь с минной постановкой, а я прикрою!»

Думаю, что нас подстегивать не надо, особенно после того, как Озаровский огласил шифровку комфлота: «...XI армия продвигается так успешно, что флотилия может опоздать с выполнением...»

После обеда и короткого отдыха перешли к уточнению плана заградительной операции.

Но как только прилег на диван, несмотря на страшную усталость — не мог забыться.

А как на «Деятельном»?

Ведь я Снежинскому оставил не обычный корабль, а взбудораженный неуклюжей попыткой ввести новые порядки. Новые-то новые, но в форме, очень напоминающей «старое».

Как команда? Комитет? Как Гридин?

Справился ли комиссар с «кашей», которую я заварил?

Здесь, в ста верстах от Астрахани, я остро почувствовал, что, несмотря на неприятности и сложность обстановки, я уже привязался к кораблю; несмотря на относительно короткий срок, все же ему очень много отдано.

Пусть еще отношения не наладились, но у меня никого нет ближе, чем эти люди, с которыми мне еще надо жить, воевать, а может быть, и умереть.

Еще через час договорились обо всем.

Начнем с центрального (южного) заграждения. На головном — Никольский; на «Карамыше» — я. Мины ставить «по заранее отмеренной глубине», выключив автоматику на барабанах якорей. Углубление мин: четыре-пять футов от поверхности моря (ординарной)<sup>2</sup>. При этом точность требовалась аптекарская.

<sup>1</sup> Ввиду мелководности главного фарватера миноносцы могли идти только разгруженными и на ровном киле.

<sup>2</sup> Расчет был такой, что при нагонном ветре (с южной части картушки) мины окажутся на углублении семь-восемь футов, а при угонных ветрах — на один-два фута, то есть только чтобы не оголялись. Особенно значительные изменения уровня, которые иногда достигают шести футов в обе стороны, нами в расчет не принимались, учитывая, что в таких случаях маловероятны операции в этом районе.

Корсаку начальник обороны дал двух штурманов, истребитель и один сторожевик, чтобы он мог обеспечивать точность постановки. Казалось, ему будет труднее всех.

Штурманы должны были дать начальные и конечные точки минных линий, выставляя малозаметные «полувешки с шаром», выкрашенные в черный цвет, чтобы их не мог найти и использовать противник.

Как Корсак определит их место?

Маяков или береговых знаков в пределах видимости нет. Временную обстановку прошлого года срезал лед. Астрономия нужных точностей дать не может.

Но Корсак не растерялся.

Может быть, почтенные гидрографы упадут в обморок от возмущения, узнав о профанации всех геодезических наук, но флагманский штурман сделал то, что должен был сделать в этих условиях.

Уйдя к конечной точке канала, он отыскал под водой какое-то подобие свайного репера, верхушка которого была срезана, и на нем установил свой знак<sup>1</sup>. Отсюда были видны не только однообразные и пологие берега дельты, но и некоторые приметные пункты, хорошо ему известные (часовенка, бугорок и т. д.), по которым он проверил место своего «основного» знака, сооруженного в виде пучка вбитых вех.

Пройдя на юг до пределов видимости основного знака, штурманы установили следующий (№ 2) и проверили расстояние, ходя туда и обратно несколько раз. Затем так же установили южнее знак № 3 и т. д. (насколько помню, их было пять).

На одной из банок, оказавшейся в стороне, был установлен вспомогательный знак с тем, чтобы получить базу довольно сомнительного треугольника. Вычисление помогло «привязать» и уточнить места знаков № 3 и № 4, которые были уже в видимости из района минных постановок.

Очевидно, это было не блестящее решение, но в данных условиях наиболее скорое и удобное. Кроме того, по этим же знакам ориентировались корабли, идущие из канала на 12-футовый рейд или выходящие с него по минным фарватерам в море. Таким образом, если они и ошибались, то, как говорят, в одну сторону.

Ясно, что, идя с моря, пользуясь штатной обстановкой, можно было бы и не попасть куда надо. Но пока корсаковская геодезия нас устраивала<sup>2</sup>.

Поднялся с «четверки» на борт «Карамыша» и сразу на ют — знакомиться с минерами. Мне с ними работать!

Девять моряков, девять «стариков».

С полуслова ясно, что не просто минеры, но и бывшие унтер-офицеры.

Вот эти службу знают! Даже тянутся немного, несмотря на разность в летах, — чуть почтительны, но насторожены. Однако мне абсолютно ясно, что сделай кто-нибудь хоть из начальства неверный шаг, то есть против Республики, — своими руками задушат.

Деловиты. Солидны. Как будто чуть медленны в словах и в движениях. Но это только кажется. На самом деле рассчитано каждое слово и движение, поэтому выполняют все быстрее, чем суетящиеся и торопящиеся.

Два с минзага, два с тральщика, один спасенный с «Демосфена»,

<sup>1</sup> Здесь с началом навигации обычно устанавливался так называемый «входной» буй.

<sup>2</sup> Немного погода на наших минах, кроме белогвардейского крейсера, взорвалось посыльное судно «Прилив». В какой мере это было следствием «триангуляции Корсака», сказать трудно.



остальные из минного отдела Астраханского военного порта. До этого служили в Нижнем, а еще раньше — на Балтике. Службу начали лет за пять до моего мичманства.

Лучшая аттестация для них — то, что, не дожидаясь конца нашего совета и прихода с «Каспия», они сами начали «предварительное приготовление» мин.

Увидя на палубе, кроме мин 1908 года и черноморских «рыбок», еще и тип «С» со стеклянными колпаками<sup>1</sup>, использовал старый прием, которому научился еще на «Изяславе» и который никогда не подводил. Не скрывать и не маскировать, если чего не знаешь.

— Ну, отцы... Вот эти шарики и «одесские штучки»<sup>2</sup> знаю, может, не хуже вашего, а со стекляшками в первый раз встречаюсь и ни черта в них не понимаю. Разъясните, пожалуйста<sup>3</sup>.

Старший, возможно бывший кондуктор, кашлянув в кулак и расправив пышные усы, солидно, но с явным удовольствием начал:

— Так что мы имеем здесь якорь, минреп и мину...

На «Каспии» сигнал: «Вижу неприятеля. Румб...!»

Командир «Карамыша» не боится, но дает понять, что с минами на борту он не очень расположен вступать в артиллерийский бой.

Мы ничего на горизонте не видим — мостик канлодки вдвое ниже, чем у флагмана. Да и дальномера нет.

Не успеваем обсудить обстановку, как флагман поднимает:

1) «Позывные заградителей!»,

2) «Продолжать операцию!»

Молодец Озаровский! Снимается и со своей канлодкой («Рошаль») идет на сближение с противником.

Минеры работают еще остервенелее.

Не успеваем стирать пот. Воду пьем что твой насос.

«Каспий» и «Рошаль» видны бортом к невидимому противнику.

Вслед за пухлыми, ватными облачками (от нас огня не видно) доносятся глухие орудийные выстрелы.

Как ни интересно, но рассматривать некогда. Работаем. Командир «Карамыша» смотрит в бинокль и периодически сбегает на ют и докладывает или прямо орет с мостика.

Еще через минут тридцать—сорок приближается «Каспий». Опять на нем сигнал: «Продолжать операцию!»

Через час, давно без бушлатов, несмотря на свежий ветерок, вымазанные краской, зимней смазкой (тавотом), потные, даже не успевая глядеть за горизонтом, мы уже работали как черти.

На две сотни «Р» и «С» и сорок больших мин (1908 года) даже по старым инструкциям девять минеров было недостаточно. Но на попытку привлечь «подсобных» из команды «Карамыша» «старики» подняли бунт: «Никого не допустим!»

Здесь было и опасение, как бы неопытные матросы чего бы не напутали, но еще больше — желание самим управиться с таким важным боевым заданием.

<sup>1</sup> Малые гальваноударные мины против тральщиков и малых судов, только колпаки у них не свинцовые, а стеклянные, с металлическим пальцем. Ввиду малой живучести и слабости заряда после гражданской войны сняты с вооружения.

<sup>2</sup> Мины «Р» впервые делались до революции в Одессе на частном предприятии.

<sup>3</sup> Я не солгал. До этого дня видел только чертежи, когда готовился на краткосрочных курсах у товарищей Киткина, Ралля и Киреева на специалиста по тралению и заграждению. Это было в Адмиралтействе, в зиму с 1918 на 1919 год.

Единственно, на что вынуждены были согласиться «старики», это чтобы рулевые и боцман канлодки нарубали минрепа (на длину двух глубин, с запасом на узлы) для того, чтобы потом мины ставить «серьгой» по глубинам, взятым лотом.

На баке на двух наковальнях рубили стальной трос и клали марки, а на корме «колдовали» минеры.

Чтобы нам не мешали и для липовой «конспирации», два прохода на корму были завешаны брезентами, свисавшими с мостика позади гребных колес.

Разбились на «минные партии».

Никольский оказался простым, умным, опытным, а главное, веселым человеком. Он руководил походя, как бы шутя и играя, но на самом деле работал сам как десятый минер, не упуская никакой мелочи и твердо добываясь четкого и точного «окончательного приготовления» мин.

Подражая ему, стал одиннадцатым минером и начальником другой партии.

Все шло, как наметили.

Но вдруг — случилось страшное!

Окончив готовить все мины образца 1908 года и часть типа «С», кто-то из минеров сдернул брезент с линии «рыбок», но через две-три минуты остолбенел.

Протер глаза. Посмотрел на нас, потом опять на мины, потом опять на нас, каждый раз мрачнее все больше.

— Заглушки! — выдавил он из себя одно слово. — Подлецы!.. Заглушки...

Не сразу, не веря глазам, не веря на ощупь, мы наконец убедились в том, что временные заглушки (диск на резьбе с ушком для удобства завинчивания и отвинчивания), те самые, которыми закрываются отверстия для вставления запальных приборов с ударным механизмом, оказались ввинченными так глубоко, что сбоку были видны два-три витка нарезки во фланце корпуса мины, а ушко срублено, место сруба зачищено и затем все аккуратно покрашено суриком.

Внешний вид мин был настолько опрятный, чистый, хорошо отделанный, что эта «мелочь» абсолютно не бросалась в глаза. Новые мины — с завода, а не из старых запасов Николая Романова.

Но не вывинтив заглушки, нельзя было вставить запальные стаканы (ввинчивавшиеся по тем же нарезам, что и заглушки).

Иначе говоря, кто-то обезоружил двести мин в Петрограде, тем самым помогая англичанам на Каспии.

### Курс политграмоты продолжается

Итак, мы здесь, в Каспийском море, воюем с англичанами и офицерами—дезидентами из императорского российского флота, а в это время на две тысячи километров к северу, в Петрограде, союзники и друзья этих предателей портят мины и делают нас бессильными против мощного, коварного и мстительного врага.

Вот новая иллюстрация особенностей гражданской войны.

Нет. Надо смотреть шире. Эта война — одна из форм классовой борьбы.

Догадаться срубить ушки, зачищать срез и окрашивать суриком мог только минный офицер или инженер. Исполнителями могли быть и матросы и рабочие. Но для этого надо было всего два-три человека на сто мин. Причем часть из исполнителей помоложе могла даже

не понимать что к чему. А двух-трех предателей или подкупленных, из «шкур», особенно эсера или меньшевика, всегда найти можно. Но суть не в них, а в том классе, из которого вышли Родзянко, Гучков, Колчак, Деникин и тот, кто это сделал.

Обходил и ощупывал все «рыбки» почти механически, а думал и думал все время.

Никольский съездил со старшиной на «Ф. Энгельс» — там то же самое.

Но как могло случиться, что до момента постановки никто не заметил? Только ли дело в артистической работе?

Ясно, что нет! Очевидно, в приемке, на складах, в портах — или единомышленники, или такие же «святые», как я, которые до конца не поняли, что такое классовая борьба.

Злость, ненависть, даже какая-то доля стыда за этих людей не помещались внутри. А собственно, почему я должен стыдиться, если еще в 1917 году навсегда порвал с ними? Да и рвать было нечего — «инородцу», не из дворян, «черному гардемарину».

Меня всегда раздражали газетные призывы к бдительности и вызывали досаду такие выражения, как «нож в спину революции».

Но вот он, этот нож!

Не в газете, а в натуральном виде!

Еще один урок политграмоты. Да еще какой!

Представил себе, как сейчас в Питере кто-то довольный потирает руки и хихикает.

Рванулся на мостик, к командиру, но передо мной встал старший: — Куда?

И хотя я не обязан был отчитываться перед ним, понял, что сейчас дело не в церемониях.

— На мостик. Надо срочно дать шифровку в Астрахань!

— Не надо. Спугнем! А потом, сейчас не в этом первое дело. Нам дадено — на все про все — двое суток. Половину суток уже проволынили. С Астрахани заменять поздно. Да я знаю, что там больше нет. Есть только на подходе, где-то застряли на железной дороге. Сейчас надо думать, как из положения выходить!

Я посмотрел на Никольского.

Обнаруженный «саботаж» его непосредственно не касался, он был флагманским минером флотилии. А кроме того, были главный минер, минер порта, завскладами, завмастерскими, зав. минной лабораторией и т. д. Кое-где старые специалисты, кое-где выдвинутые из старшин.

Иван Иванович сидел на планшуре необычно серьезный и смотрел в воду. Затем сказал:

— Зубило мне и молоток, а все — на бак!

Но эти «все», включая и меня, запротестовали.

Этот балагур, однако, сумел взять нужный тон:

— Товарищи! Одну заглушку выбью я, а потом будем все хором! А сейчас — марш за колеса!

Мы томительно долго выглядывали с вряд ли безопасной дистанции, но при этом ясно видели, что флагманскому минеру давно или вовсе не приходилось держать в руках зубило и ручник.

Изуродовав заглушку и несколько своих пальцев, Никольский вскрыл мину, причем раздался звук откупориваемой бутылки.

— Завинчивали нарочно, когда еще не остыл тол. Гнездо было горячее, а когда остывало, то сжимало заглушку намертво, чтобы нельзя было вывинтить!

— С умом сделано. По-ученому. Но все же наша возьмет!

— Так-то оно так, но я на одну мину потратил двадцать минут. Немного повредил нарезку. Надо выправлять — еще десять—пятнадцать минут. Так мы двести «рыбок» в неделю не выставим.

— Вы, конечно, извините, товарищ флагмин, но у нас с зубилом пойдет быстрее. Но, конечно, придется приналечь.

Чтобы одиннадцать минеров вооружить хорошими зубилами (с острыми углами, так как бить надо было наискось, заставляя заглушку вывинчиваться), пришлось ограбить все корабли «Обороны 12-футового рейда».

Даже «старикам» из мастерских приходилось нелегко. Что же касается меня, то еще через двое суток у меня были забинтованы почти все пальцы.

Но постепенно насобачился. И выкручивать заглушки ударами по касательной, и зачищать резьбу.

Опаздываем.

А ведь война! Боевое задание!

Кто не испытал этого беспокойства, тот не знает тягостей войны.

Несколько раз появлялись и исчезали дымы вражеских кораблей. Но сейчас нас больше беспокоят наши буксиры, транспорта, плавбатарей и др., идущие по каналу — по плану. Развертывание началось, а минная позиция еще не готова.

Едим на палубе, сидя по-восточному.

Спать не приходится. Максимум два-три часа ночью, когда ничего не видно.

А работать при «люстрах», конечно, невозможно, даже под крылом у Озаровского.

В голове гул. Налита свинцом.

Болят руки. Болит все тело.

Не бреемся.

Вид — морских пиратов.

На душе тепло, когда команда «Карамыша», видя наше напряжение, помогает минным партиям всем, чем может.

А минеры скрытно и застенчиво помогают Никольскому и мне.

Когда раз заснул у мины незаметно для себя, то проснулся с чьим-то бушлатом под головой и прикрытый чехлом.

Кто сделал — не знаю. Но знаю, что у меня есть нянька. Вернее, у нас с Никольским девять нянь.

Но как только внутренне растрогался (не показывая виду), так вспомнил о «Деятельном».

Ведь через двое-трое суток и он появится здесь.

Так неужели мы не выполним боевого задания?

Молодец Корсак! Не подвел. Мы сейчас стоим у шаровой полузешки центрального заграждения, и как только все мины будут готовы — начнем.

Пьяные от переутомления и от радости. Хоть с опозданием почти на двое суток, но главное заграждение стоит.

Ни одна мина «Р» из шестидесяти не всплыла.

Озаровский благодарит, но торопит.

Теперь мы расходимся с Никольским.

Он идет на западное (60 мин «Р»), а я на восточное (32 мины 1908 г. и 58 типа «С»).

Запомнилась на всю жизнь еще одна весьма своеобразная деталь этой минной постановки, не предусмотренная ни в каких правилах.

На «Фридрихе Энгельсе» как на заградителе есть кормовые минные скаты, поэтому большие шаровые мины и «рыбки» скатывались нормальным образом — на своих роликах, вделанных в нижнюю часть якорей. То обстоятельство, что автоматика была включена и между самой миной и якорем была бухточка двойного троса длиной от десяти до шестнадцати футов (в зависимости от глубины), — дела не меняло.

Вслед за якорем (или чугунным грузом на некоторых «рыбках») в воду летела бухта минрепа, а затем сама мина.

Раза два «рыбка» взрывалась, как только таял сахарный предохранитель (через две-три минуты), но так как это было на ходу корабля, а из осторожности все пригибались к палубе, то ни одного ранения не было. Столб грязной воды и фонтан брызг!

Хорошо, что большие мины вели себя вполне благовоспитанно.

Но вот на «Карамыше», который не имел кормовых минных скатов, с минами «С» произошел плохой анекдот.

Занятые срочным ремонтом испорченных «рыбок», мы все как-то об этом не подумали и опомнились только перед началом сбрасывания, придя в начальную точку постановки восточного заграждения.

У «Карамыша» и его напарника, как у всякого приличного волжского буксира, вокруг всей кормы шел железный фальшборт с деревянным планширом (конечно, буксирные дуги были сняты). На юте был решетчатый настил, прикрывавший румпель и его тали.

Положили деревянные сходни оборотной стороной вверх, высунули кончик за корму и с этого импровизированного сооружения, приподняв один конец, сбрасывали мину с бухточкой троса и якорем, а то с кошкой или другим грузом — якорей для всех мин не хватало.

Однако через пять минут выяснилось, что при заданном ходе корабля мы нужные интервалы выдерживать не успеваем. Канлодка и так плелась около пяти узлов, и Корсак категорически отказался еще сбавлять ход: плоскодонный и мелко сидящий кораблик сносило даже слабым ветром так, что он шел чуть не боком.

Стали на панер<sup>1</sup>, обсудили, прорепетировали, после чего закончили постановку цирковым способом, причем вся команда ушла на бак и выглядывала из-за углов настроек и кожухов колес.

Вновь изобретенный способ заключался в следующем.

Два минера брали мину «С» на руки, один или два — кошку или якорь, становились у самого гакаборта, оставив минреп свободно висеть за кормой.

Затем по команде «раз-два—взяли» раскачивали свои «игрушки» и, одновременно выбросив их за корму, сами падали плашмя на решетку под защитой фальшборта.

На седьмой или восьмой мине раздался взрыв, корму немного подбросило, а сверху обрушился каскад воды. Осколки никого на корме не задели, но капитан и Корсак уверяли, что они пролетели над рубкой.

После этого зрителей стало значительно меньше, но мы уже вошли в раж и остановить нас нельзя было.

<sup>1</sup> На якорь с отвесно смотрящим канатом.

Еще три или четыре взрыва (то ли сахар, то ли стекло не выдерживало) — и вдруг мы, оглядевшись, увидели, что мин на юте больше нет.

Несмотря на нечеловеческую усталость, нас обьяла мальчишеская радость, и мы стали обниматься. Когда же с мостика спустился сияющий флагштур, то мы, не сговариваясь, схватили его за руки и за ноги и начали раскачивать — «раз-два — взяли!».

Если бы не капитан «Карамыша», то шутка могла зайти далеко.

Сев на бухту троса на решетчатом банкете над румпелем, я почувствовал, как начинаю засыпать, но кто-то сказал, что у противника прибавилось до четырех дымков.

Усилием воли оглядел горизонт. В глазах так рябило, что на юге ничего не разглядел, зато с севера приближалась целая армада кораблей и транспортов, но теперь они не смущали, а радовали. Радовало и весеннее солнце, о котором вспомнил впервые.

Заметив на рее нашего шипа какой-то флажный сигнал, еле ворочая языком, спросил:

— Что это?

— Постановка окончена!

Постановка окончена. Это значит, что и в 1920 году Волжско-Каспийская военная флотилия опять упредила противника развертыванием своих сил! А в этом — залог последующих побед!

Не заснул опять только потому, что подошедший лекарский помощник начал сдирать почерневшие бинты и пластыри с обеих кистей рук.

От боли еще способен был услышать Корсака.

— Вам хорошо! Только бы спать! А мне еще проверять фарватеры между заграждениями и точно установить на позиции плавбатарей.

Больше ничего не помню. Забылся тяжелым сном.

*30 марта. 12-футовый рейд. «Каспий».*

### Самый счастливый день жизни

Отоспался (не до конца), написал для Никольского частный отчет о своей работе. Попрошался с замечательными минерами, артистами своего дела и людьми долга, у которых многому научился. Поговорил с Озаровским (наговориться с ним никогда нельзя, настолько интересный человек) и теперь жду своего «Деятельного».

Уже подходя на катере и видя лица и улыбки встречающих, я понял, что возвращаюсь домой, к своим друзьям.

Видя перевязанные руки, помогли перейти на борт.

Реплики:

— Сколько осетров наловили, товарищ командир?

— Не видишь, руки пораненные — значит, ершей ловил.

Подошел здоровый детина. Явно латыш:

— Будем знакомы. Ваш новый комиссар.

В каюте — сверкание и блеск. Ни пылинки.

Да и весь миноносец как-то похорошел, помолодел и подтянулся.

Вот что значит начало кампании и что значит для моряков выход в море.

Вечером в кают-компании меня забросали новостями. Хорошими с нашего фронта, неважными с Юго-Западного. Пилсудский продолжает бряцать оружием.

Кратко рассказал о минной операции.

— Ну, а вы как? На разводку выходите?

Смушаясь, улыбаются:

— Выходим, как двинулись к морю... Утром посмотрите.

Хотя у самого руки чешутся потренироваться в управлении кораблем, нарочно поручаю Снежинскому переходы от одного транспорта к другому (уголь, вода), ссылаясь на забинтованные кисти.

Но на мостик выхожу и присматриваюсь к повадкам корабля.

На рейде — уже целый плавучий город.

Суетятся буксиры. Свищают. Шумят. Переставляют корабли, баржи.

Это подвижная база снаряжает в поход три боевых соединения.

Вчера одно ушло в сторону Гурьева.

Кажется, Арский, прикрывая фланг армейских частей с моря, продвигается вдоль северо-западного берега к югу; почти «пешком», острят у нас. Там сплошные меляки, отмели, банки и прочие навигационные сюрпризы.

Мы, то есть «Деятельный», готовы. «Расторопный» с Калачевым не подведет, тоже поднимал свои позывные в знак готовности.

Какие-то непонятные вензеля выписывает «Дельный», проткнув бушпритом одну баржу (к счастью, уже почти пустую)<sup>1</sup> и обшарпав себе все борта. А судя по тому, что за кормой у него сейчас работают водолазы, очевидно, он наматал на винты какой-то трос.

Мешкает и флагман — «Карл Либкнехт». Но это понятно. Он больше наших кораблей почти вдвое<sup>2</sup>. В канале его пришлось разгружать сильнее других, а теперь надо принимать одного угля почти сто пятьдесят тонн.

Дивизиону эсминцев объявлена двухчасовая готовность. Но от нетерпения уже все механизмы прогреты и опробованы, и мы в любой момент можем сняться.

Все это делалось самими командами, без приказаний или уговоров.

Корабли подтянули канаты, а мы из-за проклятой шпилевой машинки, чтобы не отдавать якоря, стоим (после большой ругани с начальником Душиновым), пришвартовавшись к лебаркадеру, на котором помещается управление военного порта и склад самых дефицитных соблазнов по баталерской и шхиперской части. Вот где всерьез соблюдается военная тайна, и можно предполагать, что даже комфлот не знает, чего и сколько есть на складах.

*30 марта. Рейд (двухчасовая готовность).*

Сутки напряженной работы.

Снежинский и Буш «колдуют» у компасов и ругаются, что нельзя произвести классическое уничтожение девиации. Объезжает корабли начальник инструментальной камеры И. Ковтунович, но наши обиделись и его проводили.

Смена масла в компрессорах. Согласование прицелов по отдаленным предметам.

Шлюпочным хозяйством занят боцман.

<sup>1</sup> На эсминцах типа «Деятельного» были короткие, толстые бушприты, обделанные на конце кранцем. Назначение их состояло в защите при швартовках форштевня, выдававшегося под водой тараном.

<sup>2</sup> Бывший «Эмир Бухарский». Построен в Гельсингфорсе, вступил в 1905 году, 650 тонн, две машины — 6500 НР, ход на испытаниях 25,3 узла, два орудия 100-мм, три торпедных аппарата. Однотипный с «Москвитянином».

Приемки по всем частям (к сожалению, по голодной норме). Новых тросов, шлюпок, весел, флагов — нет. Все латаное и перелатаное.

Но настроение у всех бодрое и боевое.

Учебную стрельбу штаб не разрешил.

С севера продолжают подходить какие-то суда, баржи и буксиры.

Если считать нас «числом», то — грозная сила. Но на самом деле большинство кораблей речных и немореходных, а самые сильные пушки (одна даже в восемь дюймов) — на несамоходных баржах.

Ясно, что нам, миноносцам, придется решать главные задачи.

Слабее всего обстоит дело с воздушной разведкой.

За все время видел только два гидросамолета, прошедших далеко, от Оранжевой в сторону Лагани.

Несмотря на дальность, виден дымный шлейф. Очевидно, это от качества топлива.

Снежинский рассказывает, что у них даже есть плавучая база со спусками и подъемниками и что на Волге они замечательно воевали.

Не хотел бы быть на их месте!

А ведь летают все-таки, несмотря ни на что!

Погода сносная.

Шквал с дождем, потом опять ясно и дует не более двух-трех баллов. К югу, на горизонте, бывает не то дымка, не то туман.

Несмотря на строжайшие приказы о затемнении, ночью весь плавучий городок обозначен светящимися точками, то скрывающимися, то появляющимися.

Хуже всех на флагмане. Но это, кажется, старая традиция русского флота. Других фитилять, а у себя не замечать.

### *31 марта. Рейд (часовая готовность).*

Под вечер, еще до сигнала флагмана «вижу неприятеля», с SSW стали слышны орудийные залпы.

Затем ухнул взрыв, и на горизонте появилось разрастающееся черное облако дыма.

«Каспий» мористее, а ближе к нам «Либкнехт», маневрируя на кормовых курсовых, отходят. Но после взрыва поворачивают на сближение. «Каспий» с одним истребителем увеличивают ход (видно в дальномер — по буруну). Ледокол продолжает ухать из носовой пушки.

Томительное состояние ожидания.

Мы, как зрители в театре, смотрим (высыпали все до единого, кто на марс, кто на крышу дебаркадера), но ничего толком не понимаем, до нас почему-то не долетают снаряды, и даже не видно всплесков.

И наконец... радио «клэром»<sup>1</sup> от Озаровского: «На нашем заграждении взорвался крейсер противника. Уцелевшие перешли на английские торпедные катера и удаляются к югу. Крейсер горит. Сближаюсь для осмотра».

Еще немного погода флагман весь расцветивается флагами. «Как на пасху» (реплика сигнальщика). Но оказывается — это длинный сигнал по трехфлажной книге<sup>2</sup>. Без позывных. Значит, всему флоту: «Флагман поздравляет флот с первой победой над врагом!»

<sup>1</sup> Открыто, не кодировано.

<sup>2</sup> Старая сигнальная книга, оставшаяся от старого флота. Интересно то, что ею пользовались одновременно и мы и белые. Переиздание такой книги — дело очень сложное и длительное.



По мере разбора сигнала в разных концах рейда раздавалось «ура-а!». Сигнал читали люди с различной подготовкой, да еще за зиму немного растерявшие сноровку, и «ура» получилось разноголосое и разновременное.

Но не в этом дело. Даже тыловики на дебаркадере ликовали, и это ликование было искренним и всеобщим.

Все, кто не был связан вахтой внизу, стояли и смотрели часами и без усталости на эту по-своему драматическую картину.

Позже Озаровский сообщил, что горел и затонул крейсер «Князь Пожарский».

Даже кочегары, трюмные и машинисты, стоявшие вахту, подменялись, чтобы выбежать наверх и с кожуха или кормовой рубки смотреть и смотреть. Почти безмолвно или обмениваясь редкими короткими фразами, глядели ненасытными глазами, как бы стараясь на всю жизнь запомнить этот день и этот вещественный знак нашей первой победы, а следовательно, еще один шаг к изгнанию врага и окончанию войны.

Я тоже приткнулся к стойке мостика и как-то бездумно (очевидно, еще сказывалось переутомление) смотрел на дым на горизонте и никак не мог уйти вниз.

Вдруг за моей спиной раздался свирепый шепот старшины-рулевого:

— Что ж вы, окосели, что ли? Вас флагман уже десять минут вызывает, а вы... в бога мать... уперлись в одну точку! Тоже мне сигнальщики!.. Пиши: «Деятельному» (написал?). Ко-командиру (давай дальше!) объявляю... благодарность... флагмину (написал «флагмину?»), флагштур и вам... разделительный... за успешное выполнение... минной операции (повторяю — «операции»), повлекшей (не понимаю, повлекшей? — пиши, дура, потом разберем!)... повлекшей гибели неприятельского... корабля с м и н а м и... Представляю награде (написал?)... Комфлот (давай «ясно вижу»). «Конец». «Конец».

За спиной возня.

— Товарищ командир, разрешите доложить семафор с «Либкнехта»?

Не поворачиваясь, через плечо:

— Не надо. Слышал. Все ясно.

Ясно-то ясно, но я не мог повернуться к ним лицом, потому что это был самый счастливый день в моей жизни.

Поймут ли они слабость своего командира?

Дело, конечно, было не в заключительной фразе, а в том, что я первый раз в качестве командира заработал такой сигнал на глазах у всего флота.

В двадцать пять с половиной лет не всякий моряк может похвалиться таким приказом в военное время и, в частности, когда еще все пальцы ноют и не сгибаются, напоминая о только что пережитом.

Через минуту, когда я овладел своими нервами, первым подошел поздравить комиссар Турк, за ним Снежинский, Лузгин, Буш... И один из первых от команды — старший комендор Гридин со своим неизменным дружкой Трибуцем.

Крепкие рукопожатия были отменены ввиду аварии пальцев у виновника торжества.

Казенный спирт, хотя и имелся в небольшом количестве, распивать не стали. И без него у всех было прекрасное настроение.

Но мне все время не давала покоя одна фраза семафора: «крейсера с минами». В чем дело?

Почти в темноте подгребли на шлюпке к трапу «Карла Либкнехта», на котором шла доприемка угля, прерванная боем.

После «фитиля» за то, что я явился без вызова, в штабной каюте мне разъяснили, что палуба «Пожарского» с носа до кормы была уставлена шаровыми минами.

Отход «Каспия» с 18-футового рейда устраивал белых, хотевших как можно теснее заблокировать нашу флотилию.

Когда Озаровский, отходя, прошел по фарватеру внутрь нашей позиции, белые не заметили («К. Либкнехт» не выходил за минное поле) и, стремясь заблокировать всех на 12-футовом рейде, продолжали идти, пока не нарвались на центральное заграждение.

Затонул он очень быстро. Сел почти на ровный киль. Все надстройки — над водой. Мины не сдетонировали, но начался пожар средней надстройки и рубки. Два, а кто уверяет — три торпедных катера сняли оставшихся в живых и полным ходом ушли на юг.

Непонятно, почему главные силы не попытались оказать никакой поддержки и тоже ушли к югу?

Вплотную наши корабли не подходили, все время ожидая взрыва мин, верхние горловины и «рога» которых были вровень с поверхностью моря и оголялись на слабой волне.

Итак, «Князь Пожарский» шел с минами, чтобы закупорить (или, по-научному, заблокировать) нас. Непосредственно поддерживали его торпедные катера, а в качестве прикрытия мористее держались крейсера.

Как будто все предусмотрено и грамотно.

Одного не хватало: у п р е ж д е н и я п р о т и в н и к а.

Опоздали!

Почему? Причины мы не знаем. Но «Пожарский» подходил к наметенному белым штабом району постановки тогда, когда на нем уже стояли наши мины.

Опоздали на двое суток (фактически), а могли бы на четверо (если бы не случилась задержка у нас из-за кем-то испорченных мин). И это решило судьбу операции. Больше того — судьбу, или, вернее, ход начала кампании.

А результат? У нас, опираясь на оборону рейда, уже один отряд пошел выводить «нефтянки» из Гурьева, другой — висит над флангом армии, а дивизион миноносцев готов к скачку на юг.

Вот что значит — у п р е д и т ь в р а г а в р а з в е р т ы в а н и и.

Так политическая учеба в коллективе моряков-большевиков сочеталась с оперативной и тактической подготовкой на практике, в море.

С наступлением сумерек дым пожарища неудачливого «Князя Пожарского» постепенно уменьшался и сливался с темнеющим небом, а еще позже вовсе перестал быть заметным. Зато огонь — тлеющий и мерцающий — стал яснее и создавал над покойником небольшой багровый ореол.

Еще до рассвета дивизион из трех миноносцев, следуя за «Либкнехтом» («Дельный» задержался с водолазами), прошел восточным минным фарватером и лег на зюйд.

Невольно подумал, внутренне улыбаясь: «Даешь открытое море!»

---

### Обращение к читателям, причем не только к морякам

*(Написано двадцать лет спустя, когда автор записок впервые ознакомился с одной из научных работ нашей Военно-морской академии<sup>1</sup>)*

Дорогие читатели!

Есть история, которая фактически творится человеческим трудом и разумом на основе политических, экономических и моральных побуждений данного общества.

Но есть история, которая *post factum* дает описание фактов и событий, совершенных людьми в определенных условиях обстановки. И если это не голая протокольная хроника, а подлинное научное исследование, то вслед за тщательно систематизированными и критически сопоставленными фактами следует анализ с последующими выводами и заключениями. При этом не только вскрываются подлинные причины и процесс развития описываемых событий, но путем раскрытия исторических закономерностей появляется возможность некоторых обобщений, которые могут помочь при решении проблем будущего.

Марксистская историография опирается на всех этапах работы на методологию исторического и диалектического материализма и является наиболее научной и наиболее объективной.

Изложение фактологической стороны событий относительно не так сложно. Гораздо более трудное дело — критический анализ описываемых фактов и выяснение причин их возникновения.

Выше была описана, может быть, незначительная, но поучительная операция — постановки оборонительных минных заграждений, описана с максимальной точностью, насколько это доступно одному человеку, хотя бы и использовавшему свои записки, архивные материалы и письма других участников.

Теперь взгляните, как те же факты (не только постановок, но и воюющего вредительства) получили свое отражение в официальном научном труде.

Вот как слушатели Морской академии начиная с 1939 года, то есть девятнадцать лет спустя, могли ознакомиться с описанными выше особенностями и минной постановки, выполненной на 12-футовом рейде.

Достаточно точно охарактеризовав обстановку и подробно изложив все цифровые данные (числа, тип мин, глубины, углубление и т. д.), Б. А. Денисов пишет:

«Заградитель («Фридрих Энгельс») не смог приступить к постановке сразу по приходе на рейд, так как состояние мин потребовало длительного времени для их приготовления к постановке. На приготовление мин ушло двое суток. Большое количество их было забраковано из-за технических неисправностей (этим минам был необходим ремонт и переборка портовыми средствами)<sup>2</sup>» (стр. 39).

Формально почти все правильно, в то же время — никакого саботажа или вредительства. Одно только не логично, на что автор не обратил внимания, — мины, «требовавшие переборки портовыми средствами»<sup>3</sup>, были засланы на сто верст к югу, к месту постановки, из того самого порта, который имел минную часть и мастерские с соответствующим количеством специалистов.

<sup>1</sup> Б. А. Денисов. Использование мин в гражданскую войну 1918—1920 гг. Военмориздат НКВМФ СССР. М. 1939.

<sup>2</sup> Подчеркнуто мною.

<sup>3</sup> Подчеркнуто мною.

Еще одно место, на странице 41:

«Ввиду того, что в большинстве случаев мины ставились без якорей (на кошках или грузах по измеренной глубине), — вооруженные пароходы не имели минных путей, и мины сбрасывались вручную...»

И опять формально все правильно.

Но как сбрасывать мины вручную и что при этом испытывают люди, не сказано ни слова. Кое-кто из читающих может подумать, что это не сложнее, чем перебрасывать арбузы с баржи или что подобный способ рекомендуется учебниками или ПМС (правилами минной службы).

Простудировав книгу Б. А. Денисова, я впервые понял, как война, операции, человеческий труд и трудности с течением времени часто получают сглаженную, смягченную окраску, в том числе в официальных изданиях, основанных только на архивных отчетах.

Денисов честно привел то, что нашел в документах, стараясь быть возможно более точным.

Его беда в том, что он не задумался над нелогичностью некоторых моментов и не попытался сделать более глубокий анализ для того, чтобы исключить или разъяснить имеющиеся противоречия.

Еще позже пришлось убедиться, что в некоторых особо острых случаях необходимых документов найти нельзя.

Этим поздним отвлечением я вовсе не собираюсь поставить под сомнение всю нашу советскую историографию или приведенную академическую работу. Отнюдь нет. Книга Б. А. Денисова полезна хотя бы тем, что она почти единственная так подробно освещает проблему использования мин во время интервенции и гражданской войны и приводит много фактических и достаточно точных данных.

Этим обращением я хочу только предостеречь от не критического отношения к различным историческим исследованиям и напомнить, что без слова живых людей — участников событий в виде ли статей или мемуаров нельзя получить достаточно полного и объективного представления даже об относительно недавнем прошлом нашего флота, армии и всего государства в целом.

*2 апреля. В море (записано позже, днем).*

Всю ночь у меня была одна забота: как бы не налететь на корму «Либкнехта» или не оторваться от него. Ведь это был наш первый выход.

Так называемое «совместное плавание» дивизиона эсминцев является искусством, которое вырабатывается главным образом на практике. Не теория или инструкции, положенные в основу, имеют решающее значение, а опыт.

Практика усложняется, когда соединение состоит из разнотипных кораблей (неодинаковые циркуляции, число оборотов, характер дрейфа и т. д.).

А у нас не было и «инструкции совместного плавания». Выручал, очевидно, некоторый опыт, накопленный еще на Балтике.

Пол-луны, временами закрываемой облаками, помогала нашей учебе. До рассвета все обошлось благополучно, хотя по некоторым маневрам флагмана было ясно, что сам комфлот никогда не командовал кораблем и не представляет себе, как трудно выполнять некоторые эволюции по его сигналам.

«Расторопный» держится за кормой как привязанный. Молодцы.

По траверзу одно время стучали своими глушителями почти невидимые истребители, но потом куда-то исчезли. Очевидно, посланы в разведку.

На рассвете определились по маяку на острове Чечень, который был на пределе видимости. Не то его огонь горит (сомнительная любезность белых), не то отсвечивают стекла фонаря от показавшегося на противоположной стороне горизонта восходящего солнца.

Прибавили ход до пятнадцати узлов (корму трясет сильнее) и изменили курс ближе к берегу — по-видимому, на Петровск.

Планов командующего не знаю.

На мостике появился озабоченный Лузгин. Утомленный, потный, но спокойный, хотя новости принес беспокойные.

— Нам еще долго идти? — спросил он.

— Чудак человек! Это не только у нашего комфлота — еще у белых надо спрашивать!.. А в чем дело?

— Из Астрахани вышли почти без угля. На 12-футовом нам дали только ползапаса. Но главное в том, что уголь оказался не флотский, мусорный, мелкий, почти штыб. Ребята в кочегарках очень мучаются, чтобы стрелку манометра на черте держать. Но половина угля, не спекаясь, проваливается под колосники. Расход — вдвое обычного. Хватит еще на полдня, если идти не больше двенадцати узлов. А потом — «стоп машинам»!

— Вот спасибо! Что ж вы раньше не доложили?.. Сигнальщики! Давайте «ратьером» на флагмана: «Расход угля оказался!..»

А в голове мысль: значит, до своей плавбазы под Астраханью вернуться не сможем! Что же будет, если не захватим до полудня Петровск? Хотел было поделиться опасениями с Калачевым и узнать, как у него, но потом вспомнил, что переговоры станут известны обоим командам, и воздержался.

Флагман ничего не ответил. Из чего понимаю, что он сам не в особенно лучшем положении.

Справа, на фоне освещенных солнцем склонов гор, которые все ближе теснятся к морю, в бинокль можно наблюдать, как «пылит пехота». На железнодорожных путях от Грозного составов почему-то не видно.

Отдельными колоннами с небольшими разрывами идет артиллерия, затем какие-то фуры, тачанки...

Вот она, знаменитая XI армия, форсировавшая плавни и камыши Терека, а сейчас — Сулака. Но, очевидно, голова ее — далеко впереди, а это главные силы и за ними — тылы.

Еще через час с «Деятельного» видны пригороды и белые кубики домов самого Петровска с маячной башней на выступе горного контрфорса.

Теперь ясно, что пылящая змея наступающей армии уже в городе, а так как отсюда не видно кавалерии и бронепоездов, надо думать, что передовые отряды прошли Петровск насквозь и, наверное, уже находятся на пути к Дербенту.

Показался мол.

Над районом порта держалась шапка разноцветного дыма, и с той же стороны все явственнее доносились не то орудийные выстрелы, не то взрывы (позже, по мере приближения, ухо могло различать трескотню пулеметных и винтовочных выстрелов). Однако видя, что армейские части продолжают входить в город походным порядком и не стреляя, — наконец догадались, что бой уже закончился, а в порту горят боеприпасы.

Флагман уменьшил ход, показав это шаром.

Затем последовал очень лестный семафор, от которого воротничок старого кителя стал немного тесным: «Деятельному» выйти вперед и нащупать вход в гавань. Следую за вами. Комфлот».

Только заняв место в голове колонны, мы увидели то, что заслонял корпус флагманского корабля: на подходах к гавани из воды в разных местах торчали стеньги, мачты или рубки нескольких затопленных судов. В стороне, на камнях, ближе к берегу стоял двухтрубный миноносец, удивляя яркостью красной окраски, освещенной утренним солнцем.

«Нащупать фарватер!» Сказано лаконично, но совершенно ясно. Однако чем можно «нащупать» неприятельские мины, если окажется, что бело-английская сволочь успела набросать их во время затопления брандеров,— с военной точки зрения это было бы вполне логично.

Но раз с нами тральщиков нет, то ясно, что тралить придется собственным брюхом.

Как назло, море абсолютно пустынное.

Не могли же убежать, бросив свои дома, все рыбаки, лоцманы, моряки с мелких портовых средств и т. д. Очевидно, притаились от страха перед «зверствами большевиков» и из-за мола и портовых строений тайком наблюдают за нами.

Уменьшаю ход до малого.

По совету Снежинского поднимаем международный сигнал «ожидая лоцмана».

Опрашиваю всех на мостике: кто здесь бывал и знает хотя бы обычный, мирный фарватер? Оказывается, никто.

— Тогда давайте карту и план Петровск-порта, будем думать хором!

Первое логическое допущение: там, где затоплены корабли, и должен находиться фарватер! Ведь цель затопления заключалась именно в том, чтобы запереть вход!

Второе: так как сыны Альбиона и просто сукины сыны удирали поспешно, то надо все время сверяться с картой и с глубинами (последовала команда: «Лотовые — на лот!») — удирающий всегда волнуется и мог потопить брандер не там, где запланировали операторы из штаба<sup>1</sup>.

В момент, когда Снежинский доложил (взяв предварительно два-три пеленга на маяк и на «огонь» на оконечности северного мола), что первый из затопленных кораблей лежит точно на фарватере,— сигнальный старшина указал на одну, а затем на вторую вежу.

Вежи были «штатные», добротные и стояли там, где были показаны на карте. Как «в доброе старое время»!

Вот в чем сказался «дрожement» прославленных мореплавателей: один брандер затопили точно (потом оказалось, что и два остальных из четырех покойников лежали близко к фарватеру), но, закупоривая вход, забыли срезать штатную обстановку.

Таким образом, к обычным вехам прибавились дополнительные, по которым отчасти можно было контролировать «нащупывание» фарватера.

Не прерывая работу, мы изощрялись в иронии и издевательствах над представителями «владычицы морей» и их коллегами из белогвардейского штаба.

Спустили сиротливый сигнал с просьбой лоцмана и, чувствуя себя более уверенными, подняли довольно нахальный: «Следовать за мной!»

Пикантность сигнала заключалась не только в том, что сзади шло начальство, а главным образом в том, что с ним вместе оказались у нас на шкентеле флагманский штурман с помощником и еще корабельный,

<sup>1</sup> В подобных случаях огромное значение имеет тот факт, что планируют одни (и, отдав приказ, удирают), а исполнять приходится другим, которым ударить хочется не меньше.

которые, не видя, что делается впереди нас, не рисковали командовать и давать указания.

С двумя лотовыми на банкете носовой пушки, которые были буквально рядом с мостиком, с двумя штурманами и двумя видами обстановки мы без особого труда двигались ко входу в гавань — малым ходом.

Погода была идеальной. При полной видимости и слабом бризе нельзя опасаться потери места или сноса.

Оставался неясным вопрос о минах.

К сожалению, не очень прозрачная вода<sup>1</sup> и еще низкое солнце не давали возможности просматривать глубину, хотя расчет первой пушки с Гридиным во главе, стоявший здесь по боевому расписанию, пытался решить эту задачу, тем более что пока стрелять было не по кому.

Из общего впечатления об обстановке у меня создалось убеждение, что бывшие хозяева так торопились, что не успели набросать мин. Однако подобное убеждение нельзя считать достаточным в таком ответственном деле.

Зная, как трудно ставить мины вплотную к затонувшему судну (из-за трудности маневрирования), приказал рулевому старшине обходить покойников почти впритирку, лишь бы не побить и без того зазубренные наши винты.

Когда до входа оставалось не больше полкабельтова и последний «крест» (из стеньги и рея затопленного буксира), мимо нас с треском промчался истребитель с главштуром и еще другими командирами на рубке.

Напряженно разглядывая свой путь и проверяя его засечками и пеленгами по карте, мы не заметили, что флагман отстал, подозвал к борту истребитель, который ходил в разведку к острову Чечень (почему мы о нем забыли), и теперь послал его в порт.

Сперва мы по-мальчишески чуть не обиделись, но затем, когда катер, взяв со стенки двух мужчин с чиновничьими фуражками на головах, опять вышел к «Карлу Либкнехту», нас утешило то, что из миноносцев все же мы вошли первыми в Петровск.

Между последним брандером и углом мола осталась только чистая вода. Я оглянулся на остов миноносца, стоящего на камнях.

— «Москвитянин»! Я его еще со времен Рижского залива знаю.

— Он самый! — отозвался с печальным вздохом старший рулевой. — А я его по прошлому году знаю... по форту Александровскому!.. Но, кажется, мы за него расквитались...

— И еще заставим расплатиться с лихвой!

Трескотня от рвущихся патронов и редкие, но сильные взрывы раскаленных снарядов теперь были слышны почти рядом.

Сильный запах гари. Дым относит в сторону; видны догорающие составы вагонов почти у воды, но никто не тушит.

Главная стенка, за молом, абсолютно чиста. Можно подходить свободно.

Народ — за шлагбаумом и путями на мол.

На призыв рукой Гридина выбегают и охотно помогают заводить швартовы. Видно, что рабочие и рыбаки.

Вид смущенный, но радостный.

Итак, лозунг: «Даешь Петровск!» — уже устарел.

(Разве знал кто-нибудь из нас, рядовых командиров миноносцев, что

<sup>1</sup> Вынос взвешенных частиц из устья Терека и Сулака при прибрежном течении, направленном на зюйд.

еще 17 марта В. И. Ленин послал Реввоенсовету Кавказского фронта, на имя И. Т. Смильги и Г. К. Орджоникидзе, шифрованную телеграмму, которая начиналась словами: «Взять Баку нам крайне, крайне необходимо...»

Нет, никто не знал.

Однако мы еще с Астрахани понимали, что освобождение Азербайджана, а следовательно, и Баку и ликвидация бело-английского флота является главной стратегической целью для войск фронта и нашей флотилии.)

Несмотря на огромное значение относительно внезапного занятия Петровска раньше, чем это предполагалось по оперативным планам, нас здесь ждали крупные разочарования:

ни одной тонны угля для миноносцев, а следовательно, и невозможность немедленной организации операции в направлении на Баку;

ни одного танкера для начала доставки нефти (из Грозного) «в Россию» ввиду того, что враги увели или затопили весь тоннаж, пригодный для этой цели.

*3 апреля. Петровск-порт.*

Теперь стало известно, что накануне подхода головных частей XI армии в город ворвались с гор те самые отряды революционных сил, организации которых мы обязаны Орджоникидзе и Кирову.

Вот почему город относительно мало пострадал, а враги не успели вывезти все свои запасы. Интендантские трофеи немалые и весьма кстати.

По той же причине не все, кто хотел, успели удрать. Скрываются по квартирам.

По приглашению Лузгина спускался в первую кочегарку.

Впервые в жизни увидел и понял в буквальном смысле старое выражение «подмести уголь под метелку». Кочегары, выбрав лопатами по углам и пазам все, что можно, сметали голиками в небольшие кучки угольный мусор и пыль.

### Совещание на «Либкнехте»

У всех без исключения, даже у озабоченных штабников, новое выражение лиц и глаз. Победа и уверенность в дальнейших успехах меняют настроение, хотя трудностей впереди хоть отбавляй.

Комфлот только что появился, бодрый и возбужденный после переговоров с командованием фронта и ревкомом. Видимо, «моряки не подкачали», и с армией полная договоренность.

В момент, когда комфлот сел на председательское место (в кают-компании флагманского эсминца), к нему подошел напер Лепетенко и молча протянул бланк депеши, демонстративно заслоня телеграмму папкой так, чтобы никто не мог заглянуть.

Все навестили уши.

Комфлот потер от явного удовольствия ладони рук и спросил:

— Когда можем сняться?

— Сейчас на «Либкнехте» обмеряют ямы. Возможно, придется огрывать другие миноносцы... (Ехидный смешок командира «Деятельного» и смущенная улыбка командира «Расторопного».) Одновременно ищем в порту и на железной дороге. Если «Дельный» придет с полным запасом, то лучше взять у него, но его места пока не знаем.

— А как истребители?

— Сольем бензин со всех на одного. В лучшем состоянии «Зоркий».



К утру армейцы обещают дать одну цистерну грозненского бензина. Поэтому, очевидно, раньше утра выйти не удастся.

Обстановка (доклад начштаба):

— Отряд Арского, по расчетам, начал операцию в Кизлярском заливе, но связи с ним пока нет.

Александровск-форт по-прежнему занят казачьими частями генерала Толстова. Там же часть вражеских кораблей. Состав их неизвестен.

Таким образом, мы преодолели условную линию Чечень—Александровский, южнее которой безраздельно господствовал англо-белогвардейский флот, если не считать прорыва блокады отдельными рыбницами (из которых часть погибла).

Решение:

— Комфлот с начштабом и начдивом на «Либкнехте» совместно с истребителями срочно (очевидно, утром) уходит к форту Александровский.

Туда же вызываются «необходимые» корабли и десант с 12-футового рейда<sup>1</sup>.

— Астраханский штаб по старому плану проводит операцию под командованием Арского (флаг — на крейсере «Каспий»), с десантом моряков — с целью захвата базы противника на острове Чечень и в Аграханском заливе. Однако теперь для Арского прикрытие с моря осуществляется само собой, нашим набегом на форт и занятием Петровска.

— В Петровске за старшего остается Славянский.

— Главная задача — добыть уголь для всего дивизиона (включая «Дельного») и оказать огневую поддержку передовым частям XI армии. Приготовиться к высадкам тактических десантов в тылу фланга белогвардейских войск.

— Организовать по требованию Военсовета XI армии переброску морем наших частей, наступающих на Баку (и их грузов), в связи с малой пропускной способностью однопутной железной дороги и плохим состоянием шоссе.

— Командир «Деятельного» (по совместительству) назначается начальником охраны водного района Петровской базы. Учитывая наличие у противника торпедных катеров, установить боны и режим плавания в пределах водного района, считаясь с интересами рыбаков.

— Кому-то (пропустил) поручены тыловые вопросы и перебазирование флотилии на захваченный порт, минуя ранее намеченную базу на острове Чечень. Последнюю использовать для размещения авиагидродивизиона. Все пригодное для флота перебросить в Петровск-порт.

Когда расходились с совещания, на горизонте показался «Дельный». При швартовке, обрабатывая не той машиной, он бушпритом снес ящики, тумбы и нескольких зевак.

В тот же вечер «Дельным» командовал т. Битковский.

На «Деятельном» собрал портовых чиновников. Вид испуганный. Когда потребовал представителей от рабочих и матросов, произошла заминка.

Еще не организовались. Вернее, живут врозь. Администрация отдельно, рабочие отдельно. И своих и нас называют «господами» (через два-три дня все утряслось).

<sup>1</sup> Комфлот, соблюдая конспирацию, не огласил нам содержание перехваченной радиogramмы белого командования в адрес Толстова, несмотря на то, что она была дана открытым текстом. Содержание ее мы узнали после ухода «Либкнехта» от штабных конспираторов: Толстову предлагалось «распустить» казаков и, подготовив золото и ценности для эвакуации, ждать прихода кораблей.

Один инженер из портовых мастерских начал энергично помогать, опираясь на двух старых мастеровых и такелажмейстера. Администрация постарше, не успевшая удрать, отсиживается по домам.

Самые главные удрали, прихватив кассу.

Запасов леса — никаких. Здесь это вечно дефицитная статья, а нам нужны срочно бревна для бонов.

Усилиями рабочих где-то нашли старые телеграфные столбы и разобрали какие-то сараи. В кузнечном цехе отковывают бугеля и скобы для крепления секций бона и большие шипы, чтобы английские катера с ходу не могли перескакивать через боновое ограждение.

Только сейчас, сидя с инженером над чертежами (его проект), понял, почему комфлот посадил меня на это дело. Очевидно, что он вспомнил о моем участии в отражении налета британских катеров на Кронштадт 18 августа прошлого года, и, следовательно, я должен знать больше других, как с ними надо обращаться.

Как ни гонят все, кто участвует в постройке заграждения (включая и боцманскую команду «Деятельного»), раньше как через сутки готово не будет.

*С 3 на 4 апреля (ночью, Петровск-порт).*

#### Еще один урок политграмоты

За углом от ворот старой городской тюрьмы прямо на земле, вернее на камнях, — большое число трупов.

Сколько же их было, если с дальнего конца санитары давно уже носят на носилках?

Тошнотворно-сладковатый теплый весенний воздух кажется отравленным. Это ощущение настолько сильно, что преследует и чудится даже тогда, когда спустишься с горы и тебя давно обдувает чистейшим морским бризом.

И потому, что нет никакого боя, стрельбы, а фронт где-то за сотню километров, потому, что ярко светит солнце, что небо голубое, а между камнями пробивается молодая зеленая травка, — эти груды трупов представляются настолько нелепыми, невероятными, что смотришь и не веришь.

А смотреть надо. И запомнить надо.

И при чем здесь фронт, если ближе всех к моим ногам лежит бело-мраморная женщина с грудным ребенком, прижатым к груди. И ребенок, и рука, и плечо рассечены одним ударом клинка.

Сознание подсказывает технику: сделано с коня, наотмашь. Но сознание не вмещает цель, смысл. Зачем?

Какой-то чернец из церкви (или монастыря), что примыкает к тюрьме, размеренным тихим голосом в сотый раз рассказывает, что «при отступлении торопились... вагонов не хватало... можно сказать, уже часть города отрядом с гор уже занята была... да вот опоздали...».

Мимо него, прислушиваясь, но смотря на убитых, проходят медленным шагом, сняв фуражки или буденовки, железнодорожники, красноармейцы, бабы, подростки, моряки... Проходят, не проронив ни слова. Плачут украдкой, скрывая. Накануне, говорят, были душераздирающие сцены опознания родных и близких, а сейчас уже только «посторонние».

Но нет здесь посторонних!

Достаточно взглянуть на эти лица.

Когда спускался, с досадой подумал, что неплохо бы начальству взгреть коменданта города. Разве можно более двух суток оставлять трупы, да еще на пригревающем солнце?

Но потом осенило.

Можно! И даже нужно!

Не знаю, санитарных команд не хватило или сознательно, но то, что не меньше тысячи людей видели своими глазами зарубленных женщин и детей, — надо было видеть!

И мне надо было.

Какая гримаса судьбы.

На стенке в порту — не до конца сорванная прокламация ОСВАГа в рамке из национальных и георгиевских лент. Чей-то портрет с эполетами вырван, но осталось сообщение о победах на фронте и под ним... сообщение о «зверствах большевиков».

Комфлот ушел с опозданием — днем.

4 апреля.

Итак, мы остались одни, без начальства, но получив твердое по цели и неопределенное по методу выполнения указание: «Добыть уголь во что бы то ни стало и к моему возвращению быть с полными ямами!»

После многих прикидок организовали три экспедиции.

Первая — с задачей тщательно обшарить торговый порт, железнодорожную станцию, все склады и пакгаузы, ведомства и частных хозяев и электростанцию.

Для того, чтобы не возвращаться к печальным итогам этой экспедиции, можно сразу сказать, что, кроме нескольких мешков угля для портовой бани и кокса для кузнечных горнов, ничего найдено не было. Конечно, если не считать находкой несколько оплетенных бутылей со спиртом, зарытых в куче угольного мусора.

Вторая экспедиция имела маневренный характер. Облепив вооруженными матросами слабый паровоз порта, чудом сохранившийся после всеобщего разрушения драпающими белыми, эта партия двинулась по пути на Грозный на том основании, что кто-то где-то, пробираясь в Петровск, видел на одной из малых промежуточных станций штабель паровозного угля. Возглавляли экспедицию Снежинский и один из инженер-механиков дивизиона миноносцев, и им было наказано: без угля не возвращаться.

Не знаю подробностей этой экспедиции. Помню только, что после многочисленных приключений и трудностей она возвратилась в Петровск с двумя платформами плохого угля, когда мы уже обшарили «Москвитянина». Вслед за тем пришла одна баржа с топливом для миноносцев. Острая проблема была решена.

Более подробно хотелось бы остановиться на третьей экспедиции, организованной для разгвозки «Москвитянина».

«Москвитянин» сидел на камнях, погруженный почти по верхнюю палубу, но так, что корма надстройки и весь полубак были над водой, а через шкафут даже маленькие волны свободно перекатывались с одного борта на другой.

После зимних штормов его посадило всерьез и надолго, тем более что из-за пробоин в корпусе все внутренние помещения были затоплены.

Когда подходили к миноносцу на шестерке<sup>1</sup>, то поразило такое противоречие. Обычно выброшенный на камни корабль представляет из себя полуразвалину из ржавого и искореженного металла. А тут перед нами стоял — с небольшим креном и дифферентом на нос — эсминец, вокруг дымовых труб и надстроек которого играли пенистые буруны, но сам корпус корабля (в надводной части) был в полной исправности и аккуратно выкрашен прекрасным суриком. Только не было пушек, торпедных аппаратов и всего рангоута с такелажем.

Спустя некоторое время мы узнали у портовиков, что на миноносце велись ремонтные работы и корпус почти полностью был приведен в порядок. Предполагалась буксировка в один из бакинских доков, но... «война помешала», как говорят штатские люди. В данном случае война ни при чем, так как шторм выбросил его на камни, что говорит о плохом наблюдении или излишней экономии на содержании боцманской команды.

Не помню, кому принадлежала идея сгрузить с «Москвитянина» уголь, тем более что в двух бортовых ямах, горловины которых были на верхней палубе (по бокам котельного кожуха), оказалось много хорошо перемытого, блестящего угля в мелких кусках, которые кочегары и шахтеры называют «орешком».

Одна беда — почти весь уголь находился под водой, все ямы были затоплены.

Закипела работа.

Набросились, как голодные. Работали с прибаутками.

Лопатами — в мешки, мешки — на шестерки, шестерки, обходя мол, — в гавань и далее перегрузка на корабль.

Но постепенно «бодрёж» стал угасать, лица стали серьезными, вместо прибауток — проклятия и мат, потому что в начале апреля вода в Каспии даже на солнце далеко не теплая, особенно если надо сидеть в ней часами.

Когда сгребли верхний слой, дальше пришлось добывать уголь из-под воды.

В каждой яме по два матроса — сперва по колено, а потом по пояс — работали в студеной воде. А из-за бурунчиков, перебежавших с одного борта на другой, приходилось мокнуть с головы до ног. Вылезешь — ветерком пронизывает. С каждым часом «добыча» угля становилась медленнее и менее продуктивной. Не хватало мешков.

Рейсы шлюпок в гавань и обратно не поспевали за работающими в ямах. Последних сперва сменяли через час, потом через полчаса, а под вечер — через десять минут. Уже многие сипели. У всех были синие руки и лица...

Общий порыв сорвал флагмех, который, стоя над одной из ям, неосторожно изрек вслух:

— Работали, работали, а хватит всего на один котел — часа на два или на три...

Никто не рискнул одернуть или что-либо скомандовать, когда безмолвно, все как один, побросали лопаты и мешки в последние шестерки и двинулись домой. Кроме того, все равно надо было кончать не только из-за холода и воды, но и из-за наступавшей темноты.

Кто-то, желая смягчить мрачную напряженность, сострил, что «все одно дальше работать можно было только в водолазных скафандрах», но никто не отозвался. А между тем остряк был прав.

<sup>1</sup> Очевидно, пока миноносец был на плаву, его перебросило через гряду камней на прибрежные рифы, из-за чего к нему не мог подойти ни один буксир. На шлюпках можно было — только в тихую погоду. В то же время от берега он лежал в расстоянии около кабельтова, но с той стороны добраться было невозможно из-за бурунов.

Но работали не зря.

Честно поделив уголь (кроме «Дельного», у которого был свой), на двух миноносцах подняли пары в дежурном котле так, что действовали динамо, санитарные и пожарные помпы и т. д.

Ну, заодно и обогрелись.

А наутро при всеобщем ликовании на портовой стенке появился знакомый паровоз с двумя платформами железнодорожного угля.

Наши настолько вошли в раж, что сгрузили заодно и половину запаса топлива с тендера паровоза, несмотря на вопли машиниста и начальства.

Выставил пост на конце мола, нечто вроде береговой брандвахты. Обслуживают сигнальщики и рулевые «Деятельного».

Пытался привлечь с других миноносцев — отказ. У каждого своих дел хватает. Вернее, не только своих, но и чужих. Пока, кроме трех миноносцев и двух истребителей, здесь больше никого нет.

Так и получилось, что всю охрану водного района обслуживает команда «Деятельного».

Пока все идет нормально только потому, что никакие суда или корабли не приходят и не уходят (иначе мы не успевали бы заводить и разводить бон на шлюпках; буксира не имеем); помогает хорошая погода, а главное, то, что не беспокоит противник.

Даже самолеты не появляются.

Между тем убежден, что враги знают, что мы одни и без угля, то есть беспомощны. Ведь помимо того, что не все подлещы успели удрать, бесспорно, что некоторые остались нарочно. Конечно, в замаскированном виде.

Ведь на их стороне вековая школа британской «Интеллидженс сервис».

Рыбаков пропускаем вплотную к молу, стравливая на грунт стальной трос, крепящий боны.

Самое несолидное — пропуска, выдаваемые атаманам баркасов. Это бумажки без штампа, скрепленные корабельной печатью.

*5 апреля.*

Днем состоялось не очень приятное, но очень нужное знакомство.

Не желая входить на корабль, некий товарищ в кожаной куртке и с маузером настоял, чтобы командир вышел наверх.

— Вы командир?

— Я командир!

— Пошли! («Волевым» тоном.)

— Это смотря куда!..

Товарищ в кожаном заметил, что этой сценой очень заинтересовались матросы и начали как бы невзначай тесниться к сходне.

Кто-то, дав подзатыльник салаге, громко сказал:

— А ну давай за комиссаром... Живо!

Пауза затягивалась.

Товарищ изменил тактику, бросил свой специфический тон и, дружески улыбаясь, сказал:

— Да тут совсем рядом. Товарищ Панкратов до вас какое-то дело имеет.

— Ну что ж, тогда пошли... Мне он сам нужен... Отставить комиссара!

Визитер остановился перед особняком, расположенным за камен-

ной стеной, недалеко от главной магистрали, и сдал такому же кожаному человеку.

Где-то в глубине двора-сада мелькнул морской бушлат и исчез, а все остальные, кроме комендантской команды из красноармейцев, были в кожаных тужурках и таких же фуражках. Традиционный костюм или почти форма, родившаяся не более двух лет назад и которая безошибочно подсказывала, что здесь помещается ВЧК или один из ее филиалов.

Панкратова я не знал. Слышал, что матрос-балтиец, сменивший Атарбекова<sup>1</sup>.

С первого же момента встреча мне не доставила удовольствия.

За большим столом «буржуйского» кабинета сидел моряк в хорошо отглаженной форме первого срока и в фуражке. Несмотря на полуприкрытые ставни, ясно вырисовывалась на ленточке золотая надпись «Полтава».

— А! Старые знакомые! Помню, помню... лейтенант с «Петропавловска»? (Конец фразы звучал полувопросом.)

Развязность и дешевый прием для воздействия на психику<sup>2</sup> настроили меня на контрастку, поэтому я сел в кресло, хотя хозяин не предлагал, и в том же тоне сказал:

— Память-то у вас неважная, да и наблюдательности не много. Во-первых, мичман. Точнее, бывший мичман и теперь до гроба им останусь. А во-вторых, на «Петропавловске» отродясь не был... Не люблю линкоров... Я — с минной дивизии. На Балтике плавал и воевал на «Изяславе». А здесь — на «Деятельном».

Шеф особого отдела с некоторым любопытством посмотрел на меня и все еще суровым, но более деловым тоном постарался не выпустить инициативу:

— Какого черта ты здесь какие-то порядки заводишь? Пропуска в море выдаешь? Это чтоб к белякам удирали или к нам шпионов завозили?

— Обращайтесь к начальству. Не я себя назначал... Буду очень рад, если вы всю эту службу себе заберете. У меня своих забот достаточно.

Такой оборот был для него неожиданным и, судя по выражению лица, не устраивал.

Слово за слово выяснилось, что он хочет (вернее, требует), чтобы охрана водного района отчитывалась перед ним.

— Я военный. У меня свое начальство есть. Так мы запутаем все дело. Берите себе рыбаков, но тогда отвечайте за корабли в случае налета английских торпедных катеров. А я на них посмотрелся восемнадцатого августа прошлого года.

— Почему так уверен, что рыбаки не сбегут?

— Пропуска даем только матросам или атаманам — рыбакам, раньше служившим по найму, а теперь организующим артели. Ни одному «хозяину» не даем. Кроме того, внутри артели установили круговую поруку.

<sup>1</sup> С т. Атарбековым пришлось познакомиться только в Тифлисе в 1922 году, когда он был наркомом почт и телеграфа Закфедерации, а мне приходилось приезжать к нему из Батуми, где я был старшим морским начальником (от Черноморского флота). Несмотря на внешнюю суровость, Г. А. Атарбеков произвел на меня очень хорошее впечатление, особенно своей прямоотой и деловитостью.

<sup>2</sup> На линкоре «Петропавловск» в Гельсингфорсе при конвоировании были убиты четыре лейтенанта, в то время когда все эксцессы давно прекратились, поэтому этот случай произвел тягостное впечатление на офицеров.

— Муть все это! Ну смотри, мичман!.. Если хоть один сбежит, ты вмиг у меня в подвале очутишься!

— Там видно будет!

На этом мы расстались не в особом восторге друг от друга.

### *5 апреля. Вечер.*

Знаем уже радиодонесение комфлота об удачном бое «Карла Либкнехта» с «Милютинным» и «Опытом»<sup>1</sup>, бывшем накануне, и о капитуляции форта после высадки десанта моряков — сегодня утром.

Итак, еще одна победа. Остатки так называемой Отдельной Уральской армии генерала Толстова взяты в плен (2 генерала, 77 офицеров и около 1100 казаков).

Фантастически звучат цифры трофеев, которые начинаются с «90 пудов серебра». Но думаю, что упоминаемые медикаменты для нашей армии и флотилии дороже серебра.

Заметно улучшился приварок.

Частично помогли интенданты фронта, а частично — из артельных сумм — прямо с базара.

Кончились «карие глазки».

И это тоже победа, резко улучшившая настроение, а главное, и работоспособность всех нас от салаги до командира.

Тут же надо не забыть записать факт, называемый «сужением желудка».

Выйдя в первый раз в город, многие из наших морячков устремились в кафе, рестораны и духаны (хозяева которых не успели удрать и торговали по инерции), чтобы наброситься кто на пирожные, кто на пирожки или шашлыки и прочие яства, о которых только помнили и мечтали в голодные годы.

В большинстве случаев кончалось конфузом.

Одни, насытившись первым пирожным, с грустью отворачивались и старались не смотреть на остальные, лежащие перед ними (и оплаченные). А кое-кто выбегал в галюн... чтобы «съездить в Ригу».

Позже дивизионный врач научно объяснил, что это не патологическое, а временное уменьшение объема желудка, который протестовал после длительной диеты против непривычной перегрузки. При этом флагманский эскулап утешал, что скоро втянемся. Он оказался прав.

Испытал на себе. Не мог допить первого стакана какао. Отяжелел, испарина, ощущение свинцовой тяжести в желудке и дурноты. От следующих витрин отворачивался<sup>2</sup>.

Невольно вспомнил, как три приятеля-гардемарина в 1915 году, сойдя на берег в Петропавловске-на-Камчатке, зашли в единственную в городе кондитерскую и для разнообразия попробовали местное пирожное. И хотя эти пирожные были не первой свежести, мы съели все, что было на прилавке, а затем потребовали все, что было на витрине.

<sup>1</sup> Позже выяснилось, что из-за плохой видимости и наличия на мостике четырех начальников, имевших артиллерийскую специальность, бой не был особенно блестящим — оба противника ушли.

<sup>2</sup> Через месяц, в Баку, это недомогание нас оставило, и некоторые товарищи ставили рекорды по пирожкам или пирожным.

Интересно, что в Баку условия в этом смысле почти повторились. Из-за внезапности революционного переворота и быстроты, с которой ворвались бронепоезда XI армии, многие владельцы ресторанов не успели удрать и, как в Петровске, в первые дни торговали, как прежде.

Сначала хозяйка умилялась, потом ахала, а под конец расплакалась: «Да... боже ж мой!.. Ежли б я знала, что такие гости будут, я б их... сотню напекла!»

А мы гоготали, когда вошедшие дружки из другой смены узнали, что все пирожные уничтожены.

Это было чистейшее хулиганство. Но технически (вернее, физиологически) оно стало возможным только потому, что мы были сыты вчера, позавчера и все предшествующее время ели вдоволь.

Голодавший остро один-два дня может съесть горы пищи. Голодавший год или два не может проглотить фунта. Наши моряки не голодали в буквальном смысле, особенно если сличать с гражданской нормой, но мы систематически недоедали начиная с зимы 1918/19 года и до Петровска включительно.

Утром сквозь «хмару» (полупрозрачная дымка, рассеянная до горизонта), которая, несмотря на яркое солнце, очень скрадывала видимость, с восточной части картушки показался приближающийся корабль.

Решили — комфлот.

Но через две-три минуты — боевая тревога! Озабоченный Славянский и командиры убедились, что это белогвардейский крейсер.

Трудно представить более идиотское и мучительное положение.

Даже не можем отойти от стенки!

Стрелять могла бы только кормовая пушка, но она не видит противника, который закрыт молом. Курсовой угол на противника 180 градусов.

Командоры носовой видят, но стрелять не могут — мешает мостик. Кроме того, дистанция, пока не досягаемая для наших 75-мм.

Ослабляем швартовы и отпихиваемся шестами, чтобы развернуть корабль лагом. Но в тот момент, когда мы ожидали первый залп противника, он положил на борт и на крутой циркуляции начал удаляться полным ходом, что видно по клубам дыма и белой полоске за кормой. Очевидно, рассмотрел в бинокль миноносцы.

Сперва ощущение облегчения: «пронесло»!

Потом ощущение неловкости или даже позора! Ушел безнаказанно!

Но он дурак. Знай наше положение, мог бы расстрелять нас в гавани, а он удрал.

Значит, миноносцы отогнали врага только своим «авторитетом», вернее — угрозой возможной атаки.

Дежурная рация на «Расторопном» ищет в эфире «Либкнехта», чтобы предупредить комфлота и направить его на пересечку.

Но из этого ничего не вышло<sup>1</sup>.

### 5 апреля (Петровск).

Сегодня утром интересный случай.

Когда-нибудь напишу рассказ, на старости лет, и назову его «Гофман выходит из подполья».

.....

С палубы, в раструб переговорной трубы доносится:

— Тут до вас один гражданин в кепке... Говорит, с Балтики знает...

Пусть?

— Пусть!

<sup>1</sup> Позже оказалось, что это был вооруженный пароход «Австралия», который, узнав по радио о взятии Александровска и убедившись, что Петровск тоже занят, пересек море и сдался в Красноводске.



Медленно, грузно, солидно входит, вернее, втискивается в каюту атлет. Рабочий не рабочий, матрос не матрос. Не поймешь. Лапа — как тиски.

— Гофман. — Голос нарочито приглушен.

— Садитесь, Гофман. В чем дело?

— А у вас стамеска или отвертка есть?

Ничего не понимаю, но, когда протянул руку к звонку на вахту, она вдруг оказалась припечатанной к столу.

— Нет, товарищ командир, так у нас не пойдет!.. Ну, может, ножик какой в каюте найдется?

Гофман снимает грубый, но добротный ботинок, ножом отслаивает часть каблука и протягивает мне маленький прозрачный конвертик, сделанный из рыбьего пузыря.

Внутри — сложенное вчетверо удостоверение, написанное на шелковой материи.

«Дано сие... тов. Гофману...» Подпись — Киров. Числа и месяца не разобрал, год 1919.

Пока рассматривал, Гофман кулаком, а потом ударами об палубу восстановил каблук.

Мелькнула мысль: а может, провокатор?

Но уж очень большим спокойствием и какой-то внутренней силой светился его взгляд. Кроме того, ничего не спрашивает, а о себе сказал только, что «два раза переправлял рыбницы с бензином».

— Ну, а от меня что вам надо?

— Проводите к Панкратову и сдайте с рук на руки. И все!

— Так чего вы сами к нему не пошли?

— Чудак человек! (Снисходительный тон.) Так кто же меня без пропуска в Особый отдел армии пустит?.. А я что, в комендатуре ботинки снимать буду?.. Таким манером через десять минут все машинистки раззванивать начнут... А потом ты, — он как-то естественно перешел на это «ты», — Панкратова знаешь?

— Немного знаю, — ответил я, не сдержав кислой мины.

— Ну вот видишь! Я мог бы другой трюк придумать, да с ним может так получиться: сперва в подвал посадит, а потом разбираться начнет. А я такого задания не получал, чтоб у своих же в подвалах сидеть... Давай пошли! Я и так на тебя много времени потратил.

— Ну ладно, пошли. Только сперва — почему вы придумали трюк с «Деятельным» и какое время потратили, если мы всего пятнадцать минут знакомы?

— Дорогой! Да я второй день по порту и стенке хожу и приглядываюсь... Пожалуй, и о корабле и о командире больше тебя знаю.

— А если бы вахтенный задержал?

— Не задержал бы. Я пароль знал.

— Какой пароль?

— С Балтики! — сказал Гофман, смеясь, и подтолкнул меня к трапу.

Дежурному особисту я небрежно бросил через плечо:

— Этот товарищ со мной.

А для меня лично бескозырка с золотой надписью «Деятельный» служила бессменным пропуском с того дня, как я стал «начальником охраны рейдов».

Пока шли в Особый отдел, Гофман как бы невзначай спросил:

— На горе у тюрьмы не был? Советую взглянуть.

Панкратов выпроводил меня тут же, как только разглядел рукой

шелковую тряпицу, не очень деликатно дав понять, что остальное меня не касается.

Крепкое рукопожатие с Гофманом... и мы с ним расстались<sup>1</sup>.

6 апреля.

«Либкнехт» под флагом комфлота возвратился.

Комфлот буквально бегом отправился на телеграф.

Начинаю догадываться, что здесь где-то не только т. Киров и т. Орджоникидзе, но и т. Микоян и т. Нариманов.

Но все это где-то далеко от миноносца (в географическом смысле) и от командира миноносца или ОВРа (в иерархическом смысле).

Что-то неувовимо странное в поведении местных жителей. Не то боятся, не то рады, не то выжидают чего-то. Конечно, не все так. Рабочие порта, мастерских, грузчики и наемные рыбаки уже начинают к нам привыкать, чего нельзя сказать о других (чиновники, лавочники, ремесленники и т. д.).

Как чувствуют себя не успевшие спастись ханы, беки и «сыновья», можно только догадываться: сами они пока еще уклоняются от близкого знакомства.

Но вот неожиданно появляется разгадка причин своеобразного настроения местных жителей.

Если в первый день на стенке не было никого, то теперь — сотни любопытствующих. Если на второй день поставлена была цепочка дневальных, чтобы не подпускать зрителей вплотную к кораблям (причал чуть выше палубы; ручную гранату можно швырнуть в любой люк или иллюминатор), то скоро наряд сняли, так как не хватало людей, да и других работ и забот было много. Усилили верхнюю вахту (у дежурной пушки, сигнальщик на мостике, вахтенные на шкафуте и на корме).

Теперь зрители стоят, отступя два шага от края стенки, следят с нескрываемым интересом за всеми мелочами корабельной жизни и переговариваются со свободными из команды.

В числе других — фундаментальная баба. Не баба, а монумент. Степенно, с каменным лицом смотрит и безостановочно лушит семечки. Прислушивается к каждому слову, но сама молчит.

Ее «канкетные данные» определяются тем, что, прячась в складках нескольких нянькиных юбок, с еще большим любопытством рассматривает нас пара голубых глазенок кукольно-красивой блондиночки с громадным бантом в волосах.

Ребяенок чудесный, и ни один из матросов не может пройти равнодушно. Кто ей «кажет рожки», кто на губной гармонике старается выдуть «детские мотивы», кто зазывает на корабль. Но она, волнуясь

<sup>1</sup> На этом можно было бы закончить эпизод с Гофманом. И дел и войны хватало настолько, что я крепко о нем забыл. Но вот 18 мая того же года, после капитуляции англичан, кораблям было разрешено войти в гавань Энзели, расположенную в заливе Пир-Базар.

Персы приветствовали нас радостными криками и аплодисментами. В толпе изредка видны лица и костюмы немногих русских, немцев, армян и др. Занятый швартовкой, не разглядывал, но как только кончил, отошел на крыло мостика и стал отвечать на приветствия. На душе было легко и радостно, как бывает легко и радостно после победы. Неожиданно прямо против себя увидел знакомую улыбающуюся физиономию, подмигивающую мне одним глазом. Белая рубашка, закатанные рукава, без шапки. Но не успел я вспомнить фамилию, как он нарочито громко, через головы других крикнул: «Не узнаете? Фельдман!.. Мы с вами еще с Балтики знакомы!.. Поздравляю с победой!»

Вот черт! Гофман, оказывается, нас давно опередил. Ну и жук!

и стеснясь, то заливчато и застенчиво смеется, то прячется, перебегая за спиной монумента с ее левого борта на правый, и прячет лицо в складках свисающего сверху громадного шалевого платка.

Не знаю, какая из нее вырастет стерва годам к двадцати, но сейчас этот ангелочек совершенно искренне радуется суровый взгляд моряков. Одно смущает — девчурка слишком богато одета. Шелк, шерсть, гамашки, туфельки, бантики — демонстративно барские.

Ясно, что монумент — няня. Причем няня «богатых господ». В доме — «свой человек», тоже солидно одета. Это подкуп, чтобы от лентяйки и бездельницы добиться благополучия ребенка. Но одновременно это живая реклама при ребенке назло соседним господам.

Вспомнили, что и вчера видели это сочетание монумента с херувимчиком, и поняли, что няньку посылают смотреть, слушать, наблюдать, нюхать... и докладывать обо всем. О чем говорит «красная матросня»? И все для того, чтобы сделать прогноз, надолго ли пришли.

Кто-то с борта спросил «в толпу», что за власть была в городе.

Величественная фигура, продолжая выстреливать шелуху и обойдя вопрос о наименовании власти (что определяло ее качество), сделал упор на статистику (то есть на количество), неожиданно изрекла:

— Девятая!

На борту — пауза. На лицах — недоумение и недоверие.

Откуда ни возьмись другая нянька, рангом пониже (то есть рангом хозяев) и другого темперамента, вдруг затараторила:

— Это ж как вы, милая, считаете?.. Десять было!.. А нынче, значит, одиннадцатая!

Недоумение слушателей возросло, и старушка, польщенная вниманием, сделала шаг вперед, стала в позу и, как бы полемизируя с царь-нянькой, начала быстро считать, демонстративно загибая пальцы к ладони:

— Комиссары были?.. Были! Это тебе раз! Имам Гацинский был? Был!.. Это тебе два! Бичерахов был? Был!.. Это три! Англичане были? Другой Бичерахов? Был!<sup>1</sup> Другой имам... обратно был?.. Генерал Драценко... — И так далее.

Сейчас трудно упомнить всех, сама нянька сбилась со счета...

Интересно знать, есть ли еще такой город в нашей Республике, в котором власть сменялась более девяти раз?..

Чтобы не повторился печальный случай вроде вчерашнего, теперь у нас миноносцы дежурят по очереди.

Часовая готовность. Без увольнения. С «рцы» на ноке рея (а с темной — огонь). В общем, как «в доброе старое время».

Конечно, флагманский корабль освобожден. Кое-кто, одобряя дежурство, ворчит на отсутствие демократии, но я считаю, что в данном случае льгота у «К. Либкнехта» законная. Не может же флагман, бросив штабную работу, мчаться в море в случае появления очередного «летучего голландца» под андреевским флагом.

Плохо другое. Плохо то, что мы точно не знаем, кто еще бродит в море, а кто забился в Энзели.

Наша гидроавиация все еще в Оранжевой, пока не захватим Чечень. А из дельты Волги «М-9» не могут обследовать весь театр, даже если бы имели настоящее горючее.

<sup>1</sup> Речь шла в первом случае о Георгии Бичерахове (старшем), а во втором — о полковнике Лазаре Бичерахове.

7 апреля (Петровск-порт).

В какой мере команда эсминцев уставала и устает, это мы, командиры, хорошо знаем. После «нечеловеческой» перегрузки с «Москвитянина» и аврала с железнодорожными платформами сейчас тоже работенка изрядная, даже для сигнальщиков и рулевых, обслуживающих ОВР.

Однако нагрузка и напряжение — в пределах наших сил.

Тем более что харч улучшился.

Но вот сегодня утром пришлось случайно увидеть, как выматывают бойцы пехотных дивизий.

Идя по делу, поднялся на одну из продольных улиц, прорезающих полгорода с севера на юг.

Улица булыжная, тротуары из каменных плит; рельеф местности крутой, подстил не грунтовый, а скальный, поэтому не видно ни одной лужи или сырого места. Особенно в этот солнечный день. По этой же причине нет и пыли. Приятно глядеть.

Впечатление не просто чистоты, а как будто улицу вымыли и высушили. Яркие кроны молодой зелени и первоцветов из-за каменных заборов.

Но вдруг — вас приковывает на месте.

Вдоль всей улицы (немного извивающейся) лежат бойцы. Голова на мешке, упертом в основание забора или дома, тело на панели, а ноги над канавкой или прямо на проезжей части. Кто на солнечной стороне — на шинели. Кто на теневой — под шинелью.

Винтовки прислонены к стене, но не в козлах, а рядом с хозяином или даже в обнимку.

И так от края и до края, сколько видит глаз, по обеим сторонам дороги, а в середине — узкий проезд только в одну сторону, да и то не везде.

Полк спит; вернее, свален сном.

Спят глубоко, обстоятельно. Никто не поет, не играет, не говорит громко. Почти никто не курит. Сонное царство. Тишина.

В боковых переулочках, стараясь не шуметь, ординарцы с конями, или баталерка, либо дымят кухни. А в одном дворе видно через открытые ворота, как, сидя на ящике, девица в очках, в буденовке и шинели, наброшенной на плечи, выстукивает на древнем «ремингтоне» какой-то полковой документ. И это самый громкий звук над спящими.

Привал.

Прямо на трассе движения.

Нетрудно догадаться, что объявленного времени подъема нет. Когда и куда пойдут дальше — тоже неизвестно.

Возможно, через час и, возможно, прямо в бой. Но что абсолютно ясно, так это то, что люди идут уже больше месяца.

Шагают по пескам, плавням, бродам, камышам и горам. По дорогам и без дорог. Иногда разворачиваются для боя, стреляют, идут в атаку и опять спешат, потому что революция не ждет, а здесь революция еще не завершена.

Вот она — Красная Армия.

Вот ее замечательная XI армия.

Вдали от домов и семейств, пройдя походным порядком пол-России, рискуя жизнью, преодолев степи, которые иногда страшнее противника, идет с боями вперед, чтобы по призыву большевиков и повинуюсь интернациональному долгу освободить народы Закавказья от контрреволюционного гнета и обмана.

Причем идет исключительными темпами.  
Куда уж, если миноносцы не угонятся!

*8 апреля (Петровск-порт).*

Такая дивная погода, что нет охоты сидеть в каюте.

Перебрался с бумагами на мостик, где в штурманском столике (непочтительно именуемом «собачьей будкой») организовал канцелярию ОВРа.

Солнцем залитые горы (по которым стосковался; ведь я приближаюсь к родным местам); море — голубое и красивое, особенно по сравнению с астраханскими плесами; город — амфитеатром, нарядный и картинный в весеннем уборе зелени. Все это можно рассматривать бесконечно. Вспоминается киплингское: «Ненасытны — рука обезьяны и глаз человека».

Но самое интересное — это жизнь на стенке. Товарищи по дивизиону, почти все занятые делом; городские бездельники и бездельницы, все более смелюющие; и, наконец, контакты той и другой стороны.

Особенно туго приходится тем, у кого каюты выходят на правый борт: из-за высоты стенки иллюминаторы упираются прямо в палы. Пропадает не только свет, но и движение прохладного воздуха.

Зато — нескончаемое бульканье зажатой волнушки и неистребимый запах нефтяных остатков. Кстати, последний многих мучает, а для меня это приятный аромат детства, к которому привык с малых лет, живя с отцом на Апшеронском полуострове (в селении Романы).

### Ловля наганов

С палубы «Деятельного» наблюдаем оригинальную картину.

По мере того, как на основных портовых путях прекращались взрывы, несмотря на то что обгоревшие и покореженные остовы вагонов продолжали еще тлеть и дымить, на уцелевших пирсах или прямо на камнях обвалившейся стенки начали размещаться своеобразные рыболовы.

Большинство ободранных, но в солдатской форме, причем эта форма имеет покрой и цвета различных наций. Не знаю, из каких армий они дезертировали, но по оборванным пуговицам и хлястику или шикарным желтым крагам на икрах босых ног безошибочно видно, что у нас хромает комендантская служба. В то же время ясно, что в управлениях личного состава генерала Драценко, русского полковника Л. Бичерахова<sup>1</sup> и в азербайджанских и дагестанских «национальных» полках служба кадров хромает на обе ноги. Тут, очевидно, уже никакие коменданты не справляются и даже коран не помогает.

Дезертиры спозаранку, как заправские рыболовы, занимают облюбованные места (хотя из-за районов добычи иногда происходят дипломатические конфликты) и начинают забрасывать в воду свои удочки.

Такие «удочки» вижу в первый раз. Это длинный шкерт (попросту обычная бельевая веревка) с большим и тяжелым крюком на конце. Крюки разные. Не уверен, что они запатентованы, но владельцы их форму держат в секрете. Позже выяснилось, что есть крюки «на наган», а есть «на ящик» и др.

<sup>1</sup> Уже знаем, что казачий полковник русской службы Л. Бичерахов, набивший руку на колонизаторских приемах в Персии, настолько «успешно» проводил карательные экспедиции в Дагестане, что для поощрения зачислен на английскую службу в звании бригадного генерала.

С завидным упорством владелец такой удочки забрасывает крюк возможно дальше (в день от ста до двухсот раз!) и затем медленно тянет его к берегу. Очистив крюк от типичного хлама, которым усеяны все гавани мира, рыбака, а вернее — «охотник за наганами», начинает все сначала.

Зубовный скрежет и убийственные взгляды соседей отмечают успех ловли, который бывает очень разнообразным, но зато и очень редким.

Лично наблюдал в бинокль, как появился на свет ручной пулемет Кольта, но тотчас таинственно исчез (очевидно, притоплен у берега), а удачник опять забросил крюк, как будто ничего не случилось.

За спиной ловцов горки трофеев.

Иногда это «цинк», иногда плоский ящик с патронами; когда ручные гранаты («лимонки»), когда пояса, кобуры или подсумки и многое другое, что котировалось на черной бирже двух местных базаров. Но если один из охотников неожиданно собирает пожитки и спешит исчезнуть — это значит, что ему повезло. Значит, у него под шинелью либо наган, либо кольт. Высшей мечтой является маузер или короткий карабин не только потому, что «рыболов» готов сам иметь этот предмет первой необходимости в период гражданской войны, но главным образом из-за рекордных цен на рынке.

Каким же образом мокрый бог Нептун преподнес дезертирам этот морской клад?

От портовиков узнали, что погрузка эвакуируемого военного имущества сперва шла относительно нормально, хотя несколько ящичков грузчики намеренно обронили в воду. Затем, по мере нарастания угрозы попасть в плен, белое начальство не только убыстрило темп, но и сменило казенную номенклатуру, заботясь только о погрузке «личных вещей», а точнее — награбленного.

Англичане из «миссии» не отставали.

Были случаи, когда для освобождения помещений на судах само начальство приказывало выбрасывать уже погруженные ящики в воду. Оставшееся на стенке имущество было приказано подорвать и сжечь. При разлете ящиков от взрыва соседних вагонов часть уцелевшего оружия и «цинков» тоже летела в воду.

Так создавался этот необычный морской клад.

Почему же армейская комендатура или моряки дивизиона не реагировали на этот вид своеобразного самоснабжения?

Реагировали.

«Извещение» (приказ) коменданта, расклеенное в порту и на базе, ушло на закрутки.

Облавы давали мизерный результат, трофеи таинственно исчезали («концы в воду»), а «бедный-голодный» дезертир сам просился на эвакуант, откуда сбегал после сытного ужина.

Оцепление из-за сложного рельефа местности, заваленной искореженными вагонами и паровозами, потребовало непосильного расхода армейцев. Тем более нельзя было набрать с четырех миноносцев и двух катеров.

В конце концов установилось джентльменское соглашение, по которому ловцы сдавали властям патроны, гранаты, пакеты с медикаментами... оставляя себе ботинки, обмотки, кожаное снаряжение и т. д. О револьверах и карабинах договаривающиеся стороны не упоминали вообще... Их никто не видел.

Впоследствии работники Панкратова ловили удачливых ловцов не на причале, не на рынке, а на коммуникациях между ними, и были случаи, когда для пойманных это кончалось концом. Прогулки без разре-

шения на револьвер, да еще иностранной марки, непосредственно в тылу действующей армии не рекомендует ни один закон любой страны мира.

Когда через неделю «Деятельный» вторично пришел в Петровск, открытая «охота за наганами» захирела и проводилась только контрабандно, по ночам, очевидно, теми одиночками, которым терять было нечего.

К мостику (он же канцелярия ОВРа) подходит своеобразная делегация: старший (по возрасту) — комендор Зубков, которого называют «папашей», выдержанный эстонец Гертнер, а за их спинами — заводила.

Мрачный, как осенняя туча, подвигаясь боком и отводя глаза в сторону, за всех обращается Владимир Гридин. То, что докладчик забывает назвать мою должность, показывает, что он зол и разговор, очевидно, будет по душам.

В официальных случаях или когда он в хорошем настроении, Гридин начинает с бодрого «товарищ командир!». Надо отдать ему справедливость: этот жизнерадостный и смелый моряк почти всегда в хорошем настроении и умеет подбодрить, а то и рассмешить людей даже в тяжелые периоды матросской службы, но только — пока ему не наступят на мозоль.

— Ну как, командир, долго еще будем воевать, ни разу не стрелявши?

Все ясно. Заныла душа старого комендора, некогда обстреливавшего турецкий Зонгулдак, топившего фелюги, немало побившего белых на Волге... а теперь уже второй месяц надравшащего медяшки и откатную часть ствола до сияния. Заныла от профессионального безделья — других-то дел хватало у комендоров, как и у всех.

— Значит, «Либкнехту» цель нашлась? А нам нету?.. Что с того, что у него «сотки», а у нас «семьдесят пять». Несмотря что флагман, а упустили... А мы бы — ни за что!

Даю ему выложить все, затем начинаю исподволь, переводя глаза с одного лица на другое:

— «Либкнехт» в бой попал не потому, что имел «сотки», а потому, что имел уголь. Это понимать надо! Пока что наша берет и без артиллерийских боев! Важно победить, а не пострелять... Или вы в претензии, что пятого числа крейсер упустили?

— Да нет!.. Этот случай понимаем. Небось сам шестом нос корабля от стенки отпихивал! Но все же... так у нас в орудийных стволах скоро паутина заведется... как мы над минами<sup>1</sup> за их торпедные аппараты смеемся!..

— Ну, Гридин, если у какой пушки заведется паутина (чего именно у Гридина не могло быть!), весь расчет отдадим в Ревтрибунал! Но, товарищи, даю слово командира: не закончим войну только на одних армейских пушках или пугая «их» четырьмя дымовыми трубами... Обещаю, что еще стволы разогреваться от стрельбы будут! Только бы пушкари не подвели!

— Тоже скажете! — уже совсем другим тоном закончил разговор артиллерийский старшина. — Да мы, товарищ командир, как в очко, куда только прикажете!..

Прав ли был командир, давая такое обещание?

Конечно, это было неосторожно. Но некоторое знакомство с историей,

<sup>1</sup> По традиции старого флота, в котором торпеда называлась «самодвижущейся миной», очень долго торпедисты и минеры числились в одной специальности. Позже, при реорганизации РККФ, была выделена особая специальность «торпедисты», что стало абсолютно необходимым ввиду дифференциации и усложнения оружия флота.

некоторое — с жизнью подсказывало, что враг, прижатый к стенке или в угол, обычно или сдается, или отчаянно дерется. Как охотник (в том числе на кабанов в камышовых зарослях в Ленкорани и Мугани), я знал, что зверь, который обычно отходит, уступая дорогу, после ранения становится страшным и бросается на своего врага.

Сейчас происходят события иного порядка, и в частности по масштабу. Борьбой поглощена вся огромная Россия и ее соседи. Но много раз читали мы в «Известиях» или в «Правде» или слышали от докладчиков слова Ленина о том, что умирающий или сходящий с исторической арены класс никогда не уходит добровольно, что и приводит к ожесточению так называемой гражданской войны.

Сейчас белые загнаны в угол, в последнюю нору. Вряд ли они сдадутся доброхотно, особенно надеясь на помощь «всесильной» Великобритании. Будет еще драка! В Баку? В море? Или под Энзели? Трудно сказать, но будет.

Черт с ним, если ошибусь. Конечно, плохо, когда слово командира бросается впустую (не лезь в пророки!); гораздо важнее победить<sup>1</sup>.

8 апреля.

### «Стоячий клуб»

Как известно, во всех клубах мира сидят. Не знаю, возможно, есть такие, в которых лежат, не после возлияния, а, так сказать, по уставу.

Нам же, командирам дивизиона, удалось организовать в порядке импровизации нечто вроде «стоячего клуба» на стенке северного мола, прямо против стоянки кораблей, — своего рода «клуб капитанов».

Сидеть было не на чем, да и незачем. Собирались в кружок иногда два, иногда три раза в день. Между делом, накоротке, чтобы обменяться новостями, обсудить события, посоветоваться, а то и просто побалагурить или позлословить.

Душою клуба был Бетковский.

Моряк торгового флота, мобилизованный в военный флот, он был полулюбителем, полупрофессиональным актером. Не знаю, как он играл на сцене, но в жизни роль отставного провинциального трагика Бетковский играл великолепно.

Исиня выбритое нахмуренное лицо всегда с остатками пудры, с горькой миной и драматической полуулыбкой неудачника — таков внешний облик с первого взгляда.

Но как только «Беткач» открывал рот, от трагизма ничего не оставалось, на сцене оказывался остряк и балагур, о котором старпом с «Либкнехта» Б. Альбокринов говорил, что Беткач «осужден за выпивки и анекдоты на девяносто девять лет условно».

Сегодня затянули в клуб главарта Бориса Петровича Гаврилова и старпома с «Либкнехта». Нас всех интересовал первый в этой кампании артиллерийский бой. Причем не по официальной реляции, а как раз помимо нее. По той же причине организаторы сделали так, что не было А. А. Синицына, что было не так трудно — он на правах флаг-капитана и старшинства держался несколько обособленно от остальных капитанов.

Вот что рассказал Гаврилов.

Почему-то решено было предварительно, «на всякий случай», осмотреть Красноводск, хотя для этого было мало угля и теряли время.

<sup>1</sup> Так и хочется забежать вперед для самооправдания. Действительно, стволы двух 75-мм пушек разогрелись от стрельбы, но это случилось только в последнем бою — за Энзели.



В середине перехода налетела «моряна». Начался шторм. Гаврилову приходилось на эсминцах этого типа ходить в дозор в Балтийском море, но таких кренов он никогда не испытывал. Почти пустые угольные ямы и крутая волна приводили к тому, что эсминец ложился на борт и долго не вставал.

Вероятно, комфлот из-за недостатка опыта просто недооценивал положения, однако удалось его уговорить отказаться от осмотра Красноводска и идти на норд, к форту... «Милютин» и «Опыт» открылись внезапно в темной части горизонта, уже на дистанции возможной стрельбы. Но на такой стремительной и сильной качке никакой сколько-нибудь приличной стрельбы невозможно было провести. Поэтому-то они и ускользнули!..

Послышались возмущенные голоса клубменов:

— Замазываете!

— Комкаете!

— Договаривайте!

В последующем пришлось вытягивать клещами каждое слово. Б. П. Гаврилов был старшим по возрасту и «чину» среди присутствующих<sup>1</sup> и считал неудобным рассказывать молокососам об ошибках начальства.

При этом выяснилось, что так как начштаб В. А. Кукель был артиллеристом, командир «К. Либкнехта» также и, наконец, комфлоту не меньше хотелось блеснуть искусством ведения огня, то на мостике флагмана все оценки падения снарядов (по всплескам) делались хором. К сожалению, не все оценивали знаки падения одинаково, одни кричали «недолет!», в то время как другие — «перелет!».

Огонь «Милютина» был тоже беспорядочным, очевидно из-за качки.

Громкие команды Гаврилова об изменении прицела и целика не обсуждались, но все же рекомендации (под руку) делались...

В довершение всего после одного из удачных залпов сам комфлот громко вскрикнул: «Накрытие!» — а так как через секунду на силуэте «Милютина» обозначился клубок белого дыма, то вслед за комфлотом несколько командиров вскрикнули: «Попадание!»

Комфлот, очевидно предполагая взять противника, что называется, живьем, скомандовал: «Дробь!»<sup>2</sup> — хотя даже в этом случае не должен был сам ввязываться в управление огнем. Так и скрылись во мгле два вражеских корабля, причем один окутался белым дымом или паром.

Этот своеобразный бой длился более часа (с 17 часов до 18 часов 45 минут), темп стрельбы был очень медленным из-за сильного волнения. О преследовании не могло быть и речи хотя бы только из-за отсутствия угля.

Альбокринов, лично наблюдавший весь этот бой, совершенно категорично заверил членов клуба, что никакого попадания в «Милютина» не было, а клубок пара, выпущенный нарочито или случайно, был принят за результат накрытия залпом «К. Либкнехта».

Желая скрасить неблагоприятное впечатление, Гаврилов переходит на перечисление трофеев, захваченных на форту.

Но это не намного уменьшает критическое настроение капитанов.

В заключение старпом «К. Либкнехта» рассказал, что в каюту комфлота было принесено несколько ящиков с трофейными револьверами и он тут же начал награждать (или премировать?) всех, кого считал отличившимся в бою с «Милютиным» или при захвате базы...

<sup>1</sup> Гаврилов 3-й, Б. П.— рождения 1889 года, офицер с 1909 года, окончил артиллерийский класс в 1913 году.

<sup>2</sup> Сигнал прекращения огня.

Все заговорили хором.

Шум стал достигать такого высокого градуса, что привлекал внимание как матросов, так и вольной публики.

Тогда Беткач, кстати единственный из командиров, хорошо знавший Каспий и имевший знакомых везде, включая Петровск-порт, встал в позу леонковалловского Пролога и зашел: «Синьоры!.. Пролог пред вами!..»

Слушатели полагали, что это очередная забавная шутка бывшего цирк-шапито, не успевший эвакуироваться вслед за белыми, которых обслуживал во Владикавказе и Грозном, а в последние дни в Петровск-порте. Директор, он же антрепренер, он же хозяин, успел сбежать, забрав кассу и не заплатив артистам за два последних месяца.

Артисты на мели. Бедствуют.

Сейчас с помощью политотдела XI армии им предложено организовать в артель и начать представления для обслуживания частей, проходящих через город.

Сегодня — открытие.

«Итак!.. Мы начинаем!» — пропел Беткач и пригласил нас на представление.

Это было так необычно, что после предложения качать Бетковского (которое реализовано не было) все разошлись по своим каютам менять рубашки и надраивать пуговицы старых кителей и ботинки.

Вечером в «губернаторской» ложе (деревянный загон, обитый кумачом) в качестве почетных гостей оказались четыре капитана и флагспецы штаба. Старшим на рейде был Б. П. Гаврилов, каким-то чудом сохранивший до весны 1920 года крахмальный воротничок «старорежимного образца». Беткач сменил роль Пролога на Фигаро и, неоднократно скрываясь за манежем, периодически сообщал о предстоящих номерах, о фамилиях актеров, о биографии канатной танцовщицы и — что последним номером программы, когда разоидется народ, состоится ужин тут же в ложе с целью смычки флота с искусством. Программа ужина будет объявлена дополнительно.

Под традиционным, довольно бывалым (судя по заплатам) и плохо обтянутым шатром горело несколько керосинокалильных ламп и под колосниками висел полагающийся реквизит (не успел хозяин прихватить).

Ни афиш, ни билетов. Вместо контролеров — комендантский взвод.

Цирк был полон. 90 процентов армейцев, 10 — моряков и полагающиеся по штату вездесущие мальчишки, пролезавшие через щели.

Курили злостно.

Публика вела себя не менее возбужденно и экспансивно, чем «гавроши», но исключительно благожелательно к артистам и принимала их восторженно и по-дружески.

Чего нельзя было сказать об артистах, скованных нелепым страхом за свое будущее.

Если наши бойцы несколько лет не видели настоящего цирка, то эти артисты н и к о г д а не видели «красную» публику, зато были слишком насыщены от ней от белогвардейской пропаганды.

Часть актеров, с традиционным «рыжим» у ковра, для храбрости сильно выпила. Остальные хоть не прикладывались, но чувствовали себя очень стесненно. К сожалению, и из-за того, что хотели во что бы то ни стало показать свою лояльность... и не знали, как это сделать.

Когда один из клоунов неуклюже сострил насчет «севших орлом» генералов и настигающих их красных орлов, то было ясно, что эту же остроту он произносил тут же, на этой арене, две недели назад, но только

орлом сидел красноармеец, а генерал взвивался ввысь и был белым как снег.

Скептически настроенный, я ожидал увидеть провинциальный балаган, особенно пересчитав состав оркестра из четырех медных инструментов и одного барабана. Но, к великому удивлению, труппа оказалась первоклассной.

Безупречной и тонкой оказалась работа с дрессированными лошадьми молодого и стройного наездника Алексеева-Жан. (Кстати, Беткач тут же рассказал, как наездник с тоской ожидал реквизиции лошадей или даже съедения их красноармейцами-татарами, а позже томился от горя, что нечем накормить «случайно уцелевших» прекрасных животных, пока один из конников XI армии, похвалив коней, не приказал интендантам снабдить цирк фуражом по высшей полевой норме. Алексейев-Жан теперь скорбел, что не успел даже узнать фамилию своего доброжелателя, который сейчас был уже далеко к югу, в передовых отрядах наступавшей армии.)

Запомнился изумительный молодой эквилибрист, который балансировал одной ногой, сидя на шестом или седьмом стуле, под самыми колосниками, причем пирамида стульев строилась на высоком столе, а часть из них стояла на двух ножках.

Зрители замирали, боясь помешать труднейшему номеру, который (без лонжи) грозил переломом позвонков под тревожную барабанную дробь. И все как один, вздохнув с облегчением, бурно реагировали на счастливое окончание номера. Старый шапито сотрясался от оваций, гордо раздувая старый брезент.

— Тяжелый хлеб! — изрек красноармеец в папаше, который обкуривал с тыла нашу ложку махоркой какой-то смертельной марки.

Еще запомнилась молоденькая, изящная и чисто работавшая на проволоке девица почти что в костюме прародительницы Евы. Внизу ее ожидала строгая мамаша с халатом и, бережно закутав, вводила дочку с манежа. Позже один из комиков выдохнул вместе с перегаром:

— Верите ли, ни на шаг не отпускает! Что корнеты или ротмистры! Самому превосходительству не разрешила в гостиницу зайти...

Слабее всех были клоуны и остряки.

Как ни старались заправила артели растянуть программу, все же ее хватило только на неполный час.

Однако зрители расходились очень довольные и полные новых впечатлений.

После финального парада началось паломничество актеров в нашу ложу.

Мы не скупилась на комплименты.

В это время, загасив все лампы, кроме одной, и перебрав опилки на арене, конюхи развели в ее центре маленький, почти бездымный костер, после чего выпустили на манеж всех лошадей без всякой сбруи. Оказалось, что это подобие «ночного» — давнишняя цирковая традиция.

Одновременно в ложе очутились два составленных буфетных столика и по волшебству Беткача — бутылки, консервы и буханки хлеба.

Этот «ужин с трупной» я не забуду, как не забуду представления. Однако если представление доставило большое удовольствие, то его продолжение смыло все хорошее.

Самая низкая и грубая лесть со стороны мелких членов труппы, мало заботившихся о том, чтобы скрывать то, что они несколько дней назад теми же штампованными фразами обхаживали злейших врагов, оставших у тюрьмы убитых женщин.

— Вы защитники нашего отечества! Родины! («Единой и неделимой» опускалось по цензурным условиям.)

— Вообще жизнь — игрушка! Все трын-трава! Давайте пить и веселиться! Не прикажете позвать хористок из кордебалета? (Последние выжидали, нетерпеливо выглядывая из прохода.)

Якобы оговорки по ошибке «господа офицеры» вначале делались нарочито, для пробы, и только после нескольких замечаний были оставлены. И удивительное дело, что эта мелкота, полунищая и презируемая своими «благодетелями», ненавидела нас, красных, и меньше примирялась с изгнанием белых, чем настоящие артисты и более культурные люди. Очевидно, это своеобразная разновидность артистического люмпена, который уже не мог и не хотел работать, привыкнув к паразитическому существованию. Слава аллаху, наряду с ними есть такие, которые поняли, что происходит, и жадно спрашивают о цирке Чинизелли в Питере и удивляются, что он существует.

Разные они, артисты этой труппы, но единственно в чем единодушны, это в анафеме на голову бросившего их хозяина.

Ни свирепый аппетит действительно голодных артистов, ни пьяные слезы «коверного», ни тоска его коллеги по «настоящей публике» (которая сбежала) не произвели такого впечатления, как тот момент, когда я заметил, что один из артистов тайком набивает карманы кусками хлеба.

Застигнутый взглядом, он покраснел до слез, а я, покраснев не меньше, проклинал свою наблюдательность. За спинами других он извиняющейся мимикой и красноречивыми жестами показал вдаль, подняв два пальца, из чего ясно было: «жене, в гостиницу».

Стало муторно на душе. Вижу, что и Калачеву не легче.

Когда Беткач, сбросив китель, неуклюже взобрался на спину отдыхающего и безразличного ко всему коняги и крикнул: «Не нахожу машинного телеграфа! Не знаю, как дать ход!» — его стянули два конюха явно цыганского вида, а сидевший рядом с Гавриловым пожилой, серьезный и с достоинством артист раздумчиво сказал:

— Вот так же, недели две назад, после представления, в этой же ложе ужинали с белыми офицерами... И капитан второго ранга (не помню фамилии) пытался забраться на лошадь...

— Помимо философской идеи, что история повторяется, вы хотите сказать, что нет никакой разницы между белогвардейскими офицерами и нами?

— О нет! Дай бог, чтобы эта «история» больше не повторилась. А разница значительная! Я бы сказал — разительная! Во-первых, вы и ваши друзья пьете настолько умеренно, что я вижу, что до традиционной стрельбы по пустым бутылкам дело не дойдет. Во-вторых, несмотря на прямое предложение, выглядывания и привычную жестикуляцию самих хористок, вы отказались от «облагораживающего» дамского общества. Это настолько необычно, что вздумай наш недоброй памяти директор не приготовить к ужину парное число девочек, то наверное бы был оштрафован полицеймейстером («за антисанитарное или пожароопасное состояние заведения») ... Это назавтра, а на сегодня был бы бит по морде.

— Скажите, а почему вы не... не эвакуировались?

— Намечалось. Даже вагоны были обещаны, а помощник администратора даже успел выехать в Баку для разговоров о месте для шатра и помещениях. Но потом, когда началась эвакуация, нас заставили давать представления до последнего момента, чтобы создать впечатление, что в городе все идет нормально, никакой эвакуации не предвидится... Затем в течение двух суток была невообразимая паника, и о нас, конечно, забыли. Директор хотел прихватить кое-что из реквизита, но тут уже

мы не позволили... А теперь — спасибо вашему политотделу, одного названия которого мы так боялись, путая его с ГПУ. Сейчас мы зачислены в их ведение и на паек. Кое-кто из наших не понимает еще новой публики. Но я так скажу: настоящий артист не может выступать сознательно слабее или плохо только потому, что ему зритель не нравится. Это все равно что не уважать свою работу.

Возвращались в порт грустные.

Кто-то сказал, что не надо было оставаться на «ужин».

Мне же казалось, что надо. Надо смотреть и видеть все вокруг в переживаемое нами время, чтобы понимать жизнь и учиться у нее. Судьба цирка не случайна и дополняет картину отступления белых, вернее — картину их конца.

*9 апреля (Петровск-порт).*

Утро.

Передо мной сидит симпатичный, бедно, но аккуратно одетый старичок с чиновничьей фуражкой на голове. Когда представлялся тихой скороговоркой, запомнилось только, что он лоцмейстер 2-го не то класса, не то ранга, но главное заключалось в том, что явился «за инструкциями» смотритель здешнего морского маяка.

Он уже обошел немало начальства и армейского и флотского, но никто не знал, что с ним делать, и направлял дальше, пока он не уперся в начальника охраны водного района, а поскольку главштура Корсака налицо не оказалось, мне его дальше переправлять было некуда. И вот сидит этот скромный человек долга, годящийся мне в отцы и, очевидно, слишком много повидавший на своем веку, ожидая указаний, когда зажигать и когда тушить огонь большого маяка.

Как-то о маяке я забыл. Возможно, потому, что подходили на видимость порта уже засветло, в хорошую видимость и его огонь «Деятельному» был не нужен.

Вот и отсюда, с мостика, видна высокая красивая башня, стоящая на выступе холма, с широкой и светлой полосой, которая наносится поперек башни почти всегда, когда она проектируется не на небе, а на фоне вплотную стоящих высоких гор.

— А маяк в порядке?

— Как же может быть иначе? Извольте лично подняться и убедиться. Мы с женой да старый матрос-служитель вот уже поди который год в полной сохранности сохраним... Но раньше из штаба его превосходительства господина контр-адмирала Сергеева всегда указания были, когда зажигать и когда тушить. А после ихней эвакуации так совсем не ясно. Отбывая, господин адмирал никаких инструкций не оставил.

— Ладно! О порядке работы маяка договоримся. Но вы сперва расскажите, каким образом уцелел фонарь и вообще все ваше хозяйство, когда здесь много раз сменялась власть и город переходил из рук в руки?

— В наружном остеклении и в куполе есть две дырочки, но явно от шальных пуль. Фонарь-френель первого разряда с керосинокалильной горелкой в абсолютной исправности. Извольте взглянуть, когда будете. А что касается до нас, смотрящих за маяком, то я так полагаю, что наши (он так и сказал — наши, без кавычек) и англичане понимали что к чему, а вот дагестанцы там и прочие мусульмане, очевидно, маяк признавали как вроде святыню. Слишком их минареты напоминают... Это я позволил себе заметить, так как один имам, осмотрев маяк после занятия города, приказал внизу караул из двух, так сказать, башибузуков с саблями наголо поставить и никого к маяку не допускать. Когда смотрел

фонарь, бабуши снял и говорил шепотом. Благоговейно. Спросил, что надо. Говорю, горелка керосином чистым питается. Верите ли, через час бочку на арбе привезли, так — прямо скажу — керосин марочный, манташевский!

Я пришел в хорошее настроение.

Занятно. В других городах колокольни — это или наблюдательный пункт, или пулеметная точка. В результате кругом одни дыры от огня, а то и подорвана в основании. А тут прекрасная платформа для наблюдения в черте города и одна шальная пуля при смене почти десятка властей.

Этак и до башни «святого Френеля» можно докатиться!

Но шутки в сторону. Светить или не светить? А если светить, то когда? Даже телефона со стенкой нет. Наконец, мы завтра уйдем, кто «инструкции» давать будет?

Решение нужно простое и ясное.

Приказал: «Зажигать ежедневно, по нормам мирного времени, то есть от захода до восхода. Пока не будет другого указания».

Дал записку. Заодно чтобы включили на паек (без адреса, пока не появится первое начальство военного порта, а оно ожидается с часу на час).

Почему принял такое решение?

Ведь по маяку может определиться какой-нибудь «летучий голландец» из состава белого флота? Может! Черт с ним!

Но дело в том, что из Астрахани мы ждем все флотское хозяйство, десантные отряды И. Кожанова, мореходные канлодки и т. д. Так нашим маяк нужен каждую ночь, так же как и днем.

Пусть и светит. Ежедневно!

А если обстановка изменится, можно будет изменить и режим огня.

### *9 апреля (Петровск — Чечень — Астрахань).*

Под самый вечер прибежал возбужденный механик, за ним комиссар, потом Снежинский, а дальше — в проходе и на трапе — не менее взволнованные остальные товарищи.

— Винты нашли!

Сперва я ничего не понял. Затем из рассказов наперебой, а временами хором стало проясняться.

Белые, когда драпали, в числе другого награбленного имущества не успели увести баржу с металлом, инструментом... В том числе с несколькими новенькими запасными винтами от миноносцев типа «Деятельного».

— Конечно, эти винты им ни к чему, у них миноносцев нет. Но нам пакость сделать хотели и убыток, а себе бронзу на продажу заимели... Только бежали так шибко, что не успели прихватить на бакинский или персидский рынок...

Не верилось.

Во-первых, потому, что такой счастливый случай был почти невероятным. У врага в виде трофеев захватить свои собственные винты?! Такого не бывало!

Во-вторых, как могла баржа с винтами (явно астраханская), как она могла вообще попасть к противнику?

Видя мои сомнения и нерешительность, механик и вся его свита поклялись, что обмеряли втулки, что винты наши и обработаны «вчистую» — хоть сейчас ставить.

Разбирать, как и когда баржа оказалась у белых, не было времени. Я схватил фуражку и бросился по стенке к «Карлу Либкнехту».

Теперь комфлот слушал с явным недоверием, а я горячо и громко убеждал его, чтобы он отпустил «Деятельного» в Астрахань на смену винтов.

— Хорошо. Если действительно такое чудо свершилось, разрешаю вам «сбегать» в Астрахань и сменить винты. Но ставлю два условия... Вернее, два задания: во-первых, на смену винтов даю двое, максимум трие суток! И, во-вторых, по пути в главную базу обойти остров Чечень и Кизлярский залив и узнать о судьбе «Каспия», «Кауфмана», «Пролетария» и других кораблей отряда Арского, и если не поздно, то помочь. Они штормуют.

— Есть!

Очевидно, не сомневаясь в успехе моей миссии, Снежинский и Лузгин начали подготовку к перегрузке винтов на палубу миноносца при свете люстр.

Когда я пришел на корабль, баржа уже была у борта.

При помощи самодельной стрелы (на манер Темперлея), сооруженной из двух телеграфных столбов, боцман Немм, как истинный художник такелажного дела, погрузил на корму миноносца два винта, подстелив маты и запеленав тяжелый груз, чтобы его не стрясло от вибрации или не смыло штормовой волной.

Какой-то бодрез обуюл всех. Очевидно, у многих в Астрахани остались незаконченные дела. То же и на других миноносцах — до самого отхода от стенки через нашу палубу проходил поток желающих отправить письмо, пакетик или словесный привет.

Наконец швартовы отданы. «Деятельный» уверенно, как будто базировался на эту гавань несколько лет, выходит в море.

Надо торопиться. У нас времени в обрез, а может, и того меньше.

Есть особенное удовольствие в самостоятельном плавании. Вообще говоря, миноносец — существо общественное, обладающее стадным чувством. Поэтому обычно они ходят и воюют группами или соединениями.

В одном официальном руководстве, которое является сборником, сводом правил хорошего тона для миноносцев («как вести себя в компании с сестер-шипам»), сказано: «Тактической единицей является группа из двух миноносцев».

Значит, единица из двух единиц.

И это бесспорный исторический факт, что «Дерзкий» и «Гневный» вдвоем загнали «Бреслау» обратно в Босфор, будучи даже вместе слабее противника; они попеременно атаквали с разных сторон, заставляя крейсер подставлять один из своих бортов, а между направлениями с него на эсминцы было около четверти картушки. А сколько раз при несении дозора, когда скисало радио у головного, донесение в базу давал концевой, приняв его по семафору. И, наконец, сколько раз в случае подрыва на mine одного эсминца («Орфей», «Забияка» и пр.) другой приводил его на буксире или, в худшем случае, подбирал людей. Подобных случаев очень много, так же как случаев расплаты за то, что в море высылался один миноносец.

И все же после совместного плавания исключительно приятно иногда побегать одному.

Почему?

Во-первых, потому, что нет начальства на мостике ни у вас, ни у пе-

реднего мателота. Просторнее. Никто не подтягивает по мелочам; можно делать все что угодно.

Во-вторых, не надо поддерживать заданное число оборотов (эскадренный ход), не надо следить за строем, чтобы не налететь на корму головного, не надо никого предупреждать о поворотах и т. д. и т. п., то есть не испытывать большого напряжения.

И вот «Деятельный» один идет на север. Война не кончена. Чечень еще не взят. Где-то бродят белогвардейские корабли. Поэтому вся служба несется по-боевому: усиленное наблюдение, полное затемнение.

Последовательно увеличиваем ход с тем, чтобы выиграть побольше времени на док. Однако старые винты протестуют, а новые (как бы распластанные на корме), несмотря на найтовы и маты, принимают серьезное участие в общем концерте дребезжащих и стучащих от вибрации металлических частей корпуса и вооружения.

Больше четырнадцати с половиной узлов не получается. И без того на корме можно объясняться только жестами, а при повышении числа оборотов более ста двадцати, помимо «дрожемента» в ногах, начинают щелкать челюсти и можно прикусить язык<sup>1</sup>. Но страшно не за целость языка, а за целость кронштейнов.

Наконец, есть веский довод, чтобы не очень торопиться. Осматривать Кизлярский залив можно только после рассвета, то есть не раньше 5 часов 40 минут (не считая периода сумерек). Поэтому нам нет смысла прийти к району поиска в темноте.

Независимо от того, что сейчас ночь, видно, как идем навстречу шторму. Небо впереди заволочло плотной облачностью, в кромешной тьме нельзя различить линию горизонта. Ни зги!

Сперва встретила нас зыбь, а через час — быстро нарастающий ветер, который все крепчал и принялся разводиться такую волну с белыми гребешками, что скоро мы были мокрыми от брызг.

Миноносец начинает раскачиваться.

Я эти места плохо знаю. Снежинский, посмотрев на барограф в моей каюте, уверяет, что, очевидно, это местный циклон, который проходит стороной и нас задевает только краем.

Обходим, от греха подальше, отмели и банку на ост от оконечности острова Чечень. Тем более что вряд ли будет гореть маяк: ведь белые еще не ликвидированы на острове.

В ожидании рассвета на мостике состоялась дискуссия по вопросу о том, как винты миноносцев очутились в Петровске, поскольку вариант с участием Николы-чудотворца никого не устраивал.

Старпом В. А. Снежинский, который командовал «Деятельным» на Волге, не один раз видел баржу в Нижнем Новгороде и в других затонах.

— Мы всегда имели ее в виду. Особой надобности сменять гребные не было. Да и времени не хватало, а если случались передышки, то не было дока или баржа с винтами оказывалась застрявшей в другом порту. Так и подвигались к Астрахани, но именно там баржа исчезла из виду.

После обсуждения ряда умозрительных вариантов я лично пришел

---

<sup>1</sup> Максимальное число оборотов — 375, что соответствовало в начале XX века — 25,7 узла. Старожилы-ветераны, пришедшие с ним с Балтики, помнят 24 узла после капитального ремонта. На Волге больше 12 узлов нельзя было ходить из-за глубин, а теперь, после трех лет без дока и с ушербленными винтами, приходилось довольствоваться 15 милями в час.



к убеждению, что баржа с винтами, приписанная к Петроградскому военному порту (что видно по бортовым литерам), скучала в недрах Астраханского филиала до осени 1919 года, когда срочно понадобились высадочные средства для выброски десанта моряков в помощь армейским частям, защищавшим район под Лаганью.

Относительно небольшая, но ладная железная баржа весьма подходила для этой цели из-за малых глубин. Ее разгрузили, оставив на пайоле бронзовые винты в качестве балласта.

Десант высадился успешно и слился с флангом армии, а вот уводить в Астрахань плавсредства, обмелевшие после спада воды, желающих не нашлось, и так как высадка производилась в районе театра, в котором хозяйничал бело-английский флот, то еще до ледостава они сняли баржу с отмели и в качестве трофея увели сперва на Чечень, а затем в Петровск.

Снежинский разрабатывал свой вариант «чуда с винтами», но наступление рассвета помешало ему. Поворот на запад — обходя далеко остров Чечень и не приближаясь к острову Тюлений — целиком отвлек внимание командира, старпома (он же старший штурман) и штурмана Буша.

Ветер крепчал; миноносец валяло с борта на борт. Пасмурно. Временами с неба брызгает, но заметно, как весь мрак смещается на OSO.

К нашему огорчению, именно здесь штатной навигационной обстановки не оказалось. Помимо маячной башни на острове Чечень, единственным ориентиром служил остров Тюлений. Из-за малого хода и свежего порывистого ветра увеличился угол и величина дрейфа, а еще через полчаса мы убедились, что влезаем в район критических для миноносцев глубин, хотя по карте здесь мог бы маневрировать настоящий крейсер. Отличительная, 18-футовая глубина, красиво нанесенная на карту, оказалась ловушкой.

Что это? Понижение уровня из-за сгонного эффекта в результате шторма или результат увеличения отложений наносов из Терека, не отмеченный гидрографией?

Но для научно-экспедиционной работы времени не хватало. С лотовыми на крыльях банкета носовой пушки и с грязевым шлейфом в кильватерной струе, пробираясь почти на брюхе, «Деятельный» обошел южную часть Кизлярского залива, заглянув (издали) в Аграханский с таким расчетом, чтобы осмотреть в бинокли и дальномер<sup>1</sup> все берега и заметить наши корабли или место высадки десанта.

Попутно очень хотелось увидеть английскую авиабазу. При такой волне поплавковых самолетов бояться было нечего. Значит, они должны быть вытащены на берег. И если бы позволила видимость, мы смогли бы нанести на карту места построенных спусков (что нет ангаров, было известно от разведки еще с 1919 года).

Ни кораблей, ни самолетов, ни людей.

Не будь новых винтов, лежавших на палубе, я никогда не рискнул бы залезть в район таких малых глубин. Кроме того, неотступно преследовала мысль, что из-за поломанной шпильевой машинки нельзя становиться на якорь.

Выбрались мы благополучно, но задания не выполнили, никаких следов отряда Арского не нашли. Оставалась мысль, что он еще здесь не был и отстает на 12-футовом рейде, ожидая конца шторма.

Пошли дальше.

На этот раз я испытывал беспокойство больше, чем Снежинский. Мы приближались к минным заграждениям, поставленным моими руками. А надо сказать, что заграждение выглядит иначе, если на него смотреть

<sup>1</sup> Четырехфутовый «Барр и Струд» на задней части мостика.

с тыла, по сравнению с тем, когда приходится проходить через него с моря, не имея надежного определения места.

Все обошлось хорошо.

Нас встретил дозорный сторожевик еще до того, как открылся новый «маяк» в виде обгоревшей рубки и трубы покойного «Князя Пожарского». Затем постепенно вырос из воды тыловой город плавучей базы флотилии.

От командира сторожевика узнали (в мегафон) печальную новость. Арский выходил. Шторм разметал все его корабли и транспорта, и в ночь с 8 на 9 апреля на «Каспии» выбило волной обшивку скулы, вследствие чего он затонул и перевернулся.

Ближе всех оказалась канлодка «Пролетарий», которая безуспешно пыталась подать буксир, но в итоге смогла только подобрать из воды тринадцать человек.

Командира отряда — жизнерадостного Владимира Александровича Арского, и командира «Каспия» — сдержанного Евгения Ивановича Перетерского (который был старше и опытнее своего начальника), к сожалению, в числе спасенных не оказалось<sup>1</sup>. Это были два честных патриота, с Октября 1917 года бесповоротно ставших на сторону народа.

Личная храбрость и морской опыт обоих подсказали, что все возможное для спасения людей и корабля было сделано. Позже это подтвердили как спасенные, так и свидетели трагедии на «Пролетарии».

Почему же мы понесли такую потерю? Это разъяснили корабельщики<sup>2</sup>. Оказывается, еще зимой 1918/19 года при вооружении ледокола «Каспий» двумя орудиями 100-мм и двумя 75-мм вызвала опасения прочность переборок, так как проект корабля не предусматривал его вооружения даже при мобилизации. В последующем «Каспий» из-за своих ледокольных качеств заканчивал кампанию позже всех и начинал раньше других. Многократные бои расшатали перегруженный корпус, который не получил необходимых подкреплений или даже ремонта.

Ослабление переборок и обшивки в сочетании с короткой и крутой каспийской волной, особенно на толчее, образовавшейся в Кизлярском заливе во время последнего шторма, привели в какой-то момент к столь неблагоприятному совпадению, что без заранее обнаруженной остаточной деформации корпус сразу начал разрушаться.

Но остров Чечень скоро будет захвачен. На рейде уже заканчивает снаряжение повторная экспедиция с «Пролетарием» и «Кауфманом». На последнем размещен матросский десант.

Захватив в каюту газеты, перекинутые с плавбазы, я впервые спустился в каюту на ходу миноносца и залег на койке, предоставив Снежинскому вести корабль по каналу, который он знал лучше меня.

Предварительно дали в Астрахань подробное радио о подготовке дока.

В течение всего перехода из медного раструба переговорной трубы докладывалось о кораблях и транспортах, шедших навстречу.

Это в Петровск! Как силы и тылы флотилии, так и «хвосты» XI армии. В добрый час!

*10—12 апреля. Астрахань.*

Разговоры с докмейстером и инженером. Со мной — механик и боцман. От судкома — И. Белов, насчет мобилизации команды.

<sup>1</sup> Арский В. А. — рождения 1891 года, офицер с 1911 года, артиллерист. Перетерский Е. И. — рождения 1887 года, офицер с 1909 года, участник спасения итальянцев в Мессине.

<sup>2</sup> Корабельные инженеры.

Доклад в штабе о походе и наших задачах, после чего «по требованию публики» — рассказ о первых операциях. Несмотря на то что здесь уже находится плененное войско генерала Толстова, из Петровска до прихода «Деятельного» никого не было.

### Встреча с Л. Рейснер

С Ларисой Рейснер я был знаком еще в Москве, когда она служила в качестве комиссара Генмора.

Зимой 1919 года, когда Ф. Ф. Раскольников убеждал меня ехать на Волгу, чтобы принять миноносец (а я, не веря в свои силы, соглашался только на должность «флагспеца по тралению и заграждению»), меня вызвали к нему на квартиру, где вместо служебных разговоров прослушал несколько интересных воспоминаний Ларисы о времени ее учебы в Мюнхене, где она с отцом была в эмиграции.

Я все пытался подвести разговор к операциям на Волге. Об ее личном участии в боях на миноносцах рассказывали легенды, иногда невероятные. Но хозяйка дома (и это было ее правом) упорно возвращалась к вопросам графики и показала мне изумительные работы Сергея Гинсбурга (тоже мюнхенского периода).

Осталось впечатление об очень образованной, волевой женщине, к тому же очень красивой.

Затем две-три встречи в Астрахани, на докладах у комфлота. Теперь она была начальником политотдела флотилии и вместе с политотделом ожидала переброски в Петровск.

Имея поручение от комфлота передать Л. Рейснер личное письмо, я вечером направился к ней.

Первое, что мне не очень понравилось, это атмосфера какого-то избранного общества, когда посланца ввели в царство хорошего тона, разместившееся в большой, роскошно убранной и явно купеческой гостиной. И если комната и обстановка служили своего рода трофеем, оставленным удравшим богачем, за стиль которого нынешняя хозяйка не могла нести ответственности, то состав компании, окружающей крупного политработника и жену комфлота, всецело определялся ее выбором.

Пять или шесть глубоковоспитанных дам восседали вокруг кресла той, которая сейчас являлась старшей среди равных, и трудно было поверить, что она наганом и конем владела лучше, чем вязальными спицами, и спокойно могла стоять на мостике корабля во время артиллерийского боя.

Еще раз я убедился, какой сложный человек был в этой оболочке<sup>1</sup>.

Все занимались «рукоделием», а одна из дам, помоложе, читала вслух какую-то книгу.

С моим приходом заведенный порядок был нарушен. Хотелось ограничиться ролью курьера, однако пришлось рассказать все с момента выхода в операцию с 12-футового рейда. Повышенный интерес слушателей был естественным: все они были женами командиров, ушедших со штабом флотилии или дивизиона эсминцев.

По таинственному знаку хозяйки появился подносик с чаем, домашним печеньем и ломтиком подобия колбасы. Хорошо, что я имел небольшой тренинг в Петровске, поэтому не испытывал тошноты, когда уничтожал угощение.

Через минуту неприятно резануло другое. От имени комфлота доложил, что он ее ждет; уже приготовлена квартира сбежавшего контр-адмирала Сергеева.

<sup>1</sup> Причем в то время я еще не знал, что она пишет стихи и интересные очерки.

— Как он не понимает, что я не смогу жить в этом доме и дышать тем воздухом, которым дышали наши смертельные враги!

Пафос и дрожь голоса от гнева привели в трепет всех дам. А я следил глазами за возмущенной женщиной, шагавшей с пылающими глазами из угла в угол, и не мог понять, насколько эта щепетильность является искренней... Ведь нынешняя гостиная тоже принадлежала не пролетарию. Не знаю, прасолу или рыбопромышленнику, но вижу, что миллионеру.

Чужая душа — потемки. А такой необыкновенной женщины — и подавно.

Через несколько минут морской фельдъегерь или дипкурьер забыл все сомнения и оценил остроумие хозяйки.

Остановившись против меня, Лариса Михайловна сказала:

— Спасибо за письмо, кэптен! Спасибо за повесть о первых операциях... Вы интересно рассказываете. Будь у вас время — заставила бы написать в газету о случае с зарубленными у тюрьмы. Ну да бог с вами... Меняйте винты, это сейчас важнее!.. За отличное выполнение поручения вы награждаетесь... Ну, что больше всего нужно капитану, несколько суток простоявшему на мостике? — Она оглядела своих дам, но те настожились и не рискнули отгадать вслух. — Вы награждаетесь горячей эмалированной ванной с душистым мылом!

Это было неожиданно для всех и для меня. Это было великолепно!<sup>1</sup>

Комендант — картинный матрос с маузером — сделал кислую мину и, когда вел меня в ванную комнату, возмущенно ворчал.

Только сидя в мыльной горячей воде, в отличной «мальцевской» купели, я оценил жест хозяйки. Совершенно очевидно, что она сама испытывала это блаженство после длительных (и очень рискованных) скачек по калмыцким степям, с ночевками в грязных кошарах. После подобия душа на «Деятельном», которым было неудобно, а главное, некогда пользоваться, награда, полученная в виде ванны, воспринималась с благодарностью как приятное с полезным.

Розовый и сияющий, как херувим, посланник опять предстал перед дамами, благодаря от души хозяйку, после чего произошел деловой, но неприятный разговор.

— Вот что, кэптен! Пока вы плескались, я решила идти в Петровск с вами на миноносце!.. Тут Сергей Андреевич<sup>2</sup> готовит мой переезд на одном из транспортов, который пойдет дня через два, в составе конвоя. Но с вами я выиграю полсуток, а главное — тряхну стариной!..

После взгляда на мою недвусмысленную мину холодно и с издевкой:

— Или вы боитесь «бабы» на корабле?.. Может быть, вы по понедельникам в море не рискуете выходить?..

— Ни понедельника, ни тринадцатых чисел и прочих примет не боюсь. Но, во-первых, я не имею разрешения командующего, а во-вторых, скажу откровенно, у нас в гальюне офицерского отсека — одно очко. И два пассажира — штабные командиры... Устали все изрядно. Думаю, что экстренный док обойдется нам еще дороже. Вправе ли я усложнять жизнь своих командиров еще больше? Поверьте, что одно дело идти в бой, а другое — быть только гостем. Последнее более обременительно.

— Ясно! Не продолжайте! Вы правы, я иду на транспорте.

По дороге на миноносец я вспомнил, как мне демонстративно твердо пожали руку...

<sup>1</sup> Кстати, о мыле. В Астрахани оно варилось из остатков гнилой рыбы, и, намыливая руки, вы отчетливо слышали запах кутума или воблы.

<sup>2</sup> Кукель 1-й С. А. — начальник Волжско-Каспийской флотилии, старший брат начальника штаба. Рождения 1883 года, офицер с 1902 года.

— Спасибо за откровенный ответ! — Это было явно сказано для аудитории, шокированной моим отказом и еще больше грубыми морскими терминами.

Ссылка на отсутствие разрешения была явно несостоятельна: ведь речь шла не столько о жене комфлота, сколько о начагитпропе. А что она стеснила бы нас независимо от пропускной способности гальюна — в этом я не сомневался.

Больше ничего об Астрахани не помню, так как больше на берегу не был.

Записал отрывочно кое-что.

Ясно, что теперь, когда мы стоим на подступах к Баку, здесь готовится огромный и сильный флот. Чуть ли не десяток миноносцев, столько же канлодок и сторожевиков. Но, к сожалению, никто из них еще не готов.

Комиссар в день выхода узнал в штабе, что остров Чечень захвачен. Деталей еще нет.

В городе, на пристанях, заводах, базарах — новый тонус жизни... Еще нет привычного (огромного) потока нефти (хотя из Гурьева уже пришло два или три каравана); еще не увеличен продовольственный паек, но все на рейдах и в городе готовятся к перекачке нефтепродуктов для дальнейшего направления вверх по Волге. Баржи, буксиры, насосные станции, железнодорожные цистерны, баки... Все это огромное хозяйство как бы предчувствует приближение нефтяной волны, если не наводнения.

Кстати, сейчас, к видимому концу войны, часть миноносцев типа «П» переделывается на мазутное отопление. Но они не успеют.

Дорогу пробивают «угольщики».

И еще запомнилась тревога относительно Польши и отчасти Врангеля.

Но это — только в московских газетах и в высших штабах.

Для коренных жителей Астрахани и Врангель и особенно Польша так далеки, а войной они сыты настолько, что не хотят и думать.

А жаль. Нельзя не думать. Это та же самая война, но с другого румба.

*14 апреля (траверз острова Чечень).*

«Пролетарий» и другие — на 12-футовом рейде, но мы визитов наносить не стали. Приемка угля с баржи — и в море.

Днем начали обход Кизлярского залива.

Еще издали заметили характерный корпус бывшего пассажирского парохода «Кауфман». Корабль как будто вымер.

Это вслед за десантом на берег высадились любопытные, все, кто мог, кроме вахты.

Узнали от командира, что:

английские самолеты улетели на юг еще до прохода миноносцев на Петровск;

улетая, летчики-офицеры (включая и англичан) выпустили авиационный бензин в воду;

пытались портить сооружения и спуски, но солдаты не позволили; весь гарнизон без выстрела сдался десанту, так как по суше был блокирован XI армией еще с последних дней марта;

одиночки «шкуры» скрылись, очевидно присоединившись к «камышатникам» (в дельте Терека и Сулака), которые еще гнездятся в плавнях, но дни которых сочтены.

Печально, что наши гидросамолеты здесь не найдут горючего.

Но ничего... Грозный недалеко. Однако вряд ли поспеет с перебазированием Каспийский гидродивизион из Оранжевой, чтобы помочь нам в операции на Баку.

*15 апреля. Петровск-порт (вторично).*

Самое приятное, что, несмотря на невозможность отбалансировать гребные винты на стенде (очевидно, было сделано в Кронштадте) и недостаток времени для проверки линии валов, вибрация от новых винтов почти не ощущается.

На участке траверз мыса Сулак — Петровск-порт начали повышать обороты, сколько позволяли три действующих котла.

Довели почти до двухсот оборотов, а это около восемнадцати — девятнадцати узлов. Жаль, что нет мерной мили.

Стоя над трапом лицом к корме, любуюсь ровной кружевной пеной кильватерной струи, которую прокладывает, как по линейке, рулевой Вася Кузнецов, артист своего дела. На Волге он не мог показать всех своих талантов.

Не знаю, комиссар ли или кто другой подсказал, но команда, как вызванная по авралу, почти вся наверху.

Чудный солнечный день, затихающая, очень пологая зыбь, горы над Петровском вдаль и шипящая лобовая волна, убегающая от борта с такой непривычной скоростью. Какой моряк не залюбуется подобной картиной, особенно после многолетнего голодания?

Механик Лузгин сияет. Так и должно быть. Золотые руки! Ему больше всех миноносец обязан, в том числе и сменой винтов.

Кто-то из машинистов, стоя у комингса своего люка, показывает мне издали большой палец и кричит, улыбаясь:

— Как по маслу!

И действительно, что-то есть маслянистое в этой гладкой и глянцевитой зыби.

Петровск-порт почему-то радовал, как родной дом.

На этот раз он был нарядный. Весь в зелени.

Встречает дозорный сторожевик. Совсем как в приличном военном порту.

Подходим к «своему» месту, но на этот раз не так просто: в гавани уже несколько канлодок и транспортеров, которые пришли за время нашего отсутствия.

*16 апреля (Петровск-порт).*

Когда отоспался после похода, конечно, предварительно доложив в штабе и сдав пакеты и поручения, навязанные в Астрахани, в каюту заглянул комиссар и, оставив на столе три номера «Правды», посоветовал прочесть выступление Ленина на съезде трудовых казаков. Оказывается, эти газеты (от 2, 3 и 4 марта) в числе других, более свежих, находятся у нас на борту корабля с момента прихода в Астрахань, но были в тюках, адресованных в походный политотдел в Петровск. Поэтому никто не удосужился пакеты вскрыть, и теперь мы получили «новости» на общих основаниях, но только еще на неделю позже.

Исключительно интересно неожиданно оторваться от ограниченных интересов корабля, дивизиона и даже флотилии и посмотреть вокруг глазами всевидящего Ленина на общую обстановку, на положение в нашей стране, на политическую картину мира.

Как понятны слова о «военспехах»; анализ причин, почему Красная Армия побеждала и побеждает. А разве не смотрит Ленин не только

на север и на запад и Владивосток, но и на наш театр с грызущимися «союзниками» от контрреволюции, когда говорит:

«...А наши враги, бесконечно более могущественные, потерпели поражение потому, что между ними не было, не могло быть и не будет единства, и каждый месяц борьбы с нами для них означал распад внутри их лагеря»...

Но как-то неожиданно резануло:

«Война кровавая закончена, теперь мы ведем войну бескровную против разрухи, против разорения, нищеты...»

4 марта, мы еще только набирались сил в Астрахани и ждали ледохода, чтобы начать кровавую войну.

А мины? А взрыв «Пожарского»? Бой «Либкнехта» с «Милютиным»? Захват форта Александровского? Наконец, как же дальше с Баку и белогвардейским флотом?

Но потом подумал и... смутился.

Конечно, после того, как ликвидированы Колчак, Юденич, Деникин, Дутов, выкатились домой англичане и американцы с севера, французы — из Одессы, с Эстонией заключен мирный договор... Когда в итоге побед Туркестанского и Кавказского фронтов вся северная и средняя часть Каспийского моря и большая часть Кавказа очищены от белых и интервентов и остался один бросок на Баку — разве нельзя считать это концом войны? Особенно если вспомнить, что было еще полгода назад!

Вот что значит смотреть на мир только со своей колокольни. А ему из Москвы далеко видно, и, по-видимому, так оно и есть, что война против разрухи и нищеты — сейчас главная война.

Но это еще означает, что для успешной борьбы с разрухой и разорением мы должны в кратчайший срок покончить с белым флотом, выгнать англичан с Каспия, а танкеры передать освобожденному Баку для питания РСФСР нефтью. Вот что будет нашим вкладом в бескровную войну!

*17—25 апреля. Петровск-порт.*

Прошла неделя, но такая напряженная, что не записывал. Механик бьется с ремонтом. Сделано много по мелочам, но главное — шпилевую машину здесь починить нельзя.

Полная приемка угля.

Если не успеваю записывать, то теперь стараюсь просматривать «Известия» или «Правду», хотя они доходят до нас невпопад, а главное, с большим запозданием, и на каждый номер — очередь.

Отпали какие бы то ни было сомнения — в речи на съезде водников в Москве товарищ Ленин так уточнил формулировку того вопроса, который меня захватил больше других: «...на фронте кровавом у нас борьба кончается, а на фронте бескровном начинается, и что тут не меньше нужно напряжения, сил и жертв...»

В этой формулировке помещается и XI армия с флотилией, и борьба с Врангелем. Но, конечно, война кончается. От нас зависит ускорить этот конец.

На очередном совещании клуба капитанов после «самых свежих» анекдотов Беткача (часть которых была дослушана только из вежливости) и после доклада командира «Деятельного» об астраханских новостях и настроениях возник интересный вопрос: в чем своеобразие нашего положения в войне с бело-английским флотом? Эта особенность могла бы всплыть в начале кампании или даже года два назад, но почему-то не фиксировалась ни в официальных документах, ни в частных обсуж-

денях. Сейчас вопрос возник не самопроизвольно, а в связи с попыткой анализировать случаи безнаказанного ухода «Австралии» от Петровска и «Милютина» и «Опыта» — от «Карла Либкнехта».

Кто выиграл, а кто проиграл?

Если на момент забыть о влиянии отсутствия топлива на результат первой встречи, что относится к области оперативной готовности, и оставить в стороне тактическую оценку боя 4 апреля, получается не так уж плохо, что нам не удалось их утопить, поскольку есть шанс рано или поздно все суда белых захватить в наши руки. И если не найдется фанатиков, готовых сражаться до последней капли крови, все корабли могут быть получены в целом виде, исправными.

Своеобразие обстановки заключается в том, что все боевые или транспортные единицы бело-английского флота, все до единой, являются имуществом России, причем крайне необходимым для молодой Республики. Весь этот флот строился и служил для перевозки нефтепродуктов из Баку, Петровска и Челекена в Астрахань и далее вверх по Волге для питания транспорта, электростанций и заводов, для оевещения квартир и питания моторов огромного государства.

Ни англичанам, ни белым, собственно, не принадлежит ни одно судно (здесь они назывались «нефтеналивные шхуны»), буксир или баржа. Поэтому когда мы топим их (например, «Князя Пожарского»), то топим свои суда, как бы они ни назывались и под каким флагом ни ходили — андреевским или святого Георга. И, зная английские политические традиции, можно быть уверенным, что в Лондоне будут злорадствовать в любом случае, когда пойдут ко дну наши или вражеские корабли.

Черт возьми! Как-то это раньше не приходило в голову. Ведь в таком парадоксальном положении не находился ни один флот в мире. Из-за замкнутости театра и зависимости всей страны от подвоза каспийской нефти даже нет аналогии с положением в Соединенных Штатах во время войны Севера с Югом.

Дальше пошла разногласия. Кое-кто из капитанов был склонен «проявлять осторожность» и не топить белые корабли без крайней необходимости. Что касается Калачева и меня, то мы стояли на крайней точке зрения: топить возможно больше и возможно скорее и тем самым постараться спасти остальные суда.

Как-то военное сознание не мирилось с возможностью воевать так, чтобы не повредить противника. А с другой стороны? Что, если часть утопим, а остальные будут взорваны в Энзели ударающими в глубь Персии белыми? Что даст такой финал государству, если останутся на воде только победоносные, но ставшие абсолютно бесполезными миноносцы?

Разошлись без единого мнения, с сомнением и колебаниями в сознании и в душе.

Поздно ночью, мучаясь на койке, вспоминая слова Ленина, наконец нашел решение, которое мне казалось единственно правильным.

1. При всякой встрече — беспощадный бой. Чем скорее, тем лучше. Топить на ходу, не задумываясь. Искать таких встреч с расчетом поколебать дух остальных врагов.

2. Одновременно стратегически стремиться всеми средствами заставить капитулировать врага: частными победами, отнимая базы, темпом операций, не давая передышки, все время ведя агитацию, доказывая бесполезность сопротивления.

На душе стало легче. Хотел вскочить и бежать в штаб. Но, взглянув на часы на переборке, смутился. Боязнь быть осмеянным (не дело командира эсминца лезть с советами к старшим, определяя линию поведения во время кампании) уложила опять на койку. К тому же вспомнил, что сегодня в клубе был А. А. Сеницын, — значит, комфлот знает, о чем шла



речь: флаг-капитан обязан докладывать начальству, чем дышат командиры кораблей.

Пока у миноносцев суточная готовность.

Но канлодки и транспорта периодически выходят в море — к Дербенту и южнее. Это перевозки и их прикрытие.

В приморской полосе огня как будто нигде нет.

Наступила оперативная пауза.

Фронт фиксируется на границе Азербайджана, по реке Самур. Но сосредоточение и какая-то перегруппировка частей XI армии продолжаются.

Бои идут кое-где в горах. Собственно, не бои, а ликвидация контрреволюционных банд, пытающихся уйти на территорию соседа или в Грузию.

Кожановские отряды, оказывается, после успешных действий и занятия экспедиционным корпусом Кизляра оттянуты в Астрахань, приведены в порядок и теперь сосредоточиваются в Петровске, не сходя с транспортных. Один конвой «Деятельный» обогнал в море, когда шел в Кизлярский залив. Но головной отряд с самим И. Кожановым уже в Петровске, готовый в любой момент к высадке на побережье мусаватистов.

Где-то мой балтийский дружок Князев? Не ранен ли? Может, в последних эшелонах? Непременно зашел бы на миноносец. Интересно послушать одиссею их марша через степи.

Век живи — век учись.

Сегодня, проснувшись от резкого нефтяного запаха, выглянул в иллюминатор и ахнул. Стоим в сплошном мазутном море. Резко обозначена граница глянцевого, еле колышущегося маслянисто-черного покрова, занимающего четверть гавани в районе стоянки миноносцев, от остальной акватории, на которой весело играет мелкая волнушка почти прозрачной морской воды.

Что за чудеса? Лопнул где-нибудь бак? Как это в пожарном отношении, помимо того, что измажет все корабли и шлюпки? Никогда не приходилось стоять в сплошной нефти.

Хотя еще до ухода в Астрахань сдал охрану водного района, но совесть подсказала, что этим делом надо заняться мне.

Вызвал портового инженера, главного боцмана (который исполняет обязанности удравшего «капитана над портом») и брандмейстера. Они снисходительно улыбаются моей серости.

Оказывается, эта нефть была в гавани, по углам и под причалами, а с переменой ветра перешла к стоянке кораблей. Уплотнилась. Дело для них привычное.

Можно ли поджечь? Можно. При помощи пакли, смоченной в бензине. Но — если слой нефти достаточно толстый (от 5 до 10 мм) и если не пожалеть пакли и бензина. Количество последних зависит от температуры воды и воздуха, а также от состава нефтяных остатков.

Как бороться? Можно ждать перемены ветра, пока опять не унесет в другие углы. При благоприятном направлении ветра можно струей воды из брандспойтов и винтами буксиров выгнать через ворота гавани в море. Но только по ветру.

— Вроде как дворники мусор метут, — пояснил боцман.

Кроме того, можно, связав «запань» из плавучестей (столбов, боннов, запаянных труб), согнать нефть в подветренный угол и «запереть» ее в определенном контуре.

Изучив «розу ветров» на синьке плана порта, по совету опытных старожил, оставил мазут в покое.

К вечеру он без нашей помощи куда-то мигрировал, как только переменится ветер.

Собирал комфлот.

Нам было разъяснено, что дивизион опять остается ударным отрядом и в то время, как канлодки будут поддерживать огнем фланг армии и высадку (или высадки) десанта. Миноносцы, маневрируя мористее, прикроют поддержку и десант. Наша задача — не пропустить противника к берегу на участке река Самур — Сумгаит.

Почему-то у капитанов настроение к «крейсерству», «поиску», к бою на море. Мерещится что-то вроде Ютландского боя на Каспии.

Наше счастье, что комфлот после своего злосчастного похода к Ревелю 26—27 декабря 1918 года<sup>1</sup> кое-чему научился, и хотя внешне такой же экспансивный и воинственный, но ведет себя благоразумно.

И без того первые операции без угля (Петровск, Александровск) были более рискованными, чем можно было бы допустить с полноценным и активным противником.

Сейчас мы всей флотилией «привязаны» к флангу XI армии и оперативно зависим только от нее. И это абсолютно правильно при создавшейся обстановке. Однако, кроме как с Владимиром Петровичем Калачевым, который на «Расторопном» в походном порядке наступает мне на пятки, на эту тему ни с кем не говорю. Злятся. Не понимают.

Подозреваю, что не только печальный опыт сдерживает комфлота. Он днюет и ночует в Реввоенсовете XI армии. Там есть у кого учиться благоразумию в сочетании с революционной твердостью и целеустремленностью.

Ведь все вожди нашей XI армии — не только политические вожаки, но и боевые подпольщики и единоличные командиры отрядов и целых повстанческих армий, не раз лично бывавшие в боях. Кстати, Орджоникидзе, Киров и Микоян — все были в весьма рискованных переделках и на море, неоднократно прорывали английскую блокаду на рыбнищах. А С. М. Киров в 1919 году фактически командовал отрядом кораблей под фортом Александровским.

Отеческое внушение таких людей комфлоту необходимо. Личной храбрости и пыла у него с избытком, так же как и честолюбия, а вот выдержки и опыта явно не хватает.

.....

<sup>1</sup> В этой операции РКФ потерял два эсминца — «Спартак» и «Автроила», а сам он попал в плен к англичанам.

*(Продолжение следует)*



---

---

ГЕЙНЦ КЮППЕР

★

## МОЛОКО И МЕД

Роман

*Гейнц Кюппер (род. в 1930 году) — современный западногерманский писатель. Уже первый роман «Симплициссимус, 1945», вышедший в свет в 1962 году, принес Г. Кюпперу известность как талантливому и прогрессивному писателю. «Симплициссимус, 1945» посвящен расчетам с прошлым Германии — с немецким фашизмом.*

*Второй роман писателя, «Молоко и мед», вышел в свет в 1965 году. Оба романа Г. Кюппера изданы в ГДР. В русском переводе произведение Г. Кюппера публикуется впервые.*

РАССКАЗЧИК. Скажите это громко, фрейлейн Луков!

ИРЕНА ЛУКОВ. И в свой предсмертный час... найти слова, обратиться к словам, обратиться в этот час к словам, а не к сердечным каплям, не к снотворному, не к алкоголю, не ко всем этим бесконечным снадобьям, против которых бунтует моя душа.

РАССКАЗЧИК. Ну так копите их, собирайте их — слова! Неделя кончается, и эта магистраль у вас под окнами ревет, мчась из города.

ИРЕНА ЛУКОВ. Сладость и ликование! О, голова в ранах от терний. Сладость и ликование! Но есть слова еще лучше, те, что сразу не поймешь, те, что сразу не разгадаешь. Те, что возникают сами по себе. Придите ко мне опять, друзья мои слова. Придите ко мне сейчас, когда город с ревом покидает город. И текут слезы радости. И новое, то новое, что я поняла только здесь, завладевает мною: сознание конца.

РАССКАЗЧИК. А Вольфгартен?

ИРЕНА ЛУКОВ. Вольфгартен? И он тоже покидает сейчас город, втиснутый в свою ревушую машину, приклеенный к этому асфальту. Нет ни сладости, ни ликования. Страна, восставшая из развалин... Фриц Вольфгартен... Его не поймешь... Край темных лесов. Надо привести в порядок мысли. Надо уйти от этого асфальта, от этой магистрали номер девять, из этой шумной комнаты. И надо записать свои мысли...

РАССКАЗЧИК. Альбомчик для стихов? Но вы уже вышли из этого возраста, фрейлейн Луков. Это было раньше, это уже было там. Дневник? Но о чем писать? Какой дневник, когда дней уже нет, только кривая шума — вверх, вниз, фары то включаются, то выключаются, федеральная магистраль номер девять включается, магистраль номер девять выключается, сердце то прыгает вверх, то падает вниз, Моцарт — вверх, Моцарт — вниз. Нет, магистраль номер девять никогда не выключается. При каждом биении сердца она бьет вас по лицу.

ИРЕНА ЛУКОВ. Какой из меня боксер? Разве можно выталкивать женщину на ринг? Не хочу здесь жить, хочу найти комнату поспокойней, квартиру, человеческую квартиру взамен этого нагромождения стандартных коробок, в одной из которых я сплю, погребенная под уличным шумом.

РАССКАЗЧИК. На такую квартиру уйдет по меньшей мере треть вашего жалованья, фрейлейн Луков.

ИРЕНА ЛУКОВ. Все мне здесь опостытело: умывальник, который наблюдает за мной по ночам, и эти мелочи, которые потешаются надо мной, — губная помада, лак для ногтей, лак для волос, зубная паста с ласкающим слух названием — все они богаче, спортивнее, элегантнее, чем я, и все они мозолят мне глаза, высокомерные и немые.

Я мечтаю о человеческой квартире, где можно выращивать цветы. Каждое кресло здесь хочет меня сбросить, проигрыватель бастует, даже мои родители на свадебной фотографии усмеваются язвительно, надменно и неприступно; они не говорят мне ни слова. Кто знает, как они день за днем объясняются с лаком для волос и с зубной пастой, с этой громадиной-коробкой и со знаменитыми исполнителями Моцарта, с отретушированными портретами певцов, на которых те, открыв рот, с усмешкой взирают на потолочный плафон.

До тех пор, пока у меня не будет человеческой квартиры, я не стану покупать себе комбайн с хорошим проигрывателем. Я вырву из лап этой громадины-коробки свои пожитки, вырву из лап зеркала свое отображение — заспанное утреннее лицо, перееду отсюда, заберу с собой портреты родителей, засуну их за цветочные горшки и еще заберу свою складную кровать, заберу ее в человеческую квартиру.

РАССКАЗЧИК. Возьмите у фирмы небольшую посуду, фрейлейн Луков! Вам ее дадут.

ИРЕНА ЛУКОВ. Хорошо бы, лежа на этой складной кровати, переплыть в человеческую квартиру — не знаю только, где моя квартира, зато знаю, что она будет тихой, тихой, тихой, главное — тихой. Не на магистрали девять. И обставляясь, я не буду жалеть денег.

РАССКАЗЧИК. Фриц Вольфгартен устроит вам небольшую посуду. А вы его пригласите потом?

ИРЕНА ЛУКОВ. Я скажу: приходите ко мне на новую квартиру, когда захочется, всякий раз, когда вам захочется. И машину, на которой он приедет, я отличу от всех других машин. Она не станет бить меня в переносицу. И там, в моей человеческой квартире, я найду гораздо больше слов, настоящих слов, я найду их в предсмертный час, в час конца...

РАССКАЗЧИК. Субботний вечер Ирены Луков, двадцати восьми лет, бухгалтерши в фирме Фабербейн. На родине она числится перебежчицей, здесь чувствует себя, как на перевалочном пункте, ищет спокойную квартиру для постоянного жилья. Комната у нее в послевоенном доме, на магистрали номер девять, очень шумная; даже под вечер в субботу здесь проезжает по десять машин ежеминутно. И каждая из них оповещает о себе лежащую в полудреме Ирену Луков, у которой от горячей ванны открыты все поры. Каждая машина бросает в комнату пригоршню шума, серую пыль без запаха, без вкуса, растворимую и в воде, и в воздухе, и в пожитках фрейлейн Луков. Нет ни сладости, ни ликования! Серая масса, серая шкала, и стрелка на ней колеблется час за часом у самого носа фрейлейн Луков. Месиво из листового железа, стали, резины, масла, воздушного охлаждения, водяного охлаждения, неотложных дел, социального престижа, социальных благ, сексуального престижа, *levée en masse*, месиво из общей воли, общего духа, общих мест, из мелко нарубленных частичек времени, которые крутятся в машинном масле, газетных сообщений, невысказанной тоски — назад к природе! — и субботнего вечера. Месиво, приготовленное на адской кухне, тесто, которое раскатывал голодный булочник, которое пеклось в потухшей печи, ком, размолотый в порошок голодным мельником; порошок, посеянный в кровь и в плоть, в воздух и в воду, в волосы и в лак для волос, во все зеркала, во все открытые поры. Кто захочет собрать жатву на ниве, засеянной этим порошком, этим прахом?

С наступлением сумерек лава в руслах улиц начинает пылать, глаза слепит, фары, лишённые ресниц, кажутся глазами навывкате, и черные старухи в толпе

жмутся, как мокрые курицы. С наступлением сумерек волоски на белых ногах фрейлейн Луков, вытянутых на стеганом одеяле, встают дыбом. Субботний вечер. Прохлада. Черно-красное стеганое одеяло. Фрейлейн Луков плотнее запахивается в свой купальный халат, желтый, шершавый, мохнатый, в халат, который хранит тепло, как дерн на лугу. Она все еще не хочет одеваться, ей хочется плыть в человеческую спокойную квартиру, но она не плывет, она стоит в своем золотистом халате на магистрали номер девять и держит в руках табличку, желтую табличку наподобие дорожных знаков. На табличке готическим шрифтом написано: «Я люблю Фрица Вольфгартена». Фрейлейн Луков стоит у ледяного, мрачного позорного столба; каждая машина, проезжая мимо, включает дальний свет, словно бьет фрейлейн Луков кулаком в переносицу; десять раз в минуту та чувствует острую боль. Нет, боли она не чувствует. В свой предсмертный час... Кровь приливает к сердцу — ближний свет, кровь отливает от сердца — дальний свет. Вам надо закурить, фрейлейн Луков, встать с постели, включить газовое отопление, задернуть шторы, одеться, зажечь наконец свет. Грудь у вас покрылась гусиной кожей, да, полногрудой вас никак не назовешь. Переносица невредима. В зеркале видно, что вы покраснели, бросив взгляд на свои флаконы и тюбики.

ИРЕНА ЛУКОВ. Глаза у меня отцовские.

РАССКАЗЧИК. Вы красивая женщина, фрейлейн Луков, в сущности, вы красивая женщина. Это как-то сказал Вольфгартен.

ИРЕНА ЛУКОВ. Чудодейственная фраза, эта фраза усмиряет уличный шум, на несколько секунд она окрасила мою служебную комнату во все цвета радуги, ее не возьмешь обратно, не важно, что он тогда стал пунцовым. Нет, это важно. Господин Вольфгартен не вправе играть мной. Мной никто не играет. Никто не хочет мной играть.

РАССКАЗЧИК. Почему вы так серьезны, фрейлейн Луков, словно все еще живете на Востоке? И эта фраза была произнесена: «Фрейлейн Луков, вы какая-то замороженная. Вы ведь не дурнушка, не старая дева, фрейлейн Луков». Все это тоже сказал Вольфгартен.

ИРЕНА ЛУКОВ. Сегодня вечером я не пойду в кино, пойду на концерт.

РАССКАЗЧИК. И фрейлейн Луков снова переодевается, на сей раз ее одежда на полтона темнее, на полтона изысканнее; тщательно и умело накладывает она косметику и становится такой же роскошной, как сами эти предметы роскоши. Да, не забудьте все же пальто! Времени в обрез, и фрейлейн Луков вызывает такси, которое везет ее на камерный концерт. К концу вечера она чувствует себя голодной, опустошенной и оглушенной сладостью и ликованием моцартовской музыки.

В раздевалке фрейлейн Луков проходит сквозь цепь дам, которые стоят и смотрят, как мужчины сражаются за их пальто; правда, сражение идет вполсилы, и воинственная пляска кавалеров довольно вялая, но к вешалке все равно не пробьешься; фрейлейн Луков отступает к кордону дам, ждет, пока возня не стихнет и победители-мужчины, навьюченные пальто, не помогут своим дамам одеться; только тогда фрейлейн Луков подходит к гардеробу, берет свое пальто из красных старушечьих лапок и надевает его с энергией отверженной.

РАССКАЗЧИК. К вечерним сумеркам подмешан цемент, тот самый, который превращает мир в камень. Деревья утяжелились раз в десять. Воробы закончили свой рабочий день, замерли и, подобно обесточенным лампочкам, повисли справа и слева над улицами. Зато под током теперь шпалеры стеклянных плодov — весь этот окаменевший фейерверк рекламы, навязывающий прохожему всяческие блага: крепкие напитки, пиво разных марок, костюмы, машины, бикини, товары люкс, средства для ухода за кожей, средства для ухода за волосами, шлюх. Молоко и мед в точно отмеренных дозах источают окна домов, пятнистые от световой рекламы, домов, где протекает частная жизнь людей; окна отливают желтым, белым, фиолетовым. Город с его голыми зарослями антенн над крышами закрыт полусферой, наполненной блеклым светом. Идет телевизионная передача.

ВОЛЬФГАРТЕН. Не хочу смотреть телевизор, не хочу даже знать, что сегодня показывают. Субботний вечер, стало быть, передача для школьников. Буду ездить по городу до тех пор, пока что-нибудь не придумаю. За рулем хорошо думается, если машина идет медленно.

РАССКАЗЧИК. Во второй раз проезжает Вольфгартен под испорченными люминесцентными лампами на Бисмаркштрассе; разладившиеся лампы зажигаются и гаснут, словно сердце, работающее с перебоями.

ВОЛЬФГАРТЕН. Итак, не стану смотреть телевизор, какая бы передача ни шла. А какая передача идет? Может быть, камерный концерт?

РАССКАЗЧИК. Вольфгартен проезжает по центру: одна за другой размазываются улицы, пестрые, молочно-белые, окаменевшие; светофоры, загораясь, передают скудные вести, но пешеходы им не внимлют, даже в ту секунду, когда на них падает свет, они остаются немыми, серыми, от них — никаких вестей.

Вольфгартен снова останавливается перед светофором на перекрестке магистралей девять и Бисмаркштрассе, несколько людей переходят через улицу — лица бледные, как снятое молоко, приятно смотреть на них с мягкого сиденья машины при тихо работающем моторе, сладко смотреть через стекло на этих бесколесных, безоружных вечерних прохожих. Правая нога чуть касается акселератора. Задавить! Уничтожить! Нет, жаль эту парочку, жаль молодых людей, взявшихся под руку, прилепившихся друг к другу. При свете фар виден девичий профиль.

ВОЛЬФГАРТЕН. Слишком молода для меня, я для нее слишком стар; две секунды удерживает ее сетчатка моего глаза, но вот уже я забыл ее лицо. Какие у нее ноги? Такая малышка? Ничего не знаю. Уничтожь ее! Пусть останется лицо парня, пусть и оно исчезнет, пусть сплющится; две секунды — чересчур малый срок. Ничего не успеваешь заметить. Быть может, вокруг глаз у них залегло страдание, быть может, лица отмечены пороком; мне это безразлично.

РАССКАЗЧИК. Девичий профиль пробил камень. Ликование! В пестрых домах, на которых шпалерами висит приманка — остекленевшие плоды, — в домах, из которых сочатся молоко и мед, — тысячи людей живут своей жизнью...

Днем Вольфгартен помыл машину, но уже сейчас за двадцать минут езды на переднем стекле опять появилась тонкая липкая пленка, кашица из насекомых, пыли, влаги, чуть заметный налет, невесомый, как нейлон. Вольфгартен нажимает на резиновую кнопку: две струйки воды с шумом стекают по стеклу, приходят в движение «дворники», и под грязной плотной ваймой образуются два чистых полукруга... Итак, Вольфгартен, вы выбрали камерный концерт?

ВОЛЬФГАРТЕН. О, боже, зачем? Там сидят принаряженные люди и краешком глаза наблюдают, кто же из соседей слушает музыку. Я по крайней мере всегда так поступаю.

РАССКАЗЧИК. Ну что ж! На концерте можно наблюдать за другими. Можно благонаравно и тихо двигаться, отдать свое пальто на вешалку, снова взять его, вынуть деньги из бумажника, сидеть рядом со своими притихшими согражданами, просматривать программу с чудесными итальянскими названиями. Стало быть, вы идете на камерный концерт? Для вас, Вольфгартен, было бы неплохо, если бы кое-кто в зале увидел вас.

ВОЛЬФГАРТЕН. А не лучше ли пойти в кино? Или посмотреть телевизор? Или выпить кружку пива? Можно поехать за город. Перевоплотиться: в концерте сыграть пролетария, который хочет казаться буржуа, в деревенской пивнушке — буржуа, который хочет казаться мужиком; в кино, если повезет, отвлечься от собственного «я», забыть все, что в тебе сидит — и пролетария, и буржуа, и мужика.

РАССКАЗЧИК. Вольфгартен подъезжает к правому тротуару, из машины он не выходит, но выключает мотор, дает передышку ушам, отводит глаза от улицы, которую он двадцать минут подряд напряженно обшаривали, по которой они стремглав летели впереди автомобиля. Сейчас глаза отдыхают.

Увертюра этого вечера закончена. Вольфгартен оглядывается по сторонам.

Какая пьеса здесь идет? Его черепная коробка — пустая сцена, по которой мчатся машины, скользят тени, мелькают светящиеся надписи, а за кулисами шушукаются цифры, за кулисами притаились ежедневные заботы. Как-никак Вольфгартен один из руководителей фирмы Фабербейн. Но вот из-за кулис появляется Ирена Луков, вернее, ее улыбающаяся тень. Слишком поздно!

ВОЛЬФГАРТЕН. Куда она ушла полчаса назад? Куда? Почему я всегда вспоминаю о ней слишком поздно? И почему она всегда исчезает, как только ее вспомнишь?

РАССКАЗЧИК. В конце концов Вольфгартен едет в кино, хотя ни один из семи фильмов, которые идут в городе, его не привлекает. Он выбирает вестерн в «Аполлоне». К его досаде, сеанс давно начался.

ВОЛЬФГАРТЕН. В кино мне больше всего нравится ритуал начала: реклама, старая кинохроника; за стенами льет дождь, народ постепенно заполняет зал; дома нет телевизора, или они сыты по горло телевизором. Мне нравится, когда показывают много-много коротких фильмов, а потом голоса с экрана вопрошают: «Почему ты хочешь быть одиноким, я люблю...» Лампы гаснут медленно, умирают как-то по-дамски, все приглушено, словно в храме; вот прошелестела контролерша, стук откинутого сиденья... Можно удрать от собственного «я», истечь по каплям, стать невесомым...

РАССКАЗЧИК. Но вот начался полнометражный фильм, и Вольфгартен снова обрел свой вес. Пора домой, Вольфгартен! Пора встать, уйти, вырваться отсюда. Но время опять тянется, часовой механизм бомбы тикает, пыль вздымается столбом, положительные герои с темным загаром на лице мчатся вскачь за подлещами, цель погони предельно ясна, курки взведены, в салунах, где за оградями привязаны кони, где режутся в покер и стреляют, где все женщины — красотки, где у стойки обезглавливают бутылки, говорят только лишь кулаки, вкочлачивают свою мораль в зубы злодеям; добро побеждает, и все ликует победоносно и неряально. Но в заключительной перестрелке мишенью стал Вольфгартен, развалившийся в кресле между фронтами. Время продырявливает ему виски пулями пустоты; он с трудом подымается — рана в животе, — идет, слегка пошатываясь, изгнан из ада. А голоса снова вопрошают: «Почему ты хочешь был одиноким, я...»

Толпа у входа поредела; жалкие одиночки, жалкие парочки, последний сеанс. Последний сеанс? Хотите повторить?

Теперь пойдет один из тех малопрстойных фильмов, которые приберегают для последних сеансов. Но Вольфгартен, наконец-то закуривший, все еще топчет в ярко освещенном оскале кино.

ВОЛЬФГАРТЕН. Бог мой, какие прически у женщин на фотографиях!

РАССКАЗЧИК. Да, Вольфгартен, если бы вы не стеснялись кассирши, ее взгляда, вы бы купили себе билет и на этот сеанс... Итак, вы выходите из кино в прохладу улицы, справа и слева огни уже погашены, но сверху все еще льется свет от ламп и фонарей.

ВОЛЬФГАРТЕН. А не зайти ли мне съесть шашлык и выпить кружку — другую пива?

РАССКАЗЧИК. В забегаловке народу не густо. Посетители за стойкой играют в кости, кое-кто пытается счастье у игрового автомата. Эй, люди, знакомы ли вы с Вольфгартеном, директором по кадрам фирмы Фабербейн? Ну, конечно, знакомы. Вам на него начхать.

Вольфгартен, посмотрите в зеркало: между высокими рюмками и пакетиками с арахисом вы увидите Вольфгартена, директора по кадрам фирмы Фабербейн. Знакомы ли вы с ним?

ВОЛЬФГАРТЕН. Знаком немного. Но и мне на него начхать.

РАССКАЗЧИК. Теперь Вольфгартен мчится из центра по магистрали девять, переходящей в автостраду. Фонари — как хлысты, а вот и знак ограничения скорости; для него он как налетевший шквал. Бросив взгляд на приборы, Вольфгартен несется по недавно выстроенной части магистрали девять. Уже слишком поздно, фрейлейн Луков! Только одно ее окно неярко светится — источает мед. А по-

том за желтым знаком — границей города — магистраль девять вырывается на простор десятиметровой ширины. До Шильдгена три километра. Поднажмем, лети, мой снаряд, моя оболочка, моя сверхмощная машина, леги под хлыстами фонарей, никто не подхлестывает меня, на шоссе ни одной машины, вся эта освещенная просека только для меня; стрелка спидометра мечется у цифры, которая обозначена справа, по ту сторону добра и зла, по ту сторону машины, магистрали девять, по ту сторону самого Вольфгартена, по ту сторону всего. А вот и Шильдген, пора развернуться и снова погнать стрелку к цифре справа. Но на этот раз другие легковые машины — «фиат», «мерседес», «фольксваген» — отбрасывают стрелку спидометра влево: стоп-сигналы Вольфгартен чувствует нутром, но сам не сигналист. А потом снова желтый знак — городская граница — окно фрейлейн Луков погасло всего несколько минут назад. Она поняла — теперь уже слишком поздно.

...Квартира в домах Фаберейна. Вольфгартен все же включает телевизор: заgrimированные для серого экрана офицеры и священники дискутируют на тему «бог и бундесвер». Через двадцать секунд Вольфгартену ясно, чего они хотят, он выключает телевизор.

На сон грядущий берет том большого Брокгауза, буква «Г», статья о Гёте наподобие полицейского извещения о розыске преступника. Глаза снова в работе — они, как резвые лошадки, бегут по строчкам, рвутся вперед, но в этот вечер Вольфгартену не угнаться за Гёте.

**РАССКАЗЧИК.** Много лет назад, когда на небосклоне взошла ржавая звезда фирмы Фаберейн, заводские корпуса стояли прямо посреди лугов. В 1910 году в землю у ручья, в луга на краю города врзался кирпично-красный метеорит; покореженный падением и постепенно ржавевший, он включил в свою орбиту и ручей: из заводских зданий вода выходила, побуревшая от ржавчины. Огромное чрево завода разбухло от рук и цифр, от синих спецовок и мускулов, от грез наяву, брачных планов и призывных повесток; оно вобрало в себя железнодорожную ветку и все наращивало заводскую трубу; в этом чреве железнодорожные грузы превращались в станки, которые ревели между окрашенными масляной краской стенами и окнами с железными переплетами; в нем создавались товары, продукция и грязь под ногтями рабочего люда. Через каждые десять лет завод поражал крысиный бич, и фирма предпринимала специальную акцию: из заржавевшего заводского нутра, из его выводных труб сплошным месивом вываливались, ползли серые тела издыхающих тварей, смертная жажда гнала их к ржаво-красной воде; на берегу ручья крысиные трупы собирали в черно-красные кучи, а потом увозили на тачках в ров, где не жалея поливали бензином и сжигали. Только однажды, спустя тридцать с лишним лет, стареющее чудовище объяла страсть: его нутряной рев разнесся далеко по окрестностям; всего секунду длился акт совокупления чудовища с четырехмоторным бомбардировщиком, и вот уже дубленая кожа животного лопнула, из его чрева на луга вылетели искромсанные в куски станки, заводская труба рухнула, на теле чудовища расцвело четырнадцать пышных тропических цветов, чтобы мгновенно увянуть и рассыпаться в прах. Завод замер, опустошенный, истекший кровью. Наутро дождь смыл пыль; воронки от бомб на лугах сомкнулись с ручьем и наполнились скоро прозрачной водой; весной сорок пятаго в ней поселились лягушки, водяные блохи и тритоны. Но звезда Фаберейна быстро взошла опять; заводские корпуса помолодели, одевшись в светло-серый наряд; только красная труба осталась такой же, какой была тридцать пять лет назад. Завод снова наполнился кровью и машинным маслом, синими спецовками и занесенным в чертежи железом; наполнился руками и глазами, которые опять смотрели на окрашенные масляной краской стены, смотрели на расширенные окна с железными переплетами... А за окнами, там, где паслись коровы, проносились поезда, росли деревья, игрались свадьбы, там, где врачи ходили по визитам и виднелись деревни, там теперь уже не простиралась пустыня. За окнами была родина. Долгий срок понадобился светло-серому обновлен-



ному чудовищу для того, чтобы выносить плод, зачатый в сорок четвертом году. Слоники и те скорее вынашивают своих детенышей. Четырехмоторный бомбардировщик уже давно пустили на лом, а у чудовища только теперь начались родовые схватки: цеха выползали из него на траву, новые железнодорожные пути, новые густо-черные дороги прорастали сквозь его туловище; окрестный скот ушел, ограды из колючей проволоки на лугах срыли бульдозеры, низшая фауна в прудах и трясинах быстро поглощалась землей, с которой содрали ее зеленую шкуру; бурая загаженная земля дыбилась по краям. К ее пахотному слою прикладывали ватерпасы, чтобы вернее заковать землю в сплошную броню. И вот уже на лугах поднялись четырехэтажные бетонные корпуса — обиталища станков; свет проникал в них сквозь вправленные в железо окна и сквозь ребристые, замазанные синим стеклянные крыши, которые походили на застывшую гряду волн. А потом подоконники устали цветочными горшками и на бетон настлали паркет. Но потоки света напрасно омывали станки, в отличие от пышного травяного покрова станки не реагировали на свет: они никогда не увядали, они всегда цвели, они без передышки рычали и рокотали; до самого города доходил их рев, мощный и в то же время монотонный, похожий на рев водопада. И город не выдержал, он полез навстречу чудовищу, полез со всеми своими улицами и генеральными планами застройки, дачными поселками, фонарями и дорожными знаками. Он тянулся к заводу, привлеченный тем молоком и медом, которые день за днем источали его корпуса; тянулся до тех пор, пока не подошел вплотную к мощному, обуянному жаждой воспроизводства чудовищу. Теперь весь этот район раз и навсегда окрестили «Большие луга». Границей между гангренозным царством цивилизации, между день и ночь вибрирующими заводами Фабербейна и вольными полями вначале служила проволочная ограда, а потом на границе посадили тополя; деревья быстро потянулись вверх, а рядом с ними зеленела земля, уже купленная фирмой Фабербейн, но временно предоставленная общине. Ручей и вовсе засыпали.

**РАССКАЗЧИК.** Ну, а вы, господин Фабербейн, основатель и глава фирмы, говорят, вы приближаетесь к восьмому десятку?

**ФАБЕРБЕЙН-СТАРШИЙ.** Не я приближаюсь к восьмому десятку, восьмой десяток насадет на меня. Вот в чем разница.

**РАССКАЗЧИК.** Тем не менее вы еще умеете ценить и жизнь и завод — дело вашей жизни. Сейчас вы бесцельно проходите по заводу. Подобно собственной тени, вы бродите по цехам и отделам, работу которых уже не знаете так досконально. Вы листаете папки документов и блокноты мастеров, словно ребенок, который еще не пошел в школу, но уже заглядывает в буквари старших братьев. Когда-то вы позволили себе чудачество, которое потом стало предметом вашей гордости: всю жизнь вы входили в грязные цеха завода одетый, как денди. Теперь вы одряхлели и покроей вашего светло-серого летнего костюма кажется слишком модным. Разве вы не знаете, что пятна цвета ржавчины у вас на лице и руках буйно разрастаются? Ваш позвоночник гнется, и голубизна ваших глаз поблекла.

**ФАБЕРБЕЙН-СТАРШИЙ.** Люди теперь пишут вкривь и вкось, а когда я основал этот завод, над конторкой каждого мастера висела на цепочке линейка и все они писали по линейке. Но мои мастера умерли.

**РАССКАЗЧИК.** Еще раньше, в детстве, вы голыми руками ловили в ручье форель.

**ФАБЕРБЕЙН-СТАРШИЙ.** Это были мои рыбы, даже те, которых я не поймал. Ручей принадлежал нам. Теперь его нет. И моих мастеров тоже нет, а сыновья мои погибли.

**РАССКАЗЧИК.** Самый младший еще успел зачать ребенка, своего сына и вашего внука. Теперь он как продолжатель рода стал молодым хозяином фирмы, хотя она и потеряла характер чисто семейного предприятия. Кроме того, у вас есть зять Поролон.

**ФАБЕРБЕЙН-СТАРШИЙ.** Мой зять — болтун и ничтожество.

**РАССКАЗЧИК.** Господин Фабербейн, нам хотелось бы знать ваше мнение об одном незначительном случае. Дело касается служащей, которая работает в одном из многочисленных отделов фирмы. Навряд ли вы ее вообще знаете, тем более что административный аппарат кажется вам непомерно раздутым. И вы с давних пор не желаете загромождать свою память — запоминать лица и фамилии людей, принадлежащих к этому непродуктивному сектору предприятий.

**ФАБЕРБЕЙН-СТАРШИЙ.** Да, конечно, это ведь владения Поролона. Рахитичная голова... не служебные помещения, а сплошное стекло. Там он у себя дома — может нести околесицу и бахвалиться. Но Вольфгартену я велел следить за тем, чтобы управленческий аппарат не задавил нас.

**РАССКАЗЧИК.** Случай этот носит, собственно, принципиальный характер, хотя касается одной только служащей. Зовут ее Ирена Луков. На заводе она работает всего год, характер замкнутый, держится особняком. Именно поэтому ваш внук избрал ее сегодня утром объектом своих экспериментов — решил испробовать на ней, насколько высок его авторитет в фирме. Для девушки это было довольно-таки неприятно. Кстати, она хороший работник. Конечно, вы об этом не обязаны знать. Но согласны ли вы вообще с методами вашего внука? Как-никак он еще молод, ему всего двадцать три.

**ФАБЕРБЕЙН-СТАРШИЙ.** У мальчика есть нюх. Шестьдесят лет я руководил людьми — рабочими и работницами. И хорошо изучил этот сброд. Главное — это сила, такова атмосфера завода. К сожалению, факт моего присутствия в фирме недооценивается. А между тем нет ничего более действенного, чем привидение.

**РАССКАЗЧИК.** Значит, вам известно, господин Фабербейн, как люди относятся к вашим бесцельным прогулкам по заводу? Вы вызываете у них сострадание, ужас и отвращение.

**ФАБЕРБЕЙН-СТАРШИЙ.** Слово «сострадание» я не принимаю.

**РАССКАЗЧИК.** Но в сорок пятом вы ведь лили слезы на развалинах завода.

**ФАБЕРБЕЙН-СТАРШИЙ.** Несмотря на старость, я все замечаю. Народ в термическом цехе придется опять разогнать. Дружба, которая там завязывается, может стать опасной и для нас, и для самих рабочих. Я это неоднократно повторял Вольфгартену. Какое мне дело до этой фрейлейн Луков! Распояжусь, чтобы рабочих того цеха разбросали по всему заводу. Эти руки в пятнах ловили форель в прозрачной воде, они еще в силах натянуть вожжи. Надеюсь, я сумею продержаться до тех пор, пока мой внук научится управлять людьми без помощи привидения.

**РАССКАЗЧИК.** А смерть?

**ФАБЕРБЕЙН-СТАРШИЙ.** Она унесла всех: и мой ручей, и мою жену, и моих сыновей, и моих мастеров.

**РАССКАЗЧИК.** Семь рабочих, с которыми вы строили завод, еще живы.

**ФАБЕРБЕЙН-СТАРШИЙ.** В этом городе моя машина была первой.

**РАССКАЗЧИК.** А смерть? Вы помните о ней?

**ФАБЕРБЕЙН-СТАРШИЙ.** На линейках, которые прикреплялись цепочкой у конторок мастеров, было вырезано готическим шрифтом «Фабербейн»...

**ПОРОЛОН.** Имя Фабербейн пользуется сейчас широкой известностью во всем мире. И в далекой Бразилии и в Китае. Наш завод восстал, словно Феникс из пепла, он воистину символ созидательного духа немецкого капитала.

**РАССКАЗЧИК.** Никто давно уже не помнит, как ваше настоящее имя, Поролон. Рабочие, служащие, компаньоны — все называют вас только Поролон.

**ПОРОЛОН.** Позвольте заметить, что благодаря свойственному мне оптимизму я наделен даром находить хорошее в каждом явлении. Это касается и моего прозвища. Во-первых, надо отметить, что прозвище как таковое дается только людям, которые обладают ярко выраженной индивидуальностью, характером, людям определенного масштаба и уровня. А теперь по существу: внешней предпосылкой для моего нового имени послужило то, что я человек полный, рыхлый. Но к это-

му надо добавить, что в слове «поролон» нашли свое выражение и мои душевные качества — стремление ко всеобщему благу, гуманизм. Поролон впитывает воду — ваш покорный слуга непрерывно впитывает новые идеи, новые впечатления и отдает их миру обогащенными. Я не отрицаю необходимости твердой руки в каждом деле, но не менее важен принцип общности, и, чтобы провести его в жизнь, люди должны походить не на камни, а на поролон.

РАССКАЗЧИК. Почему вас так презирает тесть?

ПОРОЛОН. Трудно сказать, почему мой тесть питает ко мне презрение. Для меня это очень огорчительно. Думаю, что он невольно соотносит меня, живого заблуждающегося человека, с образом своих, увы, погибших сыновей.

РАССКАЗЧИК. Увы? Но ведь то обстоятельство, что сыновья Фабербейна погибли, дало вам возможность занять директорское кресло.

ПОРОЛОН. Да, я решительно занял пустующее кресло, своим усердием добился неоспоримых успехов во всех сферах, и не только в производственной; нашей фирме, в которой рука об руку трудятся тысяча восемьсот человек, я привил новый, гуманный стиль.

РАССКАЗЧИК. Что, собственно говоря, производят заводы Фабербейна?

ПОРОЛОН. Мы производим для всего мира, и для НАТО, и для молодых народов. Когда мой глубокоуважаемый тесть создал завод, полем его деятельности был только этот край; прошло всего несколько лет — и он завоевал всю Германию, ныне мы далеко перешагнули рубежи отечества; сфера нашей деятельности — европейские страны, страны Атлантического блока. Но мы не пренебрегаем и Востоком и развивающимися государствами, повсюду мы двинулись в поход против голода и нищеты.

РАССКАЗЧИК. Что же вы производите? Расскажите подробнее.

ПОРОЛОН. Наша продукция чрезвычайно многообразна, она базируется как на природном сырье, так и на достижениях человеческого разума. Мы совершенствуем, и мы открываем заново. Здоровая экспансия фирмы носит характер не только экономико-географический, но и технический; мы расширяемся вовне и, так сказать, вглубь. И за всем этим в конечном счете стоит человеческая личность.

РАССКАЗЧИК. Что же вы производите? Оружие? Товары широкого потребления? Оборудование для тяжелой промышленности?

ПОРОЛОН. Стоит ли уточнять? И разве здесь можно провести четкие грани? Имея твердый производственный фундамент, твердую линию, мы время от времени смещаем центр тяжести. Для нас превыше всего идеал мобильности, свойственный свободному предпринимательству.

РАССКАЗЧИК. Поролон, вы наверняка заметили, как вел себя сегодня утром молодой хозяин по отношению к фрейлейн Луков?

ПОРОЛОН. Ну конечно. Он прогнал ее с каким-то бессмысленным поручением по всему корпусу «Р».

РАССКАЗЧИК. Согласно вашей теории, Поролон, за всем в конечном счете стоит человеческая личность. Ну так как же?

ПОРОЛОН. Ничего не поделаешь. Лес рубят, щепки летят. Правда, фрейлейн Луков — натура несколько впечатлительная, она неохотно покидает офис, неохотно ходит в цеха, но от этого еще не умирают. И вообще нашим служащим отнюдь не мешает соприкоснуться с действительностью, с производством и с рабочими.

РАССКАЗЧИК. Но ведь и вы сами неохотно ходите в цеха. Каково ваше мнение о термическом цехе? Согласны ли вы, что народ там надо разогнать?

ПОРОЛОН. Это намерение моего тестя и Вольфгартена. Мне трудно противиться их аргументам. Тут я пас. К сожалению.

РАССКАЗЧИК. А теперь последнее. Вы хотите встретиться на днях с Вольфгартеном во внеслужебной обстановке, хотите обсудить его предложение...

ПОРОЛОН. Да, конечно. Я сам рвусь заняться одаренной молодежью, обучать ее. И не только специальным предметам. Хочу дать им общее образование,

открыть этим ребятам дорогу к инженерным курсам или к техническому институту.

**РАССКАЗЧИК.** Во время встречи в ресторане вы выдлите эту идею за свою собственную и, поскольку Вольфгартен не станет возражать, быстро уверуете, что идея и впрямь ваша. Как вы считаете, ваш тесть и племянник будут очень против?

**ПОРОЛОН.** Кто знает. Мои родственники относятся ко мне как к своему подчиненному. Сплошные капризы и загадки. Я хотел бы...

**РАССКАЗЧИК.** Говорите, чего вы хотели бы?

**ПОРОЛОН.** Пусть старик поскорей умрет...

**РАССКАЗЧИК.** Господин Фаберейн-младший, ваш дядя, равно как и многие другие сотрудники фирмы, хочет, чтобы Фаберейн-старший поскорее покончил все счета с заводом.

**ФАБЕРЕЙН-МЛАДШИЙ.** Ну да.

**РАССКАЗЧИК.** Фрейлейн Луков встала, прижав к бедру блокнот и шариковую ручку — не черную, а красную; вот она вышла из-за стола и замерла на какую-то долю секунды. Это — кульминационный пункт. Пойдет ли она в цеха? Возразит ли? Восстанет ли против закона силы тяжести, преодолеет ли этот закон и сразу же вернется в исходное положение, опустится на стул у своего столика? На фрейлейн Луков устремлены все взоры.

Началось это с незаметного взгляда молодого Фаберейна. Сперва он блуждал где-то вокруг перламутровых пуговиц на зеленой блузке фрейлейн Луков, потом перекинулся на ее обнаженную руку и остановился на маленьких золотых часиках. И тут шеф произнес свой приказ. Произнес его шепотом. Почему шепотом? А когда приказ был дан, все, кто имел глаза в этой стеклянной комнате, подняли их, оторвав свой взгляд либо от пишущих машинок, либо от настенных часов, либо от бледного, золотушного солнца, либо от неясно видневшегося за окном заводского корпуса, либо от цифр и названий, либо от наманикюренных ногтей, либо от засаженных антеннами, заселенных птицами, заслоненных кое-где верхушками деревьев городских кровель, либо от тополей и синих ребристых стеклянных крыш завода Фаберейна, либо от облаков, либо от железнодорожного состава, который проползал где-то далеко, красный, игрушечный и бесшумный. Приказ молодого шефа свел все взгляды в один фокус, направил их на фрейлейн Луков, которая встала, вышла из-за стола и остановилась, доступная обозрению с ног до головы. Это — кульминационный пункт. Фрейлейн Луков стоит ни жива ни мертва, ее лицо ничего не выражает, и взоры, которые скользят по ее босоножкам, чулкам, белой юбке, зеленой блузке, нежной шее, короткой стрижке, автоматически заставляют ее принять такую позу, при которой современная молодая женщина, выставленная напоказ, становится изделием, имеющим рыночную стоимость. Так же автоматически фрейлейн Луков идет к стеклянной двери, по-прежнему преследуемая взглядами всех присутствующих, идет, как бы не замечая этих взглядов, с наигранным равнодушием, занятая только одной мыслью: выгодно продемонстрировать свою походку, оголенные руки, тщательно подобранную цветовую гамму наряда, точеный профиль, изо всех сил заботясь, чтобы лицо и шея не покрылись красными пятнами, чтобы глаза не увлажнились, чтобы на аккуратно накрашенных губах не появилась глупая улыбка. Таким манером шагает фрейлейн Луков, выставив вперед упрямый лоб с челкой. Пока ее правая рука открывает и закрывает стеклянную дверь, она сжимает в левой шариковую ручку и блокнот. Кульминационный пункт позади. И фрейлейн Луков, все убыстряя шаг, приближается к проходу, который ведет к цехам в корпусе «Р». Молодой Фаберейн вздыхает с облегчением. Фрейлейн Луков послушалась, его приказы выполняются.

Есть много возможностей облегчить себе эти три четверти часа, фрейлейн Луков. Идите в туалет и примите какую-нибудь таблетку — взбадривающую или успокаивающую, можно принять и ту и другую, надо только вернуться за сумоч-

кой, где лежат лекарства. А не то призовите на помощь слова, прекрасные, непроницаемые слова, которые накроют вас как шапка-невидимка... И в час... О, голова в ранах от терний... Или сосредоточьте все свои мысли на Фрице Вольфгартене, который в эту минуту, ни о чем не подозревая, совещается с Поролоном этажом выше. Быть может, ваша сконцентрированная воля передастся ему и он почувствует что-то неладное.

Но фрейлейн Луков, эта женщина-Орфей, выставив вперед упрямый лоб с челкой, все глубже и глубже спускается в подземное царство Аида, без провожатых и без пения. В цехе «Р—А», в который встроена стеклянная административная коробка, стоит грохот, но там не шумнее, чем в квартире на магистрали девять, особенно если открыты оба окна. Молодые и старые женщины степенно расхаживают вокруг ручных с виду зеленых станков; паркет в цехе — как в балльном зале, на фоне белых стен мелькают пятна всех цветов радуги — это халаты работников. Из-под халатиков видны ноги в нейлоновых чулках, над халатиками замысловатые прически. Женский щебет, пестрые обложки иллюстрированных журналов. Только стеклянная стена отделяет вас сейчас, фрейлейн Луков, от внешнего мира: по шоссе, обсаженному деревьями, мчатся игрушечные автомобили, опять проползает железнодорожный состав, на этот раз черный, вот состав задержал сбившееся в кучу стадо машин. Но вы в эту минуту смотрите на черные и серые леса, за которыми проходит нечто стабильное — линия горизонта. Яркие нейлоновые халаты, нейлоновые чулки пастельных тонов, прически всех родов и зидов. Женщины делают свое дело машинально, не глядя — их глаза устремлены на фрейлейн Луков. Специфический запах стал въедливее; ведь заводы Фабербейна насылают на город и на весь мир, *in urbem et orbem*, не только молоко и мед; попутный ветер приносит в город специфические запахи и летучие вещества, которые, подобно бесцветной пелене, остаются висеть в воздухе. Их запах еле уловим, как вкус аспирина на языке. Конечно, фрейлейн Луков, мы описываем все это по-дилетантски, вы, как работник фирмы, должны различать запахи разных корпусов, этажей, запах каждого цеха; вы должны разбираться также в процеженных запахах канцелярских помещений Фабербейна, во всех их сложных нюансах не хуже, чем заправский пьяница в спиртных напитках.

Итак, давайте дегустировать дальше. Сквозь стальные ворота, выкрашенные в зеленый цвет, вы проходите в цех «Р—В». И тут-то фабербейновский завод обрушивается на вас всей своей мощью. Наверху — необозримые железные балки; цех похож на коричнево-серый собор с пятьюдесятью алтарями. Пятьдесят станков, пятьдесят вделанных в грязный бетонный пол стальных громадин, напоминающих танки, грохочут всеми своими узлами и палят из всех стволов. Фрейлейн Луков входит в цех пригнувшись, словно боится удариться головой обо что-то невидимое. Ее хрупкая светлая фигурка теперь в центральном проходе. Зеленая и белая. Кажется, будто она разрезает надвое сплошную завесу грохота и что вокруг нее вспенивается незримая субстанция, зеленая и белая, излучающая свет, как сама истина. Вокруг станков суетятся, снуют люди. Наскоро обтеперев черные ладони о выцветшие промасленные спецовки, они поднимают их к своим прокопченным лицам. Что это? Карнавал? Ночное учение? Теперь, когда фрейлейн Луков — черное пятнышко в радужной оболочке глаза — проходит по цеху, то тут, то там вспыхивают светлые чубы, зубы, алеют открытые рты, из которых брызжет слюна, сверкают белки глаз, окруженные темными кругами.

Рабочие переговариваются, но никто не слышит соседа; люди бегло считают слова с губ, улавливают смысл по движениям рта, как глухонемые; все они здесь глухонемые и многоязычные... немцы, итальянцы, испанцы, алжирцы... и все они что-то беззвучно кричат. Пока вы, фрейлейн Луков, идете по проходу, люди справа и слева говорят только о вас. Хотите знать, что они говорят?

**ИРЕНА ЛУКОВ.** Осталось еще шагов сто, а потом я скроюсь в закутке у мастера. Раз сто меня разденут измазанные машинным маслом руки, раз сто эти люди обменяются безмолвными шутками на мой счет. Моя белая полотняная юбка, моя зеленая блузка разодраны в клочья; до черноты пропитанные маслом и

кровью, они болтаются где-то у моих лодыжек. Но по мне этого не скажешь. Я подняла голову, задрала нос, юбка и блузка сидят на мне как влитые. Я быстро иду, помахивая блокнотом у бедра. Нет, я не улыбнусь. Будьте милосердны.

**РАССКАЗЧИК.** Будьте милосердны к этим людям, фрейлейн Луков! Мерлин Монро улыбалась в Корее нескольким тысячам грязных, обовшивевших американских солдат, дарила им свою фигуру богини и свой голос, женский голос, усиленный микрофоном. А здесь чем не фронтовой театр, фрейлейн Луков? Мальчишки, которые еще три месяца назад сидели за партой, по-обезьяньи перебегают от станка к станку, они уже научились слушать глазами, они уверенно направляют сквозь привычный грохот свои электрокары, подвозя рабочим новое сырье, а агрегатам — машинное масло. Стальные балки, не дрогнув, выдерживают оглушительный рев, сквозь двадцать пять огромных окон летится солнечный свет, но это не солнце Астурии, не солнце Орана и не палящее солнце Калабрии. Знаете ли вы, фрейлейн Луков, что во время этой вашей публичной казни, во время этой безжалостной охоты на вас по вашему адресу было произнесено немало похвал? Старик Фаберейн тоже ходит в этот цех одетый, как денди, но его визиты вызывают совсем иную реакцию. Что касается рядовых служащих, которые следуют примеру хозяина, то на них вообще не обращают внимания. А когда Поролон попадает сюда и идет, пошатываясь от грохота, то его просто высмеивают. Знаете ли вы, фрейлейн Луков, что сейчас вы воплощаете в себе и Мерлин Монро, и Калабрию, и даже «Песнь о колоколе», которую этим мальчикам прочли несколько месяцев назад, на восьмом году обучения?

**ИРЕНА ЛУКОВ.** Если я улыбнусь, то почувствую себя уличной девкой. Расскажу это потом Вольфгартену.

**РАССКАЗЧИК.** Вы никогда не узнаете, фрейлейн Луков, что подумали о вас в этом адском гуле Джузеппе Монтарини, отец пяти дочерей, Губерт Харпершейдт, только недавно женившийся и еще бездетный, Фриц Гугатис, член муниципалитета от ХДС, отец двух сыновей, один из которых кончил гимназию. Никогда не узнаете, что думает в эту секунду Жан Виссельс, отец четырех детей, который встретился с вами в проходе, когда он, как и мальчишки-ученики, вел электрокар.

**РАБОЧИЕ.** *Mia figlia, mia povera figlietta*<sup>1</sup>. Хватит и того, что мы здесь мыкаемся. Нечего посылать сюда эту девушку. Не по своей охоте ты пришла сюда, детка.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Какое счастье, что я поднялся из термического цеха, из этого своего подвала с масляной ванной именно сейчас, когда она здесь. Иначе бы я ее не увидел. Ну и день, ну и денек сегодня...

**РАССКАЗЧИК.** И в каморке мастера фрейлейн Луков встретили весьма благосклонно. За стеклянной стенкой осталось три четверти грохота. Тем не менее мастер напряг голос, чтобы высказать свое мнение о молодом Фаберейне, этом чокнутом недоросле с его идиотскими затеями. И тут же дал понять, что восхищен фрейлейн Луков. Несмотря на это, он не может спасти гостью от дальнейших передрыг: чтобы добраться до железной винтовой лестницы, по которой спускаются в термический цех и поднимаются в цех «Р—Б», фрейлейн Луков должна пройти мимо умывальной и туалетов. Двери во все четыре туалета распахнуты настежь, грубо оштукатуренные стены, грязь. В кабинках сидят, скорчившись, по два-три человека в ряд. Правда, штаны у них не спущены, и они пришли сюда не оправляться, а выкурить сигарету в теплой компании. По вполне понятной причине в цехе «Р—Б» курить запрещено.

И эти люди тоже глядят во все глаза на фрейлейн Луков, которая подходит к железной винтовой лестнице.

Винтовая лестница для нее — короткая передышка. Наконец-то фрейлейн Луков осталась одна и может посмотреть вниз на синюю ребристую крышу цеха «Р—Е», где работают преимущественно гречанки. В тот цех она отправится по-

<sup>1</sup> Моя девочка, моя бедная девочка (итал.).

том, сейчас она немного передохнет. На юге стеклянные крыши — синие, на северной стороне они покрашены жемчужно-серой краской, из-под которой просвечивает железный каркас, черный скелет кровли. Одиночество, тишина. Тишина?

ИРЕНА ЛУКОВ. Весь день с половины шестого утра до половины двенадцатого ночи я мучаюсь от шума. Только после двенадцати магистраль девять пустеет. Шум преследует меня и дома, и в городе, и здесь, на заводе. Примерно дважды в месяц я позволяю себе роскошь — провожу ночь без сна. Тихонько лежу в тишине с половины двенадцатого до половины шестого и прислушиваюсь к биению своего сердца. Сердце бьется громко, и я никак не могу заснуть. Мысленно я разговариваю со своими родителями и изливаю душу Фрицу Вольфгартену, который спит не у меня.

Из цехов «Р—В» и «Р—Б» сюда проникает только слабый рокот, надо мной и подо мной благословенный паркет. Разве здесь не тихо?

РАССКАЗЧИК. Пора дальше, фрейлейн Луков! Наверху, в цехе «Р—Б», вам придется пройти только коридор с туалетами и умывальной, сразу за ними закуток мастера; через весь цех, слава богу, шествовать не обязательно.

И вот уже фрейлейн Луков поднимается наверх и снова спускается в квадратном грузовом лифте, где ее молча встречает счастливый Жан. Он пошел следом за ней и дождался ее в подьемнике вместе со своим электрокаром. Лифт подвозит фрейлейн Луков к цеху «Р—Е» с установкой для кондиционирования воздуха, где женщины-гречанки, освещенные голубоватым верхним светом, держат руки в пурпурном растворе. Сквозь раствор проходят еще сырые изделия, которые в силу своей сверхчувствительности требуют постоянной температуры. Юноны и Афродиты, Афины и Артемиды, работающие здесь, повязаны черными и белыми платочками и уже давно забыли свои настоящие имена.

Теперь, фрейлейн Луков, вам остались еще заводские тропики — цех «Р—А», раскоряченный и железобетонный. И в нем полно женщин, из-за жары у них под халатами только трусики и бюстгалтеры. Многие сбросили и халаты: белое мокрое тело блестит от пота при каждом повторяющемся взмахе рук, темные подмышки то открываются, то закрываются в такт движениям. Халаты набрасывают на себя только при появлении мастера. Фрейлейн Луков, блок-лот которой уже заполнился цифрами, этой чести не удастаняют. Цех «Р—А» в шутку прозвали на заводе «курортом». Человеческие испарения почти незаметно смешиваются здесь с едким запахом химикатов. Треск плоских машин заглушает болтовню. Но стоит только заглянуть в дверь человеку в синей спецовке, как на встречу ему несется визгливый хор голосов.

С фрейлейн Луков повторяется старая история. Она снова как бы заключена в стеклянный колпак безмолвия, невидимый колпак движется вместе с нею. Говорят, что в этом цехе работает сброд. В карманах халатов женщины прячут губную помаду, расчески, одеколон, наверное, также шкалики с запрещенным спиртным, а кое-кто и презервативы. С голых, толстых ног льет пот. Но и здесь можно встретить женщину безукоризненно сложенную, до боли прекрасную. И в этом цехе в туалетах сидят, скорчившись, в ряд и курят, но сами туалеты почище, облицованы розовым кафелем. Когда мимо них проходит фрейлейн Луков, окруженная колпаком безмолвия, ее пронзают десятки взглядов. Женщины смотрят на женщину женскими глазами, безжалостными. И оценивают без всяких скидок. Не робейте, фрейлейн Луков! Ведь и вы уже спали с мужчиной, хотя и не с Фрицем Вольфгартеном. Не убыстряйте шага! А пот со лба сотрете уже потом, когда выйдете из цеха!

На заводском дворе, в этом светло-сером ущелье, в этом строго очерченном каньоне со стальными дверями, фрейлейн Луков вдруг заметила, что ее обнаженные руки покрылись гусиной кожей. Во дворе, несмотря на летний зной, несмотря на жар завода, воздух кажется свежим и прохладным. Фрейлейн Луков глубоко дышит, и гусиная кожа исчезает. Да, здесь тихо. Теперь, фрейлейн Луков, вам пора бы поспешить к лифту и незамедлительно вознестись на свое рабо-

чее место. Но ваша белая полотняная юбка и зеленая блузка по-прежнему маячат во дворе. Фрейлейн Луков идет к корпусу «С», в который ее, собственно, не посылали. По дороге она улыбнулась заводским слесарям, которые, навистывая, сваривают трубы под открытым небом; при появлении фрейлейн Луков они сдвинули на затылок свои желтые защитные каски и застыли чуть ли не в благоговейном молчании. Улыбка вас очень красит, фрейлейн Луков. Выйдя из царства Аида, вы очень похорошели. Перевели дух и воспрянули духом. О, сладость и ликованье! Теперь вы поднимаетесь на лифте в комплекс «С», где вам нечего делать и где вы не намерены ничего делать. Просто у вас появилась охота прогуляться, отдохнуть, обмануть Фабербейна, утаить от него принадлежащее ему время, вырвать у фирмы какие-нибудь четверть часика. Вместе с кабинкой лифта тянутся ввысь и тополя, те самые тополя, которыми обсажены границы владений фирмы. Неужели и тополя тянутся ввысь по приказу Фабербейна? Неужели рабочие, которые приветствовали фрейлейн Луков, действовали по указке Фабербейна?.. Но ведь те форели, которые шестьдесят пять лет назад плыли против течения в прозрачном ручье, не принадлежали Фабербейну. Да и золотые рыбки в аквариумах корпуса «С» резвятся не на потеху Фабербейну и не на потеху служащим, которые их разводят, кормят и меняют воду в аквариумах.

В этих залах приятно прогуляться.

В огромном помещении всего десять человек. Каждый сидит на вертящемся кресле с высоким цоколем. Все десять одеты в белые халаты и при желании могут крутиться на своих креслах сколько душе угодно. От кресла до кресла метров десять. Когда кто-нибудь из служащих поворачивается в своем кресле лицом к стеклянной наружной стене, он видит полоску неба и полоску города, разделенные изнутри поблескивающими аквариумами, а дальше, за стеклом, — фабербейновскими тополями, зелеными и прямыми. На нескольких креслах висят бинокли, с помощью которых можно приблизить полоску неба и полоску города: многоэтажные красные коробки — фабербейновские дома, башни, с серыми потеками, стоянки автомашин в густой зеленой пене, нагромождение труб и цементных блоков.

Эти полоски не касаются служащих в белых халатах. Но вот белые халаты поворачиваются спиной к стеклянной стене, и все, что перед ними, уже их касается. Правда, на пульте управления происшествия случаются редко. Подобно мореплавателю, каждый из служащих, лежа в кресле, час за часом, день за днем обозревает свое созвездие — светящиеся точки на стальном щите, в который вмонтированы «компасы». Делать особенно нечего. Что может случиться? Помехи сами себя обнаружат. Задача мореплавателей — зарегистрировать их и принимать ответные меры. Если загорится красная точка, ее погасит зеленая точка, желтая и еще одна красная. И стрелки «компасов» опять примут нормальное положение, а красный огонек исчезнет. Ничего особенного случиться не должно. Даже когда что-нибудь случается, можно считать, что ничего не случилось, — ведь мореплаватели примут надлежащие меры. Конечно, если они не примут мер, случится многое — завод даст брак. Огонек... Кажется, что он обвиняет... Жалобно гудит сталь. Тонны, секунды. Труднее читать на лице любимой женщины, да и действовать в этом случае тоже труднее. Труднее и проку меньше. Скучно ли им? Скучают ли белые ангелы в этом раю?

Во всяком случае они рады приходу зелено-белой развеселившейся фрейлейн Луков. Четыре белых халата усаживают ее в кресло, крутят кресло до тех пор, пока у фрейлейн Луков не начинает кружиться голова. Потом ей вручают бинокль, и она направляет его на полоску города, которая простирается у подножия корпуса. Интересно, где башня святого Медарда? Стекла бинокля упираются в небо. Сперва ничего не видно, какой-то тусклый туман, потом предметы опять приобретают очертания, становятся самими собой: видна каждая машина на небольшой стоянке, рядом с ней красные кубики, должно быть фабербейновские дома, там живет Вольфгартен, одно окно открыто. Я никогда не была в его квартире. Теперь я хочу найти башню святого Медарда. Но вместо этого в би-



нокль лезет что-то светло-зеленое — ветки и еще две золотых рыбки. Перед глазами фрейлейн Луков колышутся огромные луны. Она опускает бинокль, хочет подкрутить его снова, но в эту секунду в зале появляется Фабербейн-младший. Он идет по залу, глубоко засунув левую руку в карман брюк, так что шлицы на его пиджаке подпрыгивают в такт шагам. Но вот он пошел быстрее, здороваясь со служащими уже на ходу, бросил нарочито рассеянный взгляд на фрейлейн Луков, которая торжественно восседает в кресле, даже не кивнул ей, тут же отвел глаза, снова прибавил шаг и решительно повернул голову в сторону аквариумов с золотыми рыбками.

**РАССКАЗЧИК.** Почему Фабербейн-младший не отчитал фрейлейн Луков? Решил ли он, что фрейлейн Луков может сейчас взбунтоваться? Решила ли фрейлейн Луков, что сейчас, окруженная этими доброжелательными людьми в белом, она возмутится? Сие незначительное происшествие так и осталось неразъясненным. Фабербейн-младший счел, что победа за ним, похвалил себя за интуицию и подумал, не стоит ли ему сменить гнев на милость в отношении этой Луков.

Вы, Вольфгартен, должны позаботиться, чтобы молодой хозяин впредь не давал фрейлейн Луков таких неоправданных поручений. Это ваша прямая обязанность.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Ничего подобного. Я директор по кадрам, а не представитель сотрудников фирмы, который должен блюсти их интересы. Но в этом случае я, разумеется, потребую у Фабербейна объяснений.

**РАССКАЗЧИК.** На заводе считают, что фрейлейн Луков к вам неравнодушна.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** У меня сейчас совсем другие заботы... Заводская молодежь, иностранные рабочие. А потом надо еще вступить за ребят в термическом цехе. И еще этот ежегодный общезаводской пикник, будь он неладен... Крутишься как белка в колесе. Лезешь во все дырки, да еще приходится делать хорошую мину.

**РАССКАЗЧИК.** Почему вы не женитесь на фрейлейн Луков?

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Да, почему?

**РАССКАЗЧИК.** Поролон и Вольфгартен едут вместе в город на деловую встречу. Вольфгартен сам ведет машину, свою зеленую машину, весьма породистый экземпляр, если можно так выразиться. Черный «мерседес» и белоснежный шофер Поролон — не такие уж породистые — пока что отдыхают. Конечно, если беседа Поролон и Вольфгартена приведет к обильным возлияниям, всегда можно будет вызвать автомобили и шоферов фирмы. Поролон не без умысла принял предложение Вольфгартена прокатиться на его машине.

**ПОРОЛОН.** Эта поездка должна еще раз продемонстрировать наши дружеские отношения и сердечный характер предстоящей встречи. В глубине души Вольфгартен все еще остался человеком маленьким и не может не гордиться своей прекрасной машиной. Подпущу ему несколько комплиментов, похвалю его водительские таланты и поразительные достоинства этого его драндулета.

**РАССКАЗЧИК.** У вас, Вольфгартен, похвалы Поролон вызывают смешанные чувства. Вы бормочете нечто нечленораздельное и в то же время превышаете скорость чаще, чем обычно, идете на обгон без всякой надобности и демонстрируете у светофора на Бисмарктрассе молниеносный старт, в результате которого ударившийся о спинку сиденья Поролон буквально проглатывает очередной панегирик в вашу честь. Зато в центре вы поедете с подчеркнутой осторожностью и так медленно, будто заснули за рулем; вас будут перегонять трамвай и каждая отчаянно гудящая малолитражка.

**ПОРОЛОН.** Я отношусь к Вольфгартену с самой искренней и безоговорочной симпатией. Для меня он живое подтверждение моей любимейшей теории о необходимости растить на заводе способные кадры. Шутка ли, этот человек из самых низов занимает ныне один из ведущих постов на одном из ведущих промышленных предприятий Запада. Не премину вернуть эту мысль как введение к нашей

беседе. Карьера Вольфгартена — факт почти легендарный, и не только для нашей фирмы. Конечно, нельзя не отметить, что его возвышению сопутствовали на редкость благоприятные обстоятельства и что до сих пор он сохранил чувство некоторой социальной неполноценности, взяв хотя бы его сегодняшнюю сумасшедшую езду или отношение к браку — в тридцать восемь лет он законченный холостяк. И все же его жизнь может служить примером и предметом восхищения. Четырнадцатилетний паренек из сельской начальной школы приходит к Фабербейну учеником. Разгар войны. Завод разрушен. И это сразу дает мальчику шанс выдвинуться. Чуть ли не в восемнадцать лет, в конце войны, он уже руководит всеми иностранными рабочими. И до и после денежной реформы, когда все восстанавливается, он взваливает на себя самые ответственные задачи. И всегда действует так уверенно, так здраво, словно никогда ничем другим не занимался. Это импонирует и старым мастерам и старому Фабербейну. И притом он до сих пор не потерял рабочей закваски и проявил в то же время необыкновенную тягу к знаниям, просто-таки бешеную тягу к знаниям. Все его вечера были посвящены народному университету. Люди на заводе еще сейчас вспоминают, как двадцатилетний Вольфгартен забирался во время обеденного перерыва в большую бетонную трубу, чтобы без помех угнаться в свои книги — он решал алгебраические уравнения и заучивал английские и французские слова. Этими языками он владеет теперь вполне сносно, хотя с любимым французским ему пришлось изрядно помучиться. Что касается иностранных терминов, то и здесь он редко попадает впросак. В свое время нас всех пугало его равнодушие к техническим проблемам и поверхностное отношение к проблемам экономики производства. По-настоящему его, надо признать, интересовали только гуманитарные дисциплины: история, психология, даже философия. Но поскольку это не мешало его работе на заводе, Фабербейн предоставил молодому человеку свободу действий. Для бывшего ученика сельской школы его библиотека необычайно богата, а его собрание пластинок удивительно изысканно. Маленькая квартирка Вольфгартена, если не считать некоторых мелочей, обставлена со вкусом. Все это я не поленился выяснить. Мы часто обмениваемся мнениями о книгах, о серьезных телепередачах, о концертах и спектаклях в наших театрах. В конце концов он заслуживает моих добрых советов. Не изменив своему здоровому крестьянскому нутру, Вольфгартен неустанно совершенствуется, тянется по мере сил к культуре. И притом он сохранил скромность и знает пределы своих возможностей. Поистине замечательная личность, особенно если учесть его происхождение и воспитание. Так почему же нам не выискивать среди нашей молодежи других людей той же породы? Почему не выдвигать их? Тут дело не только в нашей фирме, это — задача общественно-политическая.

**РАССКАЗЧИК.** Вольфгартен доехал до центра. На пути от окраины к центру по магистрали девять он миновал шесть светофоров: четыре с зеленым светом, один с красным и один с желтым, он проехал также тринадцать знаков «поворот запрещен» и без счета знаков о запрещении стоянки, что не мешало, впрочем, владельцам машин ставить их впритык друг к другу вдоль широких тротуаров по всей трассе; из-за этого произошло вот что: чья-то красная машина, выезжая задним ходом на проезжую часть, очутилась прямо перед вольфгартеновской машиной. Вольфгартен, не удаивая ее взглядом, шел на той же скорости, Поролон хотел оглянуться, но его голову тут же мотнуло вперед; маневр был весьма рискованный, хорошо, что шофер черного свободного такси, разинув рот от удивления, вовремя уступил дорогу Вольфгартену; видно было, как старик таксист, морщинистый и небритый, шевелил губами, очевидно, чертыхался на своем нижненемецком диалекте. Вольфгартен не переключал скоростей, если не считать двух светофоров с красным светом. Ни Поролон, ни Вольфгартен так и не заметили, кто сидел в красной машине, номер был местный. Потом Вольфгартен проехал знак «осторожно — школа», знак «дети», знак «обгон запрещен», указатель «к собору», знак «место стоянки» и множество знаков «стоянка запрещена». А вот наконец и центр, вот и собор. Знак «круговое движение», знак «трамвай имеет

право проезда в первую очередь». Вольфгартен обогнал переполненные трамвайные вагоны, желтые одноклеточные организмы, из которых выглядывало множество глаз, проехал еще одну бесконечную вереницу стоящих у обочины машин по правую и левую сторону магистрали девять, по которой сплошным потоком шли автомобили, во встречной машине сидела парочка, тесно прильнувшая друг к другу, и курила; молодая негритянка везла негритят — своих деток, которые кувыркались на заднем сиденье. Курчавые черные волосы, ярко-красные губы. Старичок на прерывистой, похожей на зебру линии взял у старушки ее сумку с продуктами. На заднем сиденье «фольксвагена» какой-то тип отвесил пощечину мальчугану. И справа и слева по тротуарам поспешала людская толпа, обгоняя застывшие машины; мимо проносились дома, целые кварталы, словно челюсти с выкрошенными зубами; сотни, тысячи окон, витрины, похоронные бюро, мясные, знак «осторожно — школа», школа уже позади. Белокурая девчурка вся в слезах, остальные девочки смеются, малыши тащат непосильный груз — свои ранцы, а эти четверо ребят постарше уже знают, что под летними блузками обрисовываются бюстгальтеры, а под юбками — трусики. Двое ребят повернулись профилем к людям за ветровым стеклом — они ждут трамвая. Вольфгартен промчался мимо них, переключил скорость перед знаком «круговое движение», въехал в самый центр. Здесь можно свернуть к собору, к стадиону. Перед глазами у Вольфгартена мелькали зеленые и желтые, красные и серые, синие и зеленые, белые и разноцветные пятна, черные пятна, прямые линии, витрины; в витринах — туши с содранной шкурой, куклы, одетые с ног до головы, открытые гробы, словно приглашающие лечь в них, свертки, ноги, прически, доски объявлений, деревья, дорожные знаки, полосы. Прямо перед собой, у стекла, он видел дрожащую черточку, показывающую скорость, и слегка покачивающиеся стрелки — одна отмечает температуру воды, другая количество бензина — и еще две часовые стрелки, обе кажутся неподвижными. За эти семь минут Вольфгартен только раз взглянул на свои руки, такие же чужие на баранке руля, как и трамваи, которые он обгонял. Чужие руки без обручального кольца, руки, поросшие черными волосками там, где грубая кожа тыльной стороны переходит в чувствительную кожу ладони. Ни стоп-сигнал, ни подфарники ни разу не мигнули, он переключал редко, но именно сейчас, не глядя, он переключает правой рукой; мигалка на площади отсвечивает зеленым. Да, Вольфгартен почти ничего не разглядел толком и, наверное, поэтому подумал: удачно проскочил! Поролон и тут не забыл сделать Вольфгартену комплимент. Уничуждение паче гордости — вот что это должно было обозначать. Его шоферы, мол, не умеют так быстро ездить.

А теперь вы, Вольфгартен, то плететесь, то несетесь по центру, не глядя на Поролон. И Поролон не глядит на вас, его короткие толстые ручки покоятся на мягком, как поролон, брюхе, из рыхлого, как поролон, лица торчит черная бразильская сигара. Поролон натерпелся страху, кроме того, ему пришлось повозиться с непривычной пепельницей в машине. Если бы вы, Вольфгартен, заглянули в его заплывшие глазки, то увидели бы в них испуганного ребенка, который молит о пощаде.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Его шоферы! Не родись Поролон заводчиком и корпорантом, быть бы ему почтальоном. И ездил бы он остороженько на малолитражке, ходил бы по абонементу в оперетту. Почтальон из него бы вышел отменный, часевые ему давали бы щедрые, и он был бы постройнее и посчастливее. Пел бы себе в хоре и считался бы любителем немецкой народной песни. Такую машину, как мою, он видел бы изнутри еще реже, чем сейчас. Разве что у своего зятя, ибо, будучи почтальоном, он мог бы позволить себе роскошь иметь много детей, особенно дочерей. Одного он никогда не поймет ни как заводчик, ни как почтальон: не поймет, что мир непонятен.

**РАССКАЗЧИК.** Выбор Вольфгартена и Поролон пал на «Золотой горшок», ресторан в старонемецком стиле, где тяжелые дубовые столы не накрывают скатертями, а дубовые стулья вдавливают в крестцы посетителей старые добрые традиции, где на стенах висят оловянные тарелки, олени рога и картины под старых

голландцев. Зато у этого ресторана удобная автостоянка и расторопные официанты-итальянцы; они так и порхают под оловянной посудой и потолочными балками, фалды их белых фраков развеваются, стройные ноги резво перебирают по толстым темноузорчатым коврам. Меню в «Золотом горшке» в меру интернациональное. Вольфгартен выбрал себе мясо на вертеле с пряностями и рисом. Поролон, отвергнув седло косули и поджаренного на решетке лосося, потребовал свиные ножки с кислой капустой, блюдо, по его мнению, соответствующее духу этой встречи.

Сейчас ровно четырнадцать часов пятнадцать минут. Длинные еловые столы серо-зеленого цвета в фабербейновской столовке тоже не накрываются скатертями. Две трети из них еще отчетливо носят на себе следы трапезы людей в синих спецовках. Что касается одной трети столов, то их как раз в эту минуту протирают мокрыми тряпками толстые уборщицы. Рабочие уже отобедали, теперь за столы сядут фабербейновские служащие. Толстухи, которые трудятся в столовой, ничуть не похожи на остальной женский персонал фирмы. Громко распевая, они толкают тележки на колесиках с горами тарелок, размахивают тряпками, как пальмовыми ветвями, и, стоя у раздаточных окошек, черпают и черпают из больших котлов. Их потные лица выражают при этом чисто материнское чувство удовлетворения. Поскольку подавальщицы и поварихи обряжены в белые халаты, а служащие не носят форменной одежды, в столовой не видно больше синих спецовок. Гладкий бетонный пол не замазан маслом, потолочные плиты и балки побелены, но в квадратные окна вставлены железные прутья. Впечатление такое, что танцзал сочетался браком с заводским цехом и породил этот миленький гибрид. Впрочем, не надо думать, что на стенах столовой не висят городские пейзажи или что в ней отсутствуют цветы. За сегодняшним обедом отсутствует один только Фриц Вольфгартен, который сидит обычно в эти полчаса обеденного перерыва визави с фрейлейн Луков. Фрейлейн Луков, стало быть, придется глотать свой чечевичный суп в одиночестве, она как-то съежилась и притихла. Правда, сытный суп вполне устраивает фрейлейн Луков, и, стоя в очереди у окошка, она заранее предвкушает, с каким удовольствием нальет себе столовую ложку винного уксуса из большой миски, предвкушает, как в тарелке появятся замысловатые узоры — спирали и экзотические цветы, — когда прозрачный уксус начнет смешиваться с густой жижей. Не говоря уже о том, что уксус придаст чечевице приятную остроту, которая весьма по вкусу фрейлейн Луков. И все же из-за того, что Вольфгартен отсутствует, сегодняшний день можно считать потерянным.

Впрочем, мы советуем вам, фрейлейн Луков, избегать столь категорических и печальных формулировок. Может быть, вам недостает не самого Вольфгартена, а той сигареты, которой он ежедневно потчует вас после обеда. В таком случае беде легко помочь, в углу висит соответствующий автомат.

Фрейлейн Луков в своем зелено-белом наряде поднимается со скамейки и идет к автомату. И вот они уже курят все трое: Вольфгартен в «Золотом горшке», ожидая мяса на вертеле и потягивая пиво, фрейлейн Луков в полупустой столовке, Жан Виссельс в туалете термического цеха. Вольфгартен жадно затягивается, что не ускользает от внимания Поролона, и думает о фрейлейн Луков; фрейлейн Луков курит, упорно вперив взгляд в замазанное мастикой отверстие от сучка в еловом столе, — обычно в этот час на этом месте покоится рука Вольфгартена, как бы протянутая к ней. Жан Виссельс дымит сигареткой без фильтра, поглядывая на свою изуродованную широким шрамом руку, что он делает раз сто на день, и тоже думает о фрейлейн Луков, высчитывает, что до вечернего перерыва ему осталось еще три четверти часа, сравнивает фрейлейн Луков со своей женой, которая, родив четырех детей, раздалась вширь, расплылась и стала сгарливой.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** У меня это уже вошло в привычку. Когда я ее не вижу, мне чего-то недостает.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Ну и дерьмо этот Вольфгартен. Корчит из себя большого барина и воротит нос от такой девушки. Из грязи в князи. Но кишка тонка.

**РАССКАЗЧИК.** Встреча Вольфгартена с Поролоном затянулась до семи вечера и приняла ярко выраженный позитивный характер. Собеседники выпили бутылку «кротенбруннена», потом заказали еще две бутылки шампанского. Между прочим, Вольфгартен, отойдя от основной темы, проинформировал Поролона об угрожающей «эпидемии» аппендицита на «курорте». С начала года тридцать семь процентов работниц этого цеха, иными словами больше трети, удалили себе аппендикс. Тяжелый приступ аппендицита нетрудно симулировать, симптомы простые. А дирекция оплачивает трехнедельное пребывание в больнице, операцию и дает сверх того еще три недели оплаченного отпуска по болезни. Зараза распространилась уже на некоторых иностранных работниц. Это сообщение вначале испугало Поролона, что не отразилось, однако, на его аппетите, зато потом, в процессе переваривания сытного обеда, он показал себя человеком, умеющим проникнуть в психологию простого народа.

— Они хотят,— сказал Поролон,— хоть раз в жизни почувствовать себя людьми, оказаться в центре внимания. Отлынивание от работы играет в данном случае второстепенную роль.

Насчет контрмер собеседники окончательно не договорились, но решили в принципе учесть психологические открытия Поролона.

— Нельзя же,— заметил Поролон,— удалять девиц с «курорта» только за то, что они вырезали себе аппендикс, вот если они захотят повторить это — тогда уж не взыщите.

Эта шутка вызвала много смеха, после чего Поролон перешел к основной теме беседы, воскликнув:

— Ну, а теперь к делу!..

И Вольфгартен изложил свой план технического обучения широкого круга рабочих во всех цехах, план весьма впечатляющий, детально разработанный и уже увязанный с дирекцией, с инженерным составом и с учебными программами профессиональных школ. К этому плану ничего не добавишь. Дело только за тем, как повлиять на обоих Фабербейнов, чтоб они согласились на важнейший пункт плана, который надо сейчас раз и навсегда сформулировать. Каждый месяц — две недели с сокращенным вдвое рабочим днем. Вот тогда можно будет говорить о серьезном обучении. Далее Вольфгартен предложил следующее: для занятий с элитой молодежи, то есть приблизительно с двадцатью процентами молодых рабочих в те самые свободные полдня привлечь консультантов-специалистов — врача, педагога, юриста, работника коммунального хозяйства и т. д. и т. п. Эти люди будут читать лекции по своим предметам, приспособленные к уровню слушателей, и проводить дискуссии. Поролон ввернул, что надо-де обеспечить учащихся и теологами, сперва выпустить католического священника, лучше всего в монашеской рясе, лучше всего бородатого, а потом лютеранского, этакого молодого бойкого священнослужителя в одежде мирянина. И тогда юноши познают феномен религии в ее крайних проявлениях, а также научатся терпимости, пусть чисто внешней, визуальной. К этому добавлению Вольфгартен ничего не добавил. Он только выразил желание самолично проводить с элитой беседы и дискуссии на различные актуальные темы. И начал перечислять эти темы: текущая политика и основные политические проблемы века, телевидение, экономика, проблема свободного времени, технизация общества, уличное движение и т. д. Но тут Поролон перехватил инициативу и также вызвался вести беседы с элитой. После этого мысль его лихорадочно заработала и идеи посыпались из него как из рога изобилия... Демократия и в то же время любовь к отечеству. Единство Германии и в то же время Атлантическое сообщество. Бережливость, умеренность и в то же время радость потребления. Глобальная гуманность и в то же время здоровый реализм в борьбе с глобальной коммунистической опасностью. Телевидение в малых дозах и в то же время опера, а также спорт в команде фирмы. Спорт, но без футбольного ажиотажа. «Стена» и в то же время патриотизм. Осмысленное проведение свободного времени в противовес бессмысленному ничегонеделанию. Короче говоря, во всем твердые установки. Пусть молодежь научится жить, а не влачить свои дни, на-

учится стойкости, чистосердечию, мягкосердечию, дисциплине и чувству ответственности за все окружающее, будь то родина, семья, возлюбленная, будь то, наконец, last not least<sup>1</sup> фирма Фабербейн.

Недовольство Вольфгартена не смутило Поролон, он сразу же нашел выход. Он, Поролон, добьется, чтобы Вольфгартен раз в месяц читал лекции на те же темы восьмидесяти процентам бесталанной молодежи. Таким образом, у Вольфгартена будет гораздо более широкая аудитория. Находчивость Поролона была самым непосредственным образом связана с двумя бутылками шампанского. Напоследок решили, что Вольфгартен разработает методологию для отбора двадцати процентов элиты. Польщенный Вольфгартен подарил за это Поролону свой билет на заключительный матч между командами «Боруссия» и «Интер». Перед десертом собеседники решили, что вызывать машины и шоферов фирмы не стоит. За сыром и черным кофе Поролон дал Вольфгартену дружеский совет — поскорее жениться и, перейдя потом к разбору возможных кандидатур, безошибочно указал на фрейлейн Луков.

Вольфгартен воспринял это сдержанно.

Заго на обратном пути — движение в городе уже несколько поутихло — он самым несдержанным образом, хотя и ледяным тоном стал восхвалять достоинства своей спортивной машины. Но Поролон совершенно обмяк и пропустил речи Вольфгартена мимо ушей.

**РАССКАЗЧИК.** Ваш страх за городских детишек, флейлейн Луков, не обоснован.

**ИРЕНА ЛУКОВ.** Разве? Посмотрите на этих двух девочек с самокатами: они мчатся наперегонки по самому краю тротуара, а меньше чем в полуметре от них с безумной скоростью проносятся машины. Девочки покраснелись и ничего не замечают, стоит им только поскользнуться или наскочить на тумбу — и несчастье неминуемо.

**РАССКАЗЧИК.** И все же перестаньте волноваться. Смотрите, какое солнце. Будьте благоразумны. Люди кончили свой рабочий день, впереди у них уйма свободного времени. Теперь они едут на машинах домой. Это правда. Но никто не мчится с безумной скоростью. Их мысли заняты собственным садиком, машинками для стрижки газонов, детьми, и ни у кого нет в мыслях задавить ребенка. Да и сами дети давно привыкли к тому, что живут на берегу опасного потока. Это умные дети. Вот они уже катятся посреди тротуара, объезжая прохожих. Поверьте, это труднее и опаснее, чем держаться у самой мостовой, где дорога свободна. Поэтому они снова выкруливают к краю тротуара. Пешеходы — люди взрослые, и, стало быть, от них можно всего ждать. А поток машин подчиняется простым правилам, у него есть и свои берега и свои броды, которые отданы детям. Но вы, фрейлейн Луков, все еще остались Красной Шапочкой из лесов вашей родины.

**ИРЕНА ЛУКОВ.** Слава богу.

**РАССКАЗЧИК.** Бойтесь лучше за себя. Это куда более обоснованно. Нельзя гулять одной по вечерам в парке. Почему вы так легкомысленны? Тщетно вы ищете там свою родину, ее облачное небо и ее деревья. В парке вы встретите только влюбленные парочки и уголовников. Работа кончилась, вы свободны. Так закажите себе самую большую порцию мороженого, мороженого с фруктами! Вас раздражает музыкальный автомат в этом молочном баре? Встаньте и выберите другую пластинку — народную песню, какую пели у вас в Восточной Пруссии.

Но фрейлейн Луков приросла к стульчику из металлических трубок и плетеной пластмассы. Она небольшого роста. Очень медленно ест она мороженое: засахаренные вишни фрейлейн Луков приберегает напоследок. Она так сыта, что, пожалуй, не захочет ужинать. Вот она вытащила вторую сигарету из пачки, которую приобрела днем. В музыкальном автомате кружатся плоские черные рыбы, вобравшие в себя людские страсти, и заполняют кафе визгливыми звуками. Зал

<sup>1</sup> Последняя, но не из последних (англ.).

модной, причудливой формы, по стенам плывут красные кораблики с парусами, и кажется, будто это река. Белый корабль идет в Гонконг, и стульчик из металлических трубок, бросивший якорь на плитках пола, тоже вот-вот сорвется и уползет вдаль. Полно народа, люди толятся внутри, снаружи, и притом нет ни души. Все вокруг говорят, но никто не скажет ни слова.

В этом городе нет *plastiqueurs*, которые бросали бы бомбы в кафе. Уже нет или еще нет. Нет по чистой случайности. Ведь здесь все как на вулкане. Так где же ваша родина, фрейлейн Луков? Она в вашей непомерной усталости, в вашей подавленности. Страна темных лесов... Вы слышите ее в хоре голосов, она парит над плитками пола, бьется о красные парусные корабли, кружится в музыкальном автомате, перевоплотившись в плоскую черную рыбу. Но фрейлейн Луков — женщина не сентиментальная, и она не проникнута духом неонацистских «землячеств». Поэтому она подымается, платит за мороженое и выходит из кафе.

**ИРЕНА ЛУКОВ.** В Восточной Пруссии я жила только в детстве. Все дети должны расти там. Если мне суждено иметь ребенка, я не стану рожать его здесь, в этом аду. Край у нас был тихий и просторный. И там было много, много снега. Когда лежал снег, мы, дети, забывали, что существует земля без снега. Во все окна вставляли двойные рамы. Нам расчищали утиный пруд в саду, и по вечерам зеленый сверкающий лёд заглядывал в наши детские. А когда наступала весна — эта фраза еще не утратила смысла в нашем краю, — когда наступала весна, мы узнавали это не из календарей. Каждый год в марте мир возрождался, и мы старались угнаться за ним. В кустарнике виднелись пестрые петушинные хвосты... Да, у нас еще были разные времена года. Молодые зайцы пробегали по нашему саду, наседка переводила цыплят через улицу, и лошади объезжали этот пушистый островок. Лошади были моими друзьями, еще совсем малышкой я обхватывала их ноги, прижималась лицом к коричневой колкой шерсти. И каждый раз мне это казалось интересным и новым. Я так и не увидела лося, зато однажды нашла на косе у дома дяди янтарь. Озера там были озерами, их сотворил господь бог, а не бульдозеристы. И у озер не было привесков — площадок для кемпингов. Во всех водоемах водились лягушки, а там, где водятся лягушки, можно пить воду. И если около нашего курятника появлялась лисица или куница, отец брал ружье.

Мне исполнилось восемь лет, когда всему настал конец. Не знаю, как это произошло. Но я уже и тогда знала, что это было каким-то образом связано с громадным флагом со свастикой, который часто висел на нашем доме, а потом лежал на гробе отца. Вначале багровая мякоть флага хищно и противоестественно расплзлась по полям, по городу, по нашему саду, затащила деревья, утиный пруд и все остальное, высосала из них жизнь. Все вокруг поблекло. И тут же сразу пришла в движение гигантская свастика, два изогнутых ножа, притаившихся в сердцевине флага. Ножи раскручивались медленно, но потом словно обезумели. И началось нечто невообразимое. Ножи швыряли к нашему порогу горящие автомашины и лошадиные трупы. А после вихрь подхватил и нас. Я потеряла сознание, меня увезли в глубоком обмороке. Помню только, как меня трясло и бросало из стороны в сторону. Помню вкус крови и подслащенной воды, которую вливали мне в рот. Помню, что черный искривленный нож просвистел у самой моей головы. Только на следующую весну я пришла в себя; однажды днем влезла на диван в комнате, стала на плоскую диванную подушку, посмотрела на улицу и впервые осознала и смогла произнести вслух несколько простых фраз: «Это Иена, город в Тюрингии», «Это американцы. Хорошо», «Моя сестра умерла», «Моя мать работает», «У нас есть еда», «Мы останемся здесь. Мы — беженцы».

**РАССКАЗЧИК.** Несомненно, фрейлейн Луков, вы пережили все муки ада. Но разве слово «ад» применимо к тому, что происходит у нас сейчас? Вы несправедливы. Ведь вы же, наконец, сами, по собственной воле в двадцать два года, будучи совершеннолетней, покинули Тюрингию и переселились сюда.

**ИРЕНА ЛУКОВ.** Я часто думаю, что этого не следовало делать.

**РАССКАЗЧИК.** Стало быть, и Тюрингия была лучше, нежели Западная Германия?

ИРЕНА ЛУКОВ. Да, да и да. От раза к разу я становилась все несчастнее.

РАССКАЗЧИК. Итак, ваша жизнь шла по нисходящей: от золотого века — детства в Восточной Пруссии, к серебряному — ранней юности в Средней Германии и дальше вниз, к бронзовому, — в Западной Германии. Нелогично, фрейлейн Луков. Это не правда жизни, а правда мифа.

ИРЕНА ЛУКОВ. Нет, это правда. В Тюрингии я была молодой. Меня любили и, может быть, любят до сих пор. Я познакомилась с ним еще школьницей, в поезде. Мы ехали всем классом в берлинский театр. Тамошные города и поселки сохранили свою физиономию. А здесь их сперва изрубили в куски, а потом наложили на них густой слой косметики, понастроили домов-громадин, день и ночь лупят их по щекам, массируют, и теперь все города на одно лицо, как американские кинозвезды. На гладких бетонных трассах не видно человеческих слез, слезные железы у этих городов высохли, и в глаза им не заглянешь. Вместо глаз у них светофоры.

РАССКАЗЧИК. Там — стагнация, здесь — динамика. Только миф может изобразить это иначе.

ИРЕНА ЛУКОВ. Мне исполнилось восемнадцать, мой друг был студентом в Берлине. Он был умный и все время шутил. До начала спектакля в Немецком театре оставалось часа три. И он тут же повез меня в Западный Берлин, хотя и был коммунистом. Так я увидела Запад. Увидела и не увидела. В витрине обувного магазина было столько всего, что у меня захватило дух. А потом я разглядела туфли, о которых совершенно точно знала, что они должны принадлежать мне и никому другому. Он потащил меня дальше, вдоль сплошных стекол, вдоль этих гигантских экзотических аквариумов, набитых всеми приманками, какие только существуют на земле. Ткани и лилии из Ниццы хвастливо предлагали себя, винные бутылки сверкали, как алмазы, разноцветные консервные банки призывно скалили свои металлические зубы. Мне было восемнадцать. И я потерялась, не знала, на чьей стороне истина: здесь, перед этими стеклянными фасадами, или за ними, у нас. А пока что мы метались в этих аквариумах — печальные серые рыбы, которые в первый раз поднялись из глубинных вод в те морские слои, куда уже проникают солнечные лучи. До сих пор не могу объяснить свое состояние. В универсальном магазине, где между мной и вещами уже не было стеклянной преграды, мне стало дурно. Но мой новый друг, засмеявшись, взял меня под руку и все объяснил: это ярмарка, а я еще дитя, которое ослепил ярмарочный блеск. Он уже стал мне мил, и я ему поверила. Он сказал: «Ведь это страна Диснея». Мой друг был беден, как и все мы, но чтобы утешить меня, купил на восточные марки два огромных ярких апельсина. Теперь я держала по тяжелому апельсину в каждой руке. На обратном пути мы ели их, и заморский запах апельсинов победил все другие запахи в вагоне надземки.

Самым счастливым было лето пятьдесят шестого. Четыре недели мы жили в палатках на берегу Балтийского моря. Ночью, когда бушевала гроза, мне было не страшно: при каждой вспышке молнии я видела его сосредоточенное, сухощавое умное лицо с темными впадинами глаз, видела его голову — голову римлянина, видела, как уголки его губ кривила насмешливая, убийственно-скептическая улыбка. Я мечтала иметь от него ребенка.

Ах, если бы не было Западного Берлина! Мучая друг друга, мы без конца возвращались туда. Не знаю, верил ли мой друг в социализм. Знаю только, что это был человек, с которым можно было говорить обо всем. Но мои близкие без конца попрекали меня: как ты решаешься встречаться с таким, как он? У нас завелось много знакомых среди студентов западноберлинского университета. Политика меня вообще не интересовала. Скучные поучения на занятиях я не слушала. Я просто не в состоянии диалектически мыслить. Но бог свидетель, я тоже мечтала, чтобы мир стал лучше. Мечтаю об этом и теперь, на Западе.

От раза к разу мы становились все более нечувствительны к приманкам в западноберлинских витринах. Теперь нам хотелось поближе узнать западных немцев — **незнакомых** людей в книжных магазинах, в театрах, в кафе; мы вслушива-



лись в их речь — швабскую, рейнскую, баварскую. И в нас просыпалось сложное чувство, что-то вроде ностальгии. Вскоре и мой друг оставил тщетные попытки соревноваться с ними в покрое костюмов. Подозрительно охотно рассказывали они о Венеции или о Лиссабоне. О нашей жизни они ничего не знали. Иногда казалось, что люди в ФРГ только тем и заняты, что ездят на курорты. У моей матери был рак, и она просто бредила Западным Берлином. Дважды в месяц она запрашивала приглашения у однокашников отца, бывших корпорантов. Эти люди с тупыми надменными рожами угощали нас шампанским и рюмочкой «беренфанга». Покойного отца они все еще звали между собой Гамбринусом<sup>1</sup>.

Всеми искушениями Запада можно было противопоставить только одно: чувство собственного достоинства. Но как раз его и не хватало маме. Мой друг говорил ей это в лицо. Перед смертью мать приказала мне перейти в Западную Германию. Это была ее последняя воля. И я не осмелилась послушаться умирающей. Мой друг сказал: «Не ходи, это убьет нас обоих». Но я бросила свой паспорт в Шпрее. Как раз напротив этого места на Востоке тянулось огромное, облепленное башенками и зубцами здание, кирпичное чудовище, похожее на наш Мариенбург. Это здание называется Шарите<sup>2</sup>, что в переводе значит милосердие.

**РАССКАЗЧИК.** Как понимать слова вашего друга, фрейлейн Луков? Было ли это шантажом? Летом он посылает вам открытки с Балтийского моря, с Черного моря. Вы все еще любите его?

**ИРЕНА ЛУКОВ.** Не знаю. Это зависит сейчас от Фрица Вольфгартена.

**РАССКАЗЧИК.** Пожалуй. От него зависит и ваша мировая скорбь. Наверное, он смог бы ее излечить.

**ИРЕНА ЛУКОВ.** Вольфгартен меньше ростом, чем мой друг. Он бесстрашнее его, более цепкий и более опустошенный. Он мог бы быть его старшим братом. Его не проведешь. И ему неизменно сопутствует удача, именно поэтому он нуждается в помощи... На всех парах, как скорый поезд, проносится он мимо меня. Но он человек, и мне кажется, что он кричит: вскочи на подножку, кинься на рельсы!.. Мы боимся друг друга. Если б я могла его поцеловать, один только раз. Может, тогда он спрыгнет на ходу...

**РАССКАЗЧИК.** Давайте же подведем итоги. Изгнанная из рая, потерявшая гражданство, фрейлейн Луков очутилась лицом к лицу со здешним хитроумным, насильственно рационалистическим обществом, лицом к лицу с некой заколдованной мозаичной стеной. Она ждет, что один из камушков мозаики — Вольфгартен — упадет ей прямо в руки. И тогда вся стена оживет, кровь запульсирует в висках городов, в лесах забрезжит свет, утиные пруды и молочные бары прильнут друг к другу, солнце засветит по-иному, музыка Моцарта заглушит грохот фабербейновских заводов, и сонмы ангелов-хранителей защитят детей, которые резвятся на самом краю стальных потоков. Принцесса задумала освободить принца от злых чар. Папагена в одеянии из ярких перьев хочет снять петлю с шеи Папагено<sup>3</sup>. Пусть это сбудется, но пока это не сбылось. Поэтому, дорогая фрейлейн Луков, советуем вам со спокойной душой принять снотворное. За неделю вы приняли всего две таблетки. Стало быть, можете не бояться, что снотворное войдет у вас в привычку.

**РАССКАЗЧИК.** Жан Виссельс — рабочий термического цеха — клянет весь свет. Его цех без окон, без дневного света, он под землей, под корпусом «Р», которому он шлет в подъемниках и электрокарах изделия-полуфабрикаты и который сбрасывает в него свои отходы через специальные шахты-мусоропроводы. Этот цех — уютный уголок. Кажется, что в воздухе висит маслянистое облако, вернее легкая липкая жировая пленка, обволакивающая люминесцентные лампы на побеленном потолке и горы алюминиевых ящиков, которые правильными рядами выстроились справа и слева от центрального прохода. В ящиках проделано

<sup>1</sup> Гамбринус — мифический король, считается «изобретателем» пива.

<sup>2</sup> Шарите — берлинские университетские клиники.

<sup>3</sup> Папагена, Папагено — персонажи из «Волшебной флейты» Моцарта.

множество круглых отверстий — изделия должны «дышать». У ящиков удобные ручки, и сами они точно пригнаны друг к другу; когда их штабелями грузят на электрокары, дно одной коробки входит в дно другой. Электрокары с легким гудением снуют взад и вперед по широкому проходу. Ученики, которые обслуживают их, возвещают о своем прибытии в родную обитель громким пением, еще стоя в стальных дверях подъемников. Над головой у рабочих цеха, как здесь в шутку говорят, «топают медведи» — тяжело ухают станки на верхних этажах корпуса «Р». От этого все в цеху ритмично подрагивает: ящики, мускулы, маслянистое облако. Здесь внизу царь и бог — мастер Эрнст. Эрнсту под сорок, мускулатура у него железная, он не очень широк в кости, подвижен. Лицо молодое, голова совсем седая. Даже ведущие сотрудники фирмы обращаются к нему на «вы», называют «господином Эрнстом». Рабочие, особенно ученики, его любят. Цех этот он знает как свои пять пальцев. Эрнст — человек независимый. Не боится никого, даже старого Фабербейна. Одной рукой он может взвалить на электрокар тяжелый ящик; обхватив огромной лапицей сразу двух учеников, он поднимает их на воздух, ученики долго барахтаются у него над головой, визжат, ругают его своими ломающимися голосами. Разумеется, они готовы за Эрнста в огонь и в воду. Краска ввелаась мастеру даже в губы. Но лицо от этого не обмякло, оно всегда сосредоточенное. Жан Виссельс в нем души не чаёт, равно как и бродяга Гюнтер, студент, изучающий древние языки и философию. Вот уже третьи каникулы Гюнтер проводит здесь.

Эрнст стоит за конторкой и считает. Жан и Гюнтер сортируют отходы корпуса «Р» — груды, сваленные у мусоропроводов. Самое милое дело. Разрывай хлам, как петух навозную кучу. В один алюминиевый ящик они бросают то, что, по их разумению, еще может пригодиться заводу, в другой — доподлинные отходы корпуса «Р»: сломанные расчески, хлебные корки, огрызки яблок, обрывки иллюстрированных журналов, старые лотерейные билеты, пачки из-под сигарет, бумажные салфетки, разбитые чашки и кружки, кофейную гущу, истрепанные до дыр порнографические открытки, колбасные обрезки — короче, все, что сперва пользуется спросом, а потом становится отбросом. Иногда им попадаетсядохлыймышонок, а то и крыса. Над головой «топают медведи», Жан и Гюнтер мирно беседуют, а потом, засучив рукава до локтей, моют руки в жидком мыле, которое бродяга Гюнтер ворует на «курорте» целыми банками. Но на сей раз Жан Виссельс кроет всех и вся; ручищи у него непропорционально длинные, запястья болтаются где-то у колен, на правой руке широченный шрам, морда точь-в-точь как у мудрого шимпанзе.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Это фокусы Вольфгартена, ручаюсь.

**РАССКАЗЧИК.** Жана возмущает, что в их цехе хотят снова поменять рабочих. Народ подобрался подходящий. Кому охота расставаться с хорошими ребятами? Не кипятись, Жан, учеников все равно через год заберут в другие цеха, да и Гюнтер собрался уходить недели через три.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Не через три, а через четыре, он дождетса заводского гулянья.

**РАССКАЗЧИК.** Только бы тебя самого оставили у Эрнста! К новым людям ты уж как-нибудь привыкнешь. Кстати, Жан, ты прекрасно знаешь, откуда у вашего цеха дурная слава. Не надо было десять лет назад ездить всем скопом в Кёльн на Бринкгассе, даже учеников постарше вы и то прихватили с собой. Помнишь ту субботу? После этого всех рабочих перевели кого куда, а мастера и вовсе выгнали с завода. Вольфгартен до всего докопался.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Но Эрнст работает у нас уже давно.

**РАССКАЗЧИК.** Да, Эрнст следит за порядком. Сальные анекдоты в цеху он вывел и по понедельникам спрашивает молодых ребят, ходили ли они в воскресенье в церковь.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Правильно делает.

**РАССКАЗЧИК.** Не прикидывайся, Жан! Тогда ты тоже пошел на Бринкгассе.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Не хотел портить компанию.

**РАССКАЗЧИК.** Жан твердо решил: на этот раз они его не вытурят отсюда; он пойдет на все, если надо, обратится даже в заводской комитет. У него тридцать процентов инвалидности. Ранение в руку. Сменной работой он сыт по горло. Тем более не собирается вкалывать по ночам.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Я не каторжник.

**РАССКАЗЧИК.** Но ведь ты тогда больше зарабатывал, Жан.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** А что толку?

**РАССКАЗЧИК.** Перерыв там был только обеденный, мастер — кретин, в воскресенье рабочий день. Жан позабыл, как выглядят собственные дети. Жена у него заболела.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Да и сам я еле ноги таскал.

**РАССКАЗЧИК.** Когда здесь, в цеху, выдается свободная минута, Эрнст говорит: «Ложитесь-ка, ребята, в ящик с поролоном и всхрапните чуток. Или поболтайте. Одним словом, убирайтесь с глаз долой». И вечером рабочий еще чувствует себя человеком. Правда, Жан? Но Вольфгартен, по-твоему, прямо бесится от того, что народу у Эрнста сносно живется.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Уж этот мне Вольфгартен! Поролон не такой. Вольфгартен! Хуже самого старика! Это он выдумал скользкий графин! Душегуб!

**РАССКАЗЧИК.** Вечно ты к нему придираешься.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** К Вольфгартену? Паразит проклятый. Вот выпью для храбрости на гулянье и набью ему морду.

**РАССКАЗЧИК.** Редко кто из рабочих термического цеха поднимается в офисы фирмы. На это существует Эрнст. Черную кость не выгонишь из берлоги. Когда Жана зовут к начальству, его дрожь пробирает. Тем не менее с некоторых пор он к этому стремится, и не ради Поролона, не ради молодого Фабербейна и, конечно, не ради того, чтобы набить физиономию Вольфгартену. Бог с ними со всеми. Дела с начальством ведет Эрнст. Жану не о чем с ними разговаривать. Ему просто хочется пройти через стеклянную коробку, через комнаты с дверьми из красного дерева, выходящими в коридор, который ведет в кабинеты директоров фирмы; пройти через комнаты, в которых сидят служащие, склонившись над бумагами, — все больше женщины, мужчин тут мало. Да, Жан желает прогуляться по этой промежуточной стеклянной зоне, которая со всех сторон окружает кабинеты директоров; он желает побыть немного в одном из прозрачных отсеков зоны, в том кубике, где работают семь маленьких служащих, двое мужчин и пять женщин или девушек. Вот куда вздумал пробраться Жан. Слева у двери, наискосок от настенных часов, сидит девушка. Жану даже удалось узнать ее имя. Ее зовут Ирена Луков.

В чем дело, Жан?

Как-то раз Жана позвали туда и попросили обождать. И он ее увидел. Наверху тьма девушек, которые говорят по-ученому и которым разрешают курить, не выходя из комнаты. Иногда девушки стучат на машинках, иногда их миниатюрные ручки уверенно порхают над желтыми ящиками с карточками, в которые занесены простые работяги, такие, как Жан. Эта девушка не курила, и лицо у нее было серьезное, пожалуй, даже мрачное. Вначале ее почти не было видно за машинкой, Жан разглядел только ее светлые волосы, короткую стрижку, грудь, плечи. Но потом она встала и, пройдя мимо Жана, исчезла из стеклянного отсека. Вот и все. Но Жана вдруг резануло по сердцу беспричинной тоской. Кто это может объяснить? И что он, собственно, увидел? Плечи девушки, внезапно поднявшиеся над машинкой, увидел совсем близко ее тонкую шею — протянешь руку и можно обнять, — синие жилки на висках, все ее лицо. Жан почему-то подумал: да ведь оно как евангельский лик... И вот уже девушка ушла. А у Жана дважды замерло сердце: страшно остаться без нее, страшно крикнуть: не уходи! Во время войны Жан видел папу римского, рейхсмаршала и первого в своей жизни негра, которого потом убили. Но здесь все было иначе. Комната как комната... Невозможно объяснить, почему спина одной из многочисленных фабербейновских девиц, покидавшей стеклянную клетушку, почему обтянутые чулками икры за одну секунду вселили

в Жана так много чувств: радость, исцеление, благочестие, тоску... Эти чувства не оставляли его весь день, они до сих пор сидят в нем. Наверное, их можно назвать одним каким-нибудь словом, Жан ищет его. Может быть, все это связано с Восточной Пруссией. Фрейлейн Луков оттуда родом, а тебя, Жан, привезли во время войны в Восточную Пруссию прямо с русского фронта; в тех местах ты лежал в госпитале, выздоравливал после проклятого ранения руки. Хорошо было попасть из окопов в Германию, на родину; к тому же все вы, раненые и выздоравливающие, были там общими баловнями. И такие же лица, как лицо фрейлейн Луков, склонялись над вашими изголовьями в большой белой палате в Восточной Пруссии. Такие же девушки кормили вас, ставили градусник под мышку. Разве выздоровление в той палате не было самой лучшей порой твоей жизни? Почему ты не хотел жениться в родных местах, приехав туда на побывку после ранения? Разве не из-за тех девичьих лиц, которые склонялись над вашими белыми узниками койками? Почему ты женился только после войны, да и то неохотно?

Потом была Италия. Седой старец в соборе святого Петра. Но разве это сравнить с тем? Лил дождь, только ночью вы могли отступать на север. Время от времени — публичный дом. На легкую рану ты уже не рассчитывал. Ну, а после — плен и сразу же завод. Жан, ты ведь женат, тебе под пятьдесят и у тебя четверо детей. Оставь фрейлейн Луков Вольфгартену!.. Скажи, а ты хоть раз разговаривал с ней?

ЖАН ВИССЕЛЬС. Еще нет, подождем заводского гулянья. Там посмотрим.

РАССКАЗЧИК. А она тебя знает?

ЖАН ВИССЕЛЬС. А как же, на днях я вез ее в подъемнике в наш цех.

РАССКАЗЧИК. Жан, на заводе сотни женщин, найдутся и такие, которые не откажутся лечь с тобой в постель, если твоей старухе ты надоел.

ЖАН ВИССЕЛЬС. Это я и сам понимаю.

РАССКАЗЧИК. Так в чем же дело?

ЖАН ВИССЕЛЬС. Дело в том, что я набью морду Вольфгартену.

РАССКАЗЧИК. Откуда ты, именно ты, знаешь, что происходит между Вольфгартеном и фрейлейн Луков?

ЖАН ВИССЕЛЬС. Я не слепой. Попробуйте пройдитеесь как-нибудь после двух мимо заводской столовки, когда там обедает начальство, а работяг уже не пускают.

РАССКАЗЧИК. Раз или два в неделю — не чаще, чтобы не бросалось в глаза, — Жан слоняется возле столовой. И ему страсть как охота зайти в стеклянный отсек, но он не решается. Через окно столовой Жан видит фрейлейн Луков, фрейлейн Луков и горькую правду: два сотрудника фирмы садятся друг против друга, рядовой и ведущий. Они не улыбаются, у фрейлейн Луков нет причин улыбаться.

ЖАН ВИССЕЛЬС. Почему она за ним гоняется?

РАССКАЗЧИК. Ни за кем она не гоняется, просто сидит себе. Правда, в ее присутствии он сильно важничает, и для нее это, к сожалению, важно. Может, потому, что он занимает такой высокий пост?

ЖАН ВИССЕЛЬС. Скользящий график. Душегуб! Посты — ничто по сравнению с этой девушкой! Почему он ей нравится?

РАССКАЗЧИК. Да, Жан, почему?

РАССКАЗЧИК. Фаберейн-младший расчищает для себя шоссе. Предположим, дело происходит на отрезке Мюнхен — Зальцбург. А может, на трассе Франкфурт — Вюрцбург, или Гамбург — Ганновер, или Кёльн — Вупперталь. Установить точно в данный момент это нельзя. Фаберейн-младший расчищает для себя любую автостраду. Его серебристо-серый «порше» желает ехать только по левой стороне шоссе. Кроме того, он нуждается в определенной скорости, как человек нуждается в определенном кровяном давлении, в скорости не ниже ста сорока км в час. И вот этот серебристо-серый, вытянутый в длину ипохондрик несется и прижимает к правой стороне всех тех наглецов, которые еще осмеливаются ехать слева. В правом ухе Фаберейна-младшего то и дело раздается сдав-

ленно-яростный скрежет: быдло протестует. Протестуют все эти серые тени справа, которые он обгоняет. И кажется, будто стонут металл и резина. А того, кто не хочет или не может сразу убраться с дороги, того, кто тупо маячит перед глазами Фабербейна-младшего, того «порше» норовит легонько стукнуть по заднему бамперу и до тех пор слепит его своими фарами, пока тот не уберется, поджав хвост. Дальний свет, ближний свет, еще раз дальний, ближний, левый подфарник, правый подфарник. Фабербейну-младшему этого мало, он нажимает на сигнал, гудит, трубит, как обезумевший олень. Вопль «порше» еще звучит в ушах резко вырывающегося на правую сторону водителя, а сам «порше» уже скрылся, умчался за тридевять земель, как трубящий длинный серый олень. Фабербейн вызывает на автостраде множество эмоций: малыши плачут, мальчишки визжат от восхищения, женщины чертыхаются, мужчины раздражаются бранью, жестами показывают, что у молодчика, мол, не все дома, качают головой и грозят кулаками; в машинах начинаются семейные сцены, кое-кто читает молитву, загоровшие на курорте люди резко бледнеют, вот этот здоровяк сделал первый шаг к инфаркту, у того инфаркт намного приблизился. Но и сам Фабербейн-младший не остается безучастным — шепотом, властно он обращается к каждой машине на шоссе: «Катись к черту, скотина!», «Довольно выдрючиваться, золотко, убирайся!», «А ну-ка, бабуля, посторонись!»

Все знают, каков с виду подобный автомобилист: пестрый свитер, рукава по-спортивному закатаны, на левом запястье часы, встречный ветер шевелит волоски на руках, словом, сдержанная динамика. Лицо — заряд взрывчатки, сигарета — тлеющий шнур. Зато плечи и грудь у такого водителя не напряжены; он сидит небрежно, будто отдыхает после легкой закуски; нижней части туловища вовсе не существует, только ступня на акселераторе. При скорости сто пятьдесят и выше — легкое оживление. Чем же вы, господин Фабербейн, отличаетесь от этого собирательного образа? В чем проявляется ваша индивидуальность? Видимо, только в том, что руки у вас без перчаток. Потертые кожаные перчатки всегда засунуты где-то около приборной доски. Ясно, что в этом и состоит главная особенность вашего водительского мастерства.

**ФАБЕРБЕЙН-МЛАДШИЙ.** Быстрая езда раз или два в месяц мне просто необходима. Она восстанавливает мои силы. Для меня это самый важный витамин.

**РАСКАЗЧИК.** Раз или два в месяц Фабербейн-младший изобретает какой-нибудь повод для автомобильной поездки: теннисный матч в Гамбурге, скачки в Мюнхене, соревнования по конному спорту в Аахене, Моцартовский фестиваль в Зальцбурге, легкая интрижка в Базеле. На голубых табличках справа от трассы написано все, что требуется знать человеку для преодоления пространства. Вы, господин Фабербейн-старший, не младший, а старший, прикованный к постели, потерявший былую прыть, вы бы лучше посоветовали своему прыткому внуку вести самолет. Полеты намного безопасней, нежели этот вульгарный автомобильный спорт, и от них люди не так теряют рассудок. А если вы все же подниметесь с одра, преодолеете острую сердечную недостаточность, привейте ему вкус к охоте, пусть бродит с заряженным ружьем по лесу и думает: здесь я господин, я решаю, кому жить, кому умирать. А сафари?<sup>1</sup> Ведь и сафари обостряет столь ценное вами чувство собственного превосходства.

**ФАБЕРБЕЙН-СТАРШИЙ.** Думаю, что я уже не поднимусь со своего одра. Думаю, что это ложе станет для меня смертным ложем. Где мой внук?

**РАСКАЗЧИК.** Возражаем, господин Фабербейн-старший! Конечно, в любое другое время сотрудники фирмы с удовольствием расстались бы с вами. Но сейчас они возражают. Сейчас завод лихорадит: все ждут, что вы выздоровеете или хотя бы протянете до заводского гулянья. Неужели вы опять хотите пойти наперекор стихиям, наперекор общей воле? Ваши похороны не могут заменить заводского гулянья. Диапазон гулянья раз в десять шире. Оно раскрывает

<sup>1</sup> Сафари — охота в Африке.

целую гамму чувств — от самых низменных до чуть ли не религиозного экстаза. Об этом дне, единственном в своем роде дне в году, мечтают и неукротимая ненависть, и робкая, только зарождающаяся заводская любовь. В этот день будет все: поголовная пьянка, мужская дружба, женский визг и первый поцелуй, о котором еще только грезит девушка за станком. Ваша смерть, господин Фаберейн-старший, сейчас нежелательна. Тысяча восемьсот человек заинтересованы в продлении вашей жизни на эти несколько недель. Растолкните мне вашему старому сердцу!

**ФАБЕРЕЙН-СТАРШИЙ.** Где мальчик?

**РАССКАЗЧИК.** Мальчик расчищает для себя автостраду. Как раз в эту минуту в поле нашего зрения появился голубой дорожный указатель, таким образом мы можем установить, что место действия — автострада Аахен — Кёльн. Впрочем, это не так уж важно. Ваш внук расчищает для себя любую автостраду.

**РАССКАЗЧИК.** Вольфгартен, Фриц Вольфгартен, вы хотели, кажется, потребовать у молодого хозяина объяснения насчет фрейлейн Луков.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Да, помню. Лучше всего, пожалуй, отведу его в сторонку и поговорю с ним на совещании перед заводским праздником.

**РАССКАЗЧИК.** Да, позиция у вас прочная. Старик Фаберейн не сегодня-завтра умрет, а Поролон вы крепко держите в руках.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Нехорошо, что старик Фаберейн скоро умрет. Я отношусь к нему с почтением. Это единственный человек, которому я разрешаю называть меня «Фриц» и обращаться ко мне на «ты», не требуя взамен того же.

**РАССКАЗЧИК.** Очень трогательно.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Я работаю в фирме больше двадцати лет, пришел сюда четырнадцатилетним паренком. За это время мне пришлось проделать долгий путь, изучить все оттенки «ты» и «вы» на сотнях людей. Это одно из самых многотрудных правил игры в мире бизнеса. Теперь я освоил его в совершенстве.

**РАССКАЗЧИК.** Вольфгартен, но вы ведь не сын Фаберейна.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Бросьте. Всю эту муть с отцовским комплексом я знаю давно. И меня это уже не волнует. Я ничей сын. Так спокойней.

**РАССКАЗЧИК.** Но ведь ваш старик отец еще жив.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Ну что ж, я отношусь к нему уважительно. Он добрый малый. Я его понимаю. Люблю. Приезжаю к нему в гости. Он мной гордится. Печально!

**РАССКАЗЧИК.** У него есть все основания гордиться вами.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Ничего подобного. Гордиться нечем. За меня надо бояться. Надеюсь только, что он меня не знает.

**РАССКАЗЧИК.** Какая странная смесь высокомерия и самоуничижения.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Старый Гёте мне ближе, чем Фрейд.

**РАССКАЗЧИК.** Неужели людям известно, что вы читаете Гёте?

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Разумеется, неизвестно. Не хочу, чтобы мои так называемые знакомые считали меня человеком со странностями. Но когда я читаю стихи Гёте — и притом не знаю, понял ли их, — случается, я плачу.

**РАССКАЗЧИК.** Веймар... Тюрингия... Путь к ним ведет через минные поля, колючую проволоку и горы трупов. Рассказывайте дальше, Вольфгартен!

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Не хочу быть превратно понятым. Для меня это книга за семью печатями. Самые незначительные цифры, касающиеся фирмы, я помню много месяцев подряд, но ни одной строчки старого Гёте так и не заучил. В доме на Фрауэнплан в Веймаре я не стал своим. Раза два в году, не чаще, я берусь за стихи Гёте, берусь, трепеща и робея.

**РАССКАЗЧИК.** Кто в наши дни может сказать, что он стал своим в доме на Фрауэнплан? Несколько эмигрантов в Нью-Йорке или в Австралии да еще два-три старика в самой Германии, которые лет двадцать назад не хотели убивать и которых случайно не убили. Рассказывайте дальше!

**ВОЛЬФГАРТЕН.** О моем детстве в деревне? Оно могло проходить где угодно. в Конго, в штате Виргиния, в Мазурах или в богемских лесах. А родился я в

Эйфеле, в самом захолустье. Моя деревня до сих пор находится в пятнадцати километрах от ближайшей железнодорожной станции. И все же ее разыскали нацисты. Они явились к нам издалека, и с ними вместе пришла «линия Зигфрида», поэтому их можно было спутать невзначай с широким миром, с прогрессом, свободой, будущим. Слово «фюрер» слилось в нашем сознании с автомобилями, бетономешалками, дешевыми радиоприемниками, бараками для парней, проходивших «трудовую повинность», то есть со всем тем, что казалось нам чудом. И все же не хочу хвалиться, но уже лет в тринадцать я понял, что это — наваждение. Впрочем, слово «наваждение» я тогда не знал. Я весил тридцать пять кило, пас четырех отцовских коров и перестал верить в бога. И это так же, как и «линия Зигфрида», было результатом прихода нацистов — с их появлением те немногие люди в деревне, которые не хотели ходить в церковь, получили это право. Мне такую волюность, конечно, не разрешили. И оберегая своих коров, я распевал псалмы в честь девы Марии вперемежку с песнями штурмовиков. Но какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что все видимое нами из подслеповатых окошек наших каркасных домиков мерзко и отвратительно. И то, что казалось многим признаком здоровья, отрадным и естественным, вызывало во мне отвращение. Меня возмущало это постоянное метание между церковной службой и муштрой в юнгфольке, возмущал бедолага-учитель, позволявший шпынять себя и пастору и ортсгруппенлейтеру. Я понимал уже тогда, что альтернатива, перед которой меня поставили, — либо быть по-прежнему церковным служкой, либо стать юнгцугфюрером — совершенно идиотская, никому не нужная, надуманная. В жизни были совсем другие проблемы. Какие именно, я не знал. Я остался церковным служкой, хотя и по чистой случайности. Мама умерла при родах шестого ребенка, и отец после этого принял решение. А я в те дни мечтал об одном: кончить школу и распрощаться со всей этой деревенщиной, с нашим народом, который разрешал делать с собой все что угодно, потому что он ничего не понимал и ничего не хотел понять. Войны были для него стихийным бедствием, испытанием, ниспосланным самим Иисусом Христом; значит, так и надо было терять сыновей, добро, скот и радоваться дальним походам и трофеям.

**РАССКАЗЧИК.** Берегитесь, берегитесь, берегитесь, Вольфгартен! Вы озлоблены и несправедливы.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Часто я думаю, лучше бы отец стал хоть немного нацистом. Знаю, это ужасно. Когда они увозили торговцев скотом — евреев, среди которых было наверняка полно жулья, их клиенты-крестьяне не более честные, чем они, говорили: жаль, что нацисты не прихватили заодно и католиков... Впрочем, довольно об этом; итак, я нанялся к Фабербейну.

**РАССКАЗЧИК.** Разве старый Фабербейн чем-нибудь отличался от вашего отца?

**ВОЛЬФГАРТЕН.** О да. Ни один человек не вселял в меня такого страха, как он. И все же я понял: ему наплевать и на нацистов и на пасторов. Он знает, чего хочет. Держись за него, Фриц! В первый раз, когда меня привели к Фабербейну, он поглядел мне в глаза — минуту или вечность — и сказал: «Мальчуган не пойдет на завод, я возьму его в контору». Это был звездный час моей жизни.

**РАССКАЗЧИК.** Четырнадцатилетний мальчик сбил себе плот и покинул родной берег, он верил в дальний материк. И обрел его. В вас была уверенность, уверенность лунатика, который пускается в опасный путь.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Нет, я был очень не уверен в себе. Подумайте только, как много всего мне нужно было выучить. Я учился есть ножом и вилкой, учился говорить литературным языком. Все комнаты в городе были больше, чем самая большая комната в доме пастора. И тут же я попал в гигантские цеха, где грохотали станки под бетонными небесами. В каждом цеху было больше народа, чем во всей нашей деревне. Французы, итальянцы, люксембуржцы, голландцы, русские. Я должен был учиться всему. Учился ездить на трамвае, учился находить дорогу в городе, тушить «зажигалки», печатать на машинке, а потом и диктовать другим, учился отдавать письма в окружное управление нацистской партии и по-

лучать от него приказы для Фаберейна, зная заранее, что он положит их под сукно. Я был робкий ученик, а он великий Маниту<sup>1</sup>. Я учился врать ради Фаберейна нацистам из окружного управления. Я должен был усвоить, что значит алкоголь и табак в жизни мужчины и кофе в жизни женщины и каким божеским даром является ватерклозет. Я узнал, для чего, собственно, существует электрический ток, узнал, что и верующие люди ничтоже сумняшеся становятся нацистами. Я понял, что Фаберейну безразлично, идет ли дождь, светит ли солнце, стоит ли день или глубокая ночь, что он равнодушен ко всему этому, так же как к нацистам и пасторам. Я узнал всемогущество чисел, узнал, что работницы отличаются от рабочих, что у женщин бывают месячные и что во время воздушных налетов они ведут себя мужественнее, чем большинство мужчин, которые, засев в бомбоубежищах, хвастаются своей храбростью. А главное, я еще успел изучить этот завод вдоль и поперек, перед тем как его разрушили. Спустя полгода после моего приезда в город старый Фаберейн забрал меня от тетки, с тех пор много лет подряд я спал, пил и ел, дневал и ночевал в заводских корпусах. После того как завод разбомбили, я перебрался в кое-как сложенную из кирпича и покрытую железом времянку среди развалин. В этой моей берлоге Фаберейн, бывало, оплакивал своих убитых сыновей и свое загубленное детище. К тому времени моя родная деревня уже недели две находилась в тылу у американских армий, но и полгода спустя, в марте сорок пятого, когда выпуск продукции на заводе стоял на нуле, а дорога домой была открыта, я не испытал ни малейшего желания вернуться в деревню и помочь отцу засеять те жалкие клочки земли, которые еще не были вытоптаны или заминированы. Я остался среди этих развалин, в этой пустыне и заново построил фирму Фаберейн. Ибо тогда я еще страстно верил, что мое место именно здесь, на этом заводе.

РАССКАЗЧИК. Тогда?

ВОЛЬФГАРТЕН. Да, тогда, и не только тогда. Я верил в это, пока мне не стукнуло тридцать. Но задолго до того уже начала действовать система подкупа.

РАССКАЗЧИК. Система подкупа?

ВОЛЬФГАРТЕН. Каждый новый автомобиль лучше предыдущего. Квартира, высокий оклад. Пост, примерно соответствующий посту министерского советника. Возможность принимать решения, отдавать приказы, увольнять, нанимать, влиять на самих директоров, проводить отпуск в тошнотворно-шикарных итальянских отелях, сорить деньгами в парижских ресторанах, тешить себя иллюзией, будто ты незаменим. И притом с грустью сознавать, что ты можешь сохранить свою высокую должность только здесь, в этой фирме, где у тебя не потребуют университетского диплома.

РАССКАЗЧИК. Но ведь вы окончили вечернюю высшую школу.

ВОЛЬФГАРТЕН. Высшая школа! Родная деревня! Какие все это фальшивые понятия! Ну, конечно, я окончил высшую школу, учил английский, французский, математику и многое другое. И учил по-настоящему, не так как учит продавица, которая задумала стать машинисткой. Именно в этом случае можно было бы с большим правом сказать, что я покинул родной берег и вышел в море на утлой лодке. Профессия, образование, продвижение вперед... Тоже фальшивые понятия. Разумеется, я грыз гранит науки под этим лозунгом. Однако уже через семь лет от него отказался. По сравнению с деревушкой в горах Эйфеля фирма Фаберейн была олицетворением свободы. Но потом я пристрастился к чтению, выучил родной язык, чужие языки и увидел на горизонте тот материк, о котором шла речь раньше. Никто не может понять, как невероятно трудно научиться чтению в двадцать пять лет. Само собой, я начал с Гёте, с его «Вертера». «Вертер» мне не понравился, я с трудом одолел его. «Фриц», — сказал я себе, — оставь это занятие, оно не для тебя». И все же я принялся за первую часть «Фауста». «Фауст» мне очень понравился, и я многое понял. Итак, вторая часть «Фауста». Но

<sup>1</sup> Маниту — добрый или злой дух у индейских племен.



прежде я купил себе полный Брокгауз, вооружился им и ринулся в бой. Увы, вторая часть «Фауста» не далась мне.

Мне минуло двадцать шесть, никогда в жизни я не был так несчастен и не испытывал такого презрения к себе. А у Фаберейна мне как раз в то время дали личную секретаршу, мою первую секретаршу; правда, она сидела еще не в приемной, а в одной комнате со мной. Тем не менее это тоже был подкуп. Много месяцев она мешала мне ощутить действие яда, которым я сам себя отравил. Читать Гёте я еще не научился, но уже начал видеть. И вдруг я увидел по-новому фирму Фаберейн, завод, который я сам строил, в котором руки и мускулы работали по моей воле. Я увидел, что все мы кули, что все мы заперты в одной камере. И что каждый из нас приговорен пожизненно. Ни один не в силах выйти на волю. Пыль, машинное масло, грязь, грохот... Яд внезапно начал действовать, яд Гёте. Все стало меня раздражать: рожи директоров, грязь под ногтями рабочих, архитектура новых корпусов, масляная краска на стенах, скабрезная болтовня работников на «курорте», трубка моего телефона. Тогда я еще не знал, что мерю все окружающее той мерой, которую дал мне «Фауст». До сих пор эта мера кажется мне единственно правильной в применении к человеку. Я стал пить, а потом начался зимний семестр, и я записался только на один курс — на лекции по литературе. Мне повезло, я встретил человека, у которого можно было научиться читать. Он был «очкарик», тощий субъект, женатый и в то же время какой-то беспольный, мятый, с красными веками. Я его невзлюбил, не люблю и по сию пору, не нравится мне эта ученая смесь всезнайства с крайне скромным прожиточным минимумом. Перед началом первой лекции я встал и попросил его, учитывая мою школьную подготовку, либо вовсе не употреблять иностранных слов, либо разъяснять их. Он видел, как я подвезжал на своей машине, которая уже в то время была отнюдь не «фольксвагеном». Моя дерзкая выходка вывела его из равновесия, он начал нервничать, а потом мстить, точно следуя моей просьбе, унижая меня без надобности. Как-никак я уже разбирался и в английском, и во французском, и в математике. Но теперь я учился читать. Он выискивал короткие отрывки и очень подробно разбирал каждый. И еще он указывал нам нужные книги. Прослушав несколько лекций, я попросил составить для меня список литературы. В нем оказалось свыше трехсот названий. Далеко не все книги вышли в дешевых изданиях, но за год, взяв у фирмы небольшой аванс, я купил все триста. И мой профессор начал частенько заглядывать ко мне, брать у меня книги. Дело кончилось тем, что многие книги, которые я приобретал, сразу перекочевывали к нему и возвращались через много месяцев, а то и вовсе не возвращались. Постепенно я разговаривался. В споре он всегда одерживал верх, и все его слушатели с аттестатами в карманах, все эти студенточки и божьи старушки смотрели на меня свысока. О, господа, в жизни я разбирался лучше, чем все они, вместе взятые. Некоторые области современной жизни — я имею в виду решающие области — я знал назубок, а они имели о них самое смутное представление. У Фаберейна меня назначили директором по кадрам.

И все же они, некоторые из них, знали нечто такое, по сравнению с чем вся моя ежедневная крутня казалась бредом, кошмарным сном, от которого я не мог очнуться и по вечерам. В один прекрасный день профессор сказал это мне, и довольно нагло. За стеклами очков веки у него, как всегда, были красные, галстук сбит набок. Но, думаю, он был прав. Он сказал: «Пора вам изучать философию, господин Вольфгартен, иначе ничего не получится».

Я ее так и не изучил. Правда, уже на следующий день я купил три введения в философию. Из Фалеса Милетского я вынес, что мир един, и усвоил, что это единство — суть вода. Я читал, а в голове у меня кружился рой вопросов: разогнать ли рабочих в термическом цехе, сохранить ли в новом корпусе «С» контрольные часы для инженеров и техников? И тут же вертелись кантовские вопросы; что я могу знать, на что вправе надеяться, что должен делать, что такое человек? И еще одна фраза, которую я запомнил наизусть и которая прицепилась ко мне на много месяцев, как мотив популярной песенки, как затасканная ария.

Дословный текст я давно забыл, но там говорилось, что человек должен спрашивать, но не ждать ответа.

Во всех трех введениях я застрял примерно на двадцать пятой странице. Что такое человек? Если хотите это узнать, не спрашивайте меня. Я этого так и не узнал. Но одну историю, которая сообщалась в какой-то из трех философских книг еще до двадцать пятой страницы, я все же уразумел — историю об аде. Каждый день я приходил на заводы Фабербейн и видел там ад, описанный уже Платоном. Я разогнал рабочих из термического цеха и оставил инженерам и техникам контрольные часы. Решение было принять легко, ибо что в этом мире важно?

РАССКАЗЧИК. И все же вы обрели искомый материк.

ВОЛЬФГАРТЕН. Да, обрел, потерпев кораблекрушение. Живу Робинзоном, кое-как перебиваюсь.

РАССКАЗЧИК. Послушайте, Вольфгартен, вам грех жаловаться. Вас уважают, вы человек влиятельный, можете относительно широко жить, вас любит фрейлейн Луков, и вы совершили скачок в абстрактное мышление. Выше голову, Вольфгартен! Оглянитесь вокруг: здесь ваш дом.

ВОЛЬФГАРТЕН. То, что вы говорите, цинизм. Меня сбросило с высоты, и я обессилел. Вот уже два года, как я забросил книги. А мои вечера! Свободные дни! С работой в фирме я справляюсь играючи, запросто, хотя со стороны этого не скажешь. Ведь Поролон вообще не ударяет палец о палец. Правда, у нас большой наплыв иностранных рабочих. С ними много возни. Это меня даже радует. Иначе не угонишься за современной жизнью. Лишняя тысяча марок подстегивает тебя, две тысячи приводят в равновесие. Хоть какое-то развлечение. А потом у человека создается иллюзия, что он кто угодно, только не мыслящее существо.

РАССКАЗЧИК. Вы занимаетесь спортом?

ВОЛЬФГАРТЕН. Нет, никогда не занимался. Полагаюсь на свой организм. На крестьянскую кость. Десять лет держу свой вес.

РАССКАЗЧИК. Вижу, вы не стали мудрым после странствий в поисках материка.

ВОЛЬФГАРТЕН. Мудрость — пустой звук для людей моего поколения.

РАССКАЗЧИК. Если бы только знать, как вам уйти из фирмы.

ВОЛЬФГАРТЕН. А я и не хочу уходить. Я вообще ничего не хочу.

РАССКАЗЧИК. Может быть, станете коммунистом?

ВОЛЬФГАРТЕН. Нет, я предпочитаю старика Фабербейна. Я ведь его ученик. «Коммунистический манифест» Маркса я прочел и понял. Его нетрудно понять. Во многом Маркс прав, особенно в анализе промышленной революции. Но где уж мне лезть в деятели рабочего движения. Да и бороться за единую Германию и за то, чтобы мир стал лучше, у меня не хватит силенок. Для чего это мне? Чтобы подыскать в этом лучшем мире мужа для фрейлейн Луков?

РАССКАЗЧИК. Знаете ли вы, что именно так рассуждает деревня, которую вы сами ругали? Это ее философия.

ВОЛЬФГАРТЕН. Точно.

РАССКАЗЧИК. Так как же?

ВОЛЬФГАРТЕН. Я устал. Выдохся. Неужели это трудно понять? За один сегодняшний день проехал девятьсот семьдесят километров на машине.

РАССКАЗЧИК. Да, вы устали, Вольфгартен, но, как всегда, немножко рисуетесь. Почему вы обязательно хотите преподавать двадцати процентам талантливой молодежи?

ВОЛЬФГАРТЕН. А я и буду ей преподавать. Поролон проведет с ребятами два занятия, от силы три и убедится, что это куда труднее, чем толкать речи на производственных совещаниях, юбилеях и похоронах. И тогда молодежь перейдет ко мне.

РАССКАЗЧИК. А что вы ей скажете?

ВОЛЬФГАРТЕН. Сам не знаю. Поживем — увидим. Пусть задают вопросы, пусть научатся задавать вопросы. Кое-кого из этих заводских ребят я знаю, знаю, что у них одна мечта — хоть раз, хоть раз в жизни найти человека, который поз-

волит им задавать вопросы. Им ведь всегда суют в рот уже готовое — готовую пищу, готовые ответы. И эту жвачку они не хотят глотать, не хотят усваивать. Я буду тем человеком, который на самом деле позволит им ставить вопросы, настоящие вопросы, кантовские. Не знаю только, что я им отвечу.

**РАССКАЗЧИК.** Рискованное начинание! Курс философии на заводе. Каких же вопросов вы ждете?

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Я ведь сказал, кантовских — я сам подскажу их ребятам. На что вы надеетесь, пропадая каждую вторую субботу на стадионе? Почему на земле так много коммунистов? Где у человека душа?

**РАССКАЗЧИК.** И что вы на это ответите?

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Отвечу правду в меру своего собственного непонимания, в меру их непонимания.

**РАССКАЗЧИК.** Фаберейна-младшего сметают с автостреды. Сперва он демонстрирует свой знаменитый рывок с места, элегантный блицстарт: на выезде вылетает на третьей скорости под прямым углом к шоссе на левую дорожку и устремляется вперед. Но на этот раз ему не повезло. Фаберейна-младшего подкосила сущая безделица — голубой «фиат-600», принадлежащий деликатному автолюбителю из Голландии. Дело было так: заметив, что белый «порше» готовится выехать на главную магистраль, и добросовестно проверив сие наблюдение с помощью зеркала заднего вида, деликатный голландец деликатно перешел из правого ряда в самый левый, чтобы предоставить белому «порше» правую сторону шоссе, предназначенную ему самим господом богом и природой. Кажется, ясно. Однако в спешке Фаберейна-младший не обратил внимания на эту деталь, а автолюбителю из Голландии еще не был знаком со стилем езды Фаберейна-младшего. Машины столкнулись. Скорость у обеих была не очень-то большая, поэтому встреча в левом ряду протекала относительно мирно. «Фиат» врезался «порше» в левый бок, закружил его и отбросил вопреки всем законам физики, но отнюдь не вопреки законам автостреды к зоне безопасности. Багажник «порше» ударился о белую металлическую планку резервной зоны. Кажется, ясно. Двойная авария. Белокурая девчушка на заднем сиденье «фиата», с точностью до одного миллиметра вписавшаяся в туристский багаж своих родителей, тем не менее вылетела из машины, поскольку верх «фиата» был откинута. Девчушка побледила как полотно и перегнулась через белую планку — ее тут же стошнило. Жена, сидевшая спереди, пробила головой ветровое стекло, на котором образовалась круглая дыра со слегка зазубренными краями. Она заработала себе рваные и резаные раны на лице. Голландский автотурист не только сохранил свою деликатность и остался невредим, но и проявил завидную энергию — он вытащил свою жену из машины, посадил ее на траву в зоне безопасности, прислонив спиной к железной планке, перевязал ей изрядно окровавленный лоб голубым полотенцем, встал на колени и двумя пальцами — большим и указательным — начал выуживать изо рта жены осколки стекла величиной со шляпку гвоздя.

Словом, на мюнхенской автострате в районе Ульма ничего особо страшного не случилось, тем более что бог, покровительствующий «порше», заблаговременно оповестил о столкновении мчащийся вслед поток машин. В итоге на шоссе высыпали мужчины в одних рубашках, сбросившие скорость за много сотен метров до места происшествия. Фаберейна-младший, восставший из обломков «порше», отделался блямбой на левой щеке, иными словами легкой царапиной, испортил отпуск семье европейца среднего достатка и потерпел некоторый убыток: ему придется возместить стоимость двух автомобилей и одной косметической операции в Роттердаме. Но это его не смущает, так как он, естественно, застрахован на все случаи жизни. И все же Фаберейна-младший нервно барабанит по искореженной стали «порше», по своему поверженному серому оленю, и с удовольствием размышляет, что его спасло нечто, называемое перстом судьбы.

Итак, для него все кончилось благополучно. И вообще эта история не заслуживала бы упоминания, если бы не дурацкий телефонный звонок на завод. Дело

в том, что Фаберейн-младший велел полицейским, которые прибыли на место аварии, срочно связать его с фирмой Фаберейн. Ну и, конечно, эти услужливые болваны, как всегда, перестарались. Они позвонили к себе на пост и передали дежурному фаберейновский номер телефона, после чего какой-то полицейский соединился с руководством фирмы в Рейнской области и сообщил то, о чем сам толком не знал, — сообщение прозвучало тревожно: тяжелая катастрофа, надо быть готовыми ко всему!

Только это и делает эпизод на автостраде заслуживающим упоминания. Правда, от старика Фаберейна его было нетрудно скрыть, поскольку он пребывал не в своем служебном кабинете, а на смертном сдре, но на заводе звонок вызвал большой переполох; начальники отделов отрапортовали о снижении дневной выработки и увеличении количества легких несчастных случаев; совершенно утихшая было накануне гулянья эпидемия аппендицитов на «курорте» опять полезла вверх; бродяга Гюнтер задумался, не уйти ли ему из термического цеха на неделю раньше. Волны, поднявшиеся на заводе, обратным ходом хлынули в дирекцию. Потрясенный Поролон впал в смятение и завихрение. Но даже перед лицом неслыханного несчастья господа начальники остались верны себе. На все у них одна реакция — согнать с рабочих семь потов. В итоге всегда так получается.

Вольфгартена вызвали к постели больного Фаберейна-старшего — великий Маниту с потрепанным сердцем пожелал узнать, разогнан ли клан бунтовщиков в термическом цеху. Неужели это дело хотят отложить до его смерти? — спросил старик. Вольфгартен отрицал. И он улыбнулся шефу так ласково, как никогда в жизни не улыбнется фрейлейн Лунов.

ВОЛЬФГАРТЕН. Старик передумал. Он подождет умирать, чтобы не соврать заводского гулянья. Именно это и отличает его от простой деревенщины.

ГЮНТЕР, студент факультета древних языков и фило-софии. Жан, рассказывай!

ЖАН ВИССЕЛЬС. Когда я учился в шестом классе, мы вместе с церковными служками и с нашим пастором поехали в Кёльн в зоопарк. Там мы решили посмотреть на белых медведей. Пока мы глазели, маленькая девочка упала с загородки в бассейн. Все три медведя нырнули за ней, вода окрасилась в красный цвет, и девочку так никто и не увидел больше. Медведи растерзали ее под водой. Мать кричала, она хотела, наверно, прыгнуть за ней. А мы тут же уехали, и в следующее воскресенье наш священник даже упрямнул об этом в проповеди: родители, мол, должны следить за своими детьми в зоопарке, особенно когда смотрят на белых медведей.

ГЮНТЕР, студент, изучающий древние языки и фило-софию. Жан, рассказывай!

ЖАН ВИССЕЛЬС. О чем? О том, как меня полоснуло по руке? Это было в сорок третьем, как раз перед тем, как в России пошел снег. Начало подмораживать, грязи больше не стало, и нас погнали в атаку. Мы бежали по полю, бежали и бежали, а Ивана все не было. А потом он вдруг как бабахнет, тут меня и полоснуло. Спасибо унтер-офицер сразу заметил, еще раньше меня. Рука стала как кусок сырого мяса. Унтер-офицер и говорит: «Жан, мотай отсюда, держись левее, там шоссе, беги под гору, увидишь перевязочный пункт». Вот я и пошел. Это было рано утром. Шел я весь день, а перевязочного пункта все не видать. Сперва часа два добирался до шоссе. Было мне очень худо. По дороге всю душу выворачивало. Шел, шел, потом упал и подумал: лежи, Жан, не рыпайся. Но холод пробирал до костей, и пришлось образумиться. Вот выполз я на шоссе. Шоссе было забито машинами, но ни одна не шла назад. Наконец какой-то фургон остановился, из него выпрыгнул санитар и сказал: «А ну, служивый, валяй сюда!» Он забинтовал мне рану. И я поплелся дальше по обочине шоссе — рука на перевязи. А шоссе вдруг опустело, много часов подряд я не видел ни души. Вокруг одни поля, мерзлые поля. А потом повалил снег. Иногда я приходил в себя и замечал, что бегу не по прямой, а петляю. Но большей частью я был в

забыть, ноги сами меня несли. Хотя соображать все же приходилось, шоссе вдруг исчезло под снегом. Но потом, слава богу, опять показался народ. Шли грузовики с боеприпасами. Вечером я добрался до места, и меня положил на солому в палатку. Больше я ничего не помню.

**ГЮНТЕР**, студент, изучающий древние языки и фило-софию. Жан, рассказывай!

**ЖАН ВИССЕЛЬС**. Это было летом, за несколько месяцев до того, как меня полоснуло по руке. Наша часть стояла на Украине, далеко за линией фронта. Жарища. И вот мы решили искупаться в речке, как вдруг где-то за горой поднялась стрельба — автоматные очереди и пулемет застрочил. Мы сперва подумали: ну и ну, откуда здесь взялся русским? А может, это партизаны? Но один из наших пришел и сказал: «За горкой стреляют евреев». И мы, как были в одних трусах, полезли на горку, стоим и смотрим. Когда мой унтер-офицер сказал: «Сходи-ка, Жан, принеси покурить», я обрадовался. Курево осталось на речке, где мы побросали свое барахло. Не успел я дойти обратно, как ребята уже спустились с горки. Купаться нам расхотелось, так мы и просидели весь день у речки в одних трусах.

**РАССКАЗЧИК**. Сегодня первое занятие для восьмидесяти процентов бесталанных учеников и молодых рабочих завода Фаберейн. В десять утра молодежь валит в столовую. Всем велели умыться, снять спецовки. Ребята красуются в пестрых рубашках и свитерах, много подростков в шортах. У некоторых синие круги под глазами, волосы напояжены и прически фасонистые. А когда ребята постарше кладут свои красные лапицы на стол, у некоторых видны кольца с большими фальшивыми камнями. Среди великовозрастных кое-кто уже успел узнать на парковых скамейках, на охапках соломы, в заколоченных дамских туалетах на городских пляжах, в кемпингах, на заводских гуляньях, что к чему и как дети рождаются. Да и на заводе их просвещают. Кое-кто из ребят специализировался на сигаретных автоматах — опустошает их, — кое-кто ворует кроликов, но есть и такие, что пошли в юношеские организации, например в бойскауты. Словом, перед нами типичная западногерманская молодежь. Большинство увлекается футболом, меньшинство к нему равнодушно. Лица у всех бледные; изо дня в день эти незащищенные лица терзает завод — заводские испарения, заводской грохот. Курить запрещено! Брось сигарету! Сейчас же! Не распускайтесь! А теперь помолчите! Вольфгартену с детства знакома эта картина.

Авария Фаберейна-младшего (он-то дешево отделался, но еще немного — и ему бы несдобровать), — эта авария служит для Вольфгартена поводом, чтобы потолковать с ребятами о правилах уличного движения. А теперь пусть сами спрашивают: какое отношение имеют правила к их работе на заводе? Молчание. Кто хочет сказать? Молчание. Кто уже получил права? Четыре человека. У кого есть монеты? Почти у всех. У кого отец имеет машину? Примерно у половины. А для чего вообще нужен автомобиль? Молчание. Кто хочет купить машину? Все. Почему при этом надо получить права? Молчание. Пусть объяснят те четверо, кто уже имеет права. Молчание.

**ВОЛЬФГАРТЕН**. Ну тогда слушайте! Я расскажу вам, как мне открылась одна истина: если хочешь водить машину, без прав не обойдешься. Я был в отпуске. Ехал на своем старом «мерседесе» из Италии во Францию, из Милана в Ниццу. По пути попал в Турин, в Италию. Там находятся заводы Фиата, стало быть заводы, которые выпускают «фиаты». Ровно в двенадцать дня я медленно проезжал по гигантской площади перед заводскими корпусами. И вдруг раздался гудок. Обеденный перерыв. Час бога Пана. Из множества заводских ворот хлынуло на волю огромное стадо маленьких «фиатов» мышиного цвета. Все они рвались домой. За минуту машины буквально наводнили площадь, и мой «мерседес» оказался зажатым со всех сторон. Звери были добродушные, но «мерседесу» стало явно не по себе. Он задрожал, взвыл, присел и вдруг прыгнул куда-то в пространство. Мне показалось, что он прыгнул в дикое ущелья Эйфеля, какими они были дав-

ным-давно, еще до прихода римлян, когда там водились пещерные медведи и первобытные быки. Вокруг меня мельтешило еще много «мерседесов», они ползли по бездорожью с пригорка на пригорок, старательно перелезали через деревья около шоссе, лакали воду из реки Ар, из Рура и из Кюля; в дремучих лесах слышалось пыхтение тракторов, «мерседесы» подстерегали их в засаде; из трясин полезли мокрые быки и орхидеи, а потом внезапно на опушку выскочили машины разных марок — «форды», «опели» и малышки «фиаты», пестрые-препестрые. «Мерседесы» как заревут, как встанут на дыбы... И тут у них пошло черт знает что. Случка! Запахло маслом и кровью. Пещерные медведи рвали друг друга в клочья, гигантская известковая котловина кишмя кишела ими. У плотин, перегораживающих пойму, и в кратерах потухших вулканов раздались зловещие голоса — это запели щуки; форели и мокрые быки начали скакать как безумные, из топей выглянули яркие орхидеи. Но все заглушал скрежет стали. Сталь терлась о сталь. Это чудовища на колесах сжимали друг друга в объятиях. Я закутался в дымящуюся шкуру пещерного медведя, которая вымазала меня кровью с ног до головы, но теперь я хотя бы почувствовал себя в безопасности. И, не сводя взгляда с циферблата, ждал, пока кончится час Пана.

**РАССКАЗЧИК.** Вольфгартен мелет языком еще довольно долго. Болтает что вздумается и о заводах Фиата, и о пользе пешеходных переходов, и о необходимости ограничения скорости в населенных пунктах, и о том, что надо подавить в себе соблазн обгонять впереди идущий транспорт при плохой видимости. «Хорошим водителем, — говорит он, — может стать в конечном счете только человек с характером». И прочее, и прочее. Вопросов он больше не задает. И его речи не вызывают у слушателей блеска в глазах.

Кончат он на полчаса раньше, чем предполагал. Невесело плетется к себе в кабинет. Несмотря на это, большинство ребят утверждают, что лекция была классная и что они еще раз с удовольствием послушают Вольфгартена.

Фрейлейн Луков получила приглашение поужинать в «Золотом горшке» от самого директора по кадрам фирмы Фабербейн, от Фрица Вольфгартена. Резная дубовая спинка, как и положено в этом ресторане, вдавливает ей в крестец старые добрые традиции, но зато итальянские официанты прямо-таки порхают вокруг их столика. Со сладостью и ликованием, со сладостью и ликованием. После кофе Вольфгартен предлагает своей даме сигарету, но спичка ей не требуется; к фрейлейн Луков подлетает сицилианец в белом, и процедура закуривания превращается чуть ли не в любовное объяснение. Быть может, официант почувствовал, что фрейлейн Луков полна нежности. Берегитесь, фрейлейн Луков, не показывайте своего счастья так открыто. Счастье вызывает у Вольфгартена недоверие. Вам не надо быть счастливой, вам надо бороться.

**ИРЕНА ЛУКОВ.** Неужели я счастлива? Раз так, счастье станет моим оружием.

**РАССКАЗЧИК.** Фрейлейн Луков хороша собой, даже очень хороша. На ней платье из светло-голубого шелка, на тоненькой золотой цепочке висит кусок янтаря, который она нашла ребенком. При каждом ее движении янтарь качается в выемке на груди. Платье подчеркивает стройную фигуру фрейлейн Луков, ее изящество. Руки ее покоятся на дубовом столе. В ее хрупких ладонях охотно укрылись бы птицы и молодые зверьки. Стоит вам только захотеть, Вольфгартен, и эти руки обнимут вас.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Но я не хочу. К черту. Не хочу.

**РАССКАЗЧИК.** И вот опять сицилианец объясняется ей в любви, держа спичку в правой руке. Мысленно он целует ее светлые волосы. Очертания ее короткой стрижки будут долго храниться в его памяти. От всей души он желает, чтобы фрейлейн Луков курила в этот вечер побольше, одну сигарету за другой. И она без конца курит. Одиночество уходит с ее лица, как уходит полая вода.

**ИРЕНА ЛУКОВ.** Как я выгляжу? Наверное, чересчур бледна. Буду пить вино большими глотками.

РАССКАЗЧИК. В ваших глазах, Ирена Луков, застыла голубизна родных небес, темная зелень тюрингских холмов. Не беспокойтесь, вы хорошо выглядите. Ваш лоб посветлел, заводская гарь сошла с него. И цвет помады на ваших губах не похож на красный цвет ада, он делает ваш рот еще мягче.

ИРЕНА ЛУКОВ. Хоть бы он предложил пойти потанцевать. Я так люблю танцевать. В танце я без слов сказала бы ему все.

ВОЛЬФГАРТЕН. У нас в городе нет ни одного приличного заведения, где бы можно было потанцевать, сплошь кабаки. Впрочем, это не так плохо. Танцы — пошлое занятие.

РАССКАЗЧИК. Вольфгартен, а с вами все в порядке?

ВОЛЬФГАРТЕН. Вы имеете в виду, нет ли у меня сексуальных аномалий? Нет, я человек, как и все другие. Совершенно нормальный. В двадцать четыре мне привалило счастье — его я желаю каждому юноше в восемнадцать: меня соблазнила чудесная женщина. С тех пор в моей жизни бывают эпизоды, которые принято называть несколько комичным словом «похождения». Конечно, не раз за разом. Их было у меня не так уж много. Достаточно о них упомянуть — подробности неинтересны. Часто я останавливался на полпути. Впрочем, вот уже год, как я живу анахорстом. Не по своей воле.

РАССКАЗЧИК. Нет, по своей воле, Вольфгартен.

ВОЛЬФГАРТЕН. Настала пора вспомнить «Фауста»: я слишком стар, чтобы играть, слишком молод, чтобы не иметь желаний. Эту строчку я прочел много лет назад и сразу понял, что когда-нибудь она будет относиться и ко мне.

РАССКАЗЧИК. Ну, а как обстоит дело с вашими шестью условиями? С этими брачными заповедями, которые вы сочинили в весьма зрелом возрасте, двадцати двух лет от роду, еще в свой докантовский период?

ВОЛЬФГАРТЕН. А как же! Помню. Первое условие — не жениться на женщине из фирмы; второе — не жениться на беженке; третье — жена должна быть некурящая; четвертое — жена должна быть обязательно католичка или обязательно лютеранка; пятое — жена должна быть обязательно богатая или обязательно бедная; шестое — обязательно умная или обязательно глупая. Три последних пункта я время от времени переделывал, заменял прямо противоположными, в зависимости от того, какая женщина в данный момент казалась мне наиболее подходящей для семейной жизни и для воспитания будущих детей.

РАССКАЗЧИК. А как эти три последних пункта звучат сейчас? Что вы предпочитаете в нынешней ситуации?

ВОЛЬФГАРТЕН. Сам не знаю.

РАССКАЗЧИК. Зато вы точно знаете, что все шесть пунктов — абсолютная чепуха и никак не соответствуют вашему нынешнему умственному уровню.

ВОЛЬФГАРТЕН. Разумеется. И все же не хочу от них отказываться. Уверен, что заповеди принесли мне больше пользы, чем вреда. Хоть одно условие да не подходило. Минимум одно. И я уклонялся от решительного шага.

РАССКАЗЧИК. Вольфгартен, время не ждет. Отбросьте вы эту заржавевшую колючую проволоку. Учитесь любить. Давно пора! Одиночество опять заливает лицо фрейлейн Луков, как полая вода. И руки ее беспокойно задвигались, птицам и молодым зверькам в них уже не спрятаться. Сицилианец вас возненавидел, так же как один рабочий из термического цеха. Вы и впрямь заслужили эту ненависть.

ВОЛЬФГАРТЕН. Знаю. Знаю. Все говорит в пользу Луков. Даже мой собственный разум. Она на десять лет моложе меня. Может казаться красивой. Окончила гимназию, правда в Восточной Германии. Любит меня. Хорошей породы. У нее нет семьи, с которой мне пришлось бы ладить. Не ходит в церковь. Можно восстановить связи с бывшими однокашниками ее отца, влиятельными стариками, и делать с ними дела. Лет эдак через двадцать — тридцать я, вероятно, получил бы с их помощью почетного доктора. Кроме меня, у нее никого нет, — впрочем, это скорее недостаток, иногда мне необходимо одиночество, как киту в океане — воздух. Но с этим недостатком, пожалуй, можно смириться. Тем более что с ней я

проникну в общество. А еще какие недостатки? Не уверен, люблю ли я ее. Не уверен, могу ли я вообще любить. Нельзя строить свою жизнь на чувстве к ней. Лежа в постели у себя дома, я знаю, что не полюблю ее нипочем. Но когда я на ногах, мне кажется, что это еще поправимо. Я смертельно устал, мне хочется лечь и больше не вставать.

РАССКАЗЧИК. Лжете. Вы себя сами топчете. Гоните себя, как футбольный мяч по красному гравию. Время не ждет, Вольфгартен. Возьмите сегодня же вечером фрейлейн Луков к себе!

ВОЛЬФГАРТЕН. К чему такая спешка? К чему? Для такой спешки я уже слишком стар. Подождем заводского гулянья. Вышью как следует, соберусь с духом и, как водится, тихо-мирно попрошу ее руки... Может быть.

РАССКАЗЧИК. Время не терпит. Вы же знаете, что на заводских гуляньях творится сплошное безобразие. Сделайте это сегодня же!

ВОЛЬФГАРТЕН. Нет, я должен подумать еще немного. Утро вечера мудренее. Я не мальчик. Отвезу ее сейчас домой. Надо еще решить, к примеру, приятно ли вести машину, когда фрейлейн Луков сидит рядом. Ни слова больше.

РАССКАЗЧИК. И вот уже красный бумажник Вольфгартена выложен на дубовый стол. Фрейлейн Луков отводит глаза. Сицилианец еще больше возненавидел Вольфгартена за то, что его бумажник набит деньгами; сверхщедрые чаевые не могут погасить его злобу. Они уходят.

ИРЕНА ЛУКОВ. Ни слова. Он мне чужой. Руки его заняты рулем и переключением скоростей. Руки его мне не принадлежат. Ничего в нем мне не принадлежит. Как я хотела бы очутиться в Тюрингии. Счастье не стало моим оружием. Это сражение я проиграла. Его глаза не отрываются от дороги. Я хочу домой. Как я хотела бы очутиться дома.

РАССКАЗЧИК. У парадного фрейлейн Луков Вольфгартен включает электророзажигалку в своей машине и протягивает ее фрейлейн Луков. При этом он говорит: «По-моему, вы курите чересчур много». Она отвечает: «Разве вам это не безразлично?» Он пропускает ее реплику мимо ушей. Они докуривают сигареты. Время уже позднее...

Фрейлейн Луков подходит к окну в своей окаянной комнате, Вольфгартен еще не успел отъехать... Он кричит ей из машины:

— Да, чуть было не забыл: молодой Фабербейн больше не будет к вам цепляться. Я вас в обиду не дам.

РАССКАЗЧИК. Заводскому празднику ничто больше не препятствует. Ровно через две недели, считая с этого дня, начнется гульба. У постели Фабербейна-старшего — теперь это уже не смертное ложе, а просто ложе — собрались руководители фирмы, чтобы провести совещание, обсудить предстоящее событие. Об организационной стороне дела разговоров вообще нет, Вольфгартен, разумеется, все отлично устроил — договорился с железной дорогой, с мозельским бургомистром, с владельцами ресторанов. Все улажено. Но в этой комнате, где стол завален лекарствами и ампулами вперемешку с египетскими сигаретами, где стоят маленькие бутылки шампанского и валяется несколько старомодных детективов, которые читает Фабербейн-старший, — в этой комнате, как и каждый год, в воздухе повисает зловещий вопрос. Вопрос о том, как избежать или хотя бы наполовину избежать инцидентов в день праздника, как предотвратить драки с местными жителями, с другими гуляющими, драки между самими рабочими, как помешать порче имущества в кафе, парках, вагонах. Как помешать сексуальным эксцессам на берегах Мозеля, в парках и у танцплощадок, в специальных поездах по дороге в город. Каждый раз Вольфгартен должен в поте лица своего несколько недель устранять тяжкие последствия гулянки. Вот Вольфгартен и выражает свое недовольство. Пусть один из директоров наберется мужества, проявит власть и внушит рабочим, что заводской праздник — это не оргия, а увеселительная прогулка. Изпод опущенных век старик Фабербейн язвительно взирает на Поролону. Он думает: «Нет, пока я жив, не стану выгонять Поролону. Пусть сделают это когда-нибудь»



потом. Сами. Для меня это даже развлечение...» У Поролон горят уши, ему нетерпеливо подымит сигарой, но здесь нельзя курить. И он что-то бормочет о своих плодотворных беседах с членами заводского совета. Он, Поролон, и председатель совета обратятся к людям на общем собрании и решительно призовут их к умеренности. На это Фабербейн отвечает старческим брюзжанием, остальные господа усмеваются про себя. Вольфгартен вносит практическое предложение: не разгонять — по крайней мере перед праздником — рабочих из термического цеха. Тогда хотя бы один важный очаг беспокойства будет устранен. Даже Фабербейн-старший, с трудом подавив злобу, должен с ним согласиться.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** С тех пор как этот цех десять лет назад отправился в Кёльн в бордель, у старика появилась навязчивая идея — каждые два года он заменяет в цеху всех до единого. Теперь это стало стариковской причудой. Мой приятель Эрнст хорошо управляется со своими ребятами. И после праздника там тоже все останется по-старому. Я сумею на этом настоять.

**РАССКАЗЧИК.** Так кто же из присутствующих поедет вместе с рабочими? Вызвался Поролон и Фабербейн-младший тоже, на левой щеке у него все еще наклеен пластырь — знак перста судьбы.

Вольфгартен молчит. Он хочет услышать, как старик скажет: «Главное, поезжай ты, Фриц. Последни за ними. Я сам уже не в силах».

**РАССКАЗЧИК.** Сейчас пятница, половина пятого. Сразу же после совещания Вольфгартен поехал опять на завод — хочет сообщить Эрнсту, что атака на его цех временно отбита.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Эрнст один из тех мастеров и старших рабочих — их на заводе всего двадцать пять процентов, — которых я отобрал из здешних, из кадровых рабочих. В принципе для этого лучше подходят беженцы, они честнее, больше зависят от нас, обычно и по характеру, и по своему положению чужаков не так тесно связаны с подчиненными, от них можно больше требовать. Но если у местного мастера дело идет, то я не возражаю. Пусть старается.

**РАССКАЗЧИК.** Вольфгартен вполне может оценить приятную атмосферу в термическом цеху, которой не нарадуются Эрнст и его ребята. Ему нравится «топот медведей» над потолком, дух машинного масла, почти семейный уют. Недаром в каждые каникулы он посылает к Эрнсту студента Гюнтера, бродягу Гюнтера. Да и сам Вольфгартен чувствует себя здесь прекрасно. Вот и сейчас, заведя идущего ему навстречу Эрнста, он снимает пиджак и кладет его на металлический ящик в центральном проходе. На прошлогоднем гулянье Эрнст и Вольфгартен выпили на брудершафт и с тех пор строго придерживаются «ты»; они явно симпатизируют друг другу. Кроме того, Эрнст взял себе жену из той деревни, откуда Вольфгартен родом.

Вольфгартен предложил уйти из прохода. Зачем разговаривать в присутствии Жана Виссельса и студента, которые крутятся здесь же у ящиков? Тогда Эрнст пригласил Вольфгартена в небольшую клетушку, цеховой буфет, над входом в который старательным, но уже корявым почерком рабочего выведено черной масляной краской: «Крысам вход строго воспрещен!»

Пиджак Вольфгартена остался лежать в проходе.

Не делай этого, Жан! Не такой уж ты ловкач!

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Бандит! Я готов подстроить ему любую гадость.

**РАССКАЗЧИК.** Да, ты остался совсем один с его пиджаком и с его бумажником. Все ученики ушли на занятия, бродяга Гюнтер смылся на «курорт» воровать жидкое мыло для ухода за собственным телом. Простое мыло он не признает. И все равно, Жан, оставь это!

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Все будет шито-крыто. Предпраздничный вечер. Народ скоро побежит домой.

**РАССКАЗЧИК.** Но ведь тебе не нужны деньги.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Как бы не так! А чем я буду платить на заводском празд-

нике? Их паршивыми двадцатью марками, которые они сунут нам? Уж лучше сидеть дома.

**РАССКАЗЧИК.** Это правда. Жан копил, откладывал деньги для гулянья. Но потом он связался с машиной. Через четыре месяца он получит подержанный «форд» за шестьсот марок. По его деньгам вполне приличная машина. Шестьсот марок — неприкосновенный запас. Но ведь нужны еще и водительские права. В них пришлось вложить те «подкожные», которые Жан сберегал для праздника, в первый раз он провалился на экзамене.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Бандиты! Рабочих они всегда заваливают.

**РАССКАЗЧИК.** Ладно, Жан, поступай как знаешь. Но сперва подумай. В бумажнике у Вольфгартена — триста марок, и он по ним не заплачет. И его не огорчит потеря удостоверения личности, прав и техпаспорта машины. Зато, если дело выйдет наружу, ты здорово накрылся.

**ЖАН ВИССЕЛЬС.** Плевать! Пусть этот надутый бонза знает, что старый солдат ему не уступит.

**РАССКАЗЧИК.** Жан решил. Его рука, тыльная сторона которой обезображена огромным шрамом, залезает во внутренний карман вольфгартеновского пиджака. Шелковая подкладка кармана и тонкая красная кожа бумажника нежно касаются этой руки. А потом Жан сует бумажник за пазуху, под свою синюю куртку, под красную клетчатую рубашку. Он прижимает его к голой груди в том месте, где бьется сердце, прижимает так, словно это сама фрейлейн Луков.

Ровно через две недели, считая от сегодняшнего дня, пойдет гульба.

Вольфгартен в одной рубашке долго беседует с Эрнстом. Они выходят из цеха последними; над потолком уже не «топчутся медведи». И вот Вольфгартен надевает пиджак — кстати сказать, Эрнст не бросился ему помогать, — надевает пиджак и на мгновение останавливается: он что-то почувствовал, какой-то неполадок. Но тут же забывает об этом, ибо внезапно его пронзает другая мысль, необычайно четкая: черт возьми! А ведь он опять забыл поговорить с молодым Фабербейном о фрейлейн Луков. Придется ждать заводского гулянья. Тут уж он загонит в угол молодого Фабербейна.

**РАССКАЗЧИК.** Сегодня суббота, и Вольфгартен поехал с фрейлейн Луков в лес. Они сидят на поляне, у края канавки на расстоянии полуметра друг от друга. Фрейлейн Луков, подтянув к подбородку колени, обхватила их руками. Она в восторге. Спрашивает Вольфгартена, замечает ли он, что в зеленом цвете деревьев заключены, собственно, все другие цвета, начиная от черного и красного, кончая серебристо-серым. Вольфгартен заявляет, что он не в состоянии различить красный цвет в зеленом. Фрейлейн Луков показывает ему кроны деревьев, где, по ее мнению, это отчетливо видно. Потом осведомляется, любит ли он деревья. Вольфгартен отвечает отрицательно. Тогда она спрашивает, что его больше всего привлекает в природе. Вольфгартен говорит, что больше всего его привлекают автостоянки и скамейки в парках.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Деревья! Каждое лето я пас коров. Для крестьянина деревья интересны, только если это фруктовые деревья. Истый крестьянин — враг леса. Лес занимает землю, которую можно вспахать. И он этого не забывает. Лесные опушки надо отодвинуть как можно дальше. Из леса вылезает зверье, а потом на полях потравы, да и волки тоже могут выбежать. Кто знает. А потом, к лесу всегда тянутся горожане, их машины губят зеленые посевы. Истый крестьянин предпочитает иметь по соседству со своим полем большие промышленные предприятия. Все лучше, чем большие леса. Тут он по крайней мере знает, с чем имеет дело, знает, сколько получит в один прекрасный день за свою землю.

**РАССКАЗЧИК.** Но сегодня в этом лесу фрейлейн Луков не собьешь. Магистраль девять километров где-то далеко-далеко за деревьями. Ветер шевелит кроны, и они беспрестанно меняют свой зеленый цвет. Трава, на которой сидят Луков и Вольфгартен, настоящая, ее сотворил сам господь бог, она жесткая, прочная, колючая и пахнет чем-то диким и прекрасным. И воздух, который вдыхает фрей-

лейн Луков, тоже настоящий... Но ваш Вольфгартен, фрейлейн Луков, сегодня только наполовину человек. У него нет при себе ни денег, нет паспорта, нет даже водительских прав. По субботам банки и все другие учреждения закрыты. Он не знал, куда девать себя, и пригласил вас в лес, это ведь не стоит ни гроша.

**ИРЕНА ЛУКОВ.** Таким он мне и люб. Такой он мне и близок. Пусть он никогда не получит паспорта, пусть у него не будет водительских прав. Я спрячу его у себя в комнате и буду на него работать. Я соглашусь обманывать, красть ради него. Буду молиться за него, ставить свечки в соборе. Вечером я буду падать с ног от усталости, приходите домой навьюченная; он встретит меня, крикнет: «Где ты пропадала так долго? Я совсем заждался». И тогда я его поцелую, сброшу с себя платье, сброшу усталость и буду знать, что я живая, а не мертвая.

**РАССКАЗЧИК.** Молчание прерывает Вольфгартен: он спрашивает фрейлейн Луков, не скучно ли ей с ним? Фрейлейн Луков качает головой. Можно подумать, что скучает Вольфгартен, но и ему не скучно. Он ищет красный цвет в зелени деревьев. Иногда ему кажется, что он его обнаружил. Наконец Вольфгартен опять заговорил, сказал, что охотно пригласил бы фрейлейн Луков отужинать с ним сегодня вечером, но у него нет денег, потому что...

Фрейлейн Луков роется в сумочке, вынимает изящный кошелек, в котором лежат двадцать две марки и сорок пфеннигов. Эти деньги она одалживает Вольфгартену. Довольно-таки мизерная сумма для Вольфгартена. До понедельника не хватит. Тогда фрейлейн Луков краснеет как маков цвет и, улыбнувшись, расстегивает блузку. Вольфгартену разрешено смотреть, и он смотрит. Из своего бюстгальтера Луков вынимает бумажку в пятьдесят марок. Бумажка сложена вчетверо. Перед глазами у Вольфгартена белый краешек груди. «Красивая сберкнижка», — невольно думает Вольфгартен, но вслух этого не произносит. Держа двумя пальцами легкую, как перышко, бумажку, он смотрит на фрейлейн Луков. Застегивая блузку, фрейлейн Луков поясняет, почему она прячет деньги на груди. А вдруг какой-нибудь хулиган вырвет у нее из рук сумочку? По вечерам в городе неспокойно. Вот что.

Они поехали в ресторан.

**РАССКАЗЧИК.** Сегодня среда. Работа кончилась два часа назад. Жан совершает свою первую ошибку: он заходит в этот аляповато отделанный дорогой магазин записаться бутылочкой для заводского праздника. Такого обычая придерживаются многие рабочие и служащие фирмы: чтобы скоротать время до Мозеля, они прихватывают с собой бутылку спиртного — можжевельной или хлебной водки — и распивают ее вдвоем или втроем тут же в вагоне скорого поезда. Все дело в том, что они не покупают заветную влагу так рано, за десять дней до праздника, и не покупают ее здесь. В магазине Жан увидел фрейлейн Луков, она стоит перед прилавком: стеклянный прилавок такой высокий, что Луков с трудом может заглянуть за него. Жан совершает свою вторую ошибку. Фрейлейн Луков покупает мясное ассорти, хрустящие хлебцы и растительный маргарин. Жан подбегает к ней и кричит продавщице:

— Бутылку виски. Какой марки? Самой лучшей! — При этом он выхватывает из заднего кармана брюк красный кожаный бумажник Вольфгартена и швыряет на стеклянный прилавок стомарковую бумажку.

**ИРЕНА ЛУКОВ.** По-моему, это рабочий с нашего завода.

**РАССКАЗЧИК.** Прямо из магазина фрейлейн Луков звонит на завод. Вольфгартен тут же едет в центр, и через двадцать минут Жан уже задержан. Вольфгартен въезжает на тротуар, морда радиатора упирается прямо в Жана. Жан — понятливый малый. Он выкладывает свой козырь: увольнение невозможно, тридцать процентов нетрудоспособности, инвалид войны. Вольфгартен предоставляет Жану право выбора: либо полиция и прокурор, либо просто увольнение. В конце концов Жан соглашается на увольнение, но он и не думает извиняться, шваркает злополучную бутылку прямо под ноги Вольфгартену. Коричневая жидкость растекается по тротуару, запах виски разносится довольно далеко.

Вольфгартен опять подвозит фрейлейн Луков к дому. У ее парадного, у прохлятой богом комнаты он и на сей раз выходит из машины. Они опять стоят вдвоем на улице. «Вы молодчина,— говорит Вольфгартен,— храбрая девочка». Магистраль девять клокочет и бурлит. Луков улыбается. Говорит, что Вольфгартен может не отдавать ей долг — семьдесят две марки сорок пфеннигов — до заводского гулянья. Деньги у нее есть. В бюстгальтере опять запрятана бумажка.

ВОЛЬФГАРТЕН. Может быть, взять ее с собой на эти несколько дней, на субботу? Стоит ли? Она такая красивая. Давно пора. Подумаю еще. Время есть. Целых два дня.

РАССКАЗЧИК. Вольфгартен! Вы и впрямь достойны презрения. Опять вы себя обманываете. Несколько дней отдыха перед заводским праздником — это ведь тоже обман. Да еще какой! Хотите выгадать время, чтобы еще раз поразмыслить об уравнении Вольфгартен — Луков. За эту неделю вы свободно придумаете какое-нибудь алиби. Найдете уважительную причину, чтобы, вернувшись в четверг вечером в город, сказать себе: я все взвесил. Я слишком стар, я слишком молод, я люблю одиночество, мои чувства к фрейлейн Луков... И так далее.

ВОЛЬФГАРТЕН. До субботы осталось два дня. Я возьму ее с собой... Может быть.

РАССКАЗЧИК. Вольфгартен утаил от фрейлейн Луков, что в субботу он поедет отдохнуть. Они все еще стоят рядом, но Вольфгартен уже повернулся к машине — машина подогнана к тротуару вопреки знаку «стоянка запрещена». И тут вдруг небо взрывается, и оба они вздрагивают, да, это не сладостный звук, не звук ликования: «старфайтер» с ревом проносится над их головами, он летит на бреющем полете, словно обезумевший ангел. Кровь отхлынула от лица фрейлейн Луков, бросилась ей в сердце. И вот, Вольфгартен, вы видите Ирену Луков уже совсем другой: сгорбившейся, с гримасой страха на лице. Куда девалась ее храбрость? Слезы радости? Вы видите, как в ее широко раскрытых глазах гаснет какая-то искорка и даже ее светлые, короткие волосы теряют свой блеск.

РАССКАЗЧИК. Сегодня суббота, день клонится к вечеру. Прямо от Фабербейна, где Вольфгартена задержали дела, он едет отдыхать. Чемодан с утра лежит в багажнике, костюм висит у левого бокового стекла. Уже поздно, и Вольфгартен держит путь домой. На этот раз речь идет не о его городской квартире, а о деревне. Как-никак у него есть отец, который живет у его старшей сестры, всего в часе езды отсюда.

Не успел Вольфгартен переступить родной порог, как ему говорят: «Здорово, что ты подгадал приехать на стрелковый праздник. Наконец мы собрались все вместе, все пятеро братьев и сестер».

ВОЛЬФГАРТЕН. Я и понятия не имел, что как раз в эту субботу у них стрелковый праздник. Стало быть, в родительском доме негде яблоку упасть и я смогу ночевать в гостинице, не придется, значит, умыться на кухне ни сегодня вечером, ни завтра утром.

РАССКАЗЧИК. Вольфгартен, ваши близкие по-настоящему обрадовались этой встрече. И все они вышли в люди. Брат — крестьянин, сестра держит трактир, другой брат — мастер на заводе, еще сестра работает на почте. У вас четверо племянников и племянниц. Один учится в классической гимназии, каждый день тратит три часа на езду в рейсовом автобусе. А одна племянница пойдет на тот год в реальную гимназию.

ВОЛЬФГАРТЕН. Я тоже очень рад встрече. Гимназистам подарю по пятьдесят марок, пусть купят себе книги. И теперь тут уж не так убого, как было во времена моего детства. Тогда мы работали на молотилке с механическим приводом, вол день-деньской бегал по кругу. А сейчас во дворе стоит зерновой комбайн. Пожалуй, это несколько легкомысленно со стороны моего зятя. И дома́ они выстроили уже получше, хорошо, что американцы сровняли у них все с землей. Теперь хоть окна стали побольше, а стены и полы в комнатах поровней. И

все же что это за кресла, например? Кресла такого фасона госпожа Поролон получила в приданое эдак в тридцать седьмом году. Тогда они считались *dernière cri*<sup>1</sup>. А теперь эти кресла стоят у них новехонькие на самом видном месте, рядом с умывальником. Неужели у этих людей совсем нет глаз? Здесь, в парадной комнате, они установили огромную раковину из белого фарфора и вокруг нее повесили полотенце. Зато в кухне раковина крошечная, эмалированная, и от нее до плиты метра четыре. В спальнях вообще негде умыться. Уборная, как водится, за домом. Дело ясное, ждут, когда проложат канализацию. Но ведь с войны уже прошло много лет. Могли вырыть сточную яму.

РАССКАЗЧИК. Это очень дорого и невыгодно, ведь скоро здесь проведут канализацию.

ВОЛЬФГАРТЕН. А я и так помалкиваю. Вместе с зятем иду в коровник и хвалю скотину. У нас, как всегда, четыре коровы. Теперь мне кажется, что зять вполне разумно ведет хозяйство. И детей он не так уж много наплодил.

РАССКАЗЧИК. Ваш отец, Вольфгартен, уже не может пойти с вами в коровник. Он сидит не вставая в парадной комнате, в одном из этих мягких ископаемых кресел; куда с большим удовольствием он сидел бы на своем обычном месте у кухонного стола на узкой деревянной скамейке. Глаза у него слезятся, время от времени мысли в голове мешаются, часто он забывает, что у него есть внуки. Но вас, Вольфгартен, он сразу признал. Из его детей вы больше всех похожи на мать. Вы привезли отцу в подарок целую гору трубочного табака, неприлично много неприлично дорогого табака; и еще бутылку виски и две бутылки шампанского. Для шампанского у него нет подходящих бокалов. Вообще к подобным роскошеством он совершенно не приспособлен.

ВОЛЬФГАРТЕН. Понимает ли он, что я от него откупаюсь?

РАССКАЗЧИК. Он при вас немножко робеет, Вольфгартен. Вы у него слишком редкий гость. И он не может себе представить, чем вы занимаетесь в городе. Сочиняет разные небылицы, чтобы не подумать чего дурного. Руки у него трясутся даже во сне. Изю рта тянется тонкая ниточка слюны. Когда он смотрит телевизор, внуки смеются над ним. Дети объяснили старику, что все эти тени, все эти лица отнюдь не сидят в самом ящике телевизора, они где-то далеко, далеко. Но старик это каждый вечер забывает, и он уже не может уследить за последовательностью действий, так же как и за временем. Когда в этой глухомани появились гитлеровцы, ваш отец закричал: «К черту! У себя дома я их не потерплю!» Папа Иоани — другое дело. Отец его полюбил. И никогда не поверит, что этого человека уже нет в живых.

ВОЛЬФГАРТЕН. Я подарю ему большую цветную фотографию папы Иоанна.

РАССКАЗЧИК. За ужином — все хватают вилки в правую руку и с гоном набрасываются на еду, — за ужином речь идет о том, что, поскольку вся семья наконец-то в сборе, можно сесть и поговорить по-родственному о разделе. Вольфгартен сразу же заявляет, что он здесь ни при чем, он ни на что не претендует... Стало быть, он ни на что не претендует? Прекрасно! Но его присутствие, его совет все равно желательны. Ведь кто-кто, а уж наш Фриц, конечно, собаку съел и в делах наследства, и в разделах имущества. Вольфгартен заверяет, что он в этом полный профан; братья и сестры разберутся во всем гораздо, гораздо лучше без него.

Неужели, Вольфгартен, вы и впрямь не хотите получить долю отцовского наследства? Неужели вы окончательно вытравили в себе крестьянина?

ВОЛЬФГАРТЕН. Да. И потом я просто органически не смог бы присутствовать сегодня вечером при этом грандиозном торге. Не мог бы сидеть в этой комнате и смотреть, как волки дерутся из-за клочка земли.

РАССКАЗЧИК. Разве вы не хотите иметь небольшой участок? Не хотите выстроить себе когда-нибудь позже домик?

<sup>1</sup> Последний крик моды (франц.).

ВОЛЬФГАРТЕН. Здесь — не хочу.

РАССКАЗЧИК. Таким образом, сразу же после ужина Вольфгартен покидает отчий дом и идет в гостиницу, где он намерен переночевать. Правильно сделал. В трактире он встретил мастера Эрнста, который приехал к родне жены на стрелковый праздник и так же, как Вольфгартен, не пожелал ночевать у родственников. Вдвоем они скоротают вечер. Правда, им не нравится здешнее пиво; конечно, деревенщина его пьет, куда им деваться? Но ведь Вольфгартен и Эрнст горожане... И водка совсем теплая. Но что поделаешь. Один вечер как-нибудь перебыются. Эрнст уже имеет тему для разговора — он снова обсуждает с Вольфгартеном инцидент с Жаном Виссельсом. Эрнст рассказывает, что Жан всегда испытывал к Вольфгартену явную антипатию, причины которой ему неизвестны. Именно потому он и сорвался. Он, Эрнст, указал ему на безупречное поведение Вольфгартена во всей этой истории — вызвал у Жана раскаяние и желание пойти на попятную. В сущности, Жан вовсе не такой уж отпетый. Вольфгартен и Эрнст договариваются, что через несколько месяцев Вольфгартен будет ходатайствовать о том, чтобы Жана приняли обратно на завод. Тем более он инвалид войны, тридцать процентов нетрудоспособности. После такого разговора не грех и выпить, да они и не торопятся уходить. Сидят и с легкой насмешкой разглядывают сквозь густые клубы табачного дыма деревенских и приезжих из окрестных кемпингов, которые громко галдят и пляшут под музыкальный автомат.

Чувствуется, что в деревне праздник.

В трактире появляется молодой голландец в синем свитере. Подходит к уже изрядно подгулявшей компании и спрашивает, не разрешат ли господа присесть за их столик. Один стул у них свободный. Господа разрешают, и голландец садится; он не пьян, смущается. Красивый парень. Глаза у него черные, как антрацит, волосы тоже черные, наверное, в нем течет испанская кровь, как, впрочем, и во многих жителях Голландии и Фландрии. За время отпуска молодой человек отрастил себе черную бороду, которая обрамляет его загорелое лицо и придает ему выражение строгости. За пиво он может не платить, о чем громко заявляют разгулявшиеся хозяева стола: они его угощают. Мужчины за столиком в белых рубашках, без пиджаков. Голландец почти не пьет. Через полчаса одна из соседок молодого человека не выдерживает, вскакивает, лицо у нее красное — обгорела на солнце. Судя по разговору, это типичная городская красотка из Рура. Ей лет сорок, она ловкая и живая. Обеими руками красотка тянет голландца за бороду и приговаривает: «Хочу убедиться, что она всамделишная». Ее муж кричит с другого конца стола: «Может, он Иисус?» «Какая борода, — невпопад отвечает женщина, — всамделишная борода». Красотка довольно долго не выпускает из рук бороду юноши, качает его голову взад и вперед. Потом целует голландца в губы, хохочет. Она счастлива. Молодой человек улыбается, он в замешательстве. Хочет уйти, но из вежливости остается еще на четверть часика. Позже он поднимается и идет. А ученики и апостолы сидят на своих стульях и орут во все горло: «Эй, малыш! Возвращайся поскорей!»

Всего одиннадцать часов.

РАССКАЗЧИК. На следующее утро по стародавнему обычаю к распятию у околицы движется церковная процессия. Вокруг балдахина красуются стрелки в шляпах с перьями и в зеленых одеяниях, которые гораздо лучше отглажены, чем их мужнические лица. Во время обряда благословения они со звоном обнажают сабли. Зять Вольфгартена исполняет роль хормейстера: своей палочкой он указывает, какому крылу процессии запевать «Богородицу». Музыканты идут впереди, они дудят очень громко, ужасающе нестройно, но с большим рвением. Американские истребители превратились в деревенских ласточек, они то и дело пикируют на толпу, на людское стадо, которое, громко топя и молясь, бредет по дороге.

Проповедь у креста. Ее читает гость — молдой щеголеватый патер. Разомлевшие с похмелья стрелки жмутся к стенам домов, там тень. Горожане из кемпингов щелкают фотоаппаратами.

ПАТЕР. Наши католические семьи, как первоисточник всего...

РАССКАЗЧИК. Вольфгартен стоит рядом с Эрнстом и его женой. Его тянет закурить. Разглядывает жену Эрнста. У нее уже трое детей, но фигура хоть куда. И лицо тоже не расплзлось. Она его никогда не красила, никогда не пудрила, зато тщательно берегла, как и свое единственное нарядное платье, которое сегодня надела.

ПАТЕР. ...безусловное стремление церкви сохранить у нашей молодежи уважение к отцовскому и материнскому чувству.

РАССКАЗЧИК. Деревенский священник у них новый, не тот, что был во времена Вольфгартена. Тот уже умер. Новому священнику самой природой предназначено стать толстяком. Его красное лицо взмокло от пота и раздулось от гордости за молодого, щеголеватого патера.

ПАТЕР. Народ, у которого не стало девственниц, не сможет иметь хороших матерей...

РАССКАЗЧИК. Вольфгартена тянет закурить. Пурпур церковных облачений навевает мысли об эпохе Меровингов, об их приходе к этому народу в кроваво-красные утренние зори, об обряде крещения, который не забыт и поныне, сохранен в веках, хотя серебристые крыши королевских дворцов уже давно рассыпались в прах.

ПАТЕР. ...и чтобы школа, семья и церковь стали в деревне так же неразделимы, как дух, плоть и душа.

РАССКАЗЧИК. И все же ни языческий перепляс бубенчиков, ни малиновый звон не смогли оглушить простых деревенских старушек.

ПАТЕР. ...так храните же в себе образ божий и в будний день — на пашне и на заводе.

РАССКАЗЧИК. Вольфгартен чувствует на себе взгляд Эрнста; не поднимая глаз, усмехается.

ВОЛЬФГАРТЕН. Теперь все ясно. Останься я в деревне, будь я крестьянином, я женился бы на жене моего приятеля Эрнста. А что же фрейлейн Луков? Жаль ее. Может быть, ей бы здесь понравилось.

РАССКАЗЧИК. Сразу после конца проповеди Вольфгартен попрощался с родными и уехал. В деревне ему больше делать нечего. Даже четверть часа. Отец Вольфгартена уже не смог участвовать в церковной процессии. Он сидит за кухонным столом на своей деревянной скамейке. Дочь вытирает ему с подбородка слюну, которая натекла за время празднества. Вольфгартен попрощался быстро. Отец сказал: «Ты уже опять уходишь?» Вольфгартен взглянул на него и милосердия ради соврал.

— Я уже был на мессе,— сказал он,— сегодня с самого утра.

РАССКАЗЧИК. Ну, а теперь куда вы двинетесь, Вольфгартен? Париж, пожалуй, далековат, ведь у вас совсем мало дней. Во Франкфурт? В Брюссель?

ВОЛЬФГАРТЕН. В Брюссель. Это не так уж далеко. Часа за четыре я туда доберусь и смогу поупражняться во французском языке.

РАССКАЗЧИК. Вольфгартен ошибся. Уже через три с половиной часа он в Брюсселе. Правда, еще два с половиной часа ушло на поиски автостоянки и номера в гостинице, час на ужин на Гранд Плас. Таким образом, только через семь часов встает вопрос: «А что же дальше, Вольфгартен?»

ВОЛЬФГАРТЕН. Гранд Плас? Туристы заполонили ее. Архитектура здесь на все вкусы. Ненавижу массовые действия, по этой причине я не явлюсь и на Страшный суд.

РАССКАЗЧИК. Гранд Плас извергнула Вольфгартена; она слишком жизнерадостна, слишком богата, слишком набожна, на фронтонах слишком много лепнины, слишком много мускулистых тел, слишком много позолоты. Да, это парадная комната Бельгии. Но Вольфгартен ценит в архитектуре только сверхрационализм, он во всем ценит только сверхрационализм. Вольфгартен ненавидит орнаменты. Сейчас у него несколько свободных часов, и он идет на бульвар тут же непода-

леку, подымается до Рю Понт Неф, где справа и слева всеми цветами радуги переливаются маленькие бары, вкрапленные в сплошную стену домов, — яркие осколки в черной окаменелости. Окна баров предельно открытвенны, сквозь них видны девушки на высоких табуретах — скучая, они поджидают клиентов. Девушки элегантно одеты — почти все в платьях без рукавов, на них много мишуры. Некоторые незаметно подмигивают.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Ну так как же? Может, купить себе такую куклолку? Для меня это будет новинка. Так как же? Нет, пора спать! Завтра поеду на побережье и засяду в какой-нибудь незаметной дыре. На море всегда есть чем заняться.

**РАССКАЗЧИК.** Все же Вольфгартен хочет воспользоваться случаем поболтать по-французски; короткие стандартные фразы в гостиницах и ресторанах — не в счет. Часок он проводит с двумя девицами; это удовольствие обходится ему в семьдесят марок. Рассказывает по-французски о своей работе, выслушивает их похвалы — они хвалят его произношение, — выслушивает, как белокурые красотики объясняют, почему они любят немцев и терпеть не могут фламандцев. Секунду его рука гладит черную мокрую подмышку одной из девиц, той, что повыше. Вот так. Но он вовсе не намерен вкладывать дальнейшие капиталы в этот бар, и любовь девушек к немцу быстро остывает, любовь кончается. Вызвать такси? Нет, Вольфгартен пойдет в свою гостиницу пешком. Уже полночь. Чашка кофе на сон грядущий. Раздражающе медленно капает кофе из никелированного ситечка. Номер отвратительный. В середине стоит огромная двуспальная кровать — Вольфгартен валится на нее прямо в одежде. Справа и слева от него, до окна и до стенки, уйма свободного места, вытянешь руку — не достанешь. А на стрелковом празднике веселье, наверное, в полном разгаре. Обои здесь линялые, как шкура старой шлюхи, свет тусклый. Прямо над изголовьем под лампой висит терновый венец.

**ВОЛЬФГАРТЕН.** Лежу, как покойник на катафалке. Надо заснуть.

**РАССКАЗЧИК.** Сердце его еще не пришло в себя от езды по этим бешеным автострадам сегодня днем, вчера днем. И Вольфгартен снова выходит из гостиницы, чтобы взять снотворное, которое лежит у него в машине. Под «дворник» засунута бумажка. Нарушение правил. Стоянка запрещена. Все-таки попался. Впрочем, Вольфгартен сперва даже не заглядывает в бумажку. Снотворному он не верит; опять ложится не раздеваясь на свой катафалк. Принять, что ли, еще таблетку? Два часа ночи. Вольфгартен во второй раз выходит из гостиницы, чтобы взять в машине книгу. Старый Гёте тихо говорит с ним:

О дух многооплаканный, ты снова  
Явился гостем в мир земной.  
Средь новых нив возник как тень былого  
И не робеешь предо мной...

• • • • •

Тебе — уйти, мне — жить на долю пало.  
Покинув мир, ты потерял так мало...<sup>1</sup>

**РАССКАЗЧИК.** Слишком тихо говорит старый Гёте Вольфгартен его почти не слышит. Книга захлопнута, Вольфгартен кладет ее на пол. Три часа ночи.

Не принимайте больше снотворного, Вольфгартен! Лежите спокойно! Фрейлейн Луков тоже лежит, и лежать ей еще неудобней, чем вам. Она лежит мертвая в кустах городского парка, где опять искала в субботний вечер что-то такое, что напомнило бы ей родину, искала слов, которые могут защитить.

Вы этого еще не знаете, Вольфгартен. Что вы вообще знаете? Не вы найдете фрейлейн Луков. Утром, когда вы будете платить пустяковый штраф в ближайшем полицейском участке Брюсселя за стоянку в неполюженном месте, — утром две пятилетние девочки, которые носились по парку на самокатах, завернут в кусты и найдут там фрейлейн Луков. Об этом сообщит множество газет. «Ужасная

<sup>1</sup> Стихи в переводе В. Левина.



находка». И бельгийские газеты в том числе. Но вы, Вольфгартен, их не прочтете. Ваши хозяева в поселке на фландрском побережье окажутся националистами: газет на французском они вам не дадут, а фламандские вы не станете читать, по-фламандски вы читаете с грехом пополам.

Почему же вы не спите, Вольфгартен? Ведь вы еще ничего не знаете и у вас есть алиби. Ее череп раздроблен каким-то тупым предметом — о, голова в крови! — и короткие светлые волосы слиплись от черной запекшейся крови. На лице и груди много ссадин, голубое платье разорвано и бюстгальтер тоже. На теле явные следы изнасилования. Смерть наступила в субботу около одиннадцати вечера. Вот тот самый час. Ученики и апостолы продолжали сидеть на своих стульях и орали во все горло: «Возвращайся скорее, малыш!» Кровь уже больше не сочится из открытого рта. И нет слез радости. Только мутноватая жижа по каплям стекает в близкую, рыхлую, возделанную городскими садовниками землю. Глаза широко открыты, мертвы. Труп уже успел окоченеть. Сегодня служителям из городского морга придется ломать фрейлейн Луков руки, ноги, позвоночник, иначе ее не положишь в гроб. Вы, Вольфгартен, не увидите этого гроба. На фландрском побережье океан, обдавая холодом, будет выбрасывать вас на холодный песок, к вам будут подползать медузы, и ночью во сне вы их опять увидите. Проклинай дожди и скуку, вы с нетерпением станете ждать последнего дня вашего короткого отпуска. И ни одна женская рука не прикоснется к вам. А когда в четверг вечером вы вернетесь к Фаберейну, фрейлейн Луков уже исчезнет, ее депортируют под землю.

**РАССКАЗЧИК.** Фрейлейн Луков предстоит долгий путь по владениям Фаберейна. Около каждого рабочего, около каждого мастера она постоит секунду, постоит возле каждого ученика, возле каждой девушки, возле каждой женщины. Неужели это та самая красивая беженка, которая только на днях проходила здесь? В зеленой блузке и в белой юбке? Она еще сидела на этом самом кресле-вертушке, и я шутил с ней. По-моему, у нее не было дружка. Ей мешала застенчивость, она всегда держалась особняком. Такая серьезная, такая незаметная женщина. Зеленая блузка, белая юбка. Теперь фрейлейн Луков стала самой заметной у Фаберейна. Во всех цехах обсуждают ее лицо. Ее профиль на вес золота. На вес золота каждое воспоминание о ней, о том, как она ходила, подавала руку, поднимала брови. Если бы она появилась сейчас в корпусе «С», техники поставили бы свои аквариумы справа и слева от нее наподобие почетного караула. Испанцы сорвали бы с себя синие куртки и постелили бы их под ноги фрейлейн Луков. Заводские слесари, вооружившись топорами и пилами, бросились бы на зеленую пополюную границу фаберейновских земель и разом повалили бы все березы и тополя, чтобы соорудить фрейлейн Луков триумфальную арку. И барышни в стеклянном офисе стали бы выстукивать на своих машинках сладостные мелодии Моцарта. Начальники цехов, мастера, техники выключили бы на заводе электроэнергию и остановили бы все станки. Если бы сейчас появилась фрейлейн Луков, ни одна шестеренка на заводе не вращалась бы. Сам старик Фаберейн поднялся бы со своего одра и поехал бы на завод, чтобы расцеловать фрейлейн Луков в обе щеки. Официанты-итальянцы из «Золотого горшка» примчались бы сломя голову к Фаберейну и кинулись бы в объятия своих соотечественников рабочих. *Vita, vita, vita!*<sup>1</sup> — хором закричали бы все итальянцы. Гречанки обежали бы корпуса, чтобы найти для фрейлейн Луков барашка, пасхального барашка в середине лета. Нашлись бы и хлеб с солью, и молоко, и мед. Если бы она появилась сейчас здесь, молодой Фаберейн на коленях попросил бы у нее прощенья. А женщины с «курорта» собрали бы все свое добро: пакетики с кофе, флакончики духов, губную помаду, дешевые книжонки, запрещенные шкалики со спиртным, сердечные капли, таблетки от головной боли — и все это сложили бы к ногам фрейлейн Луков, целую гору подарков. Только бы она опять появилась. Но она не появится.

<sup>1</sup> Жизнь (итал.).

РАССКАЗЧИК. В понедельник Жана Виссельса арестовали. В ночь с субботы на воскресенье он пришел домой на рассвете вдрызг пьяный. Алиби? Слухи о краже и о том, что Жана разоблачила фрейлейн Луков, уже успели просочиться на завод. В понедельник вечером несколько молодых рабочих от Фабербейна разбили окна в квартире Жана. В испуге жена Виссельса — соседи не захотели за нее вступиться — вышустила через черный ход свою старшую дочь, тринадцатилетнюю девочку, и послала ее за мастером Эрнстом. Но Эрнста не оказалось дома, и девочка побежала в темноте через весь городской парк на Гинденбургштрассе к студенту, бродяге Гюнтеру, который живет со своими родителями. Гюнтер, посадив дочь Жана на раму, тут же поехал на велосипеде к Виссельсам. Своим родителям он велел немедленно позвонить в дом Колпинга<sup>1</sup>, куда Эрнст мог пойти на заседание правления КРД<sup>2</sup>. Бродяга Гюнтер тоже проехал на велосипеде через весь парк, да еще по песчаным дорожкам, где не разрешается ездить. Девочке он сказал, что болтовня о Жане — чистая чепуха. Девочка — она уже с перманентом — прижималась на ходу к мощной груди Гюнтера и ревела не переставая, что сильно затрудняло передвижение студента.

Вскоре после Гюнтера у Виссельсов появился и Эрнст. На улице все стихло. И Эрнст с Гюнтером, выложив на кухонный стол коробки из-под стирального порошка, разломали их и временно заколотили листами картона выбитые окна в детской. Теперь трое младших Виссельсов смогли заснуть, бормоча «папамамабоженька». Госпожа Виссельс, Эрнст, Гюнтер и тринадцатилетняя дочь Жана, сидя за кухонным столом, разглядывали половинки кирпичей, которые они подобрали на линолеуме и на подушках. В кухне стоял неистребимый запах жареного картофеля и лука. Госпожа Виссельс, толстая слезливая женщина, не понравилась Эрнсту и Гюнтеру. И гостиной в квартире Виссельсов не оказалось. Тринадцатилетняя дочь будет ночевать сегодня с матерью в родительской спальне. Эрнст улегся на диване в общей комнате, Гюнтер еще раз поехал на велосипеде домой, чтобы захватить надувной матрас и туалетные принадлежности; по дороге он вернулся к жене Эрнста — объяснил ей ситуацию.

Во вторник днем Жана Виссельса уже выпустили из тюрьмы. Всю ночь с субботы на воскресенье он провел в баре бельгийской военной полиции на западной окраине города за несколько километров от места убийства. Дело в том, что рядом с баром бельгийцев у Жана маленький садовый участок, и ребята из полиции присматривают за ним — пугают воришек. Около семи Жан ушел с участка и ввалился в бар с полной шапкой мирабели — хотел выпить кружку пива. Потом застрял на всю ночь — рассказывал фламандским парням о России. Разве это не алиби? Около пяти утра два военных полицейских-бельгийца привезли его на «джипе» домой.

А где же убийца? О боже, это ведь дело уголовной полиции. Население может обратиться в ближайший полицейский участок и оказать содействие в поимке. Вознаграждение — три тысячи марок. Поролон еще увеличил сумму — тысячу марок дал из социального фонда фирмы, тысячу из собственного кармана. Итого пять тысяч марок вознаграждения. А где же убийца? Бродит где-нибудь под небом этого города и молится Гитлеру.

Решился ли он присоединиться к тем многим-многим людям, которые захотели присутствовать на похоронах фрейлейн Луков? Все равно там одни чужие. Нет ни родных, ни Вольфгартена, ни Жана Виссельса. От имени руководства фирмы Поролон отбарабанивает речь слегка приглушенным голосом, как того требуют обстоятельства... Полезная сотрудница... Трагическая судьба... Безвременная кончина... Болезненная утрата... Будем с уважением помнить.

От друзей покойного папаши Лукова пришли трое стариков — вновь испеченных офицеров бундесвера. К счастью, они не выступили и явились не при пол-

<sup>1</sup> Колпинг — католический священник, организатор союза католических ремесленников.

<sup>2</sup> КРД — Католическое рабочее движение, католическая организация в ФРГ.

ном параде, а просто в черных костюмах со значками корпорантов и с фуражками в руках наподобие фуражек почтальонов. Оба «союза» тоже налицо: «Землячество Восточная Пруссия» и «Объединение беженцев из Восточной Германии». Представители союзов также вносят свою лепту. ...Вдали от родной земли... Дважды потерявшая родину... И на второй родине не обрела счастья... Но теперь зато обрела вечную родину на небесах...

Да, как уже сказано, все чужие. Тем не менее количество флагов, венков и пролитых слез весьма внушительно. Плачут и несколько совсем посторонних женщин. Молодой лютеранский пастор — он сам родом из Померании, никогда не видел фрейлейн Луков и уже не верит в воскресение во плоти — произнес всего несколько слов, и совсем тихо: «Да пребудет с тобою господь наш Иисус Христос, покойся в мире. Аминь».

И вот уже снова пятница. Сейчас утро. Через каждые несколько минут от Главного вокзала отходят к Мозелю специальные поезда, заказанные фирмой. Бутерброды уже выложены, бутылки откупориваются. С виду все эти люди, все эти фабербейновцы, которые садятся в специальные составы, ничуть не похожи на пролетариев. Они хорошо одеты, в летних светлых костюмах и платьях, женщины причесаны особенно тщательно, по моде. Лак на пальцах их ног ярко блестит на фоне серого асфальта перрона. Не разберешь, кто здесь рабочий, кто служащий, кто ведущий служащий, кто большое начальство. Различить это может только глаз посвященного. Непосвященный разделит толпу по совсем иному признаку: на тех, кто сразу прикладывается к бутылке, — их две трети — и на тех, кто возится пока с фотоаппаратами, — их одна треть. Смех вспыхивает уже у подножек вагонов, хотя еще под сурдинку. Погода подходящая, поезда резво убегают из города, мчатся к Рейну, в их широких, чисто промытых окнах отражаются небо и люди. Тепловозы украшены зеленью. Как приятно каждый год всем вместе выехать на лоно природы! Старик Фабербейн прав... Но вы, Вольфгартен, должны были остаться.

ВОЛЬФГАРТЕН. Я еду не для собственного удовольствия. Поскорее напьюсь — и дело с концом.

РАССКАЗЧИК. Конечно, старый Фабербейн рассчитывает на ваш авторитет, на то, что вы присмотрите за рабочими. Но ни один человек не смог бы вам помешать исчезнуть в этот день, забраться в какое-нибудь тихое заштатное кафе, или в лес, или в церковь, или на кладбище. Вы даже не сходили на кладбище.

ВОЛЬФГАРТЕН. Что мне там делать? Напьюсь поскорее, и точка.

РАССКАЗЧИК. Вольфгартен исполнил свое намерение. Он нашел купе, которое заняли Эрнст и бродяга Гюнтер, и еще до прибытия в Мозель высосал у них пол-литра можжевельной. Быстро охмелел. Чуть ли не силой заставил бродягу Гюнтера выпить с ним на брудершафт, Гюнтер смущенно согласился. Вольфгартен решил брать у него уроки латинского и греческого, и притом не откладывая. Гюнтер предлагает начать с латинского, но Вольфгартен жаждет учить оба языка одновременно. Частные уроки латинского и греческого. Сразу же после заводского гулянья. За любую плату. И Вольфгартен цитирует то место из автобиографии Шлимана, где говорится о счастье изучать греческий. Гюнтер рассказывает, что он учит и новогреческий. Поезд несется через обширную долину — справа и слева от железнодорожного полотна прирейнская низменность, загроможденная светло-серыми глыбами цемента.

— Ты большой молодец, — говорит Вольфгартен, — выучи еще итальянский — и я возьму тебя к себе. Тогда тебе не придется стать учителем, и ты будешь зарабатывать гораздо больше.

— Не для этого я учусь, между прочим, — возражает бродяга Гюнтер.

Вольфгартен целует его. А потом они подпевают громкоговорителю, из которого несется популярные песенки; а когда по радио начинают передавать плоские остроты из какого-то юмористического журнальчика, они заглушают эту пошляти-

ну своим пением. После Гюнтер вдруг встает и подзывает Эрнста и Вольфгартена к окну.

— Вот он, — говорит Гюнтер, — вот он сам, Мозель. Божья река.

Наконец они приехали в деревню посреди виноградников. Вольфгартен ведет обоих друзей к ближайшему ларьку, где продают в розлив местное вино, угощает их, упрашивает выпить. Хочет сквитаться за пол-литра можжевелевой. До обеда он успевает опрокинуть стаканов десять.

На заводских гуляньях руководство фирмы, по традиции, обедает в кругу рабочих с каким-либо одним цехом. На этот раз выбор пал на цех «С». Вольфгартен тащит Эрнста и Гюнтера за стол дирекции — этот стол чуть возвышается над остальными — и заставляет их сесть рядом с Поролоном и Фабербейном-младшим, но после первого же куса его рвет прямо на белую скатерть.

Гюнтер пытается оградить пьяного Вольфгартена от Фабербейна-младшего, от его недоуменно поднятых бровей, проявляет сострадание к совершенно растерявшемуся Поролону — и с ходу начинает врать.

— Да нет, он не пьян, — говорит Гюнтер, — мы ведь все утро провели вместе, он выпил самую малость, можно считать, вообще не пил.

Грязный, бледный как смерть Вольфгартен, шатаясь, бредет по залу, проходит мимо столов, покрытых скатертями. Скатерти — белые пятна — кружатся у него перед глазами, люди тоже кружатся, только это черные пятна; он не знает, что у него над головой — полотнище флага или небо. И вдруг все исчезает, все. А потом появляется что-то фиолетовое, слышится какой-то фиолетовый звон, и опять все исчезает, мостовая и трава сливаются в одно. Вольфгартен чувствует, что он куда-то спускается, плывет по воздуху, совсем один — какое восхитительное одиночество. Чувствует, что весь мир стал фиолетовым и что он опять куда-то спускается. Метра за два до мутных вод Мозеля, даже не заметив реки, Вольфгартен вдруг падает, валится лицом в траву, не ощущает этой травы; лежит так до самого вечера, будто мертвый.

Вольфгартен, покажите свою власть! Неужели вы не видите, что за этими «проклятыми» пролетариями надо надзирать? Рядом с вами люди скидывают ботинки, снимают носки, подворачивают брюки и с криками влезают в воду? Разве вы не видите, что девицы с «курорта» сбрасывают с напедикюранных ног босоножки, задирают платья до пупка и бегут в воду вслед за мужчинами? Разве вы не слышите их визг? Разве вы не замечаете, какие лица у работниц-гречанок? Испуганные, растерянные, нездешние лица, юные, как солнце Гомера?

Только под вечер, когда начинает темнеть, Эрнст и бродяга Гюнтер находят Вольфгартена и расталкивают его. За этот день директора по кадрам не раз фотографировали туристы, подгулявшие горожане и сотрудники фирмы. Дружки Вольфгартена, разумеется, тоже сильно навеселе. Они сажают начальника на скамейку у берега. Бродяга Гюнтер, сорвав пучок травы, обтирает ботинки Вольфгартена. А что делать с его костюмом? Эрнст недолго думая стаскивает с Вольфгартена одежду, раздевает его, как ребенка, вытряхивает из его карманов разную мужскую дребедень, кладет ее на скамейку рядом с Вольфгартеном. После этого он полощет вольфгартеновский пиджак и брюки в мутноватых водах Мозеля и выжимает их на пару с Гюнтером.

— Мокрый компресс ему на пользу, — говорит Эрнст, облачая Вольфгартена в мокрый костюм.

В ближайшей забегаловке друзья вливают в Вольфгартена три чашки кофе. Нет, есть он не желает. Он вообще больше не станет есть никогда. Да, кстати, кто эта красавица гречанка?

— Разрешите представить, — говорит бродяга Гюнтер, — моя будущая жена. Мы уже давно помолвлены, только тайно. Из-за моих родителей. Но с сегодняшнего дня игра в прятки прекращается.

Вольфгартен целует обоих.

Потом Вольфгартен бредет по поезду, от мокрого костюма его познабливает. В вагоне-ресторане, расталкивая народ, облепивший буфет, он протискивается к

стойке и покупает бутылку можжевеловой, ищет Эрнста, Гюнтера и девушку-гречанку, но они как в воду канули. В последнем полутемном вагоне Вольфгартен рывком раздвигает все двери подряд и включает свет; там творится нечто невообразимое. В одном купе он на минуту останавливается: жирная матрона с «курорта», совершенно раздетая, но в туфлях, стоит на коленях перед двумя техниками из корпуса «С». В ее красное платье закутался поверх костюма один из кавалеров, трусики и пояс матроны болтаются на стоп-кране, ее бюстгальтер сдвинут на середину живота, из-под бюстгальтера виден красный шрам от операции аппендицита. Вольфгартен обеими руками кладет женщину на живот. «Хоть разок влеплю», — говорит он. И шлепает матрону по заду. В качестве компенсации он отдает «трио» свою бутылку, расстегивает на матроне бюстгальтер и берет его с собой. Тушит свет, задвигает дверь и уходит. Снова, шатаясь, бредет по вагонному проходу, опять протискивается сквозь толпу людей, осадивших буфет, и покупает еще бутылку все той же можжевеловой. Его деньги намокли. С громким криком он размахивает над головой бюстгальтером. А немного погодя выбирает его из окна.

Примерно к часу ночи фабербейновские специальные составы один за другим начинают подкатывать к Главному вокзалу. Березки на торцах тепловозов уже завяли. Толпа, все эти «проклятые», вываливается из вагонов. Людской гомон превращает перрон в ад. Только пройдя контроль, на привокзальной площади в белесом свете фонарей-хлыстов распадаются тесно спрессованные кучки людей. На противоположном тротуаре стоит Жан Виссельс и плачет. Пока его еще никто не заметил. Пока еще люди заняты другим, гораздо более увлекательным зрелищем.

Фриц Вольфгартен, вырвавшись из расплзающегося людского месива, кидается на молодого Фабербейна и орет:

— Это ты, сволочь, издевался над Иреной!

Но Эрнст уже тут как тут. Обхватив Вольфгартена сзади, он оттаскивает его от Фабербейна. Бродяга Гюнтер подоспел чуть позже; Гюнтер опирается на свою возлюбленную, опирается основательно, и не без основания. Но на секунду он отчаливает от нее, шатаясь подходит к молодому Фабербейну и, стукнув его по плечу, говорит:

— Хотите, я подсоблю вам? — Местоимения «я» и «вы» он особо подчеркивает.

Блямба на лице Фабербейна уже исчезла. Зато у него течет кровь из носа. Перст судьбы опять стучит у него в висках. Но отдышавшись, он выкрикивает несколько фраз, которые вновь воскрешают в нем настоящего мужчину и хозяина. Наконец-то он избавился от комплекса после аварии на автостраде.

Вольфгартен все еще в бешенстве, но он не против того, что Эрнст сжимает его в своих железных объятьях, он уже сник, повис, как мокрый мешок. И не намерен вырваться из рук Эрнста. Бешенство его теряет силу, но по инерции он орет опять:

— Ты, сволочь, издевался над Иреной Луков!

Имя «Луков» произнесено. И вдруг на площади под блеклым светом фонарей-хлыстов запахло самосудом. Какой-то чертежник из технического отдела увидел на другой стороне площади у стоянки машин Жана Виссельса.

— Смотрите! Убийца! — кричит он.

И вот они уже ринулись к Жану, вооруженные бутылками. Беги, Жан, беги, спасай свою жизнь! Жан понял и помчался стрелой, пробежал четыреста метров, два квартала до полицейского участка. Сейчас он сидит там; в легких у него ни грамма воздуха, он хрипит и рыдает, размазывая по лицу сопли и слезы.

**РАССКАЗЧИК.** Вольфгартен бесцельно блуждает по магистрали девять. На улице ни пешеходов, ни машин. Иногда Вольфгартен касается железной гирианды справа и слева от мостовой — автомобилей, поставленных на ночь. Ему холодно; бутылка можжевеловой все еще у него в кармане; каждая клеточка в Вольфгар-

тене пьяна, но мозг у него сейчас совершенно ясный, мозг четко работает и громко предлагает различные варианты будущего. Поеду в Париж, стану побирущей, буду валяться под мостами у Сены. Дерьмо. Поеду в Восточный Берлин, буду строить социализм. Нет. Уйду в монастырь, стану братом-экономом. Последний вариант вызывает у Вольфгартена такой приступ смеха, что он садится на тумбу, хохочет, чувствует, что земля отсырела от росы. Стало быть, костюм у него уже высох. Подымается и, громко горлая, идет дальше. На мотив «Мельника» он орет: «Пойду я в монастырь и стану братом-экономом. Ура! Ура! Пойду я в монастырь и стану братом-экономом. Ура! Ура!»

Привлеченное его пением, из боковой улицы выезжает такси. Вольфгартен жестом подзывает таксиста, заговаривает:

— Нет, я пойду пешком. Но могу дать глотнуть. Хочешь?

Водитель такси, пожилой, тощий, морщинистый, небритый, невыспавшийся, пьет из горлышка.

— Хочешь хлебнуть еще?

— Хватит, — говорит таксист и в свою очередь спрашивает: — Ты что — последний ошметок Фабербейна? Все уже разбрелись?

— Именно, — говорит Вольфгартен весело, — я последний ошметок Фабербейна.

— Как же они тебя бросили? — спрашивает таксист.

— Именно, — отвечает Вольфгартен весело, — они меня бросили. — Он подымает указательный палец и добавляет: — Жана, впрочем, тоже. — И, помолчав, вдруг говорит: — Послушай, у меня есть идея. А ты, случаем, не встретишься с боженькой?

— Вполне возможно, — говорит таксист.

— Блеск, — говорит Вольфгартен, — я задолжал боженьке семьдесят две марки и сорок пфеннигов. Если увидишь его, передай от меня приветик и деньги.

— Будет сделано, — говорит таксист.

Вольфгартен передает таксисту четыре мокрых бумажки по двадцать марок.

— Что останется, можешь взять себе за комиссию.

— Послушай, братец, — говорит таксист, — давай-ка лучше я отвезу тебя к твоей старухе.

— Нет, — говорит Вольфгартен, — я человек свободный, и я пойду гулять. Делай, что тебе велено.

— Слушаюсь, — говорит таксист и отъезжает.

А вот наконец и фабербейновские дома. У парадного Вольфгартен увидел свою зеленую машину. Размахнувшись, бросил в ветровое стекло бутылку можжевеловой. Стекло со звоном разлетелось, за окнами дома зашевелились люди — члены семей служащих фирмы. Обращаясь к ним, Вольфгартен заорал:

— Па-про-ш-шу не мешать! — И добавил: — П-п-рош-шу также не п-п-п-омогать. Я-с-с-с-но?

За окнами тут же стихло. Неровен час это сам Вольфгартен, директор по кадрам у Фабербейна. Человек, которому так завидуют и которого не так уж любят.

Только воробьи безмятежно чирикают, рассвет уже давно разбудил их. Вольфгартен садится на ступеньки и при свете дня скользит взглядом по деревьям и желобам крыш, стараясь разглядеть воробьев, любителю божьими птицами. Потом его голова падает на грудь, Вольфгартен засыпает.

*Перевела с немецкого Л. Черная.*



---

---

# ДНЕПРОВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. БЕРДЫШЕВ

★

## МОИ ДРУЗЬЯ—КОЛХОЗНИКИ

*(Из записок председателя колхоза)*

**А**вгуст 1955 года выдался необычно жарким. Но в помещении райкома партии было прохладно. Мы сидели на диване у окна и курили. Мы — это первый секретарь Кардымовского райкома КПСС, Смоленской области, Иван Наумович Петраков и я — кандидат биологических наук, направленный в счет тридцати тысяч для работы в деревне. Мы только что вернулись из колхоза имени Буденного, председателем которого меня предполагалось рекомендовать по плану, составленному в обкоме.

— Ну что ж, Александр Петрович, давай будем решать...— Петраков внимательно посмотрел на меня, словно приглашая к совместному решению трудной задачи.— Колхоз имени Буденного у нас еще не самое больное место. Андреев там хоть и проштрафился, но, если его держать в руках, будет работать. А есть, брат, такие хозяйства, что на глазах разваливаются. Коровы недоенные, ходят без надзора, того и гляди одиночают... Есть у меня одна идея. Ты мужик, по всему видать, толковый, с рюмочкой, говоришь, не дружишь. И главное, с наукой в ладах. Вот мы с тобой и поставим эксперимент.— Тут Иван Наумович весело подмигнул мне, хлопнул по плечу и, заметив мое недоумение, дружелюбно рассмеялся.— Ладно, ладно, не беспокойся. Иди-ка сейчас отдыхай, а завтра я тебя свожу в один колхоз, посмотрим и план мой на месте подробно разберем.

На следующий день — еще не было восьми утра — райкомовский «газик» засигналил около гостиницы, а через полчаса мы уже были в колхозе «12 лет Октября». Там-то после поездки по хозяйству Иван Наумович и выложил мне свою, как он выразился, дальнобойную идею.

— Хозяйство-то, видел сам, развалюха. Да и откуда ему быть другим. Его, брат, в Отечественную два раза проутюжили танками и дважды бомбили. Колхоз расположен на переправе через Днепр. Когда наши уходили от Смоленска, сюда хлынула масса машин. А паром видел какой? При такой переправе, сам понимаешь, машин в Соловьеве сосредоточилось видимо-невидимо. Немецкие самолеты шли волнами и бомбами засыпали всю деревню. Было тут чему уцелеть? Машины, спасаясь от бомбежки, пытались пройти прямо по дну Днепра. В реке столько техники было, что и сейчас еще можно машины найти. Ну а потом все повторилось, когда наши погнали немцев от Москвы. Только теперь уж попала здесь в ловушку фашистская техника. Пострадал, конечно, и колхоз.— Иван Наумович, вздохнув, продолжал: — Знаешь, в чем сейчас главная трудность распространения передового опыта? Попробуй-ка убедить председателей, что результат завоеван трудом, применением нового, прогрессивного приема. Знаем мы, кричат, у него народу много. Или: хорошо ему, у него почвы не хуже украинского чернозема. Вот я и думаю: давай дадим тебе этот колхоз. Разорен он до основания, почти ни одной общественной постройки не осталось, почвы у него — хуже некуда: пески да голый подзол, народ разбежался. И если уж у тебя будет что-то полу-

чаться, никто не сможет говорить о благоприятных условиях. Будем на твоём примере учить, как выбиваться из нужды.

— Да будет ли пример-то, Иван Наумович? Очень уж плохое хозяйство.

— А это от тебя будет зависеть. Сразу, конечно, образцовое хозяйство не сделать. Чудес не бывает. Но главное — чтобы все видели, что даже в таких труднейших условиях можно двигаться вперед. Понял мою идею? Чем можем, будем тебе помогать. Конечно, трудно придется. Очень трудно. Но насколько я тебя понял, ты ведь не отдыхать сюда приехал.

Мы одновременно взглянули друг на друга и рассмеялись.

— Ладно, Иван Наумович, будем осуществлять твою идею.

— Вот и хорошо. А места здесь привольные. И охота, и рыбалка, и грибов с ягодами сколько хочешь. Видишь вот те леса? Там, брат, края нехоженые. Что твоя тайга.

Собрание проводили на улице. Около клуба поставили стол для президиума, а колхозники расположились на траве. Мужчины непрерывно дымили, обсуждая какие-то свои дела. Председатели здесь менялись настолько часто, что к их смене давно привыкли. Женщины казались более заинтересованными. Потом я разобрался в причине этой большей активности женщин. А пока мне казалось, что это обычное женское любопытство. Иван Наумович коротко представил меня, особенно упирая на наличие ученой степени. Колхозники выжидающе смотрели на меня.

Разными были эти взгляды. В одних читалось глубокое равнодушие, другие выдавали простое любопытство. Во многих можно было увидеть сочувствие и надежду, в некоторых — тревогу. В иных ощущалась даже откровенная неприязнь. Что же мне сказать им? До этого я как-то не задумывался над своей первой речью перед колхозниками, всегда считал, что существо человека определяют не его слова, а его дела. Но общение началось с собрания.

— Товарищи колхозники! — сказал я. — Народная пословица говорит: чтобы узнать человека, надо пуд соли с ним съесть. Поэтому я понимаю, как вам трудно выбирать своим руководителем незнакомого человека. Тем более что у вас уже есть печальный опыт. Ведь пуганая ворона и куста боится. (Колхозники заметно оживились.) Я откровенно скажу, что чуда я вам не обещаю, да вы и сами мне не поверите. Хозяйство на грани развала, это вам лучше меня известно. Поднять его трудно. Но можно. Можно, если сами того захотите. В колхозе все создается трудом крестьянина. Задача председателя и других колхозных руководителей заключается в том, чтобы ваш труд не был бесполезным и бесплодным. Зачастую в плохом колхозе люди работают даже больше, чем в хорошем. А урожаи низкие, скот малопродуктивный, молодняк гибнет. И все потому, что делают не то, что нужно, и не тогда, когда нужно. Вот сейчас август на дворе, а вы еще сенокосом занимаетесь. Труда в заготовку сена вкладываете не меньше, чем другие, а сенцо-то ваше уже не то. Так вот, я обещаю, что все свои знания, энергию положу на то, чтобы ваш труд был и более легким и более полезным. Поддержите меня — колхоз пойдет в гору и жизнь будет лучше и веселее.

После аплодисментов Иван Наумович предложил задавать вопросы. Колхозницы смущенно молчали. Вдруг кто-то из мужиков крикнул:

— А водку пьешь?

Люди захохотали, но тут же насторожились.

— Вопрос весьма существенный. Сам не пью и пьяницам поблажки не будет. Это я твердо обещаю.

Женщины весело заулыбались, видно было, что мое заявление пришлось им по душе.

Иван Наумович поставил вопрос на голосование, и колхозники избрали меня своим председателем. Сердобольные женщины тут же подошли ко мне и стали обсуждать проблему моего жилья и питания. Правление находилось в хате старушки колхозницы, которой за это начислялись трудодни. Меня же решили поселить в хате Акулины Алексеевны Простаковой. Она жила вдвоем со взрослым сыном, и все решили: мне там будет удобно. Переговоры с хозяйкой закончились быстро, комната мне понравилась.



Иван Наумович тепло попрощался со мной, посоветовал поскорее ознакомиться с хозяйством, продумать план ближайших мероприятий по его восстановлению и с этим планом приехать к нему. Со своей стороны он обещал мне всяческую поддержку. Райковский «газик» укатил, а я остался в колхозе.

\* \* \*

Колхоз «12 лет Октября» раскинулся по обе стороны Днепра при пересечении его старинным Дорогобужским трактом. На правом берегу стояла деревня Соловьево — центральная усадьба колхоза, когда-то большое красивое селение, расположенное буквой «Т». Крылья этого знака составляли улицы, протянувшиеся по берегу Днепра, а хвост — улицу вдоль шоссе, которое упиралось в переправу. Но когда я приехал в колхоз, на улице этой стояло лишь несколько наспех собранных послевоенных хат колхозников, сельсовет, приемный пункт молокозавода, магазин и почта. О том, какой была эта улица, напоминали лишь деревья и кустарник на месте усадеб да пустыри приусадебных участков. Чуть в стороне зеленым четырехугольником сада выделялась школа-восьмилетка.

Несколько ниже по Днепру выстроилась вдоль маленькой безымянной речки деревня Макеевская. Она значительно больше Соловьева и по числу дворов, и по количеству колхозников. Макеевская была самостоятельной бригадой, тогда как в соловьевскую входили еще две деревни: Задняя, в полукилометре от Соловьева, и Пищину — в пяти. В Пищине всего пять дворов, а работающих в колхозе — ни одного человека.

Деревни за Днепром составляли третью бригаду. В нее входили деревня Коровники — самая большая и населенная — и деревня Часовня. Трудоспособных колхозников в Часовне — раз-два и обчелся.

Земли колхоз имел немногим более трех тысяч гектаров. По угодьям она распределялась примерно так: около девятисот гектаров пашни, немногим более тысячи гектаров лугов, остальное — пастбища и леса. Колхозные угодья располагались крайне неудобно. Самые лучшие поля имела соловьевская бригада. Но здесь в трех деревнях едва-едва можно было собрать около десятка трудоспособных колхозников. К тому же в Соловьево находилась главная молочнотоварная ферма, которая требовала много людей. В результате сложилась на редкость неразумная система хозяйства: лен сеяли в Коровниках на песчаных почвах и, конечно, ничего не получали. Лучшие соловьевские земли занимали из года в год зерновыми и развели столько сорняков, что они заглушали любую культуру. В Коровниках и Макеевской не было постоянных кадров животноводов, ухаживали за скотом по очереди. В результате продуктивность была очень низкой (около семисот литров молока на корову за год), массовый падеж молодняка стал обычным явлением, и, конечно, фермы были убыточными.

Приехал я в августе, когда итоги хозяйственного года были уже предрешены. Выходило так: средний урожай зерновых — около пяти центнеров с гектара, картофеля — около пятидесяти центнеров, надой на одну корову в среднем — семьсот литров, денег на трудодень — десять копеек (по нынешнему курсу копейка). Выработав обязательные двести трудодней, колхозник мог заработать за год на нынешние деньги два рубля. Невольно приходилось удивляться самоотверженности людей, которые выработывали в полеводстве по четыреста—пятьсот трудодней. На счетах колхоза были одни долги. Скучные доходы едва-едва покрывали проценты по ссудам колхоза. Можно было только поражаться запущенности земельных угодий. Поля были с рваными краями, неровной поверхностью, вывороченный подзол пестрел серыми плешинами. Даже неубранные яровые не могли скрыть этого. Луговые долины заросли кустарником, покрылись кочками. Только приднепровские заливные луга были более или менее приличными.

Через неделю вся план-карта землепользования была испещрена моими пометками, а общая тетрадь заполнена записями, схемами, чертежами. Было ясно, что рассчитывать на взрыв энтузиазма у колхозников не следует. Значит, ставку нужно делать на те отрасли, которые дадут скорые результаты с меньшими затратами труда. Пашню довели до крайней степени истощения, и нужно вложить много труда и средств, чтобы получать отдачу. Оставались заливные луга. Они получают естественное удобрение во

время весенних разливов и еще способны давать до пятнадцати центнеров сена с гектара. Можно будет откормить скот, и животноводческая продукция принесет колхозу первый доход. Правда, на заготовку сена нужно тоже немало труда. А что, если заготовку корма для личного скота поставить в зависимость от заготовок для общественного животноводства? Таким образом проблему кормов в колхозе решить можно. Итак, путь выбран. Животноводство. И начинать нужно уже с этого года. Успех дела определялся решением четырех основных проблем: поголовье скота, корма, животноводческие помещения и животноводческие кадры.

Прежде всего нужно было разобраться с запасами кормов на зиму. Оказалось, животноводческие фермы лишь наполовину были обеспечены сеном. И это при наличии тысячи с лишним гектаров лугов и сравнительно небольшого поголовья скота. Силос в колхозе вообще не заготавливали. Об использовании картофеля на корм скоту не могло быть и речи. Его еле-еле хватало на семена и выполнение государственного плана заготовок. В то же время основные массивы лугов были убраны, и при объезде хозяйства я видел большое количество стогов. Сено было накошено для личного скота. «Что за чертовщина! — подумал я. — Как же они умудряются столько накашивать? Ведь как никак распределение продукции, в том числе и сена, ведется по трудодням».

Понять, в чем тут дело, помог мне Нил Ильич Кожанов, бывший в то время секретарем партийной организации. Он часто менял место жительства и профессию: уезжал в город и возвращался, работал то комбайнером, то секретарем сельсовета, то завклубом. Жил он вместе со стариками — отцом и матерью — в деревне Макеевской. Жена его работала учительницей. Человек он был с большим житейским опытом и покладистым характером. Физически работать он не мог из-за какой-то болезни сердца. Недостаток у Нила Ильича был, пожалуй, один — любил выпить. Несмотря на это, он безусловно сыграл положительную роль в укреплении колхоза.

Слушая рассказ Нила Ильича, я невольно восхищался находчивостью колхозников, их умению приспособиться к самым трудным условиям. Оказывается, все делалось «законно». Сено колхозники косили на трудодни, по контракции телят и за долги. Имея приусадебный участок около трети гектара и хорошо возделывая его, колхозник вполне обеспечивал себя картофелем и овощами. Хватало картофеля и на корм скоту, а при хорошем урожае и на продажу. Летом скот пасется на пастбищах. Нужно лишь сено на зимний период. Вот как оно добывалось в нашем колхозе. Наступает сенокосная пора. Колхозники не спешат. Нетрудоспособные отсиживаются дома, занимаясь приусадебным участком, другие изредка ходят на работу. А время идет. Обеспокоенное начальство начинает принимать меры. Объявляется, что на каждый заработанный на сенокосе трудодень будет выдаваться по десять килограммов сена. Или еще проще: иди на луга коси за «проценты» (а они иногда доходили до пятидесяти). И тогда картина меняется. Вчера еще безлюдные луга пестреют разноцветными платьями и платками женщин, пахнет дымком от костров, потому что теперь уже не ходят обедать домой. Иногда проработав всего месяца два в колхозе, многие запасаются сеном с избытком. Тем более что сено никто не взвешивает, количество его в стоге определяется «на глазок», а ведь известно: глаз как алмаз — сколько надо, столько и отрежет. Так добывали сено, кто мог работать. Но в колхозе были и такие семьи, которые не могли или не хотели работать за «проценты» или зарабатывать сенокосные трудодни. На помощь им приходила контракция телят. Дело в том, что колхоз должен выполнять государственный план заготовок мяса. На колхозных фермах телят, как правило, не было. Из-за плохих кормов в зимний период многие коровы оставались яловыми. А план, как дамклов меч, висел над головой председателя колхоза, вынуждая его изворачиваться. Самый доступный путь — контракция телят. Попытаюсь объяснить это на примере.

Жила в нашем колхозе одинокая старушка — Мария Степановна Зазыкина. Было ей под семьдесят, но выглядела она еще бодро: полная, крепкая, за глаза называли ее «репкой». Жила она в деревне одна, но имела приусадебный участок, хорошую корову, держала свиней. Сыновья ее жили в городе и только изредка наезжали в родные края. Коровка Марии Степановны исправно каждый год приносила по теленку, а хозяйка к концу пастбищного периода выкармливала его килограммов на сто пятьдесят — сто восемьдесят. За каждый килограмм живого веса сданного теленка колхоз выдавал по

десять килограммов сена. Стало быть, Мария Степановна могла накопить восемнадцать центнеров сена да плюс проценты за косьбу — около двух центнеров. Осенью на ее усадьбе красовался стожок в две с половиной—три тонны.

А ведь чтобы выполнить колхозный план мясозаготовок, нужно было законтраковать не один десяток телят.

Каждый год, не выполняя плана заготовки кормов, колхоз весной оказывался в тяжелом положении. Животноводы снимали с крыши коровников солому и скармливали ее скоту. Осенью коровники накрывали свежей соломой, с тем чтобы весной снова использовать ее на корм. Создавалось нелепое положение, при котором не колхоз вырубал в беде колхозника, а наоборот. Давали в долг кто полтонны, кто тонну. Больше давать было невыгодно. И вот почему. Когда колхозник даст взаймы две тонны, то при косьбе за возврат долга он может поставить стожок на такое же количество, и, следовательно, расчет произойдет баш на баш. А вот если он косит для возврата долга в полтонны — тут уже другой оборот. Стожки на полтонны не ставят. Вот и навалит на тонну с гаком. Кто же будет придирается к человеку, оказавшему колхозу услугу в тяжелое время? С годами долгов становилось все больше и больше, и когда, разбираясь с кормовым балансом, я увидел ведомость, у меня волосы стали дыбом.

— Э-э, Петрович, это еще полбеда — законные стожки, — сказал Нил Ильич. — А ведь сколько их еще незаконных. Луга-то с кустарниками и лесами. Там, брат, секретный завод спрятать можно, а не то что стог сена. Есть такие ловкачи, что косят на два стога. Один ставят на видном месте — для правления колхоза, а второй замаскируют. Зимой возит — попробуй тогда разберись: законное или незаконное.

Вместе с Нилом Ильичом решили немедленно произвести инвентаризацию всего накошенного сена. Объявили колхозникам, чтобы на следующий день каждый хозяин стога поставил в него бирку с указанием фамилии, имени и отчества. Стога, обнаруженные при инвентаризации без бирок, будут считаться колхозными.

В каждую бригаду послали по два человека. Для большей объективности инвентаризаторы направлялись из других бригад.

Через три дня комиссия Нила Ильича закончила инвентаризацию и представила ведомости. Все стога были пронумерованы и обмерены. По-видимому, часть колхозников, имевших «незаконные» стожки, не захотела себя обнаруживать, так как оказались стога без бирок. Подсчитав излишки сена и приплюсовав к ним бесхозные стога, удалось дефицит сена для ферм сократить наполовину. Надо было как-то изыскать еще двадцать пять процентов. Нил Ильич намекнул на возможность отказаться от возврата долгов — в долги-де залезло старое руководство. Но мне это было не по душе. «Единойды солгав, кто тебе поверит», и коль скоро соглашение между правлением колхоза и колхозниками состоялось — надо его выполнять. Мне хотелось, чтобы колхозники знали, что слово председателя твердое и с делом не расходится.

Нужно было искать другие пути. И тут кто-то из колхозников подсказал: долги возвращать нужно, но разве обязательно в этом году? Ведь у колхозников сена много. Собрали мы своих кредиторов, и я повел с ними такой разговор:

— На зиму колхоз заготовил только половину необходимых кормов. На будущий год мы этого не допустим. Пока не будет полностью заготовлено сено для ферм, для личного скота никто ни одной сотки не получит. Ведь так положено по уставу? (Все смущенно молчали.) Я об этом говорю открыто, чтобы вы заранее знали. Партийная линия такова, чтобы непрерывно повышать благополучие колхозников. Но повышать его через общественное хозяйство. Личное хозяйство должно быть только подсобным. Стоит подумать над тем, когда вам лучше получить сеной долг: в этом году, когда у вас сена и без того достаточно, или на будущий год, когда кому-нибудь его может и не хватить. Я думаю, многим на будущий год долги пригодятся. А чтобы не было сомнения, выдадим расписки в том, что сено взято в этом году.

Так удалось «заготовить» еще около пятидесяти тонн. Но дефицит все же оставался. С руганью и слезами колхозники накопили недостающее сено. Тем, кто не выполнил решение правления, соответствующую цифру занесли на лицевой счет колхозника в виде его долга колхозу. Так впервые появилась обратная величина. А с долгами колхозникам мне и потом еще пришлось **хлебнуть лиха**. Случались и **казусные истории**.

Узнав о том, что мы честно возвращаем долги, стали появляться с расписками лица из других колхозов: оказывается, когда-то брали и там. Даже много лет спустя, когда все долги расчистили, колхозник Никифор Васильевич Зазыкин где-то в своих семейных архивах выкопал долговую расписку «столетней» давности и предъявил ее правлению. Смех смехом, а и по этой расписке сено вернули.

Не менее сложной оказалась и проблема животноводческих кадров. Центральная ферма размещалась в Соловьеве. Когда-то это было вполне разумно: в Соловьеве хорошие пастбища, скотные дворы стояли на удобной площадке на берегу Днепра с хорошим выходом к водопою, изолированно от деревни, но и недалеко от нее. После войны немногочисленные колхозники кое-как соорудили себе хаты. Работать было некому, а скотные дворы оставались на старом месте. Нужно было не только найти людей, желающих работать на ферме, что само по себе было делом трудным, но и найти таких людей за пределами Соловьева. Сжалившись над коровами, которые по несколько дней оставались голодными и недоеденными, пошла работать дояркой Фекла Ананьевна Моисеенкова, хоть ей было уже за семьдесят. Натруженными старческими руками она с трудом выдаивала прикрепленных к ней коров, затрачивая на это вдвое больше времени, чем молодые доярки. А ведь надо еще раздать коровам корм и положить подстилку. Благо, в то время скотные дворы были без полов и доярки их не чистили. Вконец обесиленная, Фекла Ананьевна, придя домой, частенько засыпала, забывая про еду.

От катастрофы ферму спас ее заведующий Юрий Михайлович Простаков — сын моей хозяйки. Молодой еще парень, влюбленный в свое дело, он работал с увлечением, граничащим с фанатизмом. Он готов был трудиться все двадцать четыре часа в сутки, чтобы коровы и телята были накормлены, напоены, чтобы зимой им не повредил мороз. Когда по нерадивости колхозников к ферме своевременно не подвозились корма, он запрягал лошадь и ехал за сеном или соломой или, если требовалось, сам становился доярком. Но это не решало проблемы доярок и телятниц. Для этого было три пути: первый — переселить нужных людей из Коровников, где было больше всего колхозников; второй — подобрать колхозниц в Макеевской, с тем чтобы они согласились ежедневно ходить в Соловьево; и третий — искать людей за пределами колхоза и поселять их в Соловьеве.

Я пытался испробовать все пути, но время шло, а положение с животноводством почти не улучшалось. Колхозницы, кто слезами, кто шуткой, отбивали все мои атаки по вербовке на фермы. А поочередная работа доярок сводила на нет те небольшие улучшения, которые удалось сделать в содержании и кормлении коров. Хотя и с большим трудом, но все же мы преодолели исконную крестьянскую традицию лучшее сено отдавать лошадям. В свое время это было оправдано — лошадь была кормилицей крестьянина, на ней выполнялись основные полевые работы. Время неизменно изменило положение лошади в колхозе. И наоборот, значение коровы в общественном животноводстве резко возросло. Потому-то и имело смысл перестроить кормовой баланс в пользу коров, и это быстро дало результаты. В группах, где были постоянные доярки, удои заметно повысились. Колхоз стал выполнять план заготовок молока. Но в группах, за которыми ухаживали по наряду, надои продолжали оставаться низкими. Мрачные мысли одолевали меня. Приближалось время отелов. Как сохранить телят, если они снова каждый день будут переходить из рук в руки? Я еще энергичнее взялся за поиски животноводов. И наконец лед тронулся. Сработал третий «пункт» моего плана.

Однажды в Соловьеве появился новый житель — первая за мою бытность в колхозе штатная телятница Дуня. Судьба ее была трагична: из ревности убила она, молодой совсем, своего мужа и, выйдя после пятнадцатилетнего заключения, оказалась совсем одна в чужих краях. После всяческих перипетий она попала в кардымовскую милицию и здесь столкнулась со мной. Во избежание всяких кривотолков я собрал всех соловьевских женщин и рассказал им о Дуне и ее судьбе. Женщины весьма сочувственно отнеслись к новой телятнице. Они увидели в ней несчастного человека, который почти половину жизни, причем в лучшей ее поре, провел в тюрьме. Во время моего рассказа многие сидели пригорюнившись и тяжело вздыхая, а некоторые откровенно размазывали рукой катящиеся по лицу слезы.

Женщины помогли Дуне обзавестись необходимой посудой, притащили ей картошки, капусты, огурцов и другой нехитрой снеди. Вскоре я заметил на ней хотя и старые, но теплые валенки, вполне приличную стеганку. На ферме Юрий Михайлович внимательно следил за ее работой, добродушно указывал на промахи, терпеливо учил нелегкому делу — воспитанию телят. Приветливое обращение колхозников отогрело искаленную душу женщины. Если первое время она отмалчивалась и старалась больше быть наедине, потом общение с людьми, разговоры с ними стали для нее необходимыми. А телятница из нее получилась отменная. Телята на выпасе гурьбой ходили за ней, сопровождая иногда даже в магазин. Любовное отношение к животным и тот запас знаний по уходу и кормлению, которые за короткий срок сумел привить ей Юрий Михайлович, сделали свое дело. Даже в не очень еще хороших условиях падеж телят прекратился, и они росли, радуя глаз.

Говорят, что беда не приходит одна. Бывает, очевидно, и наоборот, когда одна радость ведет за собой другую. Вскоре на соловьевской ферме появилось еще пополнение. Наиболее дальновидные из колхозников поняли, что укрепление животноводства — не временная кампания, проводимая по очередной «директиве района», а новый курс развития колхозов. И, как всякое новое, будет получать поддержку, иметь определенные преимущества. Я старался всячески подчеркнуть это. Животноводам в первую очередь предоставляли лошадей для личных нужд. Они пользовались всяческими льготами, им выделяли лес для ремонта домов, сараев. Большое впечатление на колхозников произвел случай с отпуском из колхоза Любы Тиньковой.

Мать Любы — Мария Ивановна Тинькова — работала дояркой на соловьевской ферме. Проработав лет пятнадцать, она накопила большой опыт и все время держала первенство. Правда, она частенько жаловалась на усталость и собиралась уходить, но привычка к коровам и мои уговоры пока удерживали ее. Давая разрешение на отъезд ее дочери, правление колхоза как бы подчеркивало свое уважение к заслугам Марии Ивановны и выделяло ее среди других колхозников, и, кроме того, втайне я надеялся, что в благодарность Мария Ивановна оставит мысль об уходе с фермы.

Этот случай имел отношение к «проблеме невест» в колхозе, и о ней стоит рассказать подробнее. Пятнадцатилетние парни, окончив восьмилетку, уходили из колхоза, перейдя в старшие классы средней школы или поступив в техникум. Восемнадцатилетние уходили в армию. Как правило, они в колхоз не возвращались. Для девушек пути из колхоза были более тернистыми. Не каждая из них могла пробиться в техникум или институт. Но для каждой наступала пора любви и создания семьи. А кого любить, если все ребята в городе. Так возникла «проблема невест». Матери невест осаждали меня просьбами отпустить дочерей из колхоза. Они заливались горючими слезами, умоляли не калечить молодые жизни их детей. Я и сам понимал их трагедию, но в то же время видел, как страдало хозяйство из-за недостатка рабочей силы, понимал, что без людей колхоза не поднять. Я убеждал колхозниц как мог, говорил им, что дела в колхозе скоро поправятся, будут возвращаться парни из города. Пусть дочка идет работать на ферму, помогает укреплять хозяйство. А когда колхоз поднимется — женихи сами наедут. И вдруг — принято решение об отпуске Любы Тиньковой вопреки установленному мною же порядку. Взбудораженные матери невест бросились ко мне и, ссылаясь на пример с Тиньковой, требовали отпуска своих дочерей. Но я снова и снова отказывал, а случай с Любой объяснял тем, что для нее сделан исключение как для дочери доярки. О животноводах в колхозе стали говорить более уважительно.

Однажды в правление зашла колхозница из Макеевской Елена Кузьминична Зуева и, дождавшись, когда я остался один, попросила:

— Петрович, дал бы ты мне шифера. Строить-то когда еще соберется, а у меня хата без крыши. Мне и надо-то всего листов двести. А я бы пошла работать дояркой в Соловьево.

Предложение обрадовало меня. Я уже знал Елену Кузьминичну как отличную колхозницу, дисциплинированную и трудолюбивую. Любую порученную ей работу она делала не кое-как, не лишь бы сделать. Сажала картофель — клубни всегда ложились у нее куда надо, расстилала лен — ленты получались ровные по толщине и красивые.

При ее характере и отношении к делу из нее безусловно должна получиться хорошая доярка.

— Конечно, дадим шифера, Елена Кузьминична. Какой может быть разговор. А ты, коль уж решила работать на ферме, иди сейчас к Юрию Михайловичу и вместе с ним подбери себе группу коров из тех, что доятся по очереди. Он поможет тебе выбрать получше.

Радость моя оказалась преждевременной. То ли кто отговорил Елену Кузьминичну, то ли сама она испугалась, только на другой день она пришла снова.

— Боязно мне, Петрович, одной ходить из Макеевской в Соловьево. Ночи стали темные, а там и совсем зима на дворе. Вот если бы вдвоем с кем. Найди-ка ты еще кого-нибудь в Макеевской.

Как ни убеждал я Елену Кузьминичну — ничего не помогало. Я предлагал выделить лошадь для поездки. Зуева стояла на своем:

— Да ведь пока я схожу на конюшню да запрежу лошадь, можно и до фермы идти.

Уговорились, что оба будем искать в Макеевской Елене Кузьминичне подругу по работе на ферме. Правда, к тому времени я не один раз обошел все хаты в Макеевской и уже отчаялся увидеть Зуеву дояркой. Недели через две, встретив меня, Зуева с торжествующей улыбкой сообщила:

— Нашла я, Петрович, себе подругу. Теперь можно идти на ферму.

Я не поверил своим ушам, и Елене Кузьминичне пришлось повторить еще раз. Даша Гринева! Лучшая звеньевая льноводных звеньев макеевской бригады Даша Гринева, молодая женщина, задорная, боевая, веселая, идет на ферму! Да ведь эти женщины вместе с Марией Ивановной Тиньковой из соловьевской фермы конфетку сделают. Ну и повезло же тебе, Александр Петров!

Мне предстояла, правда, тяжелая миссия: уговорить Марию Ивановну и Феклу Ананьевну передать часть своих коров Зуевой и Гриневой, чтобы поставить всех доярок в более или менее равные условия. Зная, сколько труда вложила Тинькова в свою группу, я не отважился прямо сказать о предстоящей операции с разделом коров. Я сказал только, что скоро придут новые доярки, даже не назвав их. На следующей дойке снова завел разговор о новых доярках, жалея, что им достанутся плохие коровы. Фекла Ананьевна первая выдвинула идею о некотором перераспределении коров. Я молчал, надеясь, что сердобольная Ананьевна разжалобит и Тинькову. Я понимал, что дояркам трудно расстаться со своими группами. Ведь у Тиньковой не только те коровы, которых она вела сейчас, но и их бабушки и прабабушки выхожены ею. На помощь, как это часто бывало, пришел Юра Простаков. Он предложил разделить всех коров на четыре группы, так, чтобы в каждую из двух новых групп попало по четыре коровы от Марии Ивановны, по четыре — от Феклы Ананьевны и по семь-восемь — от обезличенных. Восемь коров, которые должны остаться в их группах, Тинькова и Фекла Ананьевна выбирают сами, а всех обезличенных распределит Простаков. Юра с часик поколдовал над списками, и вскоре новые группы были скомплектованы. Тогда я объявил имена новых доярок и... Боже, что произошло дальше! Тинькову с Феклой Ананьевной точно подменили. Они с гневом набросились на меня, требуя разорвать списки, крича, что я обманул их и что они не согласились бы на раздел, если бы раньше узнали, что за доярки придут на ферму. Тогда я переменял тактику. Не обращая внимания на взбунтовавшихся доярок, стал обсуждать с Простаковым проект будущей застройки животноводческого городка. Это отвлекло их от скандальной темы, и они успокоились. Тогда я возобновил прерванный разговор. Оказывается, дояркам было обидно, что их трудом воспользуются макеевцы, всегда насмежавшиеся над соловьевскими животноводами. Но все же они вынуждены были признать, что Зуеву и Гриневу обвинить не в чем. Вскоре доярки окончательно убедились в своей неправоте и обещали встретить новых подруг по-хорошему.

С приходом Зуевой и Гриневой дела на соловьевской ферме заметно пошли в гору. На ферме установился определенный режим, стало значительно чище, уютнее. Надол коров стали заметно повышаться, соловьевская ферма начала обходить коровниковскую. Это задело самолюбие коровниковских доярок. Фермы стали соревноваться.

Конечно, это было только начало. Проблему кадров нужно было еще решать и решать. В Коровниках требовался хороший заведующий. Подумывал я и о грамотном специалисте, который мог бы по-настоящему наладить животноводство. Вскоре и эти вопросы были решены.

Председателем колхоза до меня работал Дмитрий Платонович Зазыкин, мужчина средних лет, зоотехник по образованию, умный и трудолюбивый человек. Как же такой человек не удержался на должности председателя? Это может показаться удивительным только тому, кто далек от жизни колхозов Нечерноземья пятидесятых годов. За пять лет, что я проработал в колхозе, в Кардымовском районе в тридцати двух хозяйствах сменилось более ста председателей. Большинство из них были прекрасные люди. Умные, грамотные, энергичные. Дмитрия Платоновича сгубила водочка. Был он местный житель, половина колхоза — его родственники. Дома одних лишь родных братьев занимали целую улицу в Соловьеве на берегу Днепра. В трудные послевоенные годы нужда многих гнала за помощью к председателю колхоза. Пойдет, рассказывают, Платонич по делам, а обратно домой идти уже не может. Родственники угощают, а откажутся неудобно. Да и жизнь колхозная тогда не радовала — выпивал и с горя.

Сдав мне колхозную печать, Дмитрий Платонович уехал в Ярцево. Однако канцелярские дела пришлось ему не по душе. Да и без семьи, очевидно, неудобно было. Короче говоря, вскоре зашел как-то Дмитрий Платонович ко мне и без обиняков попросил взять его в колхоз на должность зоотехника. Я откровенно высказал ему свои сомнения: пристрастие к вину и возможная зависимость от родственников. Зазыкин твердо обещал мне, что от вина будет воздерживаться, а родственники особого интереса к нему проявлять не будут, поскольку он больше властью не располагает.

В то время меня волновала судьба нашей партийной организации, весьма малочисленной и слабой. Зазыкин мог сыграть в ее укреплении определенную роль. Я подключил Дмитрия Платоновича к осуществлению своего плана подъема колхоза. Взяв на себя вопросы строительства помещений и механизации ферм, я поручил ему заботу об увеличении поголовья скота, заготовку кормов и их расходование, подбор и обучение животноводческих кадров.

В райкоме партии всполошились было, узнав, что я взял на работу Зазыкина. Многим казалось, что старый председатель всегда будет помехой новому. Однако я отшутился, заявив, что если следовать этому принципу, то надо разогнать всех мужиков в колхозе, поскольку почти все они в свое время побывали председателями.

Я не ошибся. С Платоничем мы работали весьма дружно. Трудолюбивый, знающий свое дело, он умело организовывал заготовку сена, правильно подбирая луговые участки по срокам уборки, намечал план использования пастбищ, учитывая даже появление овода. И в том, что животноводство колхоза с каждым годом росло и крепло, безусловно, заслуга Зазыкина. Впоследствии он стал моим заместителем.

Заведующей коровниковской фермой стала Федора Васильевна Зазыкина. За любовное отношение к делу, хозяйскую рассудительность и сердечное отношение к людям работники фермы уважали Федору Васильевну и без обычной перебранки выполняли ее указания. С ее приходом стали поправляться дела и на коровниковской ферме. На ее примере я лишний раз убедился, как иногда много значит один человек. Хороший человек придет и, как солнышко, все вокруг себя осветит и обогреет. Плохой человек — как осенний дождь. Даже и небольшой, он наделает столько грязи, что нужно много хороших дней, чтобы все снова и снова пришло в порядок. Вроде ничего не изменилось с приходом Федоры Васильевны: и люди на ферме остались те же, и скот и корма не улучшились, а продуктивность животных стала подниматься. Трудолюбием, каким-то особым, даже несколько болезненным презрением к плохо сделанному и удивительной душевностью Федора Васильевна сумела преодолеть холодное безразличие, из-за которого люди часто не ощущают радости труда.

Дальнейшее развитие животноводства задерживалось из-за отсутствия помещений. Даже ту сотню с небольшим коров, которые имелись в колхозе, на зиму с трудом размещали во временных холодных постройках. Что уж тут говорить о росте поголовья.

Надо строить. Подсчеты показали, что только в ближайшие год—два позарез необходимы телятник и коровник в Соловьеве, свинарник и телятник в Қоровниках, овчарня в Макевской. Задача почти непреодолимой трудности в условиях того времени. Кредит я еще мог получить. Значительно хуже было дело со строительными материалами. Деревя на Смоленщине было сколько угодно, но лесорубочный билет на право рубки в ближних лесах достать удавалось редко. И почти невозможно было получить разрешение на заготовку древесины в собственных колхозных лесах. Дело в том, что около тысячи гектаров леса с довольно большим запасом деловой древесины только числилось собственностью колхоза. Всякие рубки в хороших лесных массивах могли производиться только с разрешения соответствующего лесничества. Это было связано с тем, что леса располагались по берегам рек и входили в так называемую водоохранную зону. И все-таки главная трудность заключалась не в этом. В конце концов я добился деленок даже в своих лесах. Но ведь лес надо вырубить и привезти. А кто это будет делать? Трудоспособных мужчин в колхозе считанные единицы. Да и те под разными предложениями старались обзавестись медицинскими справками.

По перспективному плану в 1956 году мы должны были построить телятник, свинарник и овчарню. Только для этих строений нужно было кубометров шестьсот лесоматериала. Кубометров двести предполагалось получить по нарядам железнодорожным транспортом. Остальное ложилось на собственные плечи. Собрали мы с Нилом Ильичом коммунистов и поставили вопрос: как заготовить четыреста кубометров леса. Партийная организация наша в ту пору насчитывала шесть человек: Дмитрий Платонович, Нил Ильич, Иван Лукич Клецов, два брата Ильинских — Павел и Михаил Титовичи — и я. Собрание приняло решение всем коммунистам поехать на заготовки леса и привлечь к этой работе колхозников. Был составлен список, каждому коммунисту поручили сагитировать определенных людей. Лиха беда начало. В мудрости этой поговорки я убеждался не раз. На первую поездку в лес сколотили группу человек двенадцать. Проработала эта группа в лесу пять дней и вывезла восемьдесят кубометров хорошего строевого леса. Для поддержания духа лесозаготовителей пришлось выставить им в конце работы угощение. Это понравилось и сыграло свою роль в организации новых выездов. Конечно, пятнадцать лет спустя история с лесозаготовкой кажется простой и благополучной. Тогда было все — смех и слезы, шутки и ругань. Но как бы то ни было, а в ту зиму мы заготовили и вывезли около пятисот кубометров круглого леса. И этот лес был не чета тем кривым и полугнилым осинам и березам, которые поступали к нам по нарядам. Прямоствольные крепкие сосны и ели лежали в штабелях одна к одной как на подбор.

Ранней весной началось строительство. Банк открывал колхозу кредиты. За счет этих средств я мог оплачивать не только строительный материал, но и строительные работы. Но только рабочим со стороны. Своим колхозникам из этих средств я платить не мог. Дикость несусветная. Наши колхозники обращались с топором и пилой куда более умело, чем некоторые «шабашники». Они даже за ту цену, что мы платили наемным рабочим, соглашались работать на строительстве после работы в поле. Но такой нелепый порядок существовал, и я не в силах был через него перешагнуть.

С началом строительства возник ряд производственных проблем. Особенно острой стала проблема механизации и электрификации колхоза. Строительство типовых животноводческих помещений невозможно без пиломатериала. Досок, теса требовалось много. Через областные организации удалось достать пиломатериал, лучшим выходом было бы подключение колхоза к государственной электрической сети. Но по плану наш колхоз должен быть подключен лишь в следующей пятилетке. Оставался единственный путь — строить свою электростанцию. Юра Соловьев, каждое лето приезжавший в колхоз и ставший нашим «штатным» каменщиком, сложил небольшое кирпичное здание, разделенное капитальной стеной на две половины. В одной из них, с цементным полом, мы смонтировали небольшой силовой узел, а в другой оборудовали мельницу. Тогда в ходу были так называемые ЖЭСки. Но достать их было невозможно, и я раздельно купил нефтяной двигатель и генератор — теперь уже не помню, кажется, на двадцать пять киловатт. Затянув механизацию производственных процессов, надо было думать и о механике. Был на примете у меня один человек, мастер на все руки. Приехал он на



житье к родителям в Пищино. Имей такого механика в колхозе — будешь как у Христа за пазухой. Поехал я в Пищино. Парень говорит напрямик:

— Работать мне все равно где, в колхозе даже сподручнее. Да вот как вы мне платить будете?

— Известно как. Трудодни. Обижать не будем.

Собеседник засмеялся:

— Ну, председатель, и хват же ты! Да что я, чокнутый, что ли, что к вам на трудодни пойду? Ты видишь, у меня жена с грудным ребенком, и старики еле ходят. Что ж, я их вашими трудоднями кормить буду? Так дело не пойдет. Меньше чем на шестьсот рублей я не пойду, а теперь думайте сами. Работать буду на совесть.

Созвал я своих правленцев, посоветовались, прикинули. Трактористу из МТС еще больше платить придется. А парень этот работник, по всем отзывам, хороший. И не пьяница. Последнее обстоятельство решило дело. Так в колхозе появился свой механик — Михаил Маркович Фроленков. Смекалистый, расторопный, он быстро наладил работу электростанции и пилорамы. Лесопилка не только обеспечивала пиломатериалом свое строительство, но даже приносила небольшой доход, обслуживая соседние колхозы. Единственным «недостатком» у Михаила Марковича была его пунктуальность: он вовремя являлся на работу, но вовремя и прекращал ее. Нам же часто его работа нужна была и после шести. Однако, невзирая на мои просьбы, уговоры и ругань, Фроленков был неумолим и ровно в установленное время выключал станцию. Впрочем, потом всё как-то притерлось. И мы стали подгонять производство под режим станции, да и Михаил Маркович, познав особенности и трудности колхозного бытия, стал иногда задерживаться.

Но слабая электростанция не могла обеспечить одновременную работу всех агрегатов, приходилось включать их по очереди. Это, конечно, тормозило работу, и Михаил Маркович жестоко ругал и нас, и слабосильный двигатель, обзывая его разными обидными прозвищами вроде «колотушки», «пыхтелки». Требовал приобрести более мощную электростанцию. Однако все мои попытки что-то добыть кончались неудачей. Тогда я обратился к министру сельского хозяйства СССР В. В. Мацкевичу с отчаянным письмом. Не прошло и двух недель, как я получил из Смоленского облсельхозснаба извещение о перечислении денег за поступившую для колхоза электростанцию ЖЭС-60. Установили ее в том же помещении рядом со старой.

\* \* \*

Наши земельные угодья были разделены Днпром на две неравные части. Лишь пятая часть пашни находилась за Днпром, в коровниковской бригаде, где проживало почти две трети колхозников. Для основной культуры — льна — их почвы были совершенно непригодны. Имело смысл вывести лен из севооборота в Коровниках и вместо обычного семипольного — с двумя полями многолетних трав — ввести пятипольный севооборот с посевом люпина. Целое поле картофеля (около сорока гектаров) давало возможность укрепить кормовую базу молочнотоварной и свиноводческой ферм. Напрашивалась мысль о специализации коровниковской бригады на животноводстве. Это дало бы возможность увеличить количество органических удобрений и при правильном их использовании возделывать на этих почвах другие культуры. Оставалась проблема льна. Резко уменьшить посевные площади этой культуры не согласился бы райплан, да и колхозу было невыгодно лишаться продукции, которая давала основной денежный доход в растениеводстве. Споры тут было много, и в конце концов решили: поле льна в соловьевском севообороте передать коровниковской бригаде.

Соловьевская и макеевская бригады имели общий севооборот с бригадными участками в каждом поле. Сделано это было еще в то время, когда укрупнялось все подряд — колхозы, бригады, фермы, севообороты. Однако в наших условиях от укрупнения севооборотов нельзя было ожидать положительных результатов. При мелкоконтурности полевых участков Нечерноземья крупные поля не представляют собой сплошных земельных массивов. Они все равно состоят из многих кусков, которые приходится обрабатывать отдельно. Главное преимущество укрупненных полей — повышение производительности машин — остается недостижимым. Зато возникают новые трудности и

неудобства. Сегодня соловьевцы идут к Макеевской полоть лен, а завтра — макеевцы в Соловьево сажать картофель. Ежедневно приходилось колхозникам делать по двадцать километров. Чтобы приблизить поля к деревням и устранить обезличку в пользовании земель, следовало организовать самостоятельный севооборот для каждой бригады. Всю зиму с агрономом и бригадирами занимались мы этим. Много дельных предложений внесли и рядовые колхозники. Помню, как-то ни свет ни заря пришел ко мне Фрол Иванович Гринев, кладовщик из Макеевской, и говорит:

— И чего это вы планируете картошку по полям таскать? Нынче здесь, на будущий год там, а на третий год и совсем на новом месте. Может, оно так и надо по науке. Только в нашем колхозе наука может во вред пойти. Картошка, она, брат, навоз любит. Ты думаешь, зря я на своем огороде по двадцать пудов с сотки собираю? Навозу в колхозе мало, торфу совсем нет, а вы последний хотите раструсить. Вот наметили на ближайшие три года под лучшие культуры лучшие земли пустить. Пусть и картошка на одном месте растет. И все три года удобрять ее навозом. Вот она и вырастет. А там видно будет.

Так и сделали. Другую трудоемкую культуру — лен — мы тоже постарались разместить в севооборотах на ближайшие два-три года поближе к деревням. Многолетних трав в колхозе не было, поэтому год лен ствели мягкие земли. Дальние поля, давно уже не видевшие навоза, отдали под многолетние травы.

Много хлопот в те годы причиняла колхозам неразумная политика насаждения кукурузы. Одно упоминание об этой культуре вызывало дрожь у председателей колхозов нечерноземной полосы. А между тем при правильном подходе кукуруза лучше других может решить проблему сочных кормов.

Любопытно, что кукуруза оказалась противоядием против нового «достижения науки», которое стало тогда внедряться. Я имею в виду занятые пары. Постепенно, но все решительнее они начали, где нужно, а где и не нужно, изгонять чистые пары. У нас иногда любят скоропалительные выводы. Посеял кто-то из «ученых» рожь по чистому и занятому пару, а осенью подсчитал, что дало то и другое поле. А дальше заработали арфмометр и фантазия. Отдаленные последствия любителей скороспелых выводов не интересовали. Однако практики скоро заметили, что урожаи озимых стали снижаться, поля начали зарастать сорняками. К этому времени черные пары оказались под запретом. Вот многоопытные колхозники и приспособили кукурузу против занятых паров. Делалось это довольно просто. Доводится колхозу план посева кукурузы. Он его не только принимает безотказно, но иногда даже увеличивает, удивляя районное руководство. Поле, где осенью должны сеяться озимые, удобряется навозом и засеивается кукурузой. По разным причинам кукуруза гибнет, поле перепахивается и готовится под озимые как чистый удобренный пар.

Говоря о растениеводстве, никак нельзя обойти людей, которые работали в этой отрасли. Агрономом в колхозе была Антонина Трофимовна Юденкова — только что окончившая сельскохозяйственный техникум. Совсем молодой, без практического опыта, ей сразу же пришлось окунуться в бурную реку колхозного бытия. Конечно, было трудно. Особенно доставалось ей в стычках с трактористами. Тогда они были рабочими МТС, иногда даже работали не в своем колхозе. От колхоза им требовалось одно — акты о приемке произведенных работ. Даже сами эти работы часто планировались не в колхозе, а в МТС. Трактористы были заинтересованы в том, чтобы эти планы побыстрее выполнить да сэкономить горючее. Антонина Трофимовна если не всегда доходила до агрономических премудростей сама, то всегда легко улавливала их смысл из моих коротких указаний. Кроме того, она была аккуратной и исполнительницей. Если было необходимо, она поднималась чуть свет и, несмотря на слабое здоровье, могла работать целыми сутками. Справедливая и добросовестная, она того же требовала и от других. В дальнейшем из-за болезни легких врачи запретили Антонине Трофимовне агрономическую деятельность, и она перешла на другую работу. На ее место в колхоз прислали Анну Андреевну Салмину — выпускницу Ставропольского сельскохозяйственного института. Я долго удивлялся необычному распределению оканчивающих вузы, узнав, что Анна Андреевна ни разу в жизни не видела растущий лен. Да и ей, призналась она, было не по себе, когда ей сообщили, что ведущая культура у нас — лен. Поражает беспомощность

молодого специалиста, неумение оценить обстановку и соответственно условиям применить полученные знания. Мне думается, что здесь сказываются недостатки методов обучения. Начинается эта болезнь еще в средней школе. Мы стараемся сообщить учащимся и студентам определенную сумму знаний. Но количество знаний часто приобретает за счет качества, а требования к специалистам растут с каждым годом. Сейчас в высшей школе, видимо, нужно не столько давать знания, сколько учить методам их приобретения. Учить самостоятельности в решении поставленной задачи, умению определить ситуацию, выбрать метод решения и правильно применить его. Специалист должен овладеть методами подхода к той отрасли производства, которой он занимается.

Малочисленную, не признававшую никакой трудовой дисциплины соловьевскую бригаду возглавлял Александр Михайлович Соловьев. Работал он беспланово, часто забывал сделать нужные распоряжения, из-за этого бывали простои в работе. Впрочем, со временем он стал более разумно руководить людьми, и, возможно, из него получился бы неплохой бригадир, если бы не большое несчастье, обрушившееся на эту бригаду. Виной всему была пришедшая из далекого прошлого буйная и хмельная традиция справлять престольные праздники. Долгое время деревни готовятся к этим праздникам. Колхозники недоедали сами, отказывали малым детям, чтобы скопить необходимые деньги и продукты к празднику. За неделю-другую женщины начинали пропускать работу, скребли и мыли полы, белили потолки и стены, стряпали, пекли, жарили. Мужчины, прячась в кустах, гнали самогонку, ездили в город за тем, чего нельзя было достать в сельском магазине. Накануне съезжались гости — родные со всех концов. Разгульное веселье продолжалось три дня. Перепившиеся хозяева и гости с песнями разбредались по деревне. Хмельные песни прерывались ссорами и драками.

Вот в такой-то пьяной драке Кузьма Азарович Мазуров и хватил топором по голове Александра Михайловича. И без того малочисленная бригада лишилась сразу двух человек: Кузьма Азарович пошел под суд, а Александра Михайловича увезли в больницу. Оттуда он вернулся месяца через три, но люди стали замечать неладное. То заговорит невпопад, то остановится и молчит, а то так захохочет, что у людей волосы поднимались дыбом. Жена его не раз говорила соседям, что боится мужа. Однажды ночью колхоз был разбужен тревожными ударами в пожарный колокол. Яркое пламя полыхало над Задней. Когда приехали пожарники, небольшая, крытая соломой хата Александра Михайловича уже сгорела. Обгоревший труп Александра Михайловича нашли на пепелище. Жена рассказала, что вскочивший ночью Соловьев хотел ее зарезать и сжечь. Испуганная насмерть женщина еле сумела вырваться и убежать. Такой страшной трагедией завершился один из престольных праздников.

Тем не менее за все пять лет никакими путями так и не сумел я преодолеть эту тягу к престольным праздникам. Чего только мы не предпринимали. Один год решили пустить в ход самое сильное средство. В Макеевской престольный праздник — Спас — приходился на то время, когда колхозники косили для себя сено. Вот и решили разделить луга и выделить дни для сенокоса макеевцам так, чтобы они скосили траву до праздника, а грести и метать стога им пришлось бы в праздник. Думаем, не бросят же скошенное сено. Не тут-то было. Гуляли макеевцы, как и прежде, а скошенное сено валялось три дня. Даже тучи, ходившие по небу, не подействовали на гулявшую деревню. Предлагал я колхозникам сделать общий праздник осенью, зимой или весной. Против нового праздника не возражали, но старых лишаться не хотели: «Не мы заводили эти праздники, не нам их и отменять».

После смерти Александра Михайловича беспокойная должность соловьевского бригадира оставалась незамещенной. Может быть, долго еще продолжалось бы это междоусобице, если бы не одно знаменательное для колхоза событие. Не выдержал суматошной городской жизни и вернулся в деревню Борис Ильич Кожанов, брат Нила Ильича, возглавлявшего в то время вторую, макеевскую бригаду. Мне не раз приходилось наблюдать проявление этой «власти земли» над людьми, которые родились и выросли в деревне. Под давлением тяжелых обстоятельств бросал иногда человек обжитое место и уезжал в город. Устраивался там неплохо, получал квартиру, зарабатывал прилично, но оставалось что-то у него в душе и не давало ему покоя.

Средних лет, коренастый, крепкий и подвижный, Борис Ильич был смышленным от природы. В городе он добавил жизненного опыта, умения общаться с людьми, грамотности. Водкой он не злоупотреблял. После короткого знакомства решил я «сосватать» его на должность бригадира в Соловьево. Зная, что после городской жизни трудно будет Борису Ильичу браться за черновую работу, я все же рассчитывал на его согласие. Ну, а километр расстояния от Макеевской, где жил Борис Ильич, до Соловьева — невелика беда. Тем более что уже трижды в день совершали такую прогулку доярки Зуева и Гринева. Борис Ильич согласился. И мы тут же решили провести кое-какую перестройку.

Самостоятельное существование фермы и полеводческих бригад вносило разлад в работу. Бригадир полевых бригад не был заинтересован в улучшении работы ферм. Корма они заготавливали кое-как, заботясь только о количестве, подвозили их несвоевременно, старались послать на ферму людей, от которых на любой работе толку мало. Заведующие фермами часто требовали выполнения срочных работ по ферме, не учитывая занятости бригады в поле. Возникали ненужные конфликты, и мы решили объединить работников полеводства и животноводства в единый коллектив. Борис Ильич стал первым бригадиром комплексной бригады.

К этому времени мы широко начали пользоваться дополнительной оплатой труда. Новое положение, принятое правительством, предусматривало создание специальных фондов для авансирования колхозников, на которые Госбанк автоматически перечислял двадцать пять процентов всех средств, поступающих колхозу, независимо от состояния его задолженности. Колхоз имел право расходовать эти средства только для оплаты труда колхозников. Но денег все равно не хватало. Тут-то и сыграла свою положительную роль дополнительная денежная оплата труда. Она давала возможность платить колхозникам независимо от общего трудодня. Скажем, доярке начислялось столько-то трудодней. Теперь ей стали, кроме этих трудодней, начислять еще и дополнительную оплату. Это позволяло ликвидировать узкие места. Например, создаются трудности в уборке льна — правление устанавливает на какой-то срок дополнительную денежную оплату. Беда наша была в том, что слишком уж много находилось этих узких мест. Через какое-то время колхозники раскусили несложную механику и стали искусственно создавать «узкие» места. Любую сельскохозяйственную работу можно было затянуть настолько, что она оказывалась под угрозой срыва. Но первое время дополнительная оплата действовала безотказно. Заботливый и расторопный Борис Ильич успевал и в поле и на ферме. Дела в бригаде стали поправляться.

Создав комплексную бригаду, мы упразднили должность заведующего фермой. Юру Простакова назначили учетчиком. Однако эта слишком незначительная и пассивная роль пришлась ему не по душе. Вскоре он взял группу коров и стал дояром. Это был первый случай в области, когда мужчина стал дояром. Его поступок вызвал много разговоров, и на всякого рода совещаниях председатели часто расспрашивали меня о дояре и его работе.

Юра Простаков любил и знал животных. Не желая вносить раздор между доярками, он набрал себе группу из петелей. Это усложняло его задачу. Зато Юра сам готовил петелей к отелу, раздоем формировал из них будущих коров. Он знал особенности каждой из своих подопечных, никогда не совал им сено охапками, поровну всем, а предварительно разбирал его. Так же распределял он и силос: одним поменьше, другим побольше, а некоторым и совсем не давал. Летом Юра сам ездил косить подкормку, заранее подбирая участки с необходимыми травами. Зимой сопровождал свою группу до Днепра и там следил, чтобы каждая корова напилась вволю. Конечно, такое обращение с животными не замедлило сказаться, скоро группа Простакова стала заметно выделяться среди остальных чистотой и упитанностью. На следующий год Юра Простаков твердо занял первое место.

Макеевскую бригаду сначала возглавлял Александр Степанович Абраменков. Человек он был энергичный и волевой. Однако пристрастие к спиртному частенько выбивало Александра Степановича из колеи. Он становился в такие моменты буйным и скандальным. Поэтому Александра Степановича пришлось сменить — его назначили лесником.

Новый бригадир — Нил Кожанов, о котором я уже упоминал, — был человеком передовых взглядов. Все новое — новые формы организации и оплаты труда, новые приемы в земледелии — всегда находило у него горячую поддержку. Нил Ильич был мне опорой во всех моих начинаниях в области механизации, приобретения новых машин. Ему и поручили размножение дефицитных в то время для колхоза семян клевера, люцерны и тимopheевки, привезенных из института. Травяных сеялок в колхозе не было, обычными зерновыми сеять побоялись. Тогда Нил Ильич собрал со всего колхоза стариков, не забывших ручной посев мелкосемянных трав, устроил какое-то маленькое торжество, и благодарные старички отменно засеяли травами все намеченные поля. Погода оказалась в тот год благоприятной для трав, и колхоз уже через год имел в своих севооборотах на одной стороне Днепра по два травяных поля.

В трудные минуты уборки урожая, когда судьба зерновых хлебов целиком ложилась на плечи двух комбайнеров, Нил Ильич — сам бывший комбайнер — брал шефство над уборочной техникой. Старенький С-4, много повидавший на своем веку, натушно кричал. На неровных полях его трясло как в лихорадке, и я со вздохом облегчения встречал его каждый вечер, радуясь, что комбайн проработал еще день и не рассыпался. Нил Ильич помогал находить и устранять неисправности комбайнов, а то и сам садился за штурвал, удлинняя рабочий день машины. Самым обидным было, когда исправный комбайн стоял из-за непогоды, а затем в наступившие погожие дни он опять простаивал — уже по техническим причинам. На наше счастье, бригадиром тракторной бригады в те годы у нас работал Павел Колчин — тоже бывший комбайнер. В тяжелые дни, когда не ладилось с комбайнерами, они вдвоем с Нилом Ильичом обеспечивали работу комбайнов. Думаю, что без них много зерна, добытого потом колхозников, осыпалось бы на полях.

Нилу Ильичу не пришлось долго соревноваться с братом в бригадирских обязанностях. Вскоре его пришлось назначить на должность заведующего клубом в Соловьеве — ухудшилось состояние здоровья. Бригадиром в макеевской бригаде стал Иван Сергеевич Ляменков. Был он средних лет, хозяйственной смекалки у него хватало, и выпивал он нечасто. Любовь к порядку и твердый характер помогли ему укрепить трудовую дисциплину в бригаде, колхозники стали аккуратно выходить на работу. Ляменков не терпел бракоделства и не принимал плохую работу. Первое время колхозники приходили ко мне с жалобами, но когда я, проверив несколько фактов, поддерживал бригадиром, хождение жалобщиков прекратилось. Макеевцы, надо отдать им должное, работать умели. Уж если возьмутся за дело — любо-дорого посмотреть, так и горит у них все в руках.

Бригадиром коровниковской бригады от первого до последнего дня моей работы в колхозе оставался Михаил Терентьевич Сиваков. Мужчина средних лет, рассудительный и спокойный, он представлял собою образец колхозного бригадира тех времен. С четырехклассным образованием, но прошедший большую жизненную школу, Михаил Терентьевич умело руководил бригадой, в меру держал колхозников в руках и в меру потакая им. Конечно, хозяйственному престижу Сивакова содействовало и то обстоятельство, что земельных угодий в бригаде было мало, а колхозников порядочно. Привыкнув сравнительно легко справляться с делами, Михаил Терентьевич сначала неприступно встретил наши новшества. Особенно несправедливыми ему казались притязания на рабочую силу из бригады для общеколхозных дел. Тут у нас однажды произошла размолвка, приведшая к временному отстранению Михаила Терентьевича от руководства бригадой. Дело было так. Начальник станции Кардымово предложил МТС навести порядок на пристанционной площадке, где происходила разгрузка вагонов. Площадка была завалена минеральными удобрениями, своевременно не вывезенными колхозами. Дирекция МТС объявила о том, что желающие могут бесплатно забирать удобрения со станции. А мы слишком нуждались в удобрениях и были ограничены в деньгах, чтобы упустить такую возможность. Были мобилизованы все транспортные средства, но подвозили грузчики. Назначаемые по наряду, они приходили не все, многие с опозданием, и машины в короткий зимний день делали только по одному рейсу. Хорошая дорога в Кардымово — зимой явление не столь уж частое, и пропустить благоприятное стечение обстоятельств было бы просто преступлением. Я собрал прав-

ление и поставил вопрос о выделении постоянных грузчиков из коровниковской бригады. Я разъяснил Сивакову, что колхозники первой и второй бригад заняты обработкой льна, а его колхозники относительно свободны. Возможно, Михаил Терентьевич заподозрил какой-то подвох со стороны других бригадиров, только вдруг он взбунтовался и в самой категорической форме отказался выделить грузчиков. Впоследствии при такого рода столкновениях я научился находить более разумный выход из положения. А тут я возмутился, накричал на Сивакова, и Михаил Терентьевич был отстранен от руководства бригадой. Вероятно, в тот момент я тоже погорячился. Спокойное, разумное слово быстрее успокаивает человека: при хорошем разговоре человек может не только понять свою ошибку, но даже извинить твою. А на том злополучном заседании крепко повздорили мы с Сиваковым. Правда, потом с Михаилом Терентьевичем мы работали дружно. Постоянные грузчики были выделены в тот раз. Снежных заносов, на наше счастье, в те дни не произошло, и удобрений удалось вывезти порядочно. С тех пор коровниковские грузчики как-то закрепились за машинами, и мы даже вывели их из состава бригады, включив в состав механизаторов, трудодни им стали начислять по пугавкам автомашин.

Ведущей культурой в коровниковском севообороте становился картофель. Перед Михаилом Терентьевичем стояла задача: обеспечить зимой вывозку на картофельное поле полутора тысяч тонн навоза. Агроном осенью разделял все поле на квадраты пятьдесят на пятьдесят метров и в центрах квадратов ставил колья. На каждом из этих квадратов Михаил Терентьевич должен был заложить штабель навоза в десять тонн. С 15 ноября по 15 апреля Сивакову каждый день необходимо было вывозить по одному штабелю, примерно тридцать возов. Задача была вполне по силам бригаде, а точный план и график, составленный еще осенью, позволяли всем легко контролировать выполнение. Но не шло гладко и тут.

Не раз приходилось агроному и мне в горячих схватках с Сиваковым и бригадой доказывать их неорганизованность и разболтанность, когда они не выполняли график вывозки навоза. Безусловно, мешали работе объективные причины: из-за сильных морозов или пурги бригада иногда по нескольку дней не выезжала в поле. Если говорить откровенно, язык не повернулся бы послать колхозниц на работу, глядя на их ветром подбитые телогрейки и ветхую обувь. Но ведь можно же наверстать упущенное при благоприятной погоде. Оказывается, нет. Слишком слабы были наши материальные и моральные стимулы. Лишь в марте и апреле, когда дни становились длиннее, а на небе часто сияло солнышко, темп работы несколько усиливался. На себя мы брали обеспечение механизации посадочных и уборочных работ. Картофелесажалок тогда еще не было. Сажали вручную в готовые борозды, нарезаемые тракторным окушником. Долгое время не могли приспособиться закрывать борозды: конным плугом — медленно, трактором — не получается. Наконец кто-то додумался — деревянным брусом, волокушей: подобрали определенные размеры ширины и высоты бруса и стали пускать его под определенным углом. Уборку картофеля производили картофелекопателями. На легких песчаных почвах они работали хорошо.

С приходом весны прибавлялось и забот. У коровниковской бригады особые осложнения создавал Днепр. На целый месяц отрывал он бригаду от центральной усадьбы колхоза и района. Сначала ледоход, а потом Днепр, вырвавшись из ледяного плена, разливался широко и привольно, на многие километры покрывая колхозные луга.

Особенно трудные дни наступали для колхозницы коровниковской бригады Паши Арскоковой. Была она у нас молоковозом и почтальоном. Рано утром, вскинув на телегу фляги с молоком (а в каждой веся сорок килограммов), Паша подъезжала к Днепру, перегружала фляги в лодку и переправляла на другой берег. Иногда дежуривший перевозчик куда-либо отлучался, и тогда Паша переезжала одна. В разлив Днепр широкий, в ветреную погоду ходили по нему высокие волны. Но молоко ждать не может. И Паша отважно пускалась в плавание по сердитой, взволнованной реке. Не все мужчины отваживались на переезд, глядя на седые ревущие волны. Выгрузив фляги, шла Паша на соловьевскую ферму, запрягала лошаденку и, снова погрузив фляги, везла их на молокоприемный пункт. И так в летнюю пору каждый день два, а то и три раза. Сдав мо-

локо, шла на почту и там сдавала и принимала корреспонденцию коровниковских колхозников. Оттуда заходила в правление колхоза. Была она у нас весьма необходимым связным, поскольку телефонной связи с Коровниками не было. Заходя в правление, Паша отдавала донесения и просьбы бригадира и заведующего фермой, а для них забирала записки мои и специалистов. Отдыхая, она успевала сообщить все коровниковские новости.

В дальнейшем зоотехник Дмитрий Платонович к ее многочисленным обязанностям прибавил еще одну: он приспособил Пашу к определению жирности сдаваемого молока. Проблема правильного установления жира в молоке была в те времена очень острой. Пользуясь имевшимися в колхозах трудностями и беспорядками, многие приемщики молока на пунктах молокозавода обманывали колхозы и наживались на этом. Если летом мы ежедневно сдавали государству более тонны молока, легко подсчитать, что «ошибка» только в одну десятую процента давала приемщику более двадцати пяти литров молока. Контрольные проверки показывали, что «ошибались» не на одну десятую, а на три—пять. Недаром охотников на должность приемщика всегда было вволю. Паша — женщина смышленная, честная. Вот и решил зоотехник поручить ей проверку. Обучить несложному делу обращения с бугринометром толкового человека много времени не потребовало, и вскоре Паша проворно выполняла свои новые обязанности. Отпали неприятные тяжбы с молокозаводом, в колхозе заметно сократился разрыв между фактическим и зачетным весом молока.

Разлив Днепра доставлял нам еще одну трудность. Тракторы тогда ремонтировались в МТС. Конечно, принимались все меры к тому, чтобы подготовить тракторы для Коровников до разлива Днепра. Но не все было в наших руках. В планы председателя колхоза и директора МТС вносил поправки Сельхозснаб. Жесткими лимитами на запасные части он порой сильно подводил нас. Один год весна захватила коровниковский «Беларусь» (а он на всю бригаду в ту пору был один) на соловьевской стороне. Поехал я в район добывать трактор на той стороне Днепра. Да куда там. В те времена каждый трактор, даже последний инвалид, был на строгом учете. Вернулся я ни с чем, и, посоветовавшись, решили мы перетянуть трактор через реку по дну. Чуть только показались берега, подготовили мы «Беларусь» к авантюриной операции. Весной из-за бурного течения воды дно реки все время меняется. Если попадет трактор в водоройну, перевернется, и тогда до лета его не вытащишь. На коровниковском берегу площадку для хода трактора небольшая, за один прием «Беларусь» не вытащишь. Нужно работать с перехватами: пройти эту площадку, потом вернуться, закрепить трос в новом месте, покорооче, и снова тащить. А пока буксирующий трактор возвращается и трос перецепляют — «Беларусь» стоит на дне неподвижно, и колеса его замывает песком. Может замуть так, что и не сдернешь с места. Риск большой, но и нужда большая. После долгих споров решили тащить. Взяли у дорожников трос, которым перетягивают паром, сделали на нем заранее петли для перехвата и прочно закрепили на «Беларуси». Свободный конец троса закрепили на ДТ. Перед началом операции длинным шестом с лодки промерили весь путь от одного берега до другого: больших водоройн и бугров не обнаружили. Тракторист ДТ взялся за рычаги, и трактор плавно тронулся. Вскоре злополучный «Беларусь» уже стоял на противоположном берегу.

Современное хозяйство без машин — это не хозяйство. Сколько горьких минут пережил я в колхозе, наблюдая, как, сгибаясь от тяжести, поднимает на вилах сено колхозник, которому по возрасту уже давно пора отдыхать, как, не разгибая спины, вдвоем, а то и втроем вертят ручку сортировки пожилые колхозницы. К моему приезду в колхозе было три трактора: ХТЗ, НАТИ и ДТ-14. Это на пашню в тысячу гектаров и такое же количество лугов. Тракторы были старые, в каждом из них сидело по сто болезней, а в колхозе было всего два тракториста. Костя Алексеев работал на ХТЗ, Виктор Ляменков — на «натике». Точнее, Костя Алексеев не работал на тракторе, а проводил около него рабочее время. Трактор не хотел работать. Он был сварен из разных частей, уже непохожих на тракторные детали. О тракторном происхождении этой диковинной машины напоминали одни колеса. Измученный строптивым трактором до изнеможения, Костя стукнет его в сердцах какой-нибудь железкой и уходит домой. Успокоившись и отдохнув, он снова возвращался к своему тирану. Иногда, к удивлению

всех, трактор заводился с одного оборота и исправно стучал в течение нескольких часов, точно ему надоело бездельничать. Но эти вспышки активности становились все реже и реже, и наконец ХТЗ замолк навеки. Вместо него-то и появился тот «Беларусь», который мы перетаскивали через Днепр.

Виктор Ляменков — молодой, веселый парень, недавно вернувшийся из армии, жил вместе с родителями в Пищине. Сменщика на тракторе не было, и работал Виктор один. А поскольку и трактор в колхозе был по существу один (не принимать же всерьез калеку ХТЗ и малосильный ДТ-14, который использовался только со шкивом и для транспортных работ), то на плечах Ляменкова лежали все полевые работы. Одной пахоты в колхозе, как я уже говорил, было около тысячи гектаров. А ведь надо было и культивировать, и бороновать, и сеять. Не удивительно, что все работы производились с опозданием. Работал Ляменков по-разному. Если все было хорошо — парень мог сутками не сходить с трактора. В такие дни он вырабатывал по две-три сменные нормы, пахал красиво, ровно укладывая пласты и ведя трактор, как по линейке. Однако были у Виктора и такие дни, когда в него точно бес вселялся. Он становился капризным, мог из-за пустяка бросить трактор и уйти в Пищину. Женившись и переехав в Соловьево, он стал спокойнее, работал без срывов. Видно, молодая жена потребовала заработок побольше. А может быть, просто не стало причины для «черной меланхолии».

Конечно, ни тракторов, ни трактористов в колхозе все равно не хватало. Поехал я снова в райком. Первым секретарем у нас уже был новый человек. Иван Александрович Сухов приехал в Кардымово из Демидова. Был он человеком суровым. За глаза председатели звали его Иваном Грозным. Работал Иван Александрович много, был справедлив. Просьбы выслушивал внимательно и чем мог всегда помогал. Помог и на этот раз. Правда, нового трактора я не получил, но зато увез заверение, что первый же ДТ-54, который поступит в МТС, будет направлен в наш колхоз. При мне же Иван Александрович позвонил директору МТС и дал соответствующее указание. А пока, до получения нового трактора, Иван Александрович попросил директора МТС послать мне тракториста, чтобы организовать двухсменную работу трактора. Директора сельскохозяйственной опытной станции Сухов попросил выделить на две недели трактор ДТ-54 с плугом и трактористом. Не прошло и суток — директор опытной станции позвонил мне, чтобы я позаботился о жилье и питании для тракториста, который выезжает ко мне. А еще через день в колхоз приехал тракторист из самого дальнего от нас колхоза в районе.

Чтобы в будущем обеспечить колхоз трактористами, я занялся подбором хороших ребят в ремесленное училище, где готовили квалифицированных механизаторов широкого профиля. Два человека там уже учились и вот-вот должны были вернуться в колхоз. Долгое время мои поиски не приводили к успеху. Желающих ехать в город находилось много, однако они соглашались учиться в школе поваров или каких-нибудь кройщиков, чтобы остаться в городе. Но однажды в контору пришли три паренька и заявили, что хотят учиться на механизаторов. Ребята были хорошие, работающие, двое — самые надежные прицепщики. Я даже расстроился, узнав о их намерении. Рассудив, однако, что колхоз со временем приобретет больше, чем теряет сейчас, я согласился.

Содействие Ивана Александровича оказалось весьма существенным. Тракторист из чужого колхоза Герасим Иванов зарекомендовал себя с лучшей стороны. Работал он много и безотказно. Если наши трактористы больше стремились к пахоте (и работа поспокойнее, и заработок больше), то Герасим с одинаковой старательностью и пахал, и культивировал, и сеял. Правление уж постаралось, чтобы хороший тракторист прижился в нашем колхозе: ему нашли приличное жилье, обеспечили хорошее питание. Я без разговоров разрешил ему поездки домой.

Хорошо помог нам в ту трудную пору и тракторист опытной станции Антон Егорович Носиков. Человек уже пожилой, серьезный, трудолюбивый. Он целые дни проводил на тракторе. Его ДТ-54, к которому он относился любовно, с раннего утра до позднего вечера рокотал в поле. За две недели Антон Егорович сделал столько, что другому трактористу хватило бы на месяц.

Так с горем пополам перебивались мы тракторами еще с полгода. А потом почти одновременно произошло два радостных события. МТС получили новый ДТ-54 и направ-



вила его в наш колхоз. Следом приехали молодые трактористы, окончившие ремесленное училище. Оба паренька были из Коровников — худошавый, белокурый Иван Евтихов и коренастый, плотный Иван Киселев с веселым плутоватым лицом.

Постепенно в колхозе стала сколачиваться хорошая тракторная бригада. Не хватало только подходящего бригадира. Перебывало их в колхозе порядочно, но подолгу не задерживались. «Ко двору» пришлось только двое: Павел Андрианович Колчин и Петр Григорьевич Данченко. Оба они — уже немолодые, опытные механизаторы, поработавшие и трактористами, и комбайнерами, и слесарями МТС. Не один раз своими руками приходилось им разбирать и собирать двигатели и машины. Оба имели хорошие связи в МТС, пользовались там авторитетом. Это помогало им и получить запасные части, и провести в мастерских ремонт.

Приход в бригаду Колчина был особенно ошутим. Уже вскоре после вступления в должность пришел он как-то ко мне с заговорщическим видом и попросил на неделю двух молодых колхозников. Забрав их, а также Герасима Иванова с прицепщиком, Колчин уехал в Кардымово. Целую неделю от них не было ни слуху ни духу. Но вот в субботу появился Герасим, не говоря ни слова, забрал свой ДТ и снова укатил. Вечером со стороны Кардымова послышался странный шум. Он становился все сильнее и сильнее, как будто шла танковая колонна. Наконец появился удивительный поезд: шел новый ДТ, а за ним целая вереница машин, закрепленных одна за другой. Оказывается, Колчин решил преподнести колхозу сюрприз. Он уговорил директора МТС и главного инженера разрешить ему покопаться в старых машинах, которые были списаны и ожидали отправки в металлолом. Колчину удалось собрать два лапчатых культиватора и одну сеялку. Красотой они не блистали, но были вполне работоспособны, и бригадиры полеводческих бригад остались весьма довольны этим сюрпризом.

Вторым крупным вкладом бригадира в укрепление нашего машинно-тракторного парка было восстановление ДТ-14. Каким-то хитроумным маневром Колчин обменялся двигателями с другим колхозом. Так у нас появилась еще одна исправная тракторная единица. Но в это время в колхозе произошла еще одна трагедия.

Пищино — далеко в лесу. Однажды маленькую деревушку потряс сильный взрыв. Встревоженные пищинцы бросились к реке. На берегу лежал, истекая кровью, с вывороченными внутренностями, тракторист Виктор Ляменков. В нескольких метрах от него, уставившись открытыми глазами в небо, лежал Николай Соловьев. Не приходя в сознание, Ляменков через полчаса умер. А Николай Соловьев неожиданно для всех вдруг встал и побрел домой — его только оглушило взрывом. Оказывается, друзья решили с помощью найденного снаряда наглушить к празднику рыбы.

Провожали Виктора в последний путь всем колхозом.

Снова поредели ряды трактористов. Герасим Иванов стал работать один, по-прежнему без тракториста оставался маленький ДТ-14.

Спустя некоторое время в колхоз вернулся Николай Александрович Ковалев — молодой еще человек. Он работал в городе шофером, и за какие-то шоферские провинности у него отобрали права. От управления автомобилем до управления трактором перейти не так уж сложно, и, когда я предложил ему ДТ-14, он без колебаний согласился.

Тяжелыми тракторами трудно было обрабатывать небольшие участки земли. Тут-то и выручал нас Николай Ковалев со своим ДТ-14. Колчин где-то в утильных залежах МТС раскопал навесной плуг ПН-30. Юркий тракторишко с успехом справлялся с обрезками и пустушками «сотками». Для сева к этому же трактору приспособили конную сеялку СЛ-17. В сенокосную пору ДТ-14 косил, сгребал сено, возил копы. Осенью этим трактором мы обмолачивали лен.

Когда я приехал, в колхозе была одна машина ГАЗ-51. Работал на ней Николай Сергеевич Кожекин — по кличке Цыган, личность весьма незаурядная. Все годы моей работы в колхозе он провел рядом со мной. Ходил Николай не спеша, в развалку, делал все спокойно, неторопливо, но тем не менее никогда не опаздывал и никогда не подводил. Машину он знал прекрасно. Ему можно было дать любое поручение, не опасаясь за точность выполнения. Вскоре он настолько вошел в курс дела, что, если у него где-то, что-то стопорилось, он немедленно принимал самые активные меры, вплоть до того, что

шел в райком, к самому Сухову. Новые работники района, к которым Николаю приходилось обращаться, принимали его за председателя колхоза. Я их в этом не разуверял.

\* \* \*

Каждую весну приходилось нам решать одну из самых трудных «кадровых» проблем — проблему пастухов. На эту профессию смотрели пренебрежительно, считая, что в пастухи идут люди, уже более ни на что не способные. Кроме того, пастух должен быть со стадом от зари до зари. Поэтому местные жители в пастухи не шли. Для них надо было создать особо выгодные и почетные условия. По совету Простакова я обратил внимание на Ефима Ивановича Ячменева. Ефим Иванович был уже стар, но еще крепок. Приезжая в Пищино, я каждый раз заходил к старику и подолгу сиживал с ним, рассказывал про колхозные дела, спрашивал его советов. Это нравилось Ефиму Ивановичу. Он любил пофилософствовать, и хотя в его рассуждениях было много наивного, чувствовалось, что это плод длительных размышлений и горьких переживаний за судьбу человека.

— Нет, Петрович, что ни говори, а зря деревню так обезличили. В партийной программе-то ведь как записано: сравнивать деревню с городом. А нешто мы так делаем? В городах жизнь-то на глазах лучше стаёт, а в деревнях — как с горки в болото катится.

Я пытался возражать Ефиму Ивановичу. Объяснял ему, что сначала нужно восстановить промышленность как основу современного общества и что в сельское хозяйство государство тоже вкладывает немало средств. Он отмахивался и рубил свое:

— Оно, конечно, трудно нам пока приходится... Да и управляться государству нашему со всем нелегко. Дак надо и трудности все всем вместе и переносить. А то ведь что получается. Был я недавно в Москве. В магазинах товару всякого и продуктов полно, а товары — любо-дорого посмотреть. В Смоленске уже не то: и товаров поменьше, и с лица покорявее. В Кардымове — еще хуже, а про Соловьево и говорить нечего: сам видишь, чем Еремич торгует.

— Ну что ты, Ефим Иванович, Москву с Соловьевом равняешь. Москва все-таки столица, одна на всю страну. Ты у себя в хате зачем передний угол выделяешь? Вон у тебя тут как чисто да красиво, а у порога посмотри-ка что делается.

Ефим Иванович хмыкнул и замолчал. А при следующей встрече он уже развивал новую «теорию». Его удивляло, что понятие «человеческий» мы рассматриваем как душевный, добрый, отзывчивый, благородный, в то время как понятие «зверский» отождествляется с жестокостью, грубостью и т. д. Ефим Иванович полусерьезно-полушутливо уверял меня, что смысл этих терминов нужно поменять местами, что «человеческие» качества более свойственны животным, а «зверские», наоборот, человеку. Он говорил, что ни одно животное, за редким исключением, не убивает особей своего вида, тогда как человек непрерывно ведет войны.

— Ефим Иванович, так ведь это же не люди виноваты, а общественный строй. Вот придет коммунизм — и прекратятся войны.

— Может быть, Петрович, не буду спорить. А пока вот так.

Ефим Иванович считал, что животные, так же как человек, наделены способностью мыслить. Доказывая это, он приводил массу примеров, которые ему за свою долгую жизнь в деревне пришлось наблюдать.

— Слышь-ка, парень, расскажу я тебе одну историю. Было это давно, я еще мальцом бегал. В ночное лошадей гоняли на луга пастись. Бывало, спутаем их и пустим, а сами соберемся в кружок, костер разведем и песни поем или байки разные сказываем, пока костер не погаснет и глаза сами не закроются. Хлебá тогда не так как сейчас — жердями огораживали от скота. И вдруг староста собрал час и говорит, что мужики потраву обнаружили в тех местах, где мы ночное проводим. Не поверили мы, всей гурьбой в поле направились. Пришли и ахнули — целая полоса овса от изгороди помята и поедена. Ну и ну! Осмотрели всю изгородь — исправна. Перескочить ее спутанная лошадь никак не может. Задумались мы, а потом решили одну ночь не поспать и покараулить. Когда все уgomонились, смотрю я — поскакала одна кобыла к изгороди.

Подошла поближе и зубами верхнюю жердь схватила. Сдвинула ее в один конец и положила на землю. Потом вторую, третью. В освободившийся проход зашла в поле и давай работать, только овес хрупаёт. А потом выбралась с поля, зубами все жердинки на место поставила и отправилась в табун. Ну не шельма ли? А ты говоришь, животные не думают. Нет, слышь-ка, не подумавши такое не сделаешь.

Иногда беседы с Ефимом Ивановичем переходили в споры, но это не помешало нам стать друзьями. И я убедил его взять на себя обязанность колхозного пастуха.

Пастухом Ефим Иванович был отменным: коровы понимали и слушались его. Кнут у него был лишь для формы. Прекрасно зная все пастбищные угодья колхоза, он умело выбирал места для выгона.

Несмотря на искусство Ефима Ивановича, по надоям молока наш колхоз в летнее время резко скатывался вниз. Многочисленные реки и речки, прорезавшие территорию колхоза, озера и болота, лесные массивы, окружавшие земельные угодья с трех сторон, создавали благоприятные условия для гнуса. С вечера до утра одолевали комары и мошки, днем — оводы. Бедным живством было не до еды. Животные неудержимо рвались с пастбища и предпочитали стоять голодными в скотных дворах. Открытых пастбищ, где ветер разгонял гнус, колхоз почти не имел. Надо было расчищать кустарники, создавать искусственные культурные пастбища. Впоследствии, когда колхоз несколько окреп, мы занялись этим.

Кстати, эта работа стала своеобразным барьером против очередной кампании административного зуда областных организаций. В те, уже далекие, времена в сельском хозяйстве часто практиковалось массовое внедрение различных приемов подъема экономики колхозов. Наслушавшись о культурных пастбищах в Прибалтике, руководители области послали туда ходоков. Съездили, посмотрели — дело стоящее. Правда, люди потрезвее говорили, что в Прибалтике это результат длительного труда и больших денежных затрат. Но начальство это замечание пропустило мимо ушей, и снова всесильное: давай, давай! Установили объем, составили план, разверстали по районам, по колхозам. Для контроля начали посылать из Смоленска уполномоченных. Специалистов не хватало; приезжали и юристы, и связисты, и пожарники. По масштабам нашего колхоза к тому времени мы уже имели порядочное количество искусственных пастбищ, и авральные работы нас миновали. А другим колхозам пришлось тяжело. Не обошлось и без курьезов. Наш сосед колхоз «Победитель», при всем желании его председателя, не мог выполнить задание. Но план есть план. Не желая подводить себя и районное руководство, многоопытный Яков Григорьевич Чечиков показал делянки лесничества, которые были подготовлены под посев леса. Там имелись нарубленные жерди, а некоторые делянки были даже огорожены. Уполномоченный из области не очень четко представлял себе детали и похвалил расторопного председателя на районном совещании, которое состоялось после работы комиссии.

В пастушеской своей должности Ефим Иванович испытывал одно серьезное неудобство. Жил он в Пищине, а стадо, которое он пас, размещалось в Соловьеве. Ходить в обеденный перерыв домой было слишком далеко, поэтому питался Ефим Иванович чем бог послал. Конечно, молока ему разрешалось пить вволю, да вот беда — старый пастух предпочитал поест горячего супу да такой же горячей каши. Долго уговаривал я его переехать в Соловьево, пытался воздействовать на него и через жену.

— Жили бы вы со стариком спокойно. Хату я вам перевезу за один день, подправим ее попутно. А поставим в любом месте, где пожелаете.

Долго сопротивлялись старики. Слишком сильна привязанность у деревенского жителя к тому месту, где прожил он всю жизнь. Но, как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Прошел над деревней сильный ураган, и ветхую избушку Ефима Ивановича потрепало так, что жить в ней стало невозможно: крышу снесло нацело вместе со стропилами, вырвало рамы из окон.

— Ну, Ефим Иванович, видно, судьба тебе переезжать в Соловьево.

Чтобы старики не передумали, я тут же послал в Пищину машины, и шоферы, которым я пообещал угощение, в момент разобрали, погрузили и увезли хату. Колхозные строители проявили столь же необычную расторопность, и за несколько дней в

центре Соловьева, неподалеку от магазина, выросла новая бревенчатая изба с нарядным крыльцом и узорчатыми наличниками на окнах. Никто не узнавал в новом доме бывшую развалюху Ефима Ивановича. Старики были поражены приятным видом и уютом своего нового жилья.

Это, конечно, еще не означало, что проблема пастухов была решена: увеличивались стада и в скором времени предстояло разделение молочного стада соловьевской фермы. Я не помню ни одной весны, когда бы хлопоты о подыскании пастухов не одолевали меня.

\* \* \*

Самая трудоемкая работа в колхозе — сенокос. С его началом прекращались все другие работы. Льянные поля оставались недополотыми и зарастали сорняками. Оставался уход за картофелем. Строительные работы во время сенокоса были невозможны.

Первая же сенокосная страда поставила передо мной кучу сложнейших вопросов. Нужно было увеличить заготовки сена, начать заготовки силоса. Если раньше оставалась нескошенная часть хороших лугов, теперь следовало выкашивать даже всю неудоблицу. И косить не до морозов, а заканчивать сенокос к тереблению льна и уборке хлебов. Эта программа требовала в свою очередь напряженной работы в весенне-летний период до сенокоса: нужно было своевременно закончить подкормку культур, прополку льна, уход за картофелем.

Подсчеты показывали, что даже при нашем ограниченном количестве трудоспособных колхозников можно выполнить намеченный план. Я уже наблюдал, как луга, выделенные для заготовки сена для собственных коров, мгновенно становились чистыми и покрывались стогами. А на уборку такой же площади колхозных лугов времени уходило в пять-шесть раз больше. Потеряв веру в производительность своего труда, из года в год получая за него гроши, колхозники работали в колхозе формально, чтобы не лишиться права на пользование приусадебным участком, колхозными пастбищами и лугами. Поднять колхозников на решение сложных задач во имя будущих улучшений было чрезвычайно трудно. Единственным реальным рычагом, которым я еще мог повлиять на трудовую активность колхозников, оставалось сено. Ведь без него они не могли продержаться зимой скот — основу своего благополучия. Однако и это была палка о двух концах. Высоко оплачивая в прошлом сенокосные трудодни, правление привлекало на уборку сена почти всех колхозников и с грехом пополам заготавливало сено, чтобы впроголодь продержаться общественный скот до весны. Но зато трудодни, начисленные на других работах, оплачивались сеном весьма скудно. Теперь представьте себе, что правление колхоза приняло решение выдавать сено на все трудодни поровну. Справедливо? Как будто да. Всю зиму я готовился к сенокосной страде. Принципиальные вопросы предварительно решались в партийной организации. Особенно долго обсуждался порядок выдачи сена на трудодни. Сторонники единого трудодня правильно подчеркивали, что это поднимет активность колхозников на других работах и позволит своевременно выполнить работы по прополке и уходу за полевыми культурами. Колхозники, делавшие ставку на личное хозяйство, защищали высокую оплату сеном трудодня, выработанного на сенокосе. Они пугали правление срывом сенокоса и гибелью скота во время зимовки, если будет принята выдача сена на общие трудодни. В партийной организации и в правлении не было твердости. Большинство понимало преимущество укрепления единого трудодня, но пугал опыт предыдущих лет — слишком страшно было представить безлюдные луга в период сенокоса.

После некоторых сомнений я все же стал за единый трудодень. Было заранее определено количество сена, которое колхозник может получить, выработав определенное количество трудодней. Мы исходили из расчета, что колхозная семья из двух человек, выработавшая минимум трудодней (в нашем колхозе двести для мужчин и сто пятьдесят для женщин), сможет прокормить корову. Решено было применять также систему премий за хорошую работу. В душе я считал возможным применить на сенокосе и дополнительную оплату, но предпочитал об этом пока не говорить. Весть о новом порядке получения сена в будущем году быстро разнеслась по колхозу. Первой реакцией на решение правления были жалобы одиноких старушек, которые держали коров.

Раньше их выручал сенокосный трудодень. Приедут родственники из города, поработают отпуск, сама походит летом — смотришь, не только на корову хватает, а и теленочка держит. Тогда правление приняло еще одно решение. Основным путем обеспечения сеном этой группы колхозников сделали контрактацию телят.

Однако заметной активности в трудовой деятельности колхозников решение правления о сене не вызвало. Многоопытные бригадиры утешали меня:

— Колхозник зря трудиться не любит. Сено-то ведь будет выдаваться на трудодни будущего года. А сейчас декабрь. Чего ему спину гнуть. Вот с января месяца видно будет.

И правда, в январе, несмотря на более холодную погоду, на работу стали выходить гораздо активнее. Многие женщины, у которых плохо обстояло с одеждой и обувью или же не с кем было оставить детей (детских учреждений в колхозе не было), брали на дом тресту и трепали лен. Стало заметно, что у людей появилась заинтересованность. И все же я боялся за сенокос и всю зиму готовился к нему. Съездив в райком к Ивану Александровичу Сухову и откровенно рассказав ему о своих опасениях, я попросил его подобрать для колхоза в Смоленске две шефских организации, одна из которых обеспечила бы колхозу хорошую техническую помощь главным образом в ремонте машин, а вторая располагала бы большим количеством людей, которые могли помочь в сенокосе. Сухов обещал сделать все необходимое в отношении шефов и свое обещание выполнил.

Самым сложным в заготовке сена была косьба трав. Нечего было и надеяться скосить всю тысячу гектаров вручную. Нужно было думать о механизации. Поставить на косовицу тракторы мы тогда не могли. Выход подсказали колхозники. Они вспомнили, как в свое время работали на конных сенокосилках. Около половины лугов можно было косить машинами. В течение зимы приобрели несколько сенокосилок, запасные ножи и сегменты. В каждой бригаде подобрали колхозников, понимающих в технике и умеющих хорошо обращаться с лошадьми. Впрочем, они недолго работали в бригадах. Для удобства и надежности им оказалось выгоднее работать вместе, на одном массиве. Сдвоенные косилки давали более высокую производительность по сравнению с одиночками. Лучшие работники Иван Платонович Зазыкин и Василий Борисович Ильинский при норме выработки два гектара обычно скашивали по два с половиной — три гектара. Трава, скошенная косилками, лежала тонким ровным слоем. Просыхала она быстро, и бригадирам нужно было внимательно следить за этим, чтобы не прозевать. В солнечную погоду оставленное на несколько дней сено «выгорало», сильно теряя в качестве. Дмитрий Платонович, обнаружив такие участки, нещадно ругал бригадиров и в конце концов добился того, что технология уборки сена стала соблюдаться более аккуратно. Вообще в нашем колхозе стремились не держать траву долго на солнце. Самым надежным средством получения хорошего сена считалось как можно более быстрое доведение его до стогов. Чтобы сено не портилось при хранении, стога делали круглые в сечении и небольшие — весом в две-три тонны.

Наиболее оживленными луга становились, когда по сложившимся обстоятельствам стога метали сразу из валков или прокосов. Тогда бригадир выводил в поле всех — нетрудоспособных колхозников, подростков, сельскую интеллигенцию. Вся эта цветастая толпа рассыпалась по зеленому ковру, и начиналась веселая работа. Женщины, вооруженные граблями, группами рассеявшись по луговине, с песнями сгребают сено в копны. Песни подбирают так, чтобы те были в ритме работы: протяжные, нежно-грустные, когда нужно несколько замедлить темп, чтобы отдохнуть, и задорно-веселые, если копны редеют и нужно ускорить работу. Большая роль в стоговании сена принадлежит ребятишкам. Они верхом на лошадях подвозят к стогам копны. Веселье, шустрые, они лихо свистят и с гиком носятся по лугам, пятками подбадривая своих четвероногих помощников. На всем скаку подлетая к копне, они мигом соскакивают с лошади, подсовывают под копну кий, перекидывают через нее веревку, закрепляют и верхом везут копну к месту будущего стога. Некоторые ребята выполняют это просто артистически, копны покидают свое место, не оставляя на нем ни одной травинки. У стогов с вилами в руках орудуют мужчины. Если в работе участвуют шефы, начинается негласное соревнование. Поднять на вершину стога хороший навильник — надо иметь не только

силу, но сноровку и смекалку. Городские жители, молодые парни, обычно уступали даже пожилым колхозникам. Горожанин несколько раз ткнет вилами в копну, чтобы получше ухватить на вилы сено. Поднимет его и не успеет еще донести до половины стога, смотришь — половина свалилась обратно. А Петр Платонович Зазыкин, хоть ему уже за шестьдесят, подойдет к копне, внимательно посмотрит, ткнет разок вилами — и навильник килограммов на тридцать уже на стогу. Что касается таких колхозников, как Иван Артемович Кривошеев, то тут шефы могли только ахать и удивленно покачивать головами. Если копна небольшая, Иван брал копну на вилы целиком и, крякнув, медленно поднимал над головой. Затем, выпрямившись, поднимал еще выше и аккуратно укладывал на стог. Теперь все зависело от стогоправа. По его команде укладывались пласты сена, он поправлял их, уминая, от него зависела прочность стога и его внешний вид. Поэтому стогоправы ценились в колхозе, и бригадиры, не имевшие своих специалистов, выпрашивали их на метку стогов в других бригадах, давая взамен двух, а то и трех человек из своей бригады.

Стогование из валков и прокосов шло как бы по конвейеру. Женщины — копильщицы, подростки — возчики копен и мужчины — метальщики стогов. Достаточно было замедлить или взвинтить темп в одном каком-то звене, как соответственно менялся темп всего конвейера.

Тяжело доставались нам дальние луга. Для сенокоса на таких лугах подбирались группы из мужчин, женщин-одиночек и подростков. Они уезжали в луга с ночевкой, забрав с собой кое-какие продукты и котлы для варки пищи.

В сенокосе 1957 года нам не удалось полностью выполнить намеченный план: остались у нас кое-где и нескошенные неудобные участки, не уложились мы и в двухмесячный срок, пришлось несколько выделить по оплате сеном сенокосные трудодни. Но все же главное было сделано. Нескошенных лугов осталось немного, самые дальние и неудобные. С началом уборочных полевых работ сенокос стал уже не первой, а второй работой, на него выделялась меньшая часть рабочих. Основной заработка сена для колхозников стали общие трудодни. Все это позволило колхозу в будущем более основательно решить проблему заготовки кормов.

В хозяйстве имелось много заболоченных лугов, основную растительность которых составляла осока. Сено с таких угодий получалось грубое, малопитательное, скот поедал его весьма неохотно и только при отсутствии другого корма. Я предложил правлению заготавливать на таких лугах не сено, а силос.

\* \* \*

Приобретение электростанции ЖЭС-60 сыграло важную роль в улучшении деятельности колхоза. Теперь можно было провести электричество в хаты колхозников хотя бы центральной усадьбы.

В те годы, когда хозяйство еще не окрепло, трудно было решиться на электрификацию деревни. Но еще труднее оказалось реализовать это решение — не было ни материалов, ни специалистов. В банке сказали, что без технического проекта кредитов на электрификацию колхоза не дадут. Я отправился в Смоленск в проектный институт. Там меня охладили: на дворе осень, полевые съемки и изыскания закончены, речь может идти лишь о договоре на следующий год. Пошел к директору. И тут мне удивительно повезло. Директор и секретарь партбюро обсуждали социалистические обязательства института к годовшине Октября. В обязательствах был пункт о выполнении проектных работ сверх плана — требовался объект для сверхплановых работ: небольшой колхоз недалеко от Смоленска. На другой день я уезжал из Смоленска с договором в кармане. Институт обещал выполнить все работы в четвертом квартале. На следующей неделе в колхоз приехал проектировщик-изыскатель, составил схему размещения силовых точек и линий передач, затем в течение нескольких дней провел необходимые исследования. Теперь банк согласился дать кредиты. Материалы для прокладки электрических сетевых линий получала специальная организация Сельэлектромонтаж, которая занималась электрификацией колхозов. Но в ее плане нашего колхоза не было, и материалы для него не выделялись. Пришлось заниматься самодеятельностью. Прежде всего нужны были столбы длиной в девять с половиной метров. Высмотрели в кол-

хозном лесу какой-то мысик, который портил вид прямоугольного квартала. Росли там высокие прямостоящие ели, как раз на столбы. На этом участке мы заготовили нужные нам пятьдесят столбов. Гораздо сложнее оказалось приобрести алюминиевый провод для наружной сети. Несколько мотков такого провода в колхозе было, но его хватило лишь для прокладки линий к производственным помещениям. Выручила опять «левая клиентура».

Ехал я как-то по автомагистрали Москва — Минск и обратил внимание на валяющиеся в стороне чашечки-изоляторы: недавно здесь сменили линию связи. Вернувшись в колхоз, я организовал специальную экспедицию. Сели с шофером Николаем Сергеевичем Кожекиным в грузовую машину, захватили тару для сбора изоляторов и покатали. В самый разгар нашей работы по сбору трофеев останавливается на шоссе машина и спускаются к нам с бровки трое. Вот, думаем, беда! Наверное, связисты и сейчас прицепятся: зачем их имущество растаскиваем.

— Здравствуйте, люди добрые,— дружелюбно приветствовали нас пришельцы.— Зачем вам такой хлам понадобился?

— Кому хлам, а для нас клад,— отвечал я.

Переглянулись проезжие и засмеялись.

— Да мы вам новеньких сколько надо привезти можем.

Присели на лужок, закурили. Оказалось, что монтажники могут достать все что нужно: провод наружный и внутренний, изоляторы, крючья, арматуру, и все это по государственной цене. Собрать старые изоляторы уже расхотелось. На заседании правления мое сообщение о возможности приобретения материалов для электрификации «левым» путем было встречено оживленно. Приняли такое решение: взять у «левачей» только наружный голый провод, который нигде не достать. Изоляторы добрать на трассе Москва—Минск, недостающее количество крючьев сделать в колхозной кузнице, шнур для внутренней проводки купить в магазинах.

Специалистом по электромонтажным работам оказался Алексей Васильевич Панков — муж нашей медицинской сестры, заведующей соловьевским медпунктом Дуси Панковой. Работал он в разных местах, подолгу не задерживался и частенько возвращался в родные края. Слыл Алексей неплохим электриком и работающим парнем. Договорились, что он возглавит бригаду колхозников и будет вести все работы по проекту.

Весной работа началась, а 6 ноября 1957 года колхоз торжественно отметил праздник сорокалетия Октября. В этот день на центральной усадьбе зажгли лампочки Ильича.

На весь колхоз был один магазин, стоял он на большой дороге в деревне Соловьево. Его заведующим и единственным продавцом был семидесятилетний Еремеич. Торговая практика подсказывала ему, что самый надежный и выгодный товар — это водка: она не испортится, на ней не провешаешься, с ней легче всего выполнить план и получить премиальные. Кроме водки, торговал Еремеич керосином, спичками, мылом, солью, табаком. Для вида в магазине были и ткани, и одежда, и обувь, и многое другое. Но все это такого качества, что без великой нужды покупать не станешь. Райпотребсоюз завозил эти товары большими партиями, и Еремеич забивал ими доверху маленькую пристройку, служившую складом. Сквозь дырявую крышу дожди заливали товары, продавец составлял акты на выбраковку и уценку, но потребсоюз не принимал их, угрожал ревизией и начетами, принуждал к реализации.

Докопался как-то Еремеич до дна своего склада и ахнул: обувь позеленела, на пальто пятна, пальцем тронешь — того и гляди расползется. Ну кто такой товар возьмет? А тут ревизия скоро. Загрустил Еремеич, прикинув в уме сумму начета. И тут вспомнил о ходкой торговле накануне денежной реформы. Вот бы еще так поторговать... Вечером сказал жене:

— Слышь-ка, Домна! Пойдешь завтра корову доить, так шепни кому-нибудь из баб, что скоро денежная реформа будет.

Тревожный слух разнесся по деревне. На другой день колхозники расхватили все залежавшиеся товары. Паника из Соловьева перекинулась в соседние деревни и, воз-

можно, пошла бы гулять по всей области, если бы районные организации своевременно не отреагировали и не приняли соответствующих мер. Несдобровать бы Еремеичу, да спасли его откровенность и добродушие, с которыми он принес повинную голову.

Снова встал Еремеич за прилавок, но товары больше у него не залеживались.

\* \* \*

Постановление о продаже техники колхозам все встретили одобрительно. По установленному порядку каждый колхоз мог купить только ту технику, которая к моменту издания постановления была закреплена за тракторной бригадой колхоза. Сельскохозяйственных машин Колчин наташил в бригаду порядочно. Правда, были они старые, а некоторые даже не числились на балансе, но это имело и свою положительную сторону: чем старше машина, тем дешевле она стоила. Тракторов в колхозе числилось не много, но были они в хорошем состоянии: один ДТ-54 почти новый, «Беларусь» работал лишь два года, второй ДТ-54 только вышел из капитального ремонта, ДТ-14 мог еще постучать года два-три. Хуже дело обстояло с комбайнами. Было у нас их три: С-4, С-4М и ПК-2. Но С-4 доживал последний сезон, его уже списали, а ПК-2 хотя и был новым, но вследствие какого-то заводского дефекта не мог работать на жатве. Мы использовали его только для обмолота семенников трав. Колчин предлагал отказаться от этого комбайна, но комиссия сделала большую уценку, и мы взяли его специально для обмолота клевера. Колхоз остался практически с одним зерновым комбайном. На наше счастье, в разгар распродажи техники в МТС поступил новый комбайн СК-3, который продали нашему колхозу. По теперешним временам купленная нами техника — слезы. Но тогда это был шаг вперед. Когда я приехал, в колхозе работали один зерновой комбайн, «натик», ХТЗ и одна автомашинка. А теперь мы имели три комбайна, два ДТ-54, «Беларусь», ДТ-14 и четыре автомашины.

Теперь мы стали хозяевами машин и должны были сами решать, как использовать свой машинно-тракторный парк. Я созвал заседание правления с участием всех механизаторов и поставил на обсуждение вопрос о сменности работы тракторов. Бригадиры колебались, им хотелось, чтобы трактор работал хоть круглые сутки. В то же время они знали, что в одних руках машина всегда надежнее. Бригадир тракторной бригады Колчин решительно высказался за односменную работу: ему надоело разбирать конфликты между сменщиками. В конечном счете договорились так: тракторы перевести на односменную работу, летом по десять часов в сутки, а в напряженные дни — по двенадцать—четырнадцать часов. Правлению колхоза — купить еще один тяжелый трактор и обеспечить каждого тракториста плугом. Все остальные сельскохозяйственные машины и орудия закрепить за трактористами и использовать только с ведома и разрешения «хозяина». Агроному совместно с бригадирами для каждого тракториста составлять план работы на сезон таким образом, чтобы каждый тракторист был закреплён за бригадой. Это в значительной степени улучшило качество тракторных работ. Если раньше трактористы преспокойно объезжали плугом большие камни, ямы, то теперь это было им невыгодно. Однажды, проходя по полю, я заметил, что Герасим Иванов заделывает плугом большую водоронну, разрезавшую поле на две части.

— Надо вот запахать канаву. А то как я потом поле поперек пахать буду?

— А что ж раньше не заделывали?

— Кто бы мне стал горячее списывать? Да для других стараться не очень охота.

А теперь это поле мое. Надо его в порядок привести.

Это лишний раз убеждало меня, что обезличку нужно решительно искоренять везде и во всем.

Зима и весна 1957 года радовали нас. Озимые хорошо перезимовали и пошли в рост.

Мы быстро посеяли зерновые и посадили картофель. Погода стояла будто по заказу: теплые солнечные дни и небольшие дожди ночью. Все росло как на дрожжах. Буйно поднялись травы на лугах, сенокос начали недели на две раньше обычного, и скоро луга покрылись шапками душистых стогов.



Беда подкралась неожиданно, страшная по своим размерам. В августе, когда полным ходом идет уборка хлебов, пошли дожди. Над землей нависли низкие тяжелые облака, дождь почти не переставал. Редкие перерывы невозможно было использовать для комбайновой уборки. Солома забивала жатку, и комбайн то и дело останавливался. Дожди не прекращались весь август — наполнились до краев ручьи и речки. Мутные потоки вливались в Днепр. Он вышел из берегов, вода стала заливать луга. С тревогой следили мы, как она окружала колхозные стога. Но стояли они на высоких местах, и все надеялись, что вода до них не достанет. И все-таки на экстренном заседании правления было принято решение о перевозке стогов в безопасное место. Вдруг дожди стихли, в сплошной серой пелене неба появились разрывы, и однажды мы даже увидели солнце. Вода в Днепре прибывала еще несколько дней, а затем остановилась. Два-три стога оказались плавающими в воде.

Хлеба подсохли, и по состоянию соломы их вполне можно было убирать машинами. Но земля превратилась в полужидкое месиво. Комбайны буксовали или увязали в почве. Была дана команда перейти на массовую ручную уборку хлебов. Взялись за серпы и косы. При тех хлебах, что вымахали в тот год, один человек мог сжать в день не более десяти—двенадцати соток. А это значило, что для замены одного только Дмитрия Павловича Зуева, который убирал по десять—двенадцать гектаров, нужно было выставить в поле сто—сто двадцать жниц. Но другого выхода не было. По бригадам пошли агитаторы: надо спасать хлеб. В поле вышли все от мала до велика.

Но ведь, кроме хлеба, в колхозе был еще лен — культура, которая давала более половины денежных доходов. Пришлось часть людей перебросить на лен. Однако дело подвигалось медленно. А тут еще из-за дождей оттянулся сев озимых. Нужно было готовить семена, вносить удобрения и сеять. Людей явно не хватало. Бригадиры нервничали, не зная, как лучше распорядиться своей немногочисленной армией. И тут мы, как часто делали в трудные моменты, провели открытое партийное собрание, в котором принимал участие весь колхозный актив.

Намеченный план стал осуществляться, и весьма возможно, что многое сделали бы мы в тот год и руками, если бы не настигла нас вторая полоса дождей.

Снова серая завеса окутала землю, нагоняя на людей тревогу и тоску. С лугов еще не ушла вода, как уровень реки снова начал подниматься. На этот раз вода прибывала быстрее, и скоро луга оказались залитыми сплошь, как в весеннюю пору. Скрылись под водой самые высокие бугры, и стога сена оказались в воде. Почерневшие от воды и плесени хлеба с погнувшимися и поломанными стеблями имели жалкий вид. Зерна в колосьях проросли, и их зеленые росточки придавали почерневшему лугу фантастический вид. Зерновые потеряли теперь всякую ценность. Мы смогли уберечь лишь ту часть, что успели убрать вручную. Сжатые снопы на лошадях перевезли на открытый ток и заскирдовали.

На картофельных полях мокрые от дождя колхозницы и шефы собирали грязные клубни и сносили их в бурты. Зараженные гнилью еще в земле клубни быстро портились. Лишь в Коровниках на песчаной почве картофель был хорошим, и мы с трудом смогли выполнить государственный план заготовок и засыпать семенной фонд. По хозяйственным соображениям было выгоднее не убирать картофель в соловьевской и макеевской бригадах, а выкапывать его по мере надобности на корм скоту.

Неожиданные заморозки помогли организовать вторичную уборку хлебов. Зерна в колосьях осталось уже мало, и было оно почерневшим и проросшим. Но все же это было зерно, и в тяжелую годину им нельзя было пренебречь. Мы убрали все, что подавалось жатке комбайнов, и намолотили около тридцати тонн зерна. Оно сыграло свою роль в кормовом балансе колхоза.

После заморозков в первой половине ноября выпал снег, и мы уже считали небурные площади картофеля погибшими. Но в начале декабря снег растаял и земля настолько отошла, что оказалась возможной работа картофелекопалки. И мы убрали оставшийся картофель. На наше счастье, вскоре снова наступили холода, и поврежденные клубни, замерзнув, уже не подвергались дальнейшей порче. Они хорошо сохранялись в буртах, и мы длительное время использовали их на корм скоту.

Дождливая осень 1957 года привела к тому, что большая часть льносоломки оказалась неразостланной, а часть и необмолоченной. Обмолот — дело нехитрое, и мы постарались закончить его до больших снегопадов, чтобы льняные скирды не забило снегом. Заскирдованная соломка, подсушенная морозами, обмолачивалась хорошо, и мы скоро управились с этой работой. А вот что делать с соложкой — было не ясно. Заготлен принимал только льнотресту. Оставлять соломку для расстила в будущем году не хотелось: и деньги нужны, да и обработать сразу урожай двух лет колхозу не под силу. Я знал, что зимне-весенний расстил льна — дело рискованное. Но тут же подумал: а что, собственно, в сельском хозяйстве обходится без риска? Не рассчитывая особенно на прогноз, в начале марта начали возить соломку и расстилать ее на специально подобранном месте, недалеко от крытого тока. Но судьба, очевидно, решила вознаградить нас за ущерб, причиненный осенним ненастьем, и погода благоприятствовала нашему эксперименту. Треста мартовского расстила неожиданно оказалась даже лучше той, которую мы получали осенью. Наснежный расстил льна в тот период здорово выручил колхоз.

\* \* \*

В сельском хозяйстве все так тесно переплетено друг с другом, что если в одном месте упустишь — в другом обязательно скажется. Только на первый взгляд может показаться, что одна работа важнее другой.

Нужно было серьезно подумать об улучшении системы оплаты труда. Пока у нас существовала двойная оплата: трудовая и дополнительная денежная. В конце концов создалось явно ненормальное положение, когда дополнительная оплата стала в несколько раз превышать основную. Это произошло в результате того, что ее начали распространять на все большее и большее число работ.

Вместе с тем в колхозе существовала категория работников с гарантированной денежной оплатой труда: трактористы, шоферы, механик, специалисты, бригадиры. Это тоже вносило какую-то рознь. Наиболее безболезненным для всех была бы ликвидация трудовой и переход на единую денежную оплату. Я уже не раз думал об этом. Однако большинство ученых-экономистов в то время придерживались той точки зрения, что денежная оплата труда доступна лишь хозяйствам экономически крепким, с крупными денежными фондами. С моей точки зрения, денежную оплату труда правильнее рассматривать не как следствие, а как фактор подъема экономики колхозов. Однако моя точка зрения не нашла поддержки ни среди ученых, ни у председателей колхозов.

Не найдя сторонников, я решил испытать такой способ оплаты в своем колхозе. Собрал правление. Мы сопоставили денежный баланс с затратами труда и пришли к выводу, что пока можем установить тарифные ставки в животноводстве на уровне совхозных, а в полеводстве половинные. Несоответствие в поступлении денег можно было отрегулировать за счет создания резервного фонда, а также тем, что другие расходы производить в зимнее время, когда выдача денег колхозникам значительно уменьшается. К этому времени колхоз расчистил свои счета, вместо долгов на них появились свободные средства. Правда, было их пока мало, но все же это свободные деньги, а не долги.

Обсуждали наши предложения на партсобрании, в бригадах, провели большую подготовительную работу. Колхозники убедились в перспективности новой системы оплаты, и она была принята общим собранием. С 1959 года колхоз отказался от трудовой. Первые же месяцы показали правильность наших расчетов. Трудовая активность колхозников заметно возросла.

Иван Александрович Сухов горячо поддержал нашу инициативу. По его указанию отделение Госбанка регулярно выдавало нашему колхозу наличные деньги для расчетов с колхозниками. Банк установил нам определенные числа для получения денег, бухгалтер за несколько дней предупреждал о требующейся сумме, и все шло довольно гладко. Реакция колхозников на аккуратную выдачу зарплаты была весьма положительной. Теперь бригадирам уже не нужно было тратить время на поиски рабочей силы. Все их внимание сосредоточилось на правильной организации труда. Колхозники и сами теперь старались сделать все побыстрее и получше.

Подъем трудовой активности колхозников чуть-чуть не сыграл с нами злую шутку. В своих расчетах по оплате труда мы исходили из данных предыдущих лет, приплюсовав рост трудового участия и производительности труда около десяти процентов. Однако действительность опрокинула наши расчеты. В первые же полгода число выходов на работу увеличилось на тридцать пять—сорок процентов. Если к этому добавить повышение производительности труда, легко представить себе, как подпрыгнули расходы. А ведь дополнительный труд, который появился в результате возросшей активности, мы направляли главным образом в работы на перспективу: расчистку земель от кустарников, создание культурных лугов и пастбищ, заготовку и вывозку органических удобрений, мелиорацию земель и т. п. Эти работы были безусловно необходимыми, но пока они только поглощали средства. Передо мной встала дилемма: или как-то притушить энтузиазм колхозников, подогнав его под имеющиеся средства для оплаты, или, не сокращая расходов на оплату труда, изыскивать какие-то дополнительные денежные ресурсы. Пойти по первому пути значило отказаться от всего завоеванного, оборвать в зародыше то прекрасное чувство веры в будущее, которое появилось у колхозников, расписаться перед всеми в своем бессилии или даже неправоте.

Пойти по этому пути я не мог. Нужно было изыскивать средства. Во-первых, необходимо было направить часть дополнительных трудовых ресурсов на создание такой продукции, которую можно было реализовать. Надс было пересматривать технологию производства. Почти всякую сельскохозяйственную продукцию можно реализовать на разных этапах ее движения от сырья до готового фабриката. Вложенный труд, а следовательно, и стоимость продукции будут разными. Например, льнопродукцию можно реализовать в виде льносоломки, льнотресты и льноволокна. В денежном отношении колхозам выгоднее всего сдавать продукцию льна в виде волокна. Вот почему одним из разделов нашей программы по изысканию средств была организация льнотрепального пункта. В животноводстве подобным образом можно поступать с молоком: план сдачи выполнять сливками, а остающийся обрат употреблять на выпойку телят и поросят. Вторым разделом нашего плана был курс на строжайшую экономию средств. Порядочную статью в расходной части сметы колхоза составлял ремонт техники. Прикинули мы и решили построить в колхозе свою ремонтную мастерскую. Ее постройка позволила колхозу ежегодно экономить до пятидесяти тысяч рублей.

Пришлось внимательно продумать и пересмотреть план реализации животноводческой продукции. Я поставил перед Дмитрием Платоновичем задачу за счет улучшения откорма и изменения сроков сдачи получить дополнительно на том же поголовье тысяч тридцать рублей. Дело в том, что цены на скот в течение года были разными, и, приурочивая сдачу к определенному сроку, можно было за тот же вес получить значительно большую сумму. Надо было извлечь пользу из наших подсобных предприятий, в колхозе имелись мельница, пиломатериал, сушилка. Все это использовалось только для своих нужд, и большую часть времени предприятия простаивали. «А почему?» — спросили мы сами себя. Дали объявления в кардымовскую и ярцевскую районные газеты. Достаточно было приехать одному-двум, а затем заработала устная реклама. Случались у нас и более крупные финансовые операции, которые гораздо надежнее пополняли колхозную кассу.

Однажды лесное начальство устроило нам ревизию и было приятно поражено, увидев идеальную чистоту и порядок в колхозном лесу. Воспользовавшись благоприятной обстановкой, я закинул словечко о колхозной бедности и выпросил лесорубочный билет на сто кубометров леса. Вырезав этот лес и распилив его на тес, мы продали продукцию нуждающимся кардымовским организациям. В колхозную кассу поступило около сорока тысяч, а руководители организаций, которым достался тес, стали считать себя весьма обязанными колхозу. И не мудрено. Такому тесу любой бы позавидовал: без сучка и задоринки, ровный, как струна.

Так пополняли мы колхозную кассу, то собирая по крохам, то находя куски побольше. В ожидании лучших времен, когда начнет давать отдачу труд, вложенный с расчетом на дальнюю перспективу (мелиорация и удобрение земель, племенная работа и т. д.), для поддержания денежной оплаты труда приходилось мне вертеться как белке

в колесе. Однако огонек, зажженный в нашем колхозе, не гас. К нам уже начали приезжать знакомиться с опытом работы по денежной оплате труда из других колхозов. В областной газете появилась статья «Второй год без трудодня», в которой инструктор райкома партии описывал историю и результаты нашего нововведения.

Так вот и шла моя жизнь в колхозе, бурная, беспокойная, сопровождаемая бедами и радостями. И все-таки с каждым годом колхоз креп, хозяйство его росло и развивалось, люди поверили наконец в возможность выхода из запустения и нищеты, в возможность хорошей жизни и стали работать значительно лучше.

И вдруг все круто изменилось. Летом 1960 года в колхоз приехал секретарь райкома партии. Это был уже не Сухов. Секретари райкомов в те времена не засиживались долго на одном месте. Место Сухова занял Александр Александрович Макаревский, бывший секретарь обкома комсомола. Еще молодой, энергичный, он горячо взялся за дело и хорошо помогал колхозам в налаживании производства, в строительстве и другом. Даже не поговорив о колхозных заботах, он с места в карьер сообщил мне, что обком партии предполагает отозвать меня из колхоза и направить на работу директором Смоленской государственной сельскохозяйственной опытной станции, размещавшейся в нашем районе. Мы были с Александром Александровичем хорошими друзьями, и он посоветовал мне согласиться.

— Задание партии ты выполнил, колхоз поставил на ноги, и он теперь может идти вперед и без тебя. Председателя мы выбрали — заместитель председателя райисполкома. Колхозников, я думаю, уговорим. А тебе надо вернуться в науку.

Слова Макаревского взволновали меня. Волнующей и тревожной была жизнь в колхозе. Иногда даже не очень большие успехи окрыляли нас, заставляли обдумывать новые, все более и более смелые замыслы. Но были и горькие минуты, когда на пути наших планов вставала излишняя опека сверху, когда в угоду исполнению волевых решений перечеркивались все наши замыслы и дела. Было тяжело переживать такие периоды, и тогда вспоминалась более спокойная и упорядоченная научная деятельность.

Если бы я знал в то время, что партия вскоре круто изменит порядок планирования в колхозах, а в моей будущей научной работе не все будет гладко и хорошо, я бы, вероятно, остался в колхозе. Но в ту пору трудности колхозного бытия склонили меня в пользу науки, и я дал согласие перейти на новую работу.

Колхозное собрание проходило весьма бурно. Колхозники ни в какую не соглашались на замену председателя. Макаревскому пришлось дважды проводить собрание.

С тех пор утекло много воды. По-разному поворачивалась жизнь ко мне: то грела теплой стороной, то царапала острыми углами. Но с колхозом на Соловьевой переправе все эти годы я не терял связи: два-три раза в летнюю пору приезжал, кое с кем из колхозников обмениваюсь письмами.

Как и прежде, волнует меня судьба колхоза, вместе со своими друзьями радуюсь я его успехам, вместе с ними огорчаюсь неудачам.

Каким же колхоз стал сейчас? Какова судьба его людей?

Как и вся наша страна, колхоз шагнул вперед. Он значительно укрупнился, объединившись с соседним колхозом «Искра». В хозяйстве теперь достаточно всяких машин, и руководство уже не ломает голову над тем, как заткнуть восемнадцать дыр пятью затычками. Вместе с колхозниками я радуюсь тому, как заметно выросла культура села. Вот что написал мне в своем письме Нил Ильич Кожанов — он сейчас секретарь Соловьевского сельсовета: «Электричество у нас в каждом доме, а также радио. Много телевизоров. В Соловьеве школа новая, деревянная, но хорошая». Невольно я вспомнил наши разговоры с Ефимом Ивановичем Ячменевым о телевидении. Все же дожил старый пастух до дня, когда и он с помощью «ящичка» смог, не выходя из хаты, увидеть весь мир.

В колхозе продолжается естественная концентрация населения и ликвидации мелких деревень. Уже никто не живет в Пищине и Задней, и недалек тот день, когда территории этих деревень будут полностью распаханы и, соединив разрозненные пахенные массивы, улучшат землепользование колхоза. Жалко только, что от темпов

роста общественного производства еще отстает благоустройство колхозных сел. Главной причиной медленного строительства новых домов колхозников продолжает оставаться нехватка строительных материалов. Не каждый может решить эту трудную проблему.

А теперь о людях, о замечательных тружениках, вместе с которыми я радовался и горевал, восстанавливая разрушенное войной хозяйство. Многих уже нет в живых. Смерть унесла в могилу Дмитрия Платоновича Зазыкина, его брата Петра Платоновича, Феклу Ананьевну Мойсеенкову. Умер бригадир коровниковской бригады Михаил Терентьевич Сиваков.

Некоторые уехали из колхоза в город. В их числе оказались тракторист Иван Федорович Евтихов, шофер Василий Дмитриевич Арсюков, прекрасный косильщик Василий Борисович Ильинский, замечательные телятницы мать и дочь Киселевы — Наталья Дмитриевна и Надя. Не прижилась в колхозе и уехала в Смоленск агроном Анна Андреевна Салмина.

Многие ушли на пенсию, в их числе Ефим Иванович Ячменев, Мария Ивановна Тинькова, Елена Кузьминична Зуева, Анна Яковлевна Киселева.

Но мне очень приятно отметить здесь, что большинство из тех, кто в трудные годы становления колхоза нес на своих плечах основное бремя, остались верны себе, они живут в колхозе и продолжают отдавать ему свои горячие сердца, живой ум и трудолюбивые руки. По-прежнему работает на соловьевской ферме Юрий Михайлович Простаков. Вот что он сообщил мне о себе в своем письме: «Живу я с мамой и сыном Мишей, он ходит в пятый класс. Алексеевна (его мать.— А. Б.) очень старая. Работаю я на ферме, в том скотном дворе, который Вы строили. Но есть и новый скотный двор, он со всей механизацией». Продолжают работать на соловьевской ферме Дарья Ивановна Гринева, Ефросинья Терентьевна Буренкова, Михаил Кузьмич Киселев. Теперь к ним добавилась Александра Митрофановна Мазурова — бывшая кладовщица.

На коровниковской ферме по-прежнему работают Федора Васильевна Зазыкина, Мария Григорьевна Черенкова.

Сохранилось в колхозе и ядро механизаторов. Трактористами работают Николай Александрович Ковалев, Виктор Киселев, Николай Соловьев. Снова вернулся на трактор Константин Вениаминович Алексеев. Как и при мне, возглавляет тракторную бригаду Петр Григорьевич Данченко, а учетчиком работает веселый и разбитной Володя Заручевский. Правда, теперь он, говорят, повзрослел, женился. Но моя память сохранила его в форме пограничника.

По-прежнему водит машину Николай Сергеевич Кожекин. Хотелось бы мне снова проехать вместе с ним в кабине, слушая его неторопливые рассказы о разных житейских историях.

В колхозной мастерской, как и раньше, работают Михаил Маркович Фроленков и Василий Михайлович Соловьев.

До сих пор на своих местах остаются Ольга Ильинична Потарыкина (ветфельдшер) и Анастасия Захаровна Сныткина (зав. почтой).

Очень доволен я был, когда узнал, что на руководящую работу в колхозе начинают все больше и больше привлекаться женщины. На должность счетовода вернулась Прасковья Алексеевна Ковалева, бригадиром макеевской бригады стала Александра Андреевна Гринева — жена Фрола Ивановича, которая когда-то вместе с мужем велла наше кролиководство. Коровниковскую бригаду сейчас возглавляет Ольга Михеевна — жена Николая Сергеевича Кожекина.

У колхоза еще много трудностей и нерешенных проблем. Но я верю, что его ждет хорошая судьба. Желаю вам всем, друзья мои, успехов и счастья. Вы этого вполне заслужили.



---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

## РАБОТЫ ЛЕНИНА В ЯПОНИИ

**В** преддверии великой даты — столетия со дня рождения В. И. Ленина — в Японии издательством «Оуки сётен» издан двухтомный сборник «Ленин о культуре, литературе и искусстве». Два тома, насчитывающие более тысячи пятисот страниц, не только свидетельствуют о возросшем интересе к ленинскому литературному наследию, но и помогают его дальнейшему изучению в Японии.

Литературно-эстетическая теория Ленина привлекла внимание японских деятелей культуры в середине двадцатых годов. То было время, когда в японской критике еще господствовало идеалистическое понимание искусства.

Критик Аоно Суэкичи, один из видных деятелей японской пролетарской литературы, прочитав в английском переводе ленинские статьи о Толстом, пришел в изумление. Сама жизнь управляет великим художником, его творчество является «зеркалом русской революции», ее противоречий. Аоно назвал ленинские статьи о Толстом «вкладом в критику, устанавливающую «внешнюю» связь искусства с действительностью», и предпринял, по его словам, попытку переосмыслить творчество классиков японской литературы, применяя ленинское положение о Толстом.

Характерно, что выдающийся писатель Акутагава Рюноске, разделявший некогда эстетские заблуждения («Жизнь не стоит и строки Бодлера», — сказал он однажды), пишет в эти годы в стихотворении «Ленин»:

Ты — ты живешь и во мне ..

Тяготение к марксистской эстетике становится особенно заметным в Японии в конце двадцатых — начале тридцатых годов — в период бурного развития пролетарской литературы. Революционное искусство, открыто связанное с освободительным движением пролетариата, развивалось в непрерывной борьбе с буржуазной культурой, которая всегда перерастала в борьбу вокруг ленинских положений о литературе и искусстве.

Борясь за ленинизм в теории искусства, передовые деятели японской культуры прилагают все усилия, чтобы ознакомить массы читателей с ленинским эстетическим наследием.

В 1927 году одновременно в двух издательствах выходит книга «В. И. Ленин. Письма к Горькому» в переводе пролетарского поэта и критика Накано Сигэхару. В сборнике «Творчество Толстого с позиции марксизма» (1928) помещена статья «Лев Толстой, как зеркало русской революции», которая затем многократно перепечатывалась в разных журналах. В 1933 году издан сборник «Изучение Толстого», который должен был открываться известной статьей Ленина о Толстом. Цензура изъяла ленинскую статью из готового сборника, и он вышел без начальных страниц. В 1930 году выходит на японском языке уже специальный сборник — «Ленин о литературе и искусстве».

Значение ленинского эстетического наследия для духовной культуры Японии возросло в послевоенные годы в связи с задачами создания новой, демократической литературы. В 1947 году выходит сборник «Ленин и искусство», а в 1954 году — «Ленин о литературе».

Новый двухтомный сборник «Ленин о культуре, литературе и искусстве» создан на основе предыдущего опыта издания ленинских трудов по эстетике и ставит целью ознакомить японского читателя с эстетическим наследием Ленина в возможной полноте.

Составители сборника (Курахара Корэхито и Такахаси Кацуюки) опираются на книгу «В. И. Ленин о литературе и искусстве», вышедшую третьим изданием в «Художественной литературе» (1967). Они включили полностью ленинские работы и документы, мемуарные материалы, примечания, а также статью Б. Рюрикова «Ленин и литература»; все материалы расположены также по тематически-хронологическому принципу.

В первом разделе — «Общие вопросы» — помещены работы, касающиеся коренных методологических принципов подхода В. И. Ленина к литературе и искусству: теории отражения, учения о классовости и партийности литературы, о двух культурах в каждой национальной культуре буржуазного общества.

Ленинские положения, содержащиеся в этом разделе, имеют принципиальное значение в свете современной идеологической борьбы в Японии.

По существу все послевоенные литературные споры в Японии концентрировались вокруг двух коренных проблем эстетики — ленинского принципа партийности литературы и материалистической теории отражения.

Буржуазная реакция в эстетике направлена на ревизию ленинской статьи «Партийная организация и партийная литература». В Японии, как и на Западе, предпринимаются попытки доказать, будто бы в своей работе Ленин имеет в виду не литературу в целом, а лишь партийную публицистику. Искажая смысл ленинского учения, пуская в ход пресловутую «суверенность» искусства, буржуазная критика стремится отгородить художественную интеллигенцию от живого ленинского учения. Так, критик Асукай Масамити, вторя своим западным коллегам, утверждает, что у Ленина речь якобы идет только о партийной прессе. Он упрекает японских переводчиков в том, что они передавали понятие «партийная литература» буквально, словами «то бунгаку», и тем самым будто долгое время вводили читателя в заблуждение. Он предлагает немедленно заменить «то бунгаку» понятием «то бунсё» — «партийная печать», то есть печать, не имеющая прямого отношения к художественной литературе.

Но составители сборника «Ленин о культуре, литературе и искусстве» придерживаются иной точки зрения. В заметке от составителей подчеркивается, что в указанной статье выражены взгляды Ленина на литературу и искусство, которые не вмещаются в узкое понятие «то бунсё». Речь идет о собственно литературе, и, сознавая это, переводчик употребляет точный эквивалент: «то бунгаку» — «партийная литература».

Буржуазная критика партийности связана с желанием увести литературу в сторону от современного революционного процесса под лживым предлогом «автономности» искусства. В статье «Ленин и литература» Сакаги Тосио, показывая несостоятельность попыток буржуазных литераторов «поссорить» писателей с партией, пишет: «Стремление художника идти в ногу с освободительным движением, его желание стать знаменосцем партийной литературы не имеют ничего общего с утверждением буржуазной критики о «рабстве» литературы перед политикой. Наоборот, в служении делу народа литература активно проявляет жизненные силы, сохраняет свою специфику».

В борьбе с марксистской эстетикой буржуазная критика направляет свое острие также против материалистической теории отражения. В статье «Критика марксистской теории искусства» Такахаси Ёситака специально задался целью опровергнуть ленинскую теорию отражения и убедить японских писателей в необходимости отказаться от марксизма и подняться «до мирового уровня» Фрейда, Джайса и Кафки.

Однако эти попытки не имеют большого успеха. «Притягательная сила теории отражения» — так назвал свою статью художник Нагаи Киёси, написанную под свежим впечатлением прочитанного им сборника «Ленин о культуре, литературе и искусстве». «Очарование» ленинских трудов о литературе и искусстве в том, что они «выводят читателя из скучной, замкнутой сферы «автономного» искусства в реальный мир, и читатель сам вместе с автором начинает размышлять о художественной культуре», — пишет Нагаи Киёси. Отмечая, что среди японской творческой интеллигенции бытуют мнения, будто теория отражения правильна лишь для философии, но неприменяема для искусства, японский художник утверждает, что теория отражения, составляющая сердцевину

материалистической философии, имеет непосредственное отношение к художественному познанию действительности.

С позиций ленинской теории отражения Нагаи полемизирует и с современными вульгаризаторами марксистской эстетики. «В оценках произведений искусства Ленин исходит прежде всего из того, в какой степени данное произведение соответствует объективной истине,— пишет он.— Критикуя реакционные идеи Толстого, он в то же время высоко ценит жизненность созданных писателем художественных образов... Это не то, что утверждает Мао Цзэ-дун: на первом месте стоит политический критерий, а художественный критерий — на втором месте».

Значительное место в японском сборнике занимают также разделы, содержащие ленинские работы и высказывания о русских революционных демократах и народниках, о Л. Н. Толстом и А. М. Горьком, о культурной революции и пролеткульте, о зарубежной литературе и искусстве.

Японские составители сборника, сознавая, что книга адресована японскому читателю, правильно учитывают его запросы и выделяют новые разделы: «Капитализм и культура», «Диктатура пролетариата и проблемы культурной революции», «Проблемы культурного строительства». В раздел «Капитализм и культура», например, вошли, помимо известных статей «Оценка Маркса международным либерализмом», «О «Вехах», «Памяти графа Гейдена», и другие ленинские работы (целиком и в отрывках), имеющие отношение к проблемам японской культуры: «Падение Порт-Артура», «Отсталая Европа и передовая Азия», отрывок из «Ответа на вопросы американского журналиста» под заголовком «Интервенция США и Японии против Советской России», отрывок из работы «О голоде (Письмо к питерским рабочим)» под заголовком «Русско-немецкий или русско-японский Корнилов» и другие материалы.

Хочется отметить, что в большой раздел «Воспоминания о В. И. Ленине» после воспоминаний Н. Крупской, М. Горького, А. Луначарского, К. Цеткин и других включен отрывок из беседы В. И. Ленина с японским корреспондентом Кацудзи Фусе 4 июня 1920 года (беседа записана по воспоминаниям заведующего восточным отделом НКВД Вознесенского и опубликована в книге «Ленин и Восток». М. 1925). Приведу отрывок из этой малоизвестной беседы, характеризующей еще одну грань ленинского гуманизма.

«Счастливая страна»,— воскликнул Ильич в ответ на слова Фусе о том, что в Японии безграмотных почти нет. «Ну, а вот правда ли, что у вас никогда не наказывают детей, не бьют их; я об этом где-то читал».— «Да,— ответил Фусе,— у нас не бьют детей, у нас в своем роде культ детей, как основа всей семьи и государственности». Тов. Ленин подумал и сказал: «Тогда вы не только счастливый, но и великий народ. От этого пережитка, варварского пережитка применять в воспитании наказание не избавились даже так называемые передовые страны Европы». Затем, подумав и испытующе глядя на своего собеседника, Ленин спросил: «И все-таки у вас в Японии даже шлепка детям не дают?» — «Нет,— решительно возразил Фусе,— мы никогда не бьем детей». Ленин откинулся назад, вопросительно посмотрел на нас обоих. Я тоже подтвердил, заявив, что был в Японии еще ребенком и имел японскую няню. «Да,— заключил Ленин,— это замечательный народ, это настоящая культура».

Двухтомный сборник «Ленин о культуре, литературе и искусстве», несомненно, явится важным вкладом в изучение ленинского эстетического наследия в Японии. Он позволяет рассматривать эстетические взгляды Ленина в свете всех богатств его мыслей и дел в области литературы и искусства и тем самым предостерегает от догматического и цитатнического подхода к ленинскому наследию.

Ленинские труды в своей глубине и богатстве дают ответ на все волнующие нас сегодня вопросы. Курахара Корэхито в статье «Ленин и литература» верно сказал: «Работы Ленина о литературе не принадлежат прошлому... Для того, чтобы научиться правильно читать художественные произведения, для того, чтобы установить научный критерий литературной критики в современной Японии, мы должны учиться у Ленина».

К. РЕХО.





---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. БОЧАРОВ

★

## ПРОВЕРЕНО ВОЙНОЙ

**В** ожесточенной и непримиримой борьбе двух идеологий активно действующим плацдармом является сегодня военная проза: драматизм бытия, непосредственная угроза человеческому существованию, переоценка многих привычных моральных ценностей обостряют и испытывают все построения и умозаключения о жизни и смерти, назначении и ответственности человека, смысле истории, связи личности и общества.

Реальное диалектическое постижение всего сложного явления, именуемого войной, определило истинный гуманизм нашей военной прозы, в которой признание несовместимости войн с идеалами человеческого общества неотделимо от полемики с теми, кто вообще отрицает высокий духовный подъем человека и народа в войнах справедливых, освободительных. Эта диалектическая полифония позволила нашей прозе преодолеть противоречия, неразрешимые для однолинейного мышления: как можно ненавидеть войну и быть готовым воевать за правое дело, говорить о дружбе людей и призывать к уничтожению солдат вражеской армии, славить торжество жизни и воспитывать готовность к смерти. «На фронте мы становились не только военными, но и антивоенными писателями», — броско сказал однажды Анатолий Калинин. И этот художественный опыт советской прозы — военной и антивоенной одновременно — оказал серьезное воздействие на развитие всей прогрессивной литературы на Западе, противостоя и милитаристским и пацифистским тенденциям.

Антивоенная романистика на Западе после обеих войн возбуждалась трагической мыслью: что может быть извращеннее и

страшнее для маленького человека, относящегося к миру с абсолютным доверием, чем скачок из безмятежной, невинной размерности в кровь и вопли, в каждодневное и ежечасное, узаконенное и восхваляемое смертоубийство; такое поругание самой природы человека навсегда деформирует личность. Отстаивая абстрактную в своем общем выражении формулу о невозможности достичь добра злом эта романистика отчетливо противопоставляет некую идиллическую безмятежность, якобы властвовавшую до войны, столь же всеобщему, надсоциальному безумию и одичанию во время войны.

У нас не было подобного «маленького человека», способного успокаивать себя иллюзиями всеобщей любви и доверия в раздираемом классовыми, социальными противоречиями мире. Страна жила в напряжении неминуемой схватки, в ясном понимании того, что завоевания революции неизбежно придется защищать — и защищая их на КВЖД, в Испании, на Халхин-Голе, в снегах Карельского перешейка. Вероломное нападение гитлеровцев было для народа неожиданным, но сама неизбежность решающей схватки — очевидной. «Мы знали — если будет эта война, она не обойдет нас. И мы вступали в нее, как в свою судьбу. Вот и всё» — так заканчивается повесть Е. Ржевской «От дома до фронта».

В книгах военных и особенно первых послевоенных лет («Семья Рубанок» Е. Поповкина, «Большая дорога» В. Ильенкова и т. д.) охотно воссоздавалась счастливая, идиллически-беззаботная жизнь перед падением гитлеровцев — чтобы тем более впечатляющими выглядели события войны. Но этот прием многое упрощал, за ним

пропадала подлинная сложность действительности. Столь же легковесным было и распространившееся в недавние годы изображение начала войны как совершенно ошеломляющего из-за успокоительного заявления ТАСС за неделю до 22 июня: дескать, не будь этого заявления, гораздо быстрее активизировались бы силы народа, меньше было бы людей растерявшихся, усомнившихся в победе.

Лучшие произведения военной прозы — вспомним хотя бы «За правое дело» Вас. Гроссмана — не ограничивались этими узкими решениями: ни контраст между субботним вечером и воскресным утром, ни неожиданность вражеского нападения, поставленная в связь только с успокаивающим заявлением, не способны выразить многосложную и многотрудную совокупность жизненных обстоятельств, условий, настроений, предшествовавших войне и перешедших в нее.

Навязанная фашистами война оказалась для нас не только продолжением политики иными средствами, но и продолжением бытия советского человека в иных, чрезвычайных обстоятельствах. Поручив мирную жизнь, она не поколебала основные, коренные политические и нравственные устои этой жизни. И, пожалуй, здесь скрыта ключевая для понимания эстетической сущности советской военной прозы позиция: война явилась нежелательной, трагической, жестокой, но блистательно выдержанной проверкой и развитием основ духовного бытия советского человека, готового защищать завоевания революции. Главные точки опоры героя военной прозы — прошлая и будущая мирная жизнь — не противопоставлены фронтовому бытию, но естественно определяют духовный мир воина.

Сохранение коренных устоев духовного бытия внутри общества обусловило принципиально важные черты наших книг о войне. Оно отвергало любое противопоставление фронтовиков и нефронтовиков, ибо не война сама по себе, а общие устои и цели нашей жизни сближали людей. Исключило оно и противопоставление отцов и детей, ибо речь шла о преемственности революционных идеалов и нити у нас не вздумал бы упрекать, как в «Приключениях Вернера Хольта» Д. Нолля: «...Я никак не могу примириться с тем, что старшие заварили эту кашу, а

нам предоставили ее расхлебывать». Наконец, оно объясняло цельность советского человека, ибо речь шла не о замене нравственных ценностей и критериев, а об их развитии. Великолепные качества, явленные народом в войну, не возникали «неожиданно», «вдруг», а были естественным следствием героической сущности советских людей. Менялись некоторые черты характера, но не его суть, выступало иное соотношение между ними, но сохранялась их совокупность.

И одной из примечательных черт советской военной прозы стало такое изображение довоенной жизни героев, в котором бы открывались истоки проявившихся на фронте качеств. Героизм и трусость, верность и измена, стойкость и растерянность познавались в цепи целого ряда общественных ситуаций, условий, взаимодействий.

Советская проза о войне стала самобытным, особым явлением в развитии мировой батальной прозы прежде всего потому, что обладает ясной и цельной концепцией, создающей диалектическую связь отдельного человеческого бытия с характером общественной жизни.

Буржуазная социальная и военная психология — а вслед за ней и батальная беллетристика — оперирует связью человек — толпа; советская общественная мысль — связью человек — коллектив. И это с естественностью вытекает из общих концепций личности и народа. Как бы ни отличались друг от друга построения буржуазной философии, личность в них всегда или над народом, или вопреки народу, или врозь с народом, или независимо от народа, или растворяясь в народе, но никогда — вместе с народом. А только единение личности с народом и объясняет, почему вместо толпы с ее разногласиями судеб и мнений существует коллектив, идущий к единой цели, движимый единой волей.

Известный английский военный теоретик Н. Коупленд, признавая, что «бывают случаи, когда коллектив, движимый общей целью, выполняет задачу с несгибаемой решительностью и невероятной храбростью», считает подобные случаи редкостью. Ибо обычно «наименее развитые умы» непременно снижают до своего уровня умственные способности коллектива, а «наиболее развращенные индивидуумы», соответствен-

но, разрушают нравственность окружающих; отрицательным свойством коллектива является также «подверженность панике». Как видим, то, что Н. Коупленд именует коллективом, оказывается в социологическом смысле слова толпой, гасящей, нивелирующей качества яркой личности.

Иным предстает это соотношение в советской военной прозе. Неотступно и целеустремленно интересуется она взаимодействием нравственной энергии личности и коллектива, способностью воинского коллектива повышать нравственную активность личности, поведением отдельного человека как частицы коллектива.

Связь человек — коллектив вместо человек — толпа по-новому открывает кардинальные проблемы гуманизма военной прозы и прежде всего отношения между личностью и обществом как ценностями друг для друга.

Первая сторона — отношение личности к интересам общества как высшим интересам; другая — отношение общества к благу личности как своей высшей цели. Лучшие книги последнего времени не ограничиваются нравственными требованиями к личности — что нравственно для нее по отношению к обществу, — но ставят вопрос и о том, что нравственно для общества по отношению к личности.

В таком же диалектическом единстве, дополняя друг друга, находятся между собой совесть, означающая моральную ответственность личности перед обществом за свое поведение, и достоинство, связанное с тем, что человек осознает свое общественное значение и моральную ценность. Чем глубже и полнее чувствует человек свое значение, свою полезность для общества, тем сильнее возрастает в нем чувство моральной ответственности. А чем сильнее общество заинтересовано в повышении моральной ответственности личности, тем энергичнее оно признает и развивает ее ценность.

Мужество, подвижничество, самоотверженность — естественные качества свободной личности, и любой урон, нанесенный уважению или уважительной требовательности к человеку, оборачивается либо обесцениванием личности — «что значит судьба одного, когда счет идет на миллионы?», — либо оправданием трусости и эгоизма — «что значат усилия одного, когда счет идет на миллионы?».

Утверждением подлинных отношений между личностью и обществом объясняется столь пристальное внимание нашей военной прозы к трем стержневым проблемам: ценность личности, ее нравственная активность, ее общественные связи.

Извечный центральный вопрос гуманизма — человек как высшая ценность — приобретает в условиях войны специфический характер, связанный прежде всего с ценой победы.

Можно прикладывать сколько угодно стараний, чтобы предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, но коль скоро она хлынула, у нее появляется своя логика, в которой обычные представления о ценности и суверенитете личности в значительной мере смещаются: вынужденные вступить в бой, люди должны считаться с его кровавыми законами. Гуманистический смысл военной логики содержится в ее конечной цели: приносятся ли жертвы во имя коренных интересов народа — национальной независимости, защиты прогрессивного дела, спасения миллионов жизней — или же ради несправедливых, захватнических, низменных устремлений. Но как бы ни различалась цель, есть лишь одно средство достижения воинской победы — ценой человеческих жизней. Большинство коллизий в книгах о войне как раз и связаны с тем, что на фронте в наиболее, может быть, обнаженной форме сталкиваются естественное стремление человека сохранить жизнь и потребность общества неотвратимой ценой человеческих жизней добыть свободу, добыть победу.

Невозможно правильно представить нашу военную прозу, не улавливая ее скорби по человеческому богатству, уносимому военными бедствиями. Но эта скорбь не означает равенства перед смертью для героя, павшего за правое дело, и для труса, бессмысленно погибшего, а лишь усиливает наше преклонение перед героически пожертвованной жизнью. В равной мере и одержанный успех не заставляет закрывать глаза на его цену.

Наша проза решительнейшим образом отвергает абстрактно-гуманистическую постановку вопроса, когда боль при мысли о безвинных жертвах начисто забывает общие цели и характер борьбы. Но она давно переросла, сделала анахронизмом еще

встречающееся «деловое» равнодушие к человеку.

В романе А. Дугинца «Стоход» (Воениздат, 1969) каратели заживо замуровали любимую командира отряда Антона Миссюры. Комиссар предлагает ему вызволить Оляну.

— А как ты ее вызволишь? — развел руками Антон.

— Всем отрядом навалиться ночью на комендатуру...

— А в ту ночь пропустишь поезд с танками или живой силой,— нетерпеливо перербил комиссара Миссюра.

— Но как же быть?

Остановившись возле землянки, в которой слышался неторопливый гомон партизан, Миссюра тяжело вздохнул и решительно заявил:

— Пошел на медведя, так на зайца не оглядывайся!

После этого разговора комиссар долго думал о Миссюре, восхищался его душой. Откуда у него, этого неграмотного, вечно-го труженика, такая глубокая человечность, такой широкий взгляд на жизнь? Любимая женщина на краю гибели, а он заботится о свободе для всех, о борьбе с фашизмом».

Сколько во всем этом бездушия, прикрытого видимостью выбора более важного объекта, видимостью воинской целесообразности! Если такой выбор и мог быть, то уж во всяком случае не с такой обидной «нетерпеливостью», не с такой успокоительной «решительностью».

И дело здесь не только в слабости психологического анализа, но прежде всего в ложной точке зрения, по которой интересы дела несовместимы с интересами отдельного человека и которая ведет к тому, что человечность начинает именоваться бесчеловечие.

Десяткам тысяч командиров — от сержанта до генерала — была предоставлена законами войны неограниченная власть над судьбой людей, неограниченное право посылать их на смерть. Так есть ли грани между жертвой оправданной и напрасной? И нужно ли вообще говорить о цене победы, если каждый шаг все равно покупается кровью? В напряженных, порой драматичных раздумьях об этом — специфическая черта советской прозы, несвойственная западной литературе.

В самом деле, вся та проза, что отмечена пацифистскими тенденциями, ви-

дит только общее бесчеловечие, безжалостность, ужас войн, и ей абсолютно незачем выяснять, какие жертвы могут быть оправданы: раз у войны нет разума, то в ее хаосе ничему не сыскать оправдания. К тому же герой большинства таких книг — маленький человек, которому безразличны и далеки цели войны, неизвестны общие итоги операций и потери войск; он знает только свой окоп, свой взвод и не задумывается над всякими «сложными» вопросами.

Что же касается литературы милитаристского толка, то она вообще не обеспокоена ценой победы, ибо ей невыгодно внушать мысли о том, что бывают жертвы неоправданные, рожденные своеволием, неумением, тщеславием: для нее командир, как бог, непогрешим.

Нашу же литературу эти проблемы остро волнуют и потому, что она, будучи подлинно народной, охватывает и окоп, и командный пункт; и потому, что она, будучи подлинно гуманистической, показывает сознательного воина, интересующегося смыслом того дела, которым он занимается; наконец, потому еще, что война для нас — не крушение, а продолжение социалистического бытия в иных, чрезвычайных условиях. Если там командир несет ответственность только перед начальством, то у нас еще и перед партией, перед своей партийной совестью; недаром командиру полка Барабанову («Солдатами не рождаются»), поднявшему батальон в бессмысленную атаку, грозит исключение из партии, а капитана Абросямова за аналогичный поступок («В окопах Сталинграда») судят судом чести.

Войны без жертв не бывает — важно, насколько они оправданы. В конечном счете здесь и лежит водораздел между книгами «потерянного поколения», пораженного бесцельностью принесения солдат в жертву, бесцельностью приносимой солдатом жертвы, и нашей литературой, рассказавшей о войне освободительной, справедливой. Именно твердая убежденность в том, что приносимые народом жертвы не напрасны, позволила нашим прозаикам с такой прямоотой писать правду о самых тяжелых эпизодах, о самых горьких грагедиях.

И здесь крайне важно сразу обозначить принципиальное общее различие: высокая — несмотря ни на что — целесообразность самых тяжелых жертв советских войск даже

в трагическом сорок первом году во имя несомненной будущей победы и трагическая бесполезность жертв немецкой армии в разбойничьей и при всех обстоятельствах проигранной войне.

Вспомним хотя бы одну из трагичнейших книг последнего времени — повесть К. Воробьева «Убиты под Москвой». В ней показан бой роты кремлевских курсантов, красивых, рослых парней; бой, из которого выходит живым всего один солдат; бой, в котором идеализированные представления о войне терпят поражение перед суровой правдой современной войны, но не гасят, не компрометируют веру в те идеалы, что утверждены беззаветно героической борьбой и смертью курсантской роты. Внутреннее движение сюжета выявляет не то, как бесплодно и обреченно один за другим гибнут брошенные в бой курсанты, а то, как самоотверженно продолжают вести бой оставшиеся; тяжестью испытаний проверяется их деятельная воля к победе.

Логичная для войны посылка — ценой меньших потерь предупредить большие потери — объясняет, в частности, почему так часто встречаются в романах и повестях драматичные арьергардные бои, когда подразделение или группа бойцов прикрывает отход главных сил. Таков в «Белой березе» бой полка, оставленного прикрывать переправу дивизии; таков бой остатков полка на подступах к переправе в «Они сражались за Родину»; таков бой отделения в «Журавлином крике» В. Быкова. Во всех этих случаях бойцы обречены почти на верную смерть, но они действуют по высшей целесообразности войны, и эта целесообразность придает особое значение свершенному ими и дарит им последнее утешение — то будет нужная смерть!

А в последнее время литература интенсивно старается раскрыть своеобразное мужество — мужество принятия ответственного решения. Это не обычный воинский героизм, при котором человек жертвует своей жизнью: здесь он несет на себе груз чужих жизней. Мера его героизма — в победе, одержанной ценой наименьших жертв, а напряжение его духовных сил не меньше, чем напряжение людей, выполняющих принятое им решение.

Не следует, конечно, полагать, что широкая постановка вопроса о цене тактических успехов, смысле отдельных операций возникла в прозе шестидесятых годов неожиданно, вдруг.

Добиться наибольших результатов с наименьшими потерями — закон всякой военной науки. Так эта проблема и стояла в произведениях периода войны и в первые послевоенные годы: как творчество победы, как показатель воинского умения героев, как способность человека хорошо делать свое главное дело. Первые же значительные произведения грозных лет — «Народ бессмертен», «Волоколамское шоссе», «Фронт» — и были сосредоточены прежде всего на этих вопросах, условно называемых военно-стратегическими.

В годы войны, в реальной атмосфере смертельной схватки, главенствующим принципом было: одолеть врага во что бы то ни стало. И вряд ли наша бы оправдание каждой минутной гамлетовской нерешительности при мысли о возможных потерях. Именно жизненные основания в первую очередь, а не теория «винтиков» — на которую стали было одно время валить всю неполноту гуманистической проблематики в литературе — объясняют, почему в прозе сороковых—пятидесятых годов этот вопрос ставился как военно-стратегический.

Возросшее внимание ко всей полноте социалистического гуманизма, к ценности каждой личности, к ее роли в историческом движении побудило нашу прозу рассматривать эти вопросы не только как деловую характеристику положительных героев или подтверждение преимуществ советской стратегии, но и как военно-нравственную, по выражению И. Козлова, проблему, как характеристику человеческой сущности героя.

В подтверждение этому можно назвать многие книги: «Солдатами не рождаются» К. Симонова, «Человек и оружие» О. Гончара, «Июль 41 года» Г. Бакланова, «Потом была победа» М. Барышева...

Вопрос о цене победы — один из главнейших, пожалуй, самый тревожный и острый в полифоническом звучании симоновского романа. Мыслью о ценности человеческой жизни и о суровых требованиях войны, об оправданных жертвах и бессмысленной жестокости определяется пульс книги — те сердечные толчки, которые гонят кровь по всем сосудам, вплоть до мельчайших капилляров.

Рискну даже утверждать, что Серпилин выделяется не столько воинским галантом, не столько смелостью и решительностью, сколько именно человечностью — стремлением каждый раз добиваться победы «малой кровью» и одновременно противостоять

сентиментальности, подменяющей истинный гуманизм жалостливостью. Твердо возражает Серпилин своему другу Ивану Алексеевичу, считающему, что лишние жертвы, которые повлечет за собой стремление как можно скорее покончить с армией Паулюса, дескать, не оправданы моральным эффектом разгрома: Серпилиц, как и все сталинградцы, страстно и нетерпеливо жаждал быстрого разгрома немцев в Сталинграде, даже зная, что за это придется «доплачивать кровью». А во встрече Серпилина со Сталиным писатель целеустремленно выражает глубоко нравственные и гуманистические убеждения о личной ответственности командира, сознающего свой долг перед народом, протестует против показных успехов, неизменно влекущих неоправданные жертвы. Органично и последовательно преодолевает писатель в романе реальную сложность той проблемы, что остро стоит для всей батальной прозы: цена жизни одного человека, обычно мало ощутимая, когда речь идет о множествах, об армиях и дивизиях, и столь тревожащая, когда литератор приходит в батальон, в роту, в окоп.

Взгляд на войну через призму отдельной человеческой судьбы имеет для военной прозы особое значение. Такой взгляд может способствовать пацифистским настроениям: ведь война несет каждой отдельной личности горе, страдания, смерть. Но он же способен показать и всю глубину героизма: вдумчивое, пристальное изображение противоречий чувств, психологической правды поступков передаст напряжение внутренней борьбы, победу человеческой воли над страхом, над инстинктом самосохранения, помогает исследовать нравственный потенциал человека, познавать, почему в одинаковых обстоятельствах люди проявляют себя по-разному.

И прежде всего оказывается принципиально важным, ощущает себя человек жертвой войны или ее участником, способным в тех или иных пределах воздействовать на ее ход. Эстетический эффект таких образов, как Травкин у Э. Казакевича, Соколов у М. Шолохова, Иван у В. Богомолова, в немалой мере объясняется тем, что, при всей трагичности их судьбы, они воспринимаются как герои войны, ибо они сами ни на миг не утрачивают ощущения своей активности, своей уверенности в нужности делаемого ими.

А с другой стороны, поучительнейший смысл заключен в посмертно опубликованном рассказе Вас. Гроссмана «В Кисловодске». Герой рассказа, главный врач санатория, и его жена обожали элегантную одежду, комфорт, драгоценности, в которых виделся им главный смысл существования. Власть над вещами казалась им властью над жизнью. Оставшись из-за своего имущества в оккупированном Кисловодске, Николай Викторович служит в госпитале, из которого не успели эвакуировать раненых бойцов.

Когда ему предложили самолично умертвить тяжелораненых, он не преступил грань предательства и накануне «акции» отравился. Не утерев еще врачебной этики, общепринятой порядочности, он все-таки оказался способным на то лишь, чтобы пассивно уйти из жизни. Не желая стать палачом, он стал жертвой. Но став жертвой, он еще не стал борцом.

Писатель мог бы восхититься Николаем Викторовичем, который нашел в себе твердость не стать предателем, но он судит его по законам нравственного максимализма, отвергая покорность, пассивность, изображая трагическую и зловещую судьбу людей, удовлетворенных своим благополучием и потому отчужденных от трудной судьбы народа. «Страна жила своей жизнью, а жизнь Николая Викторовича не совпала с грозой, бедой, трудом, войной» — счел нужным прямо сказать писатель.

Если роман «потерянного поколения» подводил, в сущности, к выводу: каждый умирает в одиночку, — если развившийся на Западе после войны роман «личной ответственности» уверяет: каждый побеждает в одиночку, — то советская военная проза могла бы выдвинуть формулу: каждый умирает в одиночку, но побеждает только в общем строю.

Эта формула отделяет активность общественной личности от индивидуалистического самоутверждения, осуществляемого вне зависимости от движения общества и мира, и потому освобождает личность от надрыва, который появляется у тех героев, что сознают необходимость борьбы, но чувствуют себя одинокими. В романе Э. М. Ремарка «Триумфальная арка» Равик восклицает: «Не ради себя самого и даже не во имя мести — как бы слепо ты ни жаждал ее, — не из эгоизма и даже не из альтруизма — так или иначе, но все равно

надо вытаскивать этот мир из крови и грязи, и пусть ты вытащишь его хоть на вершок — все равно важно, что ты непрестанно боролся, просто боролся. И пока ты дышишь, не упускай случая возобновить борьбу».

Да, порыв Равика благороден, гуманистичен, гораздо более предпочтителен, чем смирение или пассивность, ибо направлен против реального социального зла — фашизма. Но все-таки на первом плане в нем оскорбленное достоинство, чем ясное осознание целей и идеалов борьбы. Здесь больше протеста, чем устремленности, и, пожалуй, больше отчаяния, чем уверенности.

Эстетическая сущность нашей военной прозы выражает гуманистическое единение человека и всего народа — и это решительно отделяет ее и от эстетики романов, уповающих только на усилия личности, и от эстетики милитаристской литературы, неизбежно умаляющей ценность отдельной личности в общем счете.

Казалось бы, сам характер войны — тотальной, механизированной, невиданно жестокой — должен был утвердить и усилить в человеке мироощущение «винтика», ничего не решающей и легко заменимой детали гигантского военного механизма. Так, собственно, и полагает американский генерал О. Брэдли: «...С точки зрения личного состава все дивизии одинаковы, они различаются только искусством и умением своих командиров»<sup>1</sup>.

Но советская литература показала, как Великая Отечественная война заставила каждого почувствовать себя ответственным за судьбу родины, за исход единоборства. Даже в годы, когда сильно сказывалось влияние культа личности, авторы лучших книг отвергали нераздумывающую исполнительность, поэтизировали инициативу, раскрывали тот исполненный большого гуманистического смысла процесс, как к самому обыкновенному, рядовому воину — защищает ли он последние метры земли на правом берегу Волги или подступы к глухому переезду — приходит сознание, что и от него, а не только от решений командования зависит, будет ли одержана победа.

За последние два года появилось несколько повестей, сходных в основной сюжетной ситуации: «Жди ракету» Н. Наволоч-

кина, «Время полнолуния» Е. Зиборова, «А зори здесь тихие...» Б. Васильева. Слабое тыловое подразделение подвергается в них внезапной атаке более сильного противника, случайно оказавшегося в глубине наших боевых порядков: разрозненные тылы наших наступающих частей в глухой деревушке против прорывающейся из окружения колонны у Н. Наволочкина, бойцы похоронной команды и девушки-зенитчицы прогив мощного десанта соответственно у Е. Зиборова и Б. Васильева. В неравном бою, преодолевая первую растерянность, не приспособленные по своей воинской профессии к такому бою солдаты выдерживают натиск особо опасного — специально обученного или дошедшего до отчаяния — врага. Понятно, почему авторы избирают такую острую ситуацию: она позволяет с драматической обнаженностью проверить даже самую, говоря словами Фучика, «незаметную» личность «на излом»: какими окажутся ее нравственная стойкость, ее мировоззрение, ее духовная активность.

Стремление выявить внутреннюю, организующую, жизнотворную активность каждого человека вызвало в нашей прозе последнего десятилетия интерес к одиночным действиям воина, не прекращающего сражаться, даже если он оказывается вне строя.

Дурной, трусливый, безынициативный человек может — пока он в строю, пока над ним власть командира, а рядом локоть соседа — быть исполнительным, стойким, дисциплинированным. Но оказавшись один, он утрачивает способность совладать с низменными качествами своей души.

И напротив, оказавшись вне строя, иной человек может «неожиданно» явить великолепные боевые качества: они потенциально существовали и прежде, но проявлялись лишь в меру добросовестного исполнения приказов — не потому, что дисциплина якобы «сковывает», «обезличивает» человека, а потому, что теперь на плечи одного человека падает то, что прежде распространялось на все подразделение, было общей судьбой коллектива. То, как поступит человек в обстановке, когда нет прямого приказа, а действует лишь сознание морального долга, — и является выражением не только нравственной, но и социальной сущности героя в «Суровом поле» А. Калининна, «Июне» О. Смирнова. Особенно любит такие ситуации В. Быков. В азарте атаки лейтенант один врывается в траншею («За-

<sup>1</sup> О. Брэдли. Записки солдата. «Иностранная литература». М 1957, стр. 327.

падня»); как поведет он себя перед захватившими его в плен гитлеровцами? Бежит из лагеря в центре Германии Иван Терешка («Альпийская баллада»); что двигало им, какие чувства вели его по этой кончившейся смертью дороге? После прорыва гитлеровцев «одинокие и ничем больше не связанные с этим клочком земли, на котором они две недели жили и бились с врагом, бойцы пошли на восток» («Фронтная страница»); какие качества явят солдаты, оказавшиеся в этом «не связанном» состоянии, чем будут руководствоваться? И мерой настоящего человека является здесь его способность сохранить душевную силу, идейную зрелость в самых, казалось бы, невозможных условиях.

Человек — вне зависимости от его воинского звания — остается активным в такой ситуации потому, что убеждения, а не принуждение вели его прежде в бой и любовь к командиру, доверие к командиру делали его не винтиком в механизме, а лишь дисциплинированным воином: вверяя командирам свою воинскую судьбу, он никому не передоверял ответственность за свои нравственные устои.

Такова, видимо, общая закономерность: подбивая людей на неправо дело, всегда стараются пригасить в человеке чувство персональной ответственности, склонность к здравому размышлению, опору на совесть; поднимая же на справедливые, благородные деяния, смело апеллируют к развитой совести, чувству собственного достоинства.

\* \* \*

Наиболее полное и высокое выражение духовная активность советского человека нашла в его героическом поведении, которое опять-таки можно понять в полном объеме, только правильно улавливая глубинные связи человека и общества.

В литературных спорах мы слишком часто и категорично тщимся распределять проявления героизма на «главные», «боковые», «магистральные», «второстепенные», вместо того чтобы познавать их во всей полноте и многомерности, обусловленных и временем написания книги, и жизненным материалом, легшим в ее основу, и творческой индивидуальностью художника, и, наконец, жизненным путем, темпераментом, мироощущением самих героев. Гораздо плодотворнее видеть все многообразие форм,

способов, приемов, позволивших с такой удивительной силой представить подвиг советского народа, советского человека. Да, собственно, и само развитие героического образа в прозе последнего десятилетия осуществлялось не как иллюстрация черт некоего одного «ведущего» героя, а как эстетическое освоение множества самобытных и правдиво изображенных характеров, явивших себя в жестоких испытаниях тех лет.

Великая Отечественная война заставила почувствовать всю пронизательность слов Маркса о том, что увеличение глубины захвата исторического действия связано с увеличением численности исторически действенной массы.

Яркие вспышки подвига были во все времена, советское общество смогло превратить их в постоянное пламя. Массовый героизм — прямой итог того, что народ сознает и осуществляет свою исторически действенную роль. И изображая общенародный героизм, литература не только увеличивает глубину своего проникновения в историческое действие, но и обогащает гуманистическое познание народа: историческая действительность возвеличивает человека, полнее раскрывает его возможности, его связи с обществом.

И в своем внутреннем движении наша проза стремилась отобразить подвиг народа не только в его наипростейших проявлениях, «наиглавнейшем» варианте, а во всей его многогранности, в максимальной глубине захвата исторически действенной массы.

Конечно, героизм народа предстал во множестве конкретных проявлений, и с этой точки зрения каждый героический поступок свидетельствует о массовом героизме. Но наша проза последовательно искала и такие художественные решения, которые позволили бы изобразить непосредственно героизм массы, всю, условно говоря, массу героизма, передавая тем самым длительность, преемственность, нескончаемость подвига. При чем нескончаемость народного подвига, представшая во многих книгах, это не категория времени, а особое состояние всех элементов поэтики: и своеобразная расстановка композиционных узлов, не стягивающихся к одной кульминации, а движимых «динамикой кардиограммы» с ее ритмично появляющимися высшими точками; и характер ответвлений от стержневого героического



сюжета, показывающих течение фронтового бытия; и свободное дыхание повествовательной интонации, рассчитанной как бы на марафонский бег, а не на драматически напряженную спринтерскую дистанцию; и, наконец, изображение героев, способных раскрываться в сложном сплетении фронтовых будней, а не только в одном деянии, и, стало быть, изображение тех черт характера, которые показывают, что подвиг — не просто единовременное извержение вулкана, а непрерывающееся действие глубинных тектонических сил. «Точки» отдельных героических поступков, едва отступишь от них на шаг, сливаются в одну картину, изображающую готовность каждого человека совершить подвиг в условиях, требующих подвига.

Ни в коей мере не противопоставляя одних героев другим, нельзя не видеть, что именно военная проза дала нам разительное обилие рядовых героев, жизнью своей подтверждающих верность высоким духовным идеалам. И хотя мы не рискуем беспардонно утверждать, будто «немыслимо правдиво рассказать о войне, не показав при этом простого солдата»<sup>1</sup>, нельзя не видеть существенную роль рядового героя для раскрытия глубинных истоков массового героизма: какие бы новомодные веяния ни возникали, излюбленным героем книг о войне по сию пору остался рядовой участник боев, чья нравственная стойкость и мужество, чье неизменное духовное здоровье были важнейшим фактором нашей победы.

В герое из глубины народной жизни наша военная проза стремится с большей или меньшей откровенностью выявить три основных его качества: советскую сущность, национальный характер, социальную определенность.

Если через «Повесть о настоящем человеке» красной нитью проходили слова комиссара Воробьева. «Но ты же советский человек», то герой «Судьбы человека» все время подчеркивал, что он русский солдат, что есть у него «свое, русское достоинство и гордость», и это высвечивало какие-то дополнительные корни массового героизма, уходящие в глубь национальных традиций. Истоки подвига Петра Рябкина, героя одноименной повести, В. Кожевников усматривает в тех чертах рабочего класса, кото-

рые в равной мере явили себя и в условиях войны, и в условиях довоенного и послевоенного труда. Используя ставший модным в журналистике термин, можно определить повесть как опыт социального портрета. Герой писателя — обобщенный, а кое в чем и «спрямленный» образ передового рабочего, ставшего передовым воином благодаря двум необходимейшим для победы чертам рабочего класса: сознательной дисциплине и коллективизму. На фоне того, чего мы уже достигли в книгах о войне, многое в повести выглядит слишком рассудочно и общо — так выглядели, наверное, драмы классицизма с позиций раннего романтизма, — но вполне соответствует замыслу автора представить социальный портрет, в котором с неукоснительной прямотой было бы договорено все необходимое.

Изображение массового героизма составляло пафос романа П. Проскурина «Исход». Именно героизм народа осознается писателем как та сила, которая в конце концов перевешивает чашу весов войны.

В идейном конфликте, а стало быть, и сюжетном развитии романа не затихает, пульсирует — то с большей, то с меньшей силой — поединок между руководителями партизанского соединения и Зольдингом — командующим немецкими оккупационными частями на Ржанщине.

Зольдинг умен, коварен, владеет, условно говоря, всеми четырьмя действиями арифметики войны не хуже партизан и не раз наносит весьма и весьма ощутимые удары. Но все-таки терпит поражение, ибо нельзя победить людей, одержимых жадной освобождения родной земли и потому готовых на высокие проявления мужества, стойкости, бескорыстного служения общему делу. Нет надобности и возможности пересказывать многочисленные героические эпизоды. Ограничимся одним, достаточно показательным.

В результате ловко разыгранной инсценировки два партизана — Скворцов и Веретенников — специально попадают в плен, где ведут страшную игру, чтобы дать Зольдингу неправильные сведения о подходах к партизанской базе и тем самым завести в засаду карателей, готовящихся к наступлению. Гестаповцы долго пытаются пленников, которые должны держаться, чтобы потом внушить, будто сведения вырваны у них насильно. Не вынеся таких истязаний и боясь

<sup>1</sup> «История русского советского романа», кн. 2. «Наука» М — Л. 1965, стр. 82.

невзначай проговорится под пытками, кончает с собой в камере Веретеников. И только страшным, почти сверхчеловеческим напряжением воли держится Скворцов. Вот один из его накаленных внутренних монологов: «Да, он должен вести себя как предатель, он будет вести себя как предатель... Он забудет все прежнее и будет помнить только одно: он предатель; он хочет жить, он должен жить; по-свински, по-скотски, безразлично как, но жить, жить, жить. Человек делает в жизни немало плохого, эта вот последняя подлость, дальше идти некуда, конец. Человек умирает, и остается тупая, трусливая скотина. Он скотина, Веретеников умер человеком. Человек убил человека из боязни стать скотиной. Ты победил, полковник Зольдинг, ты свинья и мерзавец, но ты победил, вот как я буду думать, я должен привыкнуть к такой мысли, и мне станет легче делать свое, ради чего все и затеяно».

И Скворцов сумел переиграть Зольдинга, внушить доверие к своим словам, ибо фашист не мог представить, что человек способен вести такую смертельную игру. Гибнет в лесу на партизанских минах колонна гитлеровцев, прорываются здесь из стального обруча карателей отряды партизан.

Многие примечательные аспекты массового героизма открыла поэтика естественности, которая стремится выявлять существенные закономерности и значительные черты через живое течение самой повседневной жизни, не минуя явлений внешне малозначительных и даже словно бы случайных. Если для других эстетических систем важно, чтобы читатель поверил в доподлинность предложенной ему картины жизни, то поэтика естественности добивается максимально выразительного изображения в формах самой жизни.

Не следует думать, что эта поэтика заключается в том, как ее иногда трактуют: писатель поэтизирует обыкновенное, избегая заострять внимание на героическом. Здесь будет правильнее формула: писатель поэтизирует героическое, внешне заостряя внимание на обыкновенном. «Описание дано не в драматически спружинном изложении, а повествовательно», — отмечал эту особенность еще С. Эйзенштейн на примере повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда».

Поэтике естественности свойственно выбирать не исключительные события, вспыш-

кой озаряющие жизнь героя, а обычные ситуации, исподволь проявляющие те же героические качества характера. Можно утверждать как характерную черту этой поэтики внимание не столько к поступкам, сколько к поведению — то есть не к вершинным пикам, а ко всей горной цепи.

Сердцевина поэтики естественности, суть ее усилий — в том, чтобы за естественным течением жизни, за внешней простотой характеров уловить глубинное содержание этой действительности, духовную сложность, многогранность людей, не утратив при этом героический смысл совершаемого: обыденность не заурядность, естественность не натурализм. Нелюбовь героев к громким словам — не отвержение самих понятий, а результат скромности, устойчивости, готовности доказать свою веру делом, той простоты, которая таит в себе духовное величие.

Существует известный художнический эффект, по которому смех звучит тем сильнее, чем более серьезным выглядит сам рассказчик, а трагическое воздействует тем безошибочнее, чем менее старается растрогать нас автор. Так и здесь: героическое деяние не поэтизируется открыто, а, наоборот, проявляется в будничной обстановке, через обыденное; человек вроде не совершил ничего героического, а читатель уже сам осознает, что это героическое. И героизм становится тем величественнее, что нам вроде не представляют его как героизм. В этом вроде и заключается вся суть эффекта: дело не в том, что нам не показывают героическое, а в том, что вроде не показывают. В этом смысле лейтенант Керженцев у В. Некрасова нарисован так же, как и капитан Тушин в «Войне и мире»: именно «вопреки» простоте изображения возникает героика их образов.

Поэтому так часто поэтика естественности использует контраст между непритязательностью внешнего и подлинным взлетом внутреннего: писатели избирают людей малоприметных, ничем вроде бы и не выделяющихся из общего потока, как раз для того, чтобы показать их высокий нравственный потенциал.

На таком «несовпадении» внешнего и внутреннего развивается действие повести В. Курочкина «На войне как на войне», сумевшей передать многие штрихи реального фронтного бытия. Герой повести, командир самоходного орудия Саня Малешкин, — «обычный» необстрелянный новичок-лейте-

нант. Его поначалу не очень-то всерьез принимают опытные фронтовики — члены экипажа, да к тому же -- что в конечном счете вполне естественно — молодого командира преследуют неудачи: то перед атакой, как на грех, не заводится мотор, пока не выпустили воздух из топливной системы; то комбат не выдал Сане карту, а когда приказал хоть записать маршрут, у того в полевой сумке не оказалось бумаги — «в ней вообще ничего не было, кроме трех кружков печенья».

Но, при всей своей неопытности и некотором «невезенье», он сохранил самообладание в решающий момент. Когда водитель в разгар атаки испытал приступ страха и на какой-то момент потерял управление, Малешкин выскочил из машины и показывал самоходке путь, пока водитель не пришел «в чувство»; героически вел он себя, и когда самоходка оказалась в окружении внутри опорного пункта немцев, героической была его смерть.

И хотя в повести было некоторое литературное кокетство, она сумела выразить важные закономерности героизма: подвиг совершает и «самый обычный», «малоприметный» человек, если он в трудную минуту способен благодаря развернувшейся «внутренней пружине» на высокий духовный взлет.

Только нельзя согласиться с В. Кожинным, недавно объявившим, будто повесть В. Курочкина «сразу же отбрасывает прочь уже затвердевшие каноны военного повествования» по той лишь причине, что писатель «сумел создать такие способы рассказа, которые органически соответствуют и общей жизни на войне и, по-видимому, собственному его «поведению» на этой войне и позднее». Обычные и довольно широко распространенные приемы поэтики естественности, которые не без успеха использует В. Курочкин, вряд ли следует выдавать за некое первооткрытие.

И, может быть, еще потому не следует, что в следующей повести В. Курочкин попробовал применить уже иные приемы рассказывания, отнюдь не «органичные» для военного бытия. Я имею в виду его «Железный дождь», где в подзаголовке значится: «Первая книга повести «Двенадцать подвигов солдата».

Сделав этот, как выражаются, «толстый нарек» на известного из мифологии — или киновоевика — сына смертной женщины и

бога, писатель изображает нашего советского пришельца из мифа — «простого старшину», который за время войны не выдвинулся в офицеры, но зато был награжден — случай, что и говорить, легендарный — девятью медалями «За отвагу». Так сказать, скромный, но отважный. Или, если угодно, отважный, но скромный.

Некоторые из чудесных историй этого бывшего богатыря, ныне тихого директора кинотеатра, автор и поведал в своей книге. В. Курочкин попытался изобразить настолько простого героя, чтобы с него все взятки, что называется, были гладки. Сократилин пришел в армию в 1935 году из глухой деревни, где посещал школу всего два месяца. И хотя он учился в казарме по вечерам, все равно, как мы понимаем, это едва-едва свелось к ликбезу. Так что требовать от него «кругозора» вроде бы не следует — тут автор постарался абсолютно реалистически мотивировать «простоту» своего героя.

Зато описание его чудесных подвигов стоит на грани фантастики, а кое-где и переступает эту грань.

«Жестоко и бессмысленно» избитый в плену, он бодренько говорит, едва от чулана отошел часовой: «Ну вот, теперь, кажется, можно и отдохнуть» — и аккуратно, как в мирной казарме, снимает сапоги и кладет их в изголовье, чтобы удобнее было спать.

Из плена его выручает солдат, который пролез к нему, вернее был протолкнут, ибо принял положение по стойке «смирно», через такое узкое отверстие, что ободрал себе уши (плечи при этом положении прошли легко!). На площади стоял захваченный советский танк, они забрались в него, танк завелся с первого оборота, и они лихо помчались сквозь немецкие гарнизоны на соединение с нашими частями.

Каждый новый поступок, новое испытание никак не открывают нам новые грани характера Сократилина: ведь у него конгломерат положенных лихому старшине качеств, а не их единство, создаваемое характером. Но, может быть, яснее всего примитивное представление о сражающемся народе сказалось в той сцене, где Сократилин во время боев за Новгород заходит в избу попросить косу — прокосить сектор обстрела. Там остались старуха и ее дочь («кобыла необъезженная» — называет ее мать). Молодка ведет его в сарай за косой. Прежде чем процитировать сцену, следующую

щую после того, как молодка притворит дверь сарая, напомним, что войне еще чуть больше месяца, дело происходит не в сорок втором и не в сорок третьем году.

«Она подходила к Сократилину, как кошка, мягко, зигзагами, не спуская с него глаз. Богдану Аврамовичу стало жарко, перехватило дыхание. Рука, сжимавшая древко косы, онемела. Она приблизилась вплотную, и Сократилин задрожал, ощутив ее крепкую грудь, коса выпала из руки и жалобно звякнула.

— Как звать-то тебя, милая? — шептал Богдан Аврамович, обнимая женщину, которая дергалась, как в ознобе. — Как звать-то?

— У-у-у-ой, — простонала она утробным глосолем.

— А мать-то, мать что подумает? — бормотал Сократилин.

Она опять жадно простонала, потянувшись к нему, и Сократилин жадно схватил своими губами ее губы, холодные и солоноватые... осторожно опустил женщину на землю, слегка притрушенную соломой...»

Эта безымянная — «у-у-у-ой» — женщина через несколько часов бессмысленно погибнет, предварительно послав на выручку гибнущему взводу подкрепление и показав Сократилину — и нам — «пухлую окровавленную грудь».

Видимо, автор считал, что необыкновенным подвигам должны соответствовать и необычные любовные приключения. Но ни утробная страсть, ни утробный героизм, даже вызванные к жизни благородным протестом против «приглаженных», красиво объясняющихся героев, сами по себе еще не поднимаются до естественности, чаще, как и в данном случае, они низводятся до упрощения.

Пожалуй, наиболее броско, отчетливо выявляет возвышенное содержание героизма романтическая поэтика. В «обычных» произведениях изображение героизма входит в целый комплекс иных проблем, значительно усложняющих человеческие характеры, здесь оно предстает в «чистом» виде, с тем эмоциональным подъемом, который обычно бывает присущ только поэзии.

Это прекрасно отразила еще «Молодая гвардия». Если в принципе справедливо, что герои совершают подвиг до известной степени неожиданно, когда их к этому вынуждают подступившие обстоятельства, то в деяниях молодогвардейцев гораздо яснее,

ярче была выдвинута именно готовность идти навстречу подвигу, сердце, ждущее необыкновенного, полная бескорыстность порыва.

Таков же характер героев и в поэтичном рассказе Н. Чуковского «Цвела земляника».

Казалось, что может быть прозаичнее, чем переход команды девушек к месту своей службы — в батальон аэродромного обслуживания?

Но романтична внезапно вспыхнувшая любовь — еще не высказанная, овеянная тем трепетным волнением, какое бывает только в юности, — между младшим лейтенантом Королевым и Лизой Кольцовой, чье сердце, казалось, испепелено жаждой мстить, мстить, мстить извергам, погубившим всех близких ей людей.

Романтично и то ощущение молодой, неистощимой, расцветающей жизни, которое излучают эти девушки, полные девичьего очарования и воодушевленного ожидания тех боевых дел, ради которых они вступили в армию.

И гармонирующая с этим очарованием девичьей жизни избыточная природа с цветущей по весне земляничкой, с сияющим утренней чистотой небом, с травами, седыми от росы, пестрыми от цветов.

И драматичный внезапный прорыв немецких танков; поле, где застыли застигнутые азартом и жестокостью схватки наши бойцы — как живые, если смотреть издали.

Все это подготавливает высшую романтическую схватку: пробудившаяся любовь, вдвойне обострившая жажду жить, — и отчаянная решимость Лизы и Королева «принять на себя» надвигающиеся танки, увести их от группы безоружных девушек. И завершающая рассказ фраза, где нет сосредоточенности ни на картине смерти, ни на драматичных переживаниях, а есть открытая поэтизация подвига: «Лиза взяла Королева за руку, и они побежали вдвоем, ныряя в высокой траве, в желтых, белых и синих цветах, как две обреченные птицы, уводящие охотника от гнезда с птенцами».

Концовка рассказа подводит нас к одной из характерных черт героико-романтической поэтики. Смерть героя не внушает ужаса, не потрясает жестокостью правды, подчас не изображается «воочию», а лишь предполагается — и тем возбуждает возвышающее чувство гордости и восхищения.

В «Мятеже» Фурманов говорил: «.. Помирай агитационно! Так умри, чтобы и от

смерти твоей была польза», — и, условно говоря, картина смерти в романтической поэтике служит одной из форм «агитации» читателя, вдохновленного величайшим из качеств человека — мужеством перед лицом смерти.

Разумеется, здесь, как и во всяком художественном решении, должно соблюдаться чувство меры, художественного такта. Когда А. Фадеев в «Молодой гвардии» писал, что заживо закапываемые пели «Интернационал» и звуки «неслись из-под земли к темному, тучами несущемуся над миром небу», мы постигаем в этом «домысле» писателя романтически-обобщенный образ, усиленный и глобальностью картины (над миром, а не над Краснодоном!), и внутренней энергией образа (насколько слабее было бы просто «небо, затянутое тучами!»). Когда же М. Годенко в «Минном поле» пишет, как на тонущем транспорте, где находились штабные офицеры с семьями, поют «Интернационал», названный им библейски-возвышенно «песня песен», и гимн «гудел в темноте ночи с такой силой, что можно было оглохнуть», — то здесь конкретное (пожалуй, даже житейски-разговорное) выражение «можно оглохнуть» взрывает изнутри романтический образ, обнажая его ходульность. (Тяга к такой псевдоромантической выпренности задана с первого же абзаца романа: «Отца привезли ночью. Его внесли в хату три дядька. На темно-вишневых полах остались следы от сапог — не грязь, а размытый дождями чернозем, который кормит людей». К чему здесь, в трагическую минуту, поминается, что земля — кстати, грязь и есть размытая дождями земля — кормит людей?!)

В поведении человека перед лицом смерти романтические произведения вместо бытовых, социальных, психологических мотивировок обычно выделяют поступок: для романтического изображения не так важно выяснить всю совокупность причин, приведших человека к подвигу, как важно представить, на что способен человек в момент высшего душевного взлета.

А наряду с изображением романтического взлета все большее место занимают книги, обращенные к длительному процессу формирования героических качеств, продиктованные интересом к движению человеческого характера, к тому, как закаляется в горниле тяжелых испытаний нравственные качества героя, как пробивается героическое начало

в характерах сложных, подчас не сразу выявляющих свою «внутреннюю пружину». Благодаря этому утверждается развивающийся, а не статичный, изначально «закодированный» — биологически или социально — герой, облегчается художественное осмысление взаимосвязи разных истоков героического поведения, выявляется сознательный характер героизма в отличие от всякого рода «аффектных» теорий, локализирующих его рамками одного рефлексивного поступка, наконец, становится нагляднее столь важная для реалистического искусства социально-нравственная первооснова исключительных поступков.

У каждого в войну был свой путь: одни, подобно Олегу Кошевому или Андрею Соколову, сразу становились настоящими воинами, другие обретали эти качества постепенно, под воздействием воинской среды и тех гражданственных устоев, которые позволили нашему народу победить вопреки всем пессимистическим прогнозам людей, поверхностно знавших нашу страну или недостаточно учитывавших роль идеологии.

Становление человека в бесчеловечных условиях боя — одно из драгоценнейших завоеваний советской прозы, показавшей не распад личности, а ее формирование. Исследуя движение характера, писатели прозревают торжество советского воспитания, помогающего обрести духовные силы, преодолеть слабость, сохранить веру.

Чем дальше двигалось время, тем более ошутим был интерес военных прозаиков к процессу формирования героического характера. Это объяснялось многими причинами: и тем, что предвоенные годы перестали быть лишь — по контрасту с войной — трогательным воспоминанием, «лирическим отступлением», а все полнее осознавались как один из этапов народной жизни; и возникшей необходимостью воспитывать героическую готовность нового поколения, а стало быть, глубже исследовать «механизм» воспитания мужества; и усилившимся вниманием к взаимодействию в духовном бытии личности разных «составляющих» — идейных, нравственных, психологических.

Патриотическое воспитание молодежи накануне Великой Отечественной войны дало великолепные, поразившие мир результаты — и литература не перестает исследовать все тонкости этого «феномена».

Здесь и произведения о том, как в бою обогащаются, закаляются, очищаются те

благородные качества, которые заложены в человеке средой, семьей, обществом («Сыновья уходят в бой» А. Адамовича, «Дом и корабль» А. Крона, «Птицы и гнезда» Я. Брыля). И книги, движимые интересом к тому, как человек оказывается способным перешагнуть, преодолеть минутную слабость, неопытность, спад,— способен благодаря ранее воспитанным в нем добрым началам, сколь бы скованными на какой-то момент ни оказались они («Двое в степи» Эм. Казакевича, «Сенька» В. Некрасова). И повести о предвоенном поколении, где личность развивается в ряду своих сверстников и показывает возмужание целого поколения («До свидания, мальчики» Б. Балтера, «Один из нас» В. Рослякова, «Куда вы, белые лебеди?» Л. Якименко).

Особое место занимают книги, в которых дается только «тыловая» жизнь героев, но уже в ней раскрывается тот «гражданственный запас, который предопределяет последующее героическое поведение. Едет с Дальнего Востока лейтенант Артюхов, герой одноименной повести С. Крутилина, едет, едет — и ничего вроде с ним не случается: влюбился он в медсестру, варится в сутолоке больших вокзалов, восторгается сибирскими просторами, наблюдает нехитрый солдатский быт в теплушке. Но по мере того как разворачивается это неторопливое, без всяких лихих «заворотов» повествование, все яснее ощущаем мы пульсацию авторской мысли о той скрытой теплоте патриотизма, которая разгорится в бою, но возникает раньше, в повседневной жизни,— потому что это не вспышка, не внезапное озарение, а исподволь зреющее в народе чувство.

А в романе А. Крона «Дом и корабль» повествование обрамлено воинским донесением о подвиге экипажа подводной лодки. Но описывается не сам подвиг, изложенный в донесении, а подготовка моряков к боевому походу в условиях страшной блокадной зимы Ленинграда сорок первого года. В центре действия — не «завершенный» капитан Горбунов, а только «формирующийся» лейтенант Туровцев, ибо А. Крон старается раскрыть в подвиге не нечто изначально присущее, лежащее в самой натуре людей или силой навязанное им, а исключительную страстность в выполнении своего долга, необычайную преданность идее, возникшие как результат миропонимания и воспитания.

Глубокое проникновение в духовный мир война, оказавшееся подвластным нашей прозе, позволяет видеть, сколь неосновательны бытующие еще в критике взгляды, наиболее ясно сформулированные в статье Л. Успенского «Воспитание победителей» («Литературная Россия», 9 мая 1968 года).

«Человеческое страдание, — утверждал Л. Успенский, — извечно и во все века равно самому себе», будь то смерть от кипящей смолы крепостей или от напалма, от каленной татарской стрелы или от конической пули... «Все то, что испытывает на войне отдельный человек, — извечно, неизменно, навсегда одинаково (выделено мной.— А. Б.).

И новое в войне порождается не видоизменением человеческого страдания — оно-то остается тем же самым с часа, когда нож Каина вонзился в тело Авеля, — новое порождается видоизменением героизма, видоизменением, порожденным не только развитием техники и стратегии войн, но и коммунистическим сознанием, пониманием того, что такое войны справедливы, войны за истинно народные интересы.

Летчик, таранящий на орлиной высоте самолет врага на субзвуковой скорости, — это уже не то, что Пересвет, ударяющий с конского разбега копьем в доспехи тюркского батыра...

И мне нужнее, интереснее, «воспитательнее» читать не про всегдашнее, как бы глубоко и больно оно ни было, а именно про новое, про то, чего не было никогда и что стало явью только в наше время.

Так пишет Л. Успенский. Оставим в стороне то, что инженеру человеческих душ, оказывается, «менее интересно» знать о человеческой боли, как бы глубока она ни была.

Но сама постановка вопроса о неизменности страдания принципиально неверна: наша военная проза как раз и показала, насколько по-разному переносят страдание, по-разному встречают смерть, по-разному испытывают страх тот, кто заинтересован в общей победе, и тот, кто не понимает смысла борьбы, кто переполнен только своей болью, своим отчаянием, своим испуганным желанием спасти во что бы то ни стало.

И в этом смысле страдания Мусы Джалиля в извечной «темнице» или смерть Александра Матросова от обикновенной конической пули — есть такое же новое,

которого не было никогда и которое стало явью только в наше время, что и совершенный «на субзвуковой скорости» подвиг Гастелло. Да, в конечном счете именно преодоление страдания, как мы видели в «Исходе», и оказывалось подчас героизмом. И уж совсем противоречит всему эстетическому содержанию военной прозы выделенная мной фраза о переживаниях «отдельного человека»: достаточно назвать таких героев военной прозы, как Алексей Мересьев, Андрей Соколов, Володя Травкин.

Советская идеология не могла бы стать неизбежно прочной, если бы человек руководствовался ею только в спокойное время да по долгому размышлению, преодолевая в себе самое некое врожденное «зло», «звериное чувство страха». Ее сила как раз в том, что она становится второй природой человека, проникает даже в первичные ощущения, срабатывает именно в минуты высшего напряжения, страшной опасности, когда требуется мгновенная реакция, когда нужно гнать от себя все лишнее, мешающее сосредоточить все силы ума и сердца на выполнении задачи, на том, чтобы перехитрить, одолеть врага, тоже ведь сосредоточившего свои силы, чтобы оказаться сильней, сообразительней, энергичней тебя. И вот здесь-то срабатывает все, что таится в глубине сознания.

Сколько различны «первичные ощущения» участников боя под Вазузой в первой части «Белой березы» М. Бубеннова!

Обезумевший от страха Лозневой при взгляде на суетящуюся полевую мышь, которая ведь «наверняка переживет бой... перезимует, встретит новую весну», утверждает в «простой и ясной» мысли — дезертировать и спасти себя, подобно этой мышши. «Одичалые, белые глаза» замечает автор у солдата, бегущего с подвергнутых бомбежке позиций. Андрей поначалу еще не знал, что бомбежка — страшное дело, «и поэтому — только поэтому — не испытал никакого страха», но затем, испуганный танковой атакой, вообразил, будто «гусеницы танка, блестя и скрежеща, с бешеной силой тянули под себя все поле, окоп Андрея, кустарник». Мартьянов, которому оторвало руку по локоть, не съехался, не бросился бежать в беспамятстве и ужасе, а пошел в отчаянном порыве со связкой гранат навстречу танку. Неузнаваем в минуту опасности Матвей Юргин, все движения которого стали резки, судорожны: увидев подвиг Мартья-

нова, он, «страшный от пережитого ужаса и подступившей ярости», бросился с гранатой к раздавившему Мартьянова танку. Наконец, капитан Озеров «был так захвачен боем, что не мог ни о чем думать. Он был в состоянии бессознательного, но полного отречения от всех мыслей о себе... Ему некогда было думать об опасности, о смерти, которая грозила ему каждое мгновение».

Эта изображенная автором амплитуда чувств — от желания уподобиться полевой мышши до бессознательного (!) отречения от заботы о себе — с достаточной убедительностью опровергает тезис об одинаковости страдания, страха, неосмысленных ощущений, свидетельствует о возможности глубоко проникать в истоки человеческого поведения.

Ни в коей мере не отрицая всю сложность взаимоотношений между инстинктами, «естественными» чувствами и сознанием человека, нельзя не видеть, что сфера «подсознательного» гораздо уже и не столь бесконтрольна, как то иногда представляют психологи и критики, выдвигая тезисы о борьбе и непримиримости сознательного и подсознательного, о необходимости подавлять «извечные» слабости.

Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что первичное, подсознательное видится только в противоборстве рассудку, тогда как и в этих границах отражаются формирующиеся нравственные нормы. Сила социалистического реализма в том, что он позволяет исследовать глубинные тайники «человеческой природы», «первичных ощущений», находя в них воздействие новых общественных начал. И эта последовательная позиция активно противостоит любым представлениям об изначальной низости и фатальной слабости человеческой природы, к каким бы по внешности противоположным выводам эти представления ни вели — к необходимости ли действительно подавлять «натуру» или же смиряться перед ее всевластием. Новаторство заключается не в том, чтобы отключиться от изображения страданий и повседневного окопного быта, а в том, чтобы разглядеть самые глубинные изменения в психологии нового человека, утвердив тем самым их органичность и прочность. И как раз очень важно подчеркнуть, что наша военная проза не ограничилась изображением одной лишь «идеологической» сферы, не отдала на откуп современным модернистским течениям

исследование и изображение первичных качеств, а показала истинную человечность советского воина в противовес искажению, деформации человеческой сущности под губительным, растлевающим вторжением фашистского зла в самые интимные уголки человеческой жизни.

Понимание всей сложности духовной жизни человека на войне обусловило успехи этого направления, которое можно именовать психологическим драматизмом и которое чаще всего связывается с лучшими книгами Г. Бакланова, Ю. Бондарева, В. Быкова. Благодаря творческим успехам этого направления заметно драматизировался стиль всей военной прозы.

Обнажение драматической правды переживаний позволило поднять смысл героического, вскрыв реальное напряжение борьбы и продемонстрировав подлинную силу сознательной человеческой воли, торжествующей над инстинктом страха и инстинктом самосохранения. И то, что эта проза, не обинуясь, рассказывает о трудном пути к героизму и трудном пути героизма, очень важно для утверждения духовной силы советского народа.

Писатели ставят своих героев в тяжелые, очень тяжелые, невероятно тяжелые положения и на этом изломе выясняют такие тончайшие изменения в нравственном облике героев, такие глубины характера, которые в обычных условиях нельзя промерить.

Драматичное столкновение «человеческого» и долга не побуждает к отказу от общественного долга; наоборот, торжество долга действует на нас тем сильнее, чем откровеннее показано это «человеческое», неспособное, казалось бы, к таким духовным и физическим перегрузкам и выдерживающее их только благодаря чувству, которое сильнее страха смерти и естественного человеческого желания сохранить жизнь. Героизм осознается как проявление непрекращаемой воли обыкновенных людей выполнить свой гражданский долг в бесконечно трудных обстоятельствах войны.

\* \* \*

Характер героического возвышения личности, реальное содержание трагизма и оптимизма, сущность воззрений на цену победы, диалектическое единство военного и антивоенного — все это в конечном счете определяется взаимосвязями личности и общества. Можно даже утверждать, что

только полнота обнаружения общественных связей личности придает концепции социалистического гуманизма завершенность, цельность, стройность.

Несомненным и многозначительным фактом является то, что буржуазная баталитика не дала романов эпопейного типа, ибо единственной «мерой», единственным «масштабом» для нее оказывалась личность, изолированная от общества, не осознающая, что такое всенародная судьба. Кризис буржуазного военного романа есть нагляднейший показатель общественно-исторического краха индивидуалистической концепции человека: даже роман «личной ответственности» все-таки ослабленно представляет связи личности и общества, личности и народа.

Иное произошло в советской романистике. Соединяя судьбу отдельной личности с жизнью всего народа, военная проза пыталась с максимальной полнотой воссоздать диалектическую сущность тех процессов, которые протекали в обществе в этот период. Наглядно сливались здесь народность, гуманизм и историзм: в глубинных связях человека с эпохой, со значительными для всего народа историческими фактами искала батальная проза наиболее убедительные художественные решения.

Прямая, открытая историко-общественная детерминированность действий человека в романах эпопейного типа несомненно обогащала концепцию личности в искусстве. В свою очередь динамика воззрений на концепцию личности в послевоенные десятилетия вызвала ясно видимые изменения внутри самого жанра романа-эпопеи.

Развитие послевоенного эпического романа, одержавшего немалые успехи в художественном освоении проблем «личность и народ», «личность и история», было все же в первое десятилетие сковано известными вульгаризаторскими воззрениями на типичное и убежденностью в том, что раскрывать взаимодействие разных жизненных сфер и временных слоев следует чисто описательными, панорамными средствами. Увлекаясь заманчивой звучностью ходкого толкования «предмет романа — личность, предмет эпопеи — народ», прозаики подчас забывали о том, что личность в той же мере важна и для эпопеи, предмет которой: личность и судьба народа в переломные эпохи; биография личности, представляющая на широком жизненном фоне; изображение «част-



ного» бытия, выявляющее философскую концепцию истории. И судьба народа, и исторический фон, и философские концепции фокусируются все-таки на личности!

Обогащенная опытом изображения человека на войне во всей сложности психологического драматизма, наша литература смогла осваивать новую ступень: изображение событий большого масштаба, втягивающих в себя огромные народные массы, уже естественно сопрягается с глубоким проникновением в духовный мир участника войны, в нравственный потенциал личности.

Углубленное познание личности не привело к обособлению, «самодвижению» человека, а, наоборот, усилило восприятие его общественных связей, которые выглядят теперь гораздо многообразнее и с тем большей основательностью раскрывают внутреннее единение советских людей, выступивших против захватчиков. Как никогда прежде, военную прозу захватила идея полноты художественной правды, желание уловить все разнообразие условий, прямо или косвенно влияющих на судьбы, настроения и побуждения людей. Новаторство военной прозы последнего времени связано прежде всего с поисками новых соотношений между изобразительной и философской, между воспитательной и познавательной предначертанностью романа.

Непримиримость борьбы двух миров по-прежнему определяет ведущий конфликт, измеряет ценность человека. Но вместе с тем интересами прозаиков завладевают и другие взаимоотношения людей, другие общественные и личные коллизии.

Сошлемся на один частный, но весьма показательный пример. Если прежние романы об оккупации («Молодая гвардия» А. Фадеева, «Буря» В. Лациса, «Незабываемые дни» М. Лынькова) рисовали городских жителей, резко разделенных на друзей и врагов, предателей или героических борцов, не задаваясь вопросам их повседневного существования, то в романе «Сосна при дороге» И. Науменко некоторые персонажи уже сталкиваются с тем, как прокормить семью в оккупации, как, вынужденно поступив на работу в немецкое учреждение, сделать, чтобы эта работа не превратилась в службу на немцев, или как пристроиться на какую-нибудь должность, лишь бы избежать угона в Германию. И эти «узкобытовые» заботы сразу усложняют связи людей в обществе,

вместо прямого разделения на борцов и предателей требуют сложного анализа психологии и общественных обстоятельств в каждом конкретном случае.

И можно видеть, что творческие поиски во многих книгах последнего времени направлены на максимально объемное воспроизведение многогранных связей личности с народом, обществом, окружающими людьми. «Разомкнутая», а не замкнутая в себе самой судьба человека предстает в конкретных художественных решениях в самом широком диапазоне: от глубинного ощущения, уходящего в подтекст, до открытого публицистического высказывания, от воспринимаемой «во времени» своей ответственности за исторические судьбы народа до воспринимаемой «в пространстве» своей слитности со сражающимся народом.

Уже участь одного солдата способна раскрыть — как убедительно доказала хотя бы шолоховская «Судьба человека» — всю полноту идеалов социалистического общества, всю силу социального воспитания, аккумулярованных в его душе и поступках. Но литература не прекращает попыток показать более широкие и непосредственные общественные связи воюющего человека.

Как совместить «точный», «окопный» угол зрения, который позволяет узким проекторным лучом глубоко проникать в психологию одного воина, с открытым и непосредственным изображением того, что этот солдат, используя выражение Маяковского, каплей льется с массами?

Иногда такое совмещение достигается прямолинейно, перечислительным расширением.

В повести «Очень хочется жить» А. Андреев так «расширял» эпизод отбитой танковой атаки: «Танки, уходя от огня, свернули и тоже двигались рожью. Это была мельчайшая частица вражеской железной лавины, протянувшейся от моря и до моря, которая всей своей мощью обрушилась на нашу землю. И наша рота — тоже мельчайшая частица армии, протянувшейся от моря и до моря, — встала навстречу врагу. И от стойкости сотен тысяч таких же рот, как наша, зависели стойкость и успех всей армии».

Этот распространенный и, скажем даже, нещадно эксплуатируемый прием позволяет легко обозначить, как сражающийся человек ощущает свое единение со всем народом. Но он очень редко бывает художест-

венно эффективным (как все заманчиво легкое в искусстве): подобное декларирование связи между «каплями» не только не открывает ничего художественно значимого, но в данном случае способствует даже усилению легендарности и просто недостоверности, столь ощутимо сказавшихся в этой повести (начиная уже с того, что в самой тираде речь могла идти не более чем о двух десятках тысяч рот, хотя это и звучит менее пафосно, чем сотни тысяч).

Более серьезными поисками отмечен роман А. Ананьева «Танки идут ромбом».

Действие романа предельно сжато: один бой одной роты, всего три главных действующих лица. Избран момент, когда мы отражаем наступление немцев и даже вынуждены отходить, а участники боя еще не знают, что скоро грянет возмездие. Детали ожесточеннейшего боя точны и откровенны, лишены всякой легендарности.

Но взяв один бой, одну роту, автор решительно раздвигает «собственно действие».

Раздвигает и «в пространстве» — то с ехидством информируя, что делают в это время союзники, то перенося нас на мгновение в ставку Гитлера, срывающего погоны с командующего танковой армией за провал наступления, хотя советские солдаты еще отходят под натиском танкового ромба; то сообщая, как держатся наши соединения на другом выступе Курской дуги.

И «во времени» — исторические параллели из времен татарского нашествия 1240 года и страшного голода 1921 года; воспоминания о первых двух годах войны; заглядывая в близкое — какой перелом наступит здесь через несколько дней — и далекое будущее: бывший лейтенант Володин станет писать роман «о том, как умеют умирать русские солдаты»; полковник в отставке Пашенцев будет настаивать, что надо готовить к возможной войне новое поколение, потому что «с идеи *Lebensraum* снова стерта архивная пыль»; генерал Табола начнет профессионально рассуждать об уроках войны.

Широкие исторические, политико-социальные интерпретации, вынесенные в публицистические и главным образом лирические отступления, ставят центральных героев на перекрестии самых разнообразных общественных связей, образуя, по собственному комментарию автора, «ощущение, что ты — как звено в цепи».

Часто автор подчеркивает, что герои думают «просто», «не смогли бы ответить

точно, о чем», — но тут же досказывает за них. Когда корреспондент армейской газеты спрашивает Пашенцева, думал ли тот во время атаки, «в эти, ну, героические минуты», о доме, о родине, командир роты отвечает коротко: «Задание выполняли». Но через две страницы автор приводит глубокие раздумья Пашенцева о родине, вводимые «нейтральной» фразой: «Если когда Пашенцев и вспоминал о Родине, то было это в свободное время, в часы раздумий и одиночества, и вспоминал совсем не так упрощенно, как представлялось тому корреспонденту». Эта двойная полемичность — и против тех, кто воображает, будто во время атаки люди думают «возвышенно», и против упрощенных представлений о родине — по сути дела, лишь острее «подает» сами обширные размышления Пашенцева, от которых автор не считал возможным отказаться, поскольку они вводят читателя в сложный мир ясно сформулированных, а не «внутричувствуемых» идей.

Получила развитие в романе А. Ананьева и та композиция, которая была в послевоенной прозе наиболее резко заявлена «Ночью полковника» Г. Берзко: в самом развитии событий сопрягаются «окоп» и «армейский НП», когда в локально сосредоточенное действие входят командиры высшего ранга (здесь — командующий фронтом), чтобы передать размах стратегического замысла, объединяющего усилия и волю множеств, и тем раскрыть главную общественную связь, установившуюся между ними.

И все-таки, несмотря на многие своеобразные обретения, широта общественных связей в романе «Танки идут ромбом» создавалась главным образом благодаря лирико-публицистическим средствам, не была преломлена в собственно судьбах героев.

И рядом с таким направлением творческих поисков, которое можно именовать лирико-публицистическим, развивается направление сюжетно-образное, ставящее своей целью ввести самое личное в историко-общественный процесс, в многочисленные «орбитальные» связи, образующие неразрывную цепь причин и следствий.

Наиболее значительно воплощает принципы такого направления роман Л. Первомайского «Дикий мед».

«Современная баллада», как определил жанр своего эпического широкого произведения Л. Первомайский, появилась почти од-

новременно с романом «Танки идут романом» и также посвящена грандиозному и победоносному Курскому сражению. Действие, связанное с событиями всего нескольких дней, свободно растекается в пространстве и времени: захватывает судьбы многих людей от штаба армии до окопа бронбойщиков, уходит вглубь, в воспоминания о предвоенных годах, о начале войны и битве за Киев, вырывается далеко вперед — каждую из четырех частей открывают интермедии из сегодняшней жизни Варвары Княжич.

Но, может быть, самое главное в этой книге — интерес к сложным общественным связям и взаимоотношениям, завязавшимся или обострившимся в критической ситуации, хотя и не имеющим прямого отношения к ним. Таковы отношения Варвары и следователя Сербина, Пасекова и Берестовского, Савичева и Костецкого, Сербина и Федяка. Общественные взаимоотношения людей сложны, бесповоротно переплетены с личными. Эта общая философская посылка автора, основанная на генезисе «корней» нынешнего поведения человека, реализуется не только в лирико-публицистических отступлениях, но и едва ли не в каждом персонаже романа.

Многое в авторской концепции проясняет и образ «антигероя». Если обычно в военных повестях и романах антигероем был трус или предатель — изменник общему делу, — то художественный смысл образа горе-журналиста Уповайченкова заключается в том, что он демонстрирует искажение нормальных общественных связей. Тревога за человеческие жизни, забота о людях — то, что движет автором и его любимыми героями, — для Уповайченкова лишь «комедия человечности». За всем, выходящим за пределы догматических представлений о поведении людей, «бдительному» Уповайченкову мнится что-то дурное. Эта мнительность и недоверие разрушают естественные человеческие связи в обществе: вместо безраздельного доверия к единомышленнику, соратнику, другу приучают оглядываться, перепроверять, не полагаться до конца в трудный момент, легко поддаваться самым чудовищным наветам на близких себе людей. Уповайченков — тот общественный, точнее антиобщественный, тип, внимание к которому особенно возросло в начале шестидесятих годов, когда в конкретных делах и Программе партии столь мощно укрепились ленинские принципы доверия к советским

людям, на деле доказавшим свою преданность делу социализма.

Идея обнаружения подлинных, пусть даже и трудно складывающихся, взаимоотношений между людьми раскрывается Л. Первомайским и в любви Варвары к Лажечникову, любви невысказанной, оборвавшейся: Лажечников был убит.

За этой трудной любовью тоже прорисовываются трагедийные общественные обстоятельства: Варвара все время помнила о муже, погибшем после ареста, а Лажечников — о семье, умерщвленной фашистами. И если любовь все-таки возникла, то не потому, что все перегорело и забылось, или, наоборот, оба жаждали «забвения», а потому, что на фронте они приобрелись к страданиям, вере и нравственному здоровью всего народа, к тому крайнему напряжению сил, которое целительно и непроизвольно ослабляет сосредоточенность человека только на своем горе. Возникшая как знамение преодоленной сосредоточенности, их любовь уже стремилась освещать и согревать все вокруг, не мешая, однако, «видеть разницу между добром и тем злом, которое существует в мире и которое надо ненавидеть».

Это и есть признание реальных общественных связей — тех, что, не скрывая и не отвергая сложность духовной жизни каждого человека, создают их единение в главном: в героическом фронтовом бытии, в неостывающем чувстве ответственности за судьбу общего дела. Благодаря таким связям и удалось Л. Первомайскому сделать локальный эпизод — фотосъемку подбитого танка — сюжетным центром большого батального романа, а батальный роман ввести в круг разнообразных человеческих взаимоотношений, образующих общественное бытие личности.

В самое последнее время интенсивно развивается — на новом этапе, на новом уровне — панорамный роман, столь распространенный в первые послевоенные годы. Этот новый «виток» в немалой мере вызван усилившимися в общественном мнении требованиями объективно, в полном объеме представить степень подготовленности нашей страны к войне, причины и характер летнего отступления до Москвы и некоторые другие общественно-исторические «узлы», вызвавшие пристальный интерес в середине шестидесятих годов.

Широкая панорама событий воссоздана в «Блокаде» А. Чаковского, первые две книги

которой уже опубликованы: действие перебрасывается из Берлина в Белокаменск, из ставки Гитлера в кабинет Жданова, из укрепрайона за Выборгом на дачу Сталина, из зала общевойсковой совещания в самые различные «этажи» Ленинграда, из окопов переднего края в городской комитет партии.

Это роман последовательно публицистический: авторский голос не только комментирует движение сюжета, но и направляет его. По событийно-публицистической логике вступают в действие самые разные социальные слои: военные, дипломаты, партийные работники, чекисты, рабочие, студенты.

Такой «многослойностью» обладали «В осаде» В. Кетлинской, «Балтийское небо» Н. Чуковского и другие произведения о подвиге Ленинграда (в том числе и «Это было в Ленинграде» самого А. Чаковского): наглядно и непосредственно сливались там фронт и тыл в единый образ сражающегося народа. Но если в тех книгах писатели видели свою цель преимущественно в изображении сражающегося народа, то нынешний замысел А. Чаковского определялся в значительной мере публицистически контрастным сопоставлением двух типов руководства.

Ему удалось художественно оправдать «сосуществование» в романе так называемых простых людей и исторических деятелей, стоявших на вершинах власти, — тех деятелей, о которых фактически не говорили панорамные романы первых послевоенных лет, не располагая еще должными историческими, мемуарными, архивными источниками.

Правда, из-за остро публицистического характера романа вымышленные действующие лица оказались в большей мере социальными символами, чем художественными типами: это и мудро-рассудительный кадровый рабочий Королев, и «прозревающий» в грудную годину интеллигент Валицкий, и верткий «интеллигентский сынок» Анатолий и т. д. И оттого, что романическим героям не хватало художнического своеобразия, самобытности, они оказались затерянными в вихре событий большого масштаба.

Более глубоко погрузился в сферу тех общественных связей, которые можно именовать эпопейными, роман Г. Коновалова «Истоки».

И «Блокада» и «Истоки» захватывают в свою орбиту предвоенное время, но если «Блокада» сосредоточена лишь на описании

мероприятий по подготовке к надвигающейся войне, то «Истоки» — на общенародной психологической и нравственной подготовке. Недаром так часто — иногда и назойливо — повторяются здесь слова о предощущении войны всем советским обществом и отдельными людьми.

По своему жанру роман Г. Коновалова тоже близок панорамным романам: действие второй книги — от первого дня войны до ее завершения — передвигается по фронту от НП командара до танкового экипажа, перебрасывается с поля боя в тыловой город, из дома Крупновых в кабинет Сталина, на Тегеранскую конференцию, в ставку Гитлера.

Критика справедливо отмечала нечеткость композиции романа, скороговорку, слабость психологической характеристики исторических лиц. И все-таки роман обладает известной внутренней цельностью, образованной прежде всего за счет внутренней силы Крупновых, которая создает монолитность большинства эпизодов.

В центре романа Г. Коновалова — нравственная сила народных масс. Та триединая суть народного характера — советский человек, плоть от плоти родного народа, сохраняющий социальную определенность, — о которой говорилось выше, нашла свое выражение в крупновском характере и определяет социальные, национальные, классовые связи, которые наряду с традиционно-любковыми и семейными соединяют героев.

И в этом смысле роман Г. Коновалова, при всех его художественных просчетах, представляет одно из важных направлений современной военной прозы.

\* \* \*

Лучшие советские книги о войне целеустремленно и широко стремятся показать и осмыслить непосредственные связи человека и общества, непримиримо противостоять разноликим теориям о независимости человека от общества, о возможности для искусства ограничиться единственно психологическим анализом, вне соотнесенности с целями, идеалами, делами всего общества.

Война проверила общественные связи советских людей на прочность и глубинность. И правдивое изображение их во всей полноте и сложности действительно помогает сегодня утверждать высокие

принципы социалистического гуманизма, воспитывать советский патриотизм и коммунистическую убежденность.

Надежды и мечты героев, спасших человечество, их беспредельное мужество, патриотическое самопожертвование, умение побеждать — это моральный капитал, который по праву духовной преемственности входит в нашу современность, составляет неотъемлемые свойства духовного облика народа, активно участвует в укреплении тех нрав-

ственных норм, нравственных критериев, без которых нет и «мирной» жизни. Обращенные по жизненному материалу в прошлое, книги о войне пронизаны токами сегодняшней жизни, не просто воссоздают трудную правду грозных лет, а страстно отстаивают проверенные в беспримерных испытаниях идеалы. Неодолимая сила этих идеалов — и предметный урок любым агрессорам, и весомый аргумент в бескомпромиссной идеологической борьбе двух миров.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Н. Атаров.** Лиманские страницы.— **В. Швейцер.** «Я пишу, как дышу...» — **В. Гурьев.** Плата за страх и победа над страхом.— **И. Борисова.** Опыт одной судьбы.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**С. Плоткин.** Наука сегодня.— **В. Бочков.** Личность в истории и личность историка.— **С. Троицкий.** В творческой лаборатории А. С. Пушкина.

## Литература и искусство

### ЛИМАНСКИЕ СТРАНИЦЫ

**К. Ковальджи.** Лиманские истории. Роман. «Юность», №№ 3, 4, 1970.

Древний белокаменный городок, окруженный садами и виноградниками, на берегу пресноводного лимана. Старинная крепость с замшелыми башнями и стенами. Автор называет городок Лиманском, но, судя по местоположению и общему колориту, «прототипом» ему послужил Белгород-Днестровский, некогда называвшийся Аккерман, потом — Четатя Алба, и снова Аккерман, и снова Белгород. Менялись названия, но оставался устойчивым быт за холустья.

Таково место действия «Лиманских историй».

Уходили одни завоеватели, приходили другие, городок старался «перехитрить войну», спрятаться от бурь вска — завоевать завоевателей, превратить их в своих оседлых жителей, лиманцев. Время намешало тут кого попало: русских, украинцев, молдаван, болгар, турок, гагаузов, евреев, армян. С мягкой иронией рассказывает автор смешные или печальные анекдоты из жизни горожан, жизни, когда все у всех на виду. Поначалу кажется — это как бы автобиография Кирилла Ковальджи, русского поэта, выступающего теперь — вот уже второй раз — с прозаической вещью. Мы узнаем о его детстве, прошедшем в этих

местах, об отце и матери, о первой любви и романтических снах и грезах, навеянных старинной крепостью С другой стороны, перед нами разворачиваются очерки нравов, где женщины состязаются в кулинарном искусстве, мужчины играют в покер, охотятся или изощряются в невинных розыгрышах. Жизнь городка складывает удивительные новеллы из самого, казалось бы, ничтожного материала.

Таковы действующие лица «Лиманских историй».

Десятки сюжетов из хроники городка — точно рябь спокойного взморья. Автор то и дело возвращает нас вспять, потому что вспоминает еще одну историю. Так играют, набегая, волны, пока не поднимется буря истории. И городок на окраине вдруг разделяет судьбу тысяч городов Европы, России — больших и малых. Безоблачное небо над Лиманском затягивается легкими облачками, но они собираются в грозовую тучу, и ураган последней войны обрушивается на Лиманск.

Таково время действия «Лиманских историй».

Читая роман, мы с вами окажемся в этом городишке в годы румынского господства, в королевской Румынии, увидим воз-

вращение этого городка вместе со всей Бессарабией в лоно Советского Союза, затем фашистскую оккупацию Лиманска и дни безвластия, когда одни ушли, а другие еще не вошли, и, наконец, окончательное, исторически закономерное воссоединение его с советской отчизной.

Сложное содержание романа ставило перед автором труднейшую задачу. И надо сказать, что с ней он справился хорошо: повествование согрето теплым дыханием юмора, героические и сатирические картины, лирические сцены первой любви и нравоописательные главы легко чередуются, переходы из одной истории в другую — почти без швов, иногда не нуждаются даже в «отбивке». Между тем действующих лиц много, очень много, и число их нельзя сократить.

Отец рассказчика (а роман ведется от лица мальчика Стасика), пожалуй, выделен среди других, мы видим всю историю его политического и духовного созревания. В начале романа это чудак, влюбленный в своего охотничьего пса, игрок в покер, для которого политика — бранное слово. И друг у него под стать — Миша, холостяк и шутник, не имеющий врагов; когда Мишу, смертельно избитого (в отместку за невинную шутку) по указке румынского жандармского начальника Стратана, хоронят, то, выполняя его предсмертную просьбу, духовой оркестр оглашает улицы городка мелодией жизнерадостной советской песни, услышанной по радио: «Сердце, как хорошо, что ты такое...» А позже мы увидим отца отбывающим с ополчением на рытье окопов, увидим его в осажденной Одессе. Он остается верным Советской России. И эта верность — та духовная сила, которая помогла отцу «выгрести», сохранить себя в грозных валах исторической трагедии.

Рядом с отцом сквозь роман проходит Аристид Аристидович, духовно близкий отцу человек, — врач и учитель, пацифист и скептик. Он разводит рыб, роется в старых книгах, любит высмеивать все радикальные страсти века, зимой купается в проруби; королем он отказал в присяге, но он и Маркса не любит. Однако когда появляется в городке фашист-нищеец с проповедью культа сильной личности — как «врезает» ему в споре Аристид Аристидович и как огорчается, что нет рядом с ним (потому что сидит в тюрьме) его сына, ком-

сомольца Феде! Вот тот задал бы перцу этому бухарестскому фендрику!

Впрочем, когда появляется из тюрьмы его любимец Федя, он прежде всего задает баню именно старому скептику за проповедь «наша хата с краю». «Гитлер должен в ноги поклониться таким мудрецам за их философию», — пылко говорит он.

Две противоборствующие силы — фашизм и социализм — с наибольшей выразительностью представлены в романе в лице железнодорожника Ремуса и большевика Феде.

Ремус однажды появляется в тихом городке со своей проповедью насилия, культа сильной личности, расовой исключительности и безуспешно пытается завоевать души лиманской молодежи. Он черт — нет, бери выше: он вельзевул, демон, мефистофель в глазах лиманских юнцов. Он сыплет деньгами, красуется, блистает бравადой, зовет молодежь за стены крепости и там читает им проповедь — детям армян, цыган, болгар и русских, не слишком-то придающим значение крови предков, детям лиманцев, — о возрождении великорумынской нации, о конечном торжестве потомков римлян. Нет, он не имеет успеха среди молодежи и с ненавистью объявляет этот город «лишним».

Впрочем, он сам на поверку истории оказывается лишним — лишним в буквальном смысле слова. Сперва его выгоняют обыватели как шулера, затем он скрывается в Яссах от сигуранцы — король к этому времени объявил вне закона железнодорожников; в войну он еще раз выплывает в городке — на этот раз в скромном чине капитана интендантской службы и гнусно пристаёт к матери Стасика, живя у нее на квартире. А после сталинградского разгрома озлобленные немецкие офицеры избивают незадачливого румынского интенданта в ресторане, да так, что румынское начальство считает разумным перевести его в другой город, и он исчезает с лиманского горизонта на этот раз навсегда.

Интересен и не совсем обычен образ польщика-большевика Феде: он вырос в своей семье как антитеза пацифисту и скептику Аристу Аристидовичу, как воля к действию; советский берег вместе с солнцем каждое утро вставал перед глазами Феде, книжные полки отца знакомили его с Писаревым и Горьким, Марксом и Плехановым, и он был счастлив, что родился во-

время — современник величайшего исторического преобразования.

Федя сразу привлекает к себе симпатии читателей: в шестнадцать лет он готовится к побегу в революционную Испанию, немного позже попадает в кишиневскую тюрьму. Он и там ведет себя пылко и мужественно, и его диалог со следователем Серджиу Попом — одна из отличных страниц романа. Тюремщик из либералов, «клоп», как его называет подследственный Федя, кончает свой мирный и ласковый разговор с юношей так:

«— Ты прав. Давай кончать.— Серджиу Поп зевнул, прикрывая пальцами рот.— Меня ждут к ужину.

Он позвонил. Вошли трое.

— Будьте добры, заткните ему рот кляпом и привяжите к стулу, да покрепче.

Приказ был выполнен.

— Поверните лицом к стене.— Серджиу Поп не хотел встречаться с Феей глазами. Он чувствовал себя неловко.— Теперь отрежьте пол-уха. И отведите в камеру.

Серджиу Поп хлопнул дверью и ушел».

Отсидев три года, Федя в 1940 году возвращается в родной городок, возвращается полный дерзких намерений и замыслов, мечтает поднять революцию в Лиманске — и бросается в это со всей наивностью энтузиаста, со всей непреклонностью пылкой юности. Правда, эта непреклонность порой приобретает чересчур уж крайние формы. Ласково, но и с иронией написана, например, история отношений Федей с влюбленной в него работницей консервного завода Милочкой, у которой он скрывается по ночам: та добивается близости с ним, но Федя не может себе позволить даже почти личного счастья.

Как уже говорилось, в романе много действующих лиц — горожан, мелких служащих, так называемых обывателей. И автор рассказывает нам о них множество историй — то в форме бытового фарса, то в форме жизненной драмы или маленькой человеческой трагедии.

Вот Маргарита — дочь местного зубодера, глупенькая красавица из мещанской семьи, с маленьким сердечком, через которое так же беспощадно проходит фронт: в нее влюблен румынский лейтенант Ион Георгиу, вполне революционный юноша, интернационалист; однако по совету большевика Федей в час вступления наших войск в Бессарабию он, румынский офицер, уходит, чтобы быть

полезнее революции там, в Румынии, в ее войсках. Что ж, хорошо, да только Маргарита остается одна. Бедная красотка, — с приходом Советской Армии начинается ее новое сердечное томление: в нее влюбляется инструктор Киевского обкома комсомола Градов, и она уже готова соединить с ним свою судьбу, но он уезжает, зовет с собой, тянет в загс, но как-то это все слишком быстро, чересчур «по-советски», и отпугивает ее этой своей скоропалительностью. Что ж, остается Маргарита одна — еще одной старой девой, подобной тете Розе, будет больше в тихом Лиманске.

А вот история самой тети Розы. «Простое сердце» Флобера повторяется в судьбе этой одинокой старухи, не знавшей ни дня, ни часа личного счастья, отдавшей всю свою жизнь на вынянчивание чужих детей — племянников и племянниц, соседских малышей, а там еще есть и соседи соседей... У нее две комнатки, и она сдает их всю жизнь. В войну у нее стоят постоем то румынские, то советские офицеры. Уходит, почти бежит в панике в день вступления советских войск румынский летчик Мирча Пуркару — и тетя Роза улыбнулась, глядя на его бегство. Он запомнил эту улыбку и в свой час, после оккупации, приезжает, чтобы только позлорадствовать и отомстить тете Розе за ту улыбку. И снова улыбается странно тетя Роза, в поклоне ее, скрывающем улыбку, могло быть и новое оскорбление, и летчик не почувствовал удовлетворения.

Вот городской сумасшедший, бывший аптекарь Айзик. Жена от него сбежала с румынским офицером, и, сломленный этим несчастьем, он сошел с ума и десять лет считал себя пророком и предрекал несчастья — обросший, худой, с жуткими запавшими глазами. Концом его печальной судьбы ознаменован день вступления румын в притихший город. Первым в машине, в сопровождении немецкого офицера, въехал жандарм Стратан — «снял фуражку, перекрестился, потом бухнулся на колени и поцеловал булыжник на мостовой.

Птицей влетел Айзик на площадь.

— О! — закричал он, пораженный, и вскинул к небу длинные руки.— Здравствуйте, ваше сиятельство — черный кот — кобель — червь — кровь! Сара, выходи, паскуда — блудница! Где твои туфли?»

И тогда немец вытащил пистолет, прицелился и спустил курок. И это был пер-



вый выстрел в Лиманске. Безумье фашизма явилось и в это захоластье, лицом к лицу столкнулось с городским сумасшедшим.

Кто же такие лиманцы? Фашистский последыш Титус, сын жандармского начальника Стратана, назовет их «жалкими уродами и чудовищами». К сожалению, и Федя — в силу юношеского максимализма — тоже выскажется о них к концу войны чересчур сердито.

Но каковы же они на самом деле, как относятся к ним рассказчик?

Были дни и месяцы, когда буря войны вырвала жителей из уюта беленьких домиков и зеленых садов, — и кучка лиманцев, ничем не вооруженных, сбилась на берегу Днестра, а потом на оборонном обводе Одессы, чтобы копать противотанковые рвы и окопы. До сих пор каждый из лиманцев порознь считал себя горожанином и не смел себя к народу причислять, «ибо само собой сложилось мнение, что народ живет за городом и между городами». А теперь, старательно орудуя лопатами, все они — и адвокат Ивановский, и слесарь Аким, бухгалтеры, парикмахеры, скрипачи — «сами оказались за городом и между городами и делали простую работу, и руки покрывались мозолями, и всем телом отдавались общему бессловесному

ритму — раз-два и раз-два — и смутно вспоминали, что когда-то уже такое было — не с ними, так с пращурами... Может быть, и они — тоже народ, чем черт не шутит?..».

Читаешь роман Кирилла Ковальджи и думаешь — ведь именно этим вопросом задается автор. Иначе к чему бы такая разнообразная галерея лиц, такое примечательное скопление разнообразных характеров и судеб?

А судеб и историй действительно множество. И если к рассказанным выше историям Феде, отца Стасика, Аристида Аристидовича добавить многие другие, не упомянутые здесь — за недостатком места — истории тех, кто растит детей, печет хлеб, расчищает развалины и возводит заново город, то, пожалуй, и получится коллективный портрет лиманцев.

Автор хорошо знает все слабости и недостатки своих героев, порой осуждает, порой мягко посмеивается над ними, но твердо верит, что «и в маленьких городах живут люди и на их маленькую честность и порядочность можно положиться».

На этой фразе хочется и закончить рецензию, добавив вместе с автором, что на свете, «между прочим, маленьких городов куда больше, чем больших»...

Н. АТАРОВ.



### «Я ПИШУ, КАК ДЫШУ...»

**Вера Звягинцева. Избранные стихи. «Художественная литература». М. 1968. 272 стр.**

**Вера Звягинцева. Моя Армения. Стихи. Избранные переводы. «Айтастан». Ереван. 1969. 187 стр.**

**В**ера Клавдиевна Звягинцева печатается без малого полвека. Она известна как переводчик поэзии братских народов — главным образом армянской — и как автор нескольких сборников оригинальных стихов, много места в которых занимает любовная лирика.

На свете страшно без любви,  
Недуг жестокий — жить без сердца, —

писала она в первой своей книге «На мосту» (1922). А спустя долгие годы в «Исповеди» (1967) та же мысль как бы усиливается эхом — уже не «страшно», а «грех»:

...жизнь без любви — непростительный грех.

За это время само понятие любви приобрело в сознании поэтессы более широкий смысл, перестало определять лишь круг интимных переживаний и отношений, а вошло в себя более широкие и более общие человеческие проблемы. В одном из стихотворений последних лет она риторически спрашивает от чьего-то воображаемого имени:

Иной укорить стихотворца готов:  
Не слишком ли много стихов о любви?!

И отвечает уже сама:

Но не о любви не бывает стихов...

В этой строке определены отношения В. Звягинцевой к миру, творчеству, искус-

ству вообще и выражена сущность ее собственной поэзии. Оглядываясь на пережитое и написанное, она обнаруживает, что любовь всеобъемлюща:

Рождает она и к отмщению зов,  
И мудрость высоких пророческих слов,  
И песни. — любую из них назови.

В. Звягинцева относит это не к себе — к поэзии, но и все ее стихи действительно продиктованы любовью; в этом убеждаешься, читая ее книги последних лет.

Впрочем, неверно было бы утверждать, что в своих ранних стихотворениях поэтесса была целиком захвачена лишь интимными чувствами. Уже тогда в стихах В. Звягинцевой возникли темы, прошедшие с нею всю жизнь и составившие мир ее поэзии. И главная из этих тем — Россия.

Поэтессу привлекает простая, неброская и добрая красота среднерусской природы, красота, которую можно обнаружить в наполненной росой цветке повилки, в запахе резеды — «невидной скромницы садовой», в горечи рябины.

У всех есть перечень недлинный  
Своих пристрастий на земле.  
Я назову мои приметы:  
Далекий оклик петушиный  
За огородами в селе,  
Последний уголек в золе...  
Потом — сирень в начале лета...

И еще:

...Сбежать по пристани в Касимов,  
По узкой улочке пройти.  
В ребячестве неугасимом  
Набрать каких-то некрасивых  
Репьев колючих по пути.

В. Звягинцева умеет передать в стихе полутона и оттенки самых, казалось бы, неприметных предметов и явлений природы, ими выразить состояние и настроение человеческой души, приобщить читателя к «прекрасной — не красивой — красоте» родной земли. Много путешествуя, умея восхищаться и радоваться «чужой» красоте, поэтесса постоянно мыслями и сердцем возвращается к родине:

Поглядеть в глаза России —  
Как живой воды глотнуть.

В плане более широком «глаза России» для В. Звягинцевой — это русская история и культура, живая и неразрывная цепь людей и событий, составляющая внутрен-

нюю суть представлений о стране. Радищев, Рылеев, Пушкин, Некрасов — вот герои, душевно близкие ей. Она ощущает их живыми и иногда как бы проткрывает дверь в их реальный быт («Зимой в Михайловском», отдельные строфы поэмы «Радищев»). В этом смысле характерно стихотворение «Памятки», где поэтесса прямо говорит о том, как дороги ей любые реалии великих жизней:

Желание увидеть близко, въяве  
Все виденное ими на земле,  
Все те тропинки, что вели их к славе,  
Оставленные угольки в золе.

Это не интерес к «стульям, на которых сидели писатели», да и сами эти люди воспринимаются ею не как писатели только, а как отечественная история, как выражение духовной жизни народа. Поэтому интерес В. Звягинцевой сосредоточен преимущественно на духовном подвиге каждого из героев, на морально-этической «связи времен». Ни в какой мере не пытаюсь поставить себя в звенья этой цепи, ибо истинная скромность — главенствующее качество Звягинцевой-поэта, она ощущает себя вместе со всеми современниками должником тех ушедших жизней. Трагическая судьба Радищева, чьей

Горькою книгой великого гнева  
Летопись русской борьбы началась,—

представляется поэтессе светлой, ибо слово его пережило века и стало провозвестником свободы.

В столетний юбилей восстания декабристов в стихотворении «Рылееву» Звягинцева кланяется всем тем, кто отдал жизнь за свободу:

За судоргу больной натертой шен,  
За желтый и кривой, в глаза мелькнувший свет  
Прости свободу русскую, Рылеев!  
Через снега и век — прощай, поэт!

При таком восприятии истории в ряд с людьми великого подвига становятся простая студентка-восемьдесятница, рано умершая, не успевшая совершить ничего заметного, но вложившая душу свою в «поиски правды, добра и свободы» («К портрету матери»), безымянный ссыльный, встретившийся поэтессе в раннем детстве, от которого она впервые услышала «Сбейте оковы, дайте мне волю...» («Первый зов»).

Поэтесса не любит и чуждается громких слов. Она пишет о том, что ей бесконечно дорого, что живет в ее сердце,—

Но мой удел писать обычно  
Лишь в ритме кровообращения...

Ритм собственного сердца заставляет расширяться рамки поэзии Звягинцевой и наполняет гражданским пафосом большую часть ее лирических стихов.

В. Звягинцевой одинаково близки разные исторические эпохи, и та история, свидетельницей и участницей которой ей довелось быть, продолжает ту, о которой она знала из книг и слышала в детстве. В ее стихах разбросаны отдельные штрихи к портрету времени.

Первые годы революции...

Что там гремит? История летит.  
Огонь и сырость, ночь, автомобили.  
От смены правд земная грудь болит...

(«От этого нельзя уйти, друзья...»)

Пар. Гололедица. А души начеку.  
Да, сирые, без пышного наряда.  
Раскрытая младенческая радость  
И благодарность слову и кусту.

(«1919 год»)

(Кстати, это не просто «слова»; в одном из своих очерков Марина Цветаева вспоминала, как именно в эту пору к ней забегала молодая актриса Звягинцева с мужем, чтобы поделиться с нею и ее детьми картошкой и напилить дров.)

Война...

Нет, не печальницей кроткой —  
Муза приходит в твой дом  
Краткой военной сводкой  
И вдохновенным трудом.

(«Наша муза»)

Или:

Лил дождь на постель — потолок про-  
текал,  
Но в холоде, в горе бездомном, в болез-  
ни  
Горели вы верою в полный накал.

(«Военные песни»)

Не удивительно, что история, а в особенности «новой», воспринимается и воссоздается поэтессой через людей, главным образом через тех, кого она называет «солдаты стихотворческого фронта». Эти портретные зарисовки, на мой взгляд, очень удаются В. Звягинцевой. Перечитайте стихи, посвященные сю П. Антокольскому, Н. Заболоцкому, Я. Смелякову,— и вы жи-

во почувствуете бурную кипучесть первого, философскую мудрость второго, суровую прямогу третьего. В стихах же о Мартиросе Сарьяне на вас обрушится «сказочный сон» Армении, претворенной в картины художника.

Среди людей искусства, определивших нашу эпоху, у В. Звягинцевой — Блок, Маяковский, Мейерхольд. Когда-то в театре Мейерхольда она играла в «Мистерии-Буфф» и близко видела Маяковского. Спустя много лет она пишет стихи о человеческом обаянии Маяковского, где поэт «мягким полупшепотом» разговаривает с актрисой,— и гранитный монумент, каким Маяковский представляется многим, превращается в живого и доступного человека, а стихи, где есть такие строки:

Шарф Мейерхольда, будто кумачовый,  
Октябрьским флагом развевался в зале...—

хорошо передают дух времени и атмосферу революционного театра, созданного Мейерхольдом.

В непрерывной цепи событий и личностей, разделенных десятилетиями, а то и веками, особое место в творчестве В. Звягинцевой занимает Блок, стихи которому она посвятила еще в первой своей книге и с образом которого не расстается всю жизнь. Он был для поэтессы и «апостолом веры несказанной», и пророком, и заступником эпохи, однако все эти определения бледнеют для нее перед огромным явлением Блока-поэта:

Кем был он — бедным рыцарем, проро-  
ком?  
Нет, он в другом был звании высоком:  
Он назывался Александром Блоком.  
Зачем я говорю: он был?

Он есть.

(«Александр Блок»)

Как ни странно это может показаться, какой-то ниточкой Блок связал В. Звягинцеву со второй ее главной любовью — Арменией. Не случайно в стихотворении «Аветик Исаакян» она цитирует блоковский перевод из этого поэта:

«Караван мой бренчит и плетется  
Меж чужих и безлюдных песков...»

Это голосом Исаакяна  
Пел и плакал армянский народ...  
Как болит мое сердце, как бьется  
От задумчиво-скорбных стихов:  
«Погоди, караван! Мне дается,  
Что из родины слышу я зов...»



Видеть адом жизнь иль раем  
Нет запрета никому.  
Путь недолог, мир бескраен,  
Вот и вижу свет — не тьму.

(«Вечерний свет»)

В подобных стихах у В. Звягинцевой не успокоение, которого она не хочет признавать («Спокойствие»), а душевный покой, приходящий, видимо, с ощущением честно и не зря прожитой жизни. В душе поэтессы молодость продолжает жить не как абстрактное понятие и не как слова, повторяемые всуе, а как живейшее участие в жизни, как отсутствие самодовольства и самоуспокоенности, как умение сопечалиться чужому горю и сорадоваться чужим радостям.

Сорадуясь, вы, вероятно, убедились,  
Что радость ближних лучше, чем своя:  
В ней меньше опасения печали,  
Она светла, как на траве роса...

(«Мы сопечалимся довольно часто...»)

В поздней лирике Веры Звягинцевой отчетливо звучит мотив мужества — мужества достойной старости, преодоления боли, мужества трезвого взгляда в глаза жизни («Итог», «Красоты мы навидались вдоволь...», «Очень хочется жить...»). В ее мужестве нет ни капли показного бодрчества, его движет лишь чувство человеческого достоинства.

Кто жалеет меня — не прав:  
Я держусь лишь за стебли трав,  
Но еще держусь до поры... —

(«Под уклон»)

и всегда присущая Звягинцевой жажда жить — любить людей, вбирать в себя природу, наслаждаться искусством. Может быть, даже больше, чем раньше, она чувствует себя «богомолкою завзятой» в храме природы и искусства, определенным образом пересматривая и подводя итоги и человеческим отношениям, и собственному творчеству.

«Я пишу, как дышу...» — этими стихами завершается книга «Исповедь». Эта же мысль в разных вариациях неоднократно повторяется в стихах В. Звягинцевой; потребность писать стихи — нечто более сильное, чем желание или нежелание, нечто, волею поэта не управляемое, как дыхание. В. Звягинцева сказала об этом по обыкновению ясно и просто, взяв эпиграфом слова Тициана Табидзе: «Не я пишу стихи, они как повесть пишут меня...»:

Ведь я пишу стихи не лично,  
А по чьему-то наущенью.  
Чье наущенье — я не знаю,  
И я на это не в обиде...

(«Мы ямб употребляем часто...»)

Это как исповедь или отчет о каждом «движении сердца» перед собой и теми читателями, которые захотят слушать, а слушать ее захотят многие — потому что муза Веры Звягинцевой серьезна, искренна и достойна, она говорит негромким голосом, не гоняясь за модой и не пытаясь кого бы то ни было — в том числе и самое себя — перекричать.

**В. ШВЕЙЦЕР.**

★

## ПЛАТА ЗА СТРАХ И ПОБЕДА НАД СТРАХОМ

Мария Рольникайте. Три встречи. Повесть. «Советский писатель». Л. 1970. 206 стр.

Залитый светом, праздничный зал филармонии, оживленные, принаряженные люди, последние приготовления оркестрантов... У Ирены тоже приподнятое, праздничное настроение — она любит музыку, концерт редкостный — приехал оркестр из ФРГ, билеты достать было почти невозможно, да и день сегодня особенный — тот, памятный день... Какой молодой дирижер! А в оркестре много пожилых...

И вдруг — знобкая, тревожная мысль: а что они делали тогда?.. Может быть,

кто-нибудь из этих мирных служителей музыки был тогда здесь?..

«...Первый кларнетист ужасно похож на лагерного унтершарфюрера. Тоже рыжий. Правда, унтершарфюрер никогда не ходил без своей высокой фуражки. Но под ее козырьком рыжели такие же брови. И, когда он кого-нибудь избивал, так же краснел и надувался, как этот сейчас. Но это не он. Этот слишком молод. Может быть, сын?.. Неужели опять настанут такие времена, когда сын унтершарфюрера наденет форму

отца? Уйдет из этого сверкающего праздничного зала в ночь и там, за колючей проволокой, тоже станет палачом?»...

Да, прошло уже двадцать три года с того дня, когда она вышла из Освенцима, но ничто не стерлось, ничто не забыто. Стоит только закрыть глаза — и все, что осталось там, за чертой сорок пятого, снова леденит душу ужасом, встает живым. до последних мелочей живым, реальным, осязаемым кошмаром, как будто было это только вчера...

Новая книга Марии Рольникайте рождена невытравимой памятью о том же страшном мире, который запечатлен на страницах ее первой книги «Я должна рассказать» — в детских и юношеских дневниках. Это тот же притихший, затаившийся Вильнюс времен гитлеровской оккупации, те же кривые узкие улочки гетто, по которым бредут измученные, бесплотные тени, клейменные желтыми звездами, и в каждом почти доме — тайник, убежище, куда прячут женщин, детей, стариков, ибо каждую ночь грозит очередная «акция» и тех, кто не расстрелян, не заколот, не растерзан на месте, сгоняют в стадо, предназначенное быть новой порцией пищи для чудовищных гитлеровских мясорубок... И героиня этой новой книги Ирена Вайнаките — такое же юное существо, почти подросток, какой была некогда Маша Рольникайте, сумевшая вынести из этого ада свои дневники, ее сверстница, ее сестра по духу и судьбе.

Но на этот раз перед нами повесть, и хотя достоверность воссоздаваемого в ней мира обусловлена той же документальностью памяти, угол зрения на этот мир и задачи повествования иные. Мария Рольникайте не стремится теперь восстановить картину жизни гетто во всей ее полноте и подробности — она уже сделала это в прежней книге. Возвращаясь к тем же годам, она хочет внимательнее всмотреться в человеческие характеры, в то глубинное, стержневое, что оказалось решающим в испытаниях судьбы и определяло неслучайность поведения человека в ее самых неожиданных поворотах.

Перед нами две жизни, две судьбы, взятые Марией Рольникайте в параллельном и контрастном развертывании. История Ирены, чудом спасшейся из немецкого армейского борделя (куда ее, схваченную во время облавы, отправили устроители «нового порядка») и укрытой узниками гетто, — это

история о том, как надорванное ужасом полудетское сердце постепенно закаляется, становится упорным и стойким, и маленькая Ирена сама начинает спасать людей, становится участницей Сопровитвления.

И рядом — Альгис, школьный друг Ирены, ее первое увлечение. Такое же полудетское сердце, но сердце, которое не закаляется, а гибнет. Это история о том, как обычный литовский парнишка, попав под влияние живущего в доме постояльца — гестаповца Гросса, оказывается у него в руках и, начав с невинных разговоров с ним о музыке и географии, кончает тем, что становится его переводчиком и соучастником его преступлений.

Сопоставление этих двух судеб важно для Марии Рольникайте не просто потому, что история падения Альгиса оттеняет нравственное достоинство выбора и пути Ирены. Полярность нравственных оценок, которых заслуживают герои, и без того настолько очевидна, что вряд ли нуждается в специальном подчеркивании. Художническое внимание писательницы сосредоточено на другом, и не случайно она берет двух подростков, по своим исходным, если можно так выразиться, духовным данным не так уж сильно отличающихся друг от друга. Дети одного поколения, одной среды, одинаково незащитные перед судьбой, со своим еще полудетским внутренним миром и полным отсутствием какого-либо серьезного жизненного опыта и сколько-нибудь отчетливого политического сознания, они действительно в чем-то очень похожи. Обычные литовские подростки того времени, они ограничены в своем кругозоре тесными рамками привычного, добропорядочно-буржуазного уклада жизни, домом и гимназией; мальчишеские проделки в школе, поездки к морю, веселые состязания в кондитерской (кто больше съест пирожных?), ухаживания за девочками — мир Альгиса. Привязанность к чистоте и уюту домашней жизни, трогательные стишки в девичьем альбоме, благонаравие юной богобоязненной католички — мир Ирены. То недолгое предвоенное время, пока Литва была советской, не успело отложиться в них чем-либо прочным и надежным, и в водоворот событий они оказались брошенными, не имея никакого хоть сколько-нибудь надежного компаса. Их поведение всецело определено лишь тем, что непосредственно происходит с ними и около них, — уровнем тех

первичных нравственных реакций, которым одним предоставлено управлять их поступками. Поэтому и начинают-то они, в сущности, одинаково — со страха, с дикого, отупляющего страха, такого понятного в этих детях, привычный мир которых разлетелся вдребезги, и вокруг творится такое, чего не может вместить сознание, и каждый день, каждую ночь могут тебя схватить, бросить за колючую проволоку, угнать в Германию или просто поставить к стенке... «Господи,— молит Ирена,— когда все это кончится?.. хоть бы жить без страха. Просто жить... Помогите мне, господа. Я тебе свято обещаю больше из дому ногой не ступить... Только ты защити меня. Спаси...»

Так где же, на каком рубеже души начинается расхождение? От какой точки путь одного ведет к столыку переводчика в гестаповском застенке, а путь другой выводит к мужеству и борьбе? На этот вопрос и ищет ответ в своей повести Мария Рольникайте — ищет тем напряженнее, что в ответе этом, как нетрудно понять, объяснение судеб не одних только Альгиса и Ирены. И, следуя за писательницей в ее художественном анализе, признавая его психологическую достоверность, мы вместе с ней еще и еще раз убеждаемся в действительном существовании и первостепенной важности того нравственного рубежа, который дает начало человеку и его достоинству.

Вот перед нами Ирена в свой первый день в гетто, где ее укрыли,— о чем ее мысли? «...Значит, немцы могут сейчас ворваться? И угнать ее вместе со всеми в Понары?! Как она докажет, что не еврейка?.. Боже, зачем она сюда пришла?..»

Ирена выходит на минуту во двор, оставив в комнате ребенка, за которым ее просили присмотреть,— и вдруг во дворе паника; началась облава, люди разбегаются по тайникам, и вместе с ними, забыв в ужасе о ребенке, протискивается в убежище Ирена. А когда вспоминает — уже поздно, и ничего нельзя поправить. Ничего! Она не знает, как ей жить с этим, как смотреть людям в глаза, и вот тогда-то дядя Яков, укрывший ее в гетто, все понимающий, много повидавший на своем веку дядя Яков говорит ей: «Никто, девочка, тебя не винит. Настоящие виновники слишком хорошо известны. А ты... Просто очень испугалась и в страхе думала только о себе»...

«В страхе думала только о себе... Только о себе» — слова эти долго будут вспо-

минаться Ирене, и она будет заставлять себя помогать людям, быть им полезной, но страх не уйдет и еще не раз окажется сильнее ее, потому что одними словами, даже самыми хорошими и правильными, победить его трудно. Настоящая победа над ним придет позже — в тот день, когда Ирена, уже устроившаяся на работу в городе, прибежит снова сюда, чтобы предупредить людей, которым она стольким обязана и с которыми столько пережила вместе, что ночью — она случайно узнала об этом — будет «акция». И Ева, подняв на нее заплаканные глаза, тихо попросит: «Спаси нас...»

Спаси?! Но как, где? Страх по-прежнему сковывает Ирину, торопит ее — ей хочется поскорее вернуться в город и лечь спать. «Там спокойно. А здесь...» И она уже пойдет в город, утешая себя тем, что, может быть, дядя Яков найдет убежище, и вдруг — ясное, трезвое: она никогда, никогда не увидит их больше — ни дядю Якова, ни Еву, ни Майю, ни Лизочку... Никогда! А ведь у хозяйки есть подвал, можно рискнуть, и только страх, все тот же ползучий страх за себя мешает ей спасти их... Ирена опрометью бросается обратно, и с этой минуты, когда ответственность за жизнь других, невозможность обречь их на смерть становится сильнее страха за себя, в ней рождается новый человек, рождается мужество.

Альгис не сумеет победить этот страх. Ни тогда, когда Гросс поведет его с собой допрашивать плснных. Ни тогда, когда он заставит его вместе с солдатами топтать связанных людей. Ни тогда, когда пошлет расстреливать ни в чем не повинную женщину. Гросс, решивший в порядке развлечения и психологического эксперимента сделать литовского парнишку своим верным подручным, хорошо сумел сыграть на тех эгоцентрических струнках, которые он подметил в нем, сделать так, чтобы страх за себя стал у Альгиса сильнее всего. И вот не такое уже как будто бы закоренелое себялюбие, такой незаметный как будто бы поначалу недостаток простой доброты, отзывчивости к другим, такая объяснимая как будто бы слабость робкого сердца становятся трагедией Альгиса — в нем умирает человек, он превращается в жалкого предателя и убийцу, исполнительного помощника палачей, заглушающего остатки совести развратом.

Так развернута тема и такова эта история, поведенная нам Марией Рольникайте.

Но почему — «Три встречи»? Потому, что все началось с первого свидания Альгиса и Ирены, с их встречи в кафе, откуда, во время проверки документов, забрали Ирену. Потому, что была вторая встреча — уже в гестапо, где Ирену допрашивал Гросс, а Альгис был переводчиком и, стремясь поскорее избавиться от Ирены, пригрозившей оговорить его перед Гроссом, если он выдаст ее настоящую фамилию, устроил так, что она оказалась в Освенциме. И потому, наконец, что была — в эпилоге повести — третья, последняя встреча — на том самом концерте, где Ирена слушала музыкантов из ФРГ. Седой Альгис, отсидевший положенное по закону, пытается заговорить с Иреной. Он так ничего и не понял — он ищет снисхождения, ведь он помогал гитлеровцам не по своей воле...

Как видим, сопоставление судеб прочерчено не только внутренним, психологическим параллелизмом, но и сюжетными пересечениями. И здесь мы должны сказать, что, пожалуй, «слишком прочерчено». Нет слов, жизнь полна неожиданностей, и бывают в ней совпадения и встречи и еще более удивительные. Но в пределах повести, лучшие страницы которой привлекают безыскусственной простотой почти документального рассказа, такая конструкция выглядит несколько нарочитой, специальной,

жесткой в своем прямолинейном нажиме, отдает дидактикой. Вообще некоторый избыток литературности, объясняемой, видимо, недостаточной еще опытностью и умением, чувствуется и во всей ткани повести. Так, скажем, развертывая повествование о судьбах Альгиса и Ирены в параллельных главах, написанных если не прямо от их имени, то как бы через их восприятие, и стремясь, видимо, передать особенности этого восприятия, Мария Рольникайте явно переигрывает в подчеркивании их инфантильности. При той форме повествования, когда главы строятся как бы в виде непрерывного внутреннего монолога героев, это оборачивается не только однообразием интонации — важнее, что интонация эта не всегда естественна и убедительна, кажется нередко слишком условной, стилизованной. Наконец, слишком условен и как-то очень уж привычно знаком в своей роли рокового искусителя гестаповец Гросс — ему тоже не хватает психологической достоверности. Чувствуется, что переход от документального повествования к художественному изображению дается Марии Рольникайте пока не всегда легко, и перо ее не обрело еще уверенности и твердости.

Но главное: образ времени, которое она сама видела и пережила, живую, реальную правду о том, как и почему ее герои стали тем, кем они стали, Мария Рольникайте сумела до нас донести.

**В. ГУРЬЕВ.**

★

## ОПЫТ ОДНОЙ СУДЬБЫ

**Томиэ Охара. Ее звали о-Эн. Повесть. Перевод с японского И. Львовой. «Иностранная литература», № 2, 1970.**

На этот раз о жизни судит сорокатрехлетняя женщина о-Эн Нонака, жившая в Японии двести лет тому назад. О-Эн существовала в действительности, и все, что с ней произошло, является исторической правдой в такой же степени, как и факт существования написавшей о ней современной японской писательницы Томиэ Охара, родившейся два века спустя на той же самой земле, что и ее героиня. Свидетельство о жизни, которое дала одна умная, широко образованная женщина, пропущено сквозь опыт другой, писательский талант которой признан. Свидетельство, таким об-

разом, проверено двумя жизнями, на него потрачено две судьбы, и его можно считать надежным и авторитетным не только для японского читателя, но и для читателя русского, даже если он слабо знаком с историей Японии.

Тем не менее кажется, что это свидетельство можно опротестовать, поскольку отпущенный ей достаточно большой срок жизни (больше шестидесяти лет) о-Эн была от жизни отключена: первые сорок три года не по своей воле (в заключении), последующие — как будто бы по своей. Здравый смысл рождает естественное сомне-



ние: как можно слушать свидетельство человека, который от жизни был изолирован, познавал ее умозрительно, простейшего житейского опыта не нажил — ни опыта любви и семьи, ни опыта труда, ни опыта общественной жизни? Но трезвость этого вопроса — близорукая трезвость.

Сила жизни заключена уже в том отчаянии, с каким Эн, проведшая в тюрьме сорок лет, понимает, что она и ее родные (мать, братья и сестры) не живут, а именно существуют. Не испив ни дня, ни капли жизни, ни духом, ни телом не коснувшаяся другой действительности, кроме тюремной, зная эту другую действительность даже не памятью, когорой у нее быть не могло, поскольку она попала в тюрьму четырехлетним ребенком, а лишь понаслышке, Эн хочет быть свободной и жить. Вкус к свободе заложен в природе и является ее инстинктом. Жажда жизни иссушает ее. Но жизнь изгнана из ее существования. Враги князя Нонака, отца Эн, не могли простить ему тех благотворных преобразований, которые удалось тому свершить в пределах своего клана. Боясь распространения влияния Нонака за пределы клана Тоса, они низвергли его. Что же касается семьи Нонака, его наследников, то для них была придумана изуверская казнь: физически не уничтожив эту семью, ее оставили жить, обрубив все связи с обществом и лишив возможности продолжать свой род. Их силам нет выхода, они должны захлебнуться в собственной энергии. По существу они заживо погребены, Эн — в том числе. Но в той остроте, с какой Эн понимает, что она не живет, во внутренней энергии ее натуры, в требовании полноты бытия та самая жизнь, которая изгнана из ее внешнего существования, находит себе прибежище. Сама Эн оказывается средоточием этой изгоняемой и умертвляемой жизни. Поэтому она свидетель не только равноправный тем, кто прожил на свободе, хлебнув вволю радости и горя, но свидетель особенно ценный, ибо Эн Нонака рассказывает о том, что происходит с человеком, когда у него отнято все, даже возможность жить своими несчастьями, ведь несчастья — это тоже содержание, а так — ничего.

«...ведь мне в сущности так и не пришлось жить... Никому из нас — ни моим братьям, ни сестрам — так и не довелось жить. Здесь, в темнице, мы просто существовали... Друг за другом умирали

мои братья и сестры в течение этих сорока лет. А младшие — и я в том числе — так и не узнали, что значит жить».

Тем не менее смерть неукоснительно навещала нас — людей, которым запрещено было жить.

Смерть приходила, соблюдая строгий порядок, — в первую очередь к тем, кто успел узнать жизнь.

Самой старшей была сестра. Она попала в заточение восемнадцати лет. Двумя годами раньше она вышла замуж за самурая нашего клана... любила его и уже имела ребенка, но ее разлучили и с ребенком, и с мужем — как дочь своего отца она считалась виновной.

О ней, самой старшей, можно, пожалуй, скорее, чем о других, сказать, что она успела узнать жизнь. И смерть похитила ее первую.

Но все же сестра провела с нами целых три года. Она успела изведать жизнь, наверно, это помогло ей продержаться так долго, но именно по той же причине вытерпеть больше она не смогла».

Слово жизнь Эн произносит как заклятье. Горькое преимущество той судьбы, которая выпала на ее долю, заключается в том, что она, выйдя из тюрьмы, вступает в жизнь, волей-неволей уже испытав разнообразные способы отказа от жизни. Воспоминания Эн о сорока годах, проведенных в тюрьме, — это рассказ о попытках осуществить жизнь в пределах неволи, которая является изначальным условием существования. Эн и ее близких не морили голодом, не подвергали пыткам — никакого сверхобычного физического давления на них не оказывалось, наоборот, физические условия были, казалось бы, вполне сносными. Они могли наслаждаться обществом друг друга, а это была большая цветущая семья. Они могли сколько угодно заниматься науками — традиции отца, мечтателя, философа и государственного преобразователя, были живо восприняты детьми. Им, людям высокой культуры и благородной души, можно было бы обрести себя в высших духовных сферах, и жизнь, столь жестоко изгнанная из их существования, в этих сферах могла найти себе форму и пристанище.

Тем не менее в семье Нонака поселились обман и распад. Их корни и пути Эн прослеживает с беспощадной зоркостью.

Проницательно и откровенно рассказывает Эн о том, как даже людей высшей пробы неволя истребляет не только физически, но и духовно, как под давлением неволи происходит искажение души — подавляемые силы даже в доброй и высокой душе переплавляются в озлобленность, а скрываемая злоба в свою очередь рождает обман. Все переосмысливается, знаки меняются на обратные, любимые братья, в обществе которых она росла и совершенствовалась, оказываются плохи тем, что они не чужие. Ей нужна любовь, а братья — родные по крови. Ей нужно духовное знание чужих, незнакомых, а она видит только тех, кто родствен ей по рождению и воспитанию.

Еще девочкой она остро ощущала цветущую красоту старшей сестры, когда же она подросла и так же остро ощутила собственную красоту, тогда ужас неволи и ужас бесплодного угасания стал развешивать и парализовать те высокие нравственные кордоны, которые были самоотверженно сооружены усилиями старшего брата Сэйсити, их духовного наставника. Перед этим ужасом гасла убедительность философских учений и нравственных систем. Внутренние силы — физические и духовные, — созрев и обнаружив, что они не свободны, должны были либо разрядиться в безумии, либо угаснуть, если напор их был не очень настойчив, либо же они порождали обманчивое внешнее спокойствие — за счет огромного внутреннего страдания, что стало делом Эн и Сэйсити.

Оба они были достаточно сильны, чтобы обуздать себя и не впасть в безумие, подобно второму брату — Кинроку. Оба — достаточно полнокровны, чтобы не погаснуть в смиренни, подобно другим сестрам Эн, ушедшим в автоматизм ежедневного распорядка. Оба достаточно мужественны, чтобы понимать, что установившийся внешний порядок потерял фундамент. Своим пониманием они не делились даже друг с другом. Когда благородный, правдивый, любящий истину не меньше жизни Сэйсити понял, что становится источником обмана и как брат, и как духовный наставник, он начал угасать и умер. Своей смертью он не разрешил этого противоречия, а лишь ушел от него обессиленным, когда ему не было еще и тридцати лет.

Сквозь пустое и ложное существование жизнь, как прибудный котенок, тычется к

одному, к другому, ища выхода, разрешения, но один отвечает смертью, другой — безумием, третий — бесплодным угасанием. А как ответит Эн?

...И вот под непристойные вопли безумного господина Кинроку, лишившегося разума и посаженного в клетку, она слушает «Учение о центре истины», преподаваемое третьим и любимейшим братом господином Кисиро. Учение предлагало чтить одиночество и не предаваться страстям, но оно же говорило: «Путь совершенного человека простирается далеко, но начинается с простейших вещей. Он начинается с отношений между супругами и простирается вплоть до постижения вечных законов Земли и Неба». Однако вечные законы без простейших отношений тоже оказывались бесплотными. Эн втолковывала учение о добродетели, но ведь это учение, возражает она, должно помогать людям избавиться от своих слабостей и пороков. Однако слабостей-то этих и пороков Эн не знала. Твердость духа — вещь прекрасная, но она не искупает и не заменяет ценности жизни. Размышляя о своем отце, который знал и славу и изгнание, Эн додумывается до мысли, кощунственной для этой семьи: не отмечены ли последние дни жизни отца явной слабостью именно духа?

Слабость духа она видит как раз в том, в чем отец видел его силу, — в том, что ему удалось подавить свои чувства и стремления под тем предлогом, что здесь, в темнице, «тело наше сковано. Но дух свободен». Не пустая ли, не нищая ли эта свобода?

Бесстрашный ум Эн, питаемый ее женственностью, не останавливается перед авторитетом ни братьев, ни отца, ни высоких философских учений. Эн смелее своих братьев, смелее даже отца. Она не хочет обманчивого равновесия духа ценой отказа от жизни — она слишком женственна, чтобы принять этот соблазн. Поэтому, хотя брату Кисиро она близка настолько, что, кажется, души их слиты воедино, каким-то уголком сознания ей ближе безумный Кинроку. Может быть, в безумии Кинроку было больше несдавшейся жизни, чем в благородной стойкости Сэйсити и Кисиро? Может быть, их стойкость — самообман и своего рода капитуляция?

Счастливым, деятельным период в жизни отца, когда он был вероучителем и преобразователем в своем клане, тоже подвергается пылливому сомнению Эн. Да,

отец осуществлял великие идеалы, но если бы на его месте был человек, действовавший только из честолюбия, то он, вероятно, выбирал бы те же средства — точно так же тяжкий труд уносил бы тысячи крестьянских жизней и страдания заставляли бы людей бежать за пределы родного края. Тогда «велико ли различие между идеалами, воплощаемыми в жизнь с помощью насилия, и жадной личной славы?.. Чем же отличаются такие идеалы от низменных честолюбивых стремлений». Но тут же она обрывает себя и берет другую точку отсчета: «И все же, если деяния отца переживут века и будут по-прежнему служить людям, то по сравнению с этим все остальное ничтожно и мелко. И зависть, и месть его врагов, и наши страдания — все не более, чем мимолетная рябь на воде...»

Она бьется в этих противоречиях и не в силах, конечно, найти единственного ответа. Она пытается понять трагедию не только погубленных крестьян, но и самого Нонака-отца.

Да, отец велик, а враги его мелки. Но вполне возможно, что среди его врагов окажутся люди, не уступающие ему в масштабе. В этом ли дело? Может быть, борьба за власть сама по себе неизбежно вызывает в человеке качества и силы разрушительные, извращающие человеческую природу? Природа власти и порока благородного князя Нонака — нет ли здесь изначального непримиримого противоречия?

Выходя на волю после смерти последнего брата, бросаясь в житейский водоворот, Эн хочет попытаться построить жизнь вне власти и политики, которые, по ее тогдашним представлениям, рождают всегда зло, независимо от своего первоначального импульса. Так же, как ее отец хотел построить в пределах клана Тоса идеальное государство, которое зиждется на философских основаниях, так она хочет создать из своей жизни на воле крохотное самостоятельное — вне власти и политики — государство, пусть даже она одна будет представлять его население. Поэтому перед выходом на свободу она хочет освободиться от всех реликвий и традиций рода Нонака, связанных с его причастностью к славе и власти. Она сжигает манускрипты, прославляющие боевые подвиги прадеда, сжигает хвалебные грамоты, полученные в течение жизни трех поколений. «Эти награды, столь драгоценные для мужчин, не представляли для

меня ни малейшего интереса. Даже само понятие «род Нонака» утратило для меня какое-либо значение. Мне не хотелось, чтобы эти понятия тяготели надо мной в будущем. (Братья, милые братья... следите же за мной из гроба, смотрите, как устрою я свою жизнь...)».

Ум Эн деятелен и ясен до четкости почти прямолинейной, потому что, при всей обширности своего образования и бедности житейского опыта, она пытается самостоятельно определить меру вещей, а это требует известного догматизма. Но в ее догматизме нет схоластики. В нем всегда чувствуется тяжеловесная сосредоточенность жизни. Одновременно ее ум необычайно подвижен, прихотлив, его зигзаги неожиданны, изысканы и естественны. Что же касается чувств, то она готова впустить к себе любое страдание; не к счастью и покою она стремится, а именно к полноте, к сущности существования. Она рвется жить.

Из пяти глав повести одна, предпоследняя, посвящена жизни Эн на воле и названа прямо — «Что значит жить».

...Много позже, когда Эн отметит первое десятилетие своего пребывания на воле, она напишет:

«Прошло уже десять лет с тех пор, как я вышла из заточения — так вот, оказывается, каков этот внешний, свободный мир, о котором я так мечтала...»

В темнице я страстно желала увидеть своими глазами облик власти, политики. Сейчас я очутилась в самом сердце этой политики — беснующейся, ревущей бури.

Я отказываюсь видеть в этих распрях величественную трагедию. Все эти потрясения порождены тупостью и бессмыслицей и потому по сути своей безобразны, так я считаю. Тем не менее люди без устали снова и снова повторяют эту нелепость, эту бессмыслицу. Повторяют во имя жажды власти...»

Эн не рвется ни к власти, ни к богатству. Выйдя на волю почти нищей, она совсем мало пишет о том, как ей пришлось выкарабкиваться из нищеты и устраивать жизнь. В своих житейских требованиях она невзыскательна и без особых страданий тюремный аскетизм меняет на нищету, которой встретила ее воля.

Но ученика своего отца, сэнсэя Тандзабу-ро Тани, она любит. Это любовь не надую

манная, не воображаемая, хотя она зародилась тогда, когда Эн в тюрьме получила от сэнсэя первое письмо, и впервые они увидели друг друга, только когда Эн вышла на волю. «В одну секунду я поняла, что этот короткий миг стоит всех долгих двадцати лет, миновавших с тех пор, как я впервые узнала о существовании сэнсэя. Один миг встречи значил больше, чем все двадцать лет заточения, в течение которых я так непоколебимо верила, будто сэнсэй принадлежит мне одной. Я впервые постигла в эти минуты, что отношения между мужчиной и женщиной невозможны без общения, без встречи».

Их последующие встречи будут редки и кратки. И так же отчужденны, как и первая встреча. Тем не менее отношения с сэнсэем, которые поддерживались письмами, составляли единственное реальное содержание жизни Эн. Радостно и удивленно, как ребенок, следила она за сложным переплетением событий, которые ежедневно преподносила ей бегущая, текущая, бурлящая вокруг нее жизнь. Но упомянув об этой пестроте, Эн совсем не задерживается на ней, не удостаивает ее никакими подробностями. Центр ее повествования так же, как и центр ее существования, связан с любовью, с сэнсэем. Простирающийся вокруг бескрайний бурлящий мир для нее сосредоточивается в одной вертикали, в одной глубине — в сэнсэе. Только через любовь к сэнсэю добирается до нее жизнь.

И хотя эти отношения не осуществились, хотя «ожидание — вот единственная доступная мне радость» — может быть, именно потому те крохи реальных отношений, которыми дарует ее жизнь, так значительны для нее, так о многом ей говорят. Встречи с женой сэнсэя, которой у него, ровесника Эн, не могло не быть к тому времени, известие о том, что у сэнсэя должен родиться еще один ребенок, весть об отъезде сэнсэя или о его возвращении — все повергает Эн в смятение своей реальностью. Его существование оказывается упорно независимым от нее, а она в его поступках неустанно пытается обнаружить признаки скрываемой любви к себе.

Эти признаки редки и сомнительны, но она живет ими. Глава «Что значит жить» — это по существу несколько эпизодов едва ли не мимолетных встреч с сэнсэем, между которыми лежали иногда даже годы, а уж долгие месяцы — всегда.

Пересказать (по событиям, по произнесенным словам) содержание этих встреч почти невозможно — настолько оно с практической, житейской точки зрения незначительно. Но каждая встреча оказывается для Эн таким потрясением, так просыпается, распускается ее душа, утонченная и сильная, что начинаешь думать, нет ли в этом напоре чувств такого же богатства жизни, которое мы бесспорно бы признали, если б ее любовь к сэнсэем осуществилась. Говорят, клочок неба в тюремной окошке способен одарить узника остротой радости, какой не испытывает человек, безнаказанно и беспечно созерцающий небеса ежедневно. Есть, однако, болезненность в той сгущенности и остроте восприятия, которая свойственна узнику. Так и любовь Эн.

Сама любовь не гаснет, не уменьшается, наоборот, с годами все иступленней привержена Эн этой любви, но, как говорит она в конце, «что-то непрерывно утекало из моей души». Душа ее гаснет, вянет.

Когда-то она смело призналась, что для нее недостаточно тех глубин философского познания жизни, которыми жили и спасались в тюрьме ее братья. Она сказала тогда, что если нет жизни, то зачем эти глубины? Сейчас, не декларируя, не ища точных определений, она рассказывает, как, страдая и сопротивляясь угасанию, все-таки гаснет человеческая душа, обреченная на одиночество, на усечение, на отсутствие жизни в пределах как будто бы самой жизни. «Меня больше нельзя сломить — я и так уже сломлена навсегда; зато и ничье участие не может меня согреть. Я уже не столько человек, сколько неодушевленный предмет».

Человеческое общество, к которому она так бесстрашно тянулась, истребляет ее существование так же беспощадно, как и тюрьма, отказывая ей даже в малых требованиях. Какими бы астральными учениями ни занимался сэнсэй, но посещение одинокого дома красавицы Эн его компрометирует, так же как компрометируют его частые ее письма. Пропавшее письмо Эн вызывает его гнев, и когда позже, уже после смерти сэнсэя, Эн читает доносы на него, она понимает, что сэнсэй жил в таких тисках, что даже крохи общения с ней были для него непосильной перегрузкой. Воля так же жестоко изгоняет из ее существования жизнь, как делала это темница.

Тем не менее она осуществляет свою свободу.

Сила ее свободы сказалась в определенности ее выбора. Она любит сэнсэя, несмотря на то, что всякое новое сведение о нем доказывает безнадежность ее чувства. Она выходит на волю, сохранив красоту и редкостную молоджавость. Для нее возможна обыкновенная людская жизнь, к которой она так мечтала приобщиться. Но то чувство свободы, которое гнало ее из темницы в эту большую жизнь теперь не дает ей принять какой-либо другой путь, кроме того, который выбрала ее свободная душа. А этот единственный путь — сэнсэй. Все остальное воспринимается ею как ненавистный диктат обстоятельств.

Даже Дансити. Молодой вассал их семьи, прекрасный и благородный, любит Эн молчаливо и самоотреченно. Он даже нравится Эн. Когда она из тюрьмы переписывалась с сэнсэем, он представлялся ей таким, как Дансити, а вовсе не тем усталым, едва ли не тщедушным человеком, каким она нашла его, когда увидела впервые. Брак Эн с Дансити не только возможен, но даже желателен для нынешнего правителя княжества Тоса. Молодой князь, по слухам человек великодушный, хочет, чтобы сохранился даровитый род Нонака. Но если Эн вынуждена принять княжескую подачку риза, потому что на ее руках престарелые мать и кормилица, то эту подачку — замужество — она отвергает. В ее жизни наступает тот чистый случай, когда она действительно свободна решать. Сейчас должно заявить о себе все то духовное богатство, которое заложено было в нее братьями и ее противостоянием им, любовью к сэнсэю и поражением в ней, желанием жить и опустошенностью существования. Обстоятельства диктуют ей выйти замуж за Дансити — диктует общество в лице великодушного князя Тоса, диктует природа, потому что Дансити ей нравится и он даст ей любовь и семью, о которых она столько мечтала. В эту страшную и трагическую для себя минуту, минуту выбора свободного решения, свободного от общества и от природы, Эн прямо заявляет о своей независимости.

«Я поняла, что мое тело способно предать меня, и содрогнулась при этой мысли.

Нет, мой путь в жизни будет иным, если только достанет сил.

Возможно, я еще могла бы стать женой

и матерью, то есть выбрать то, о чем все женщины, сколько их есть на свете, с юных лет мечтают с необъяснимым трепетом и восторгом. Но раз я помилована, значит, теперь я вправе сама решать, как жить дальше.

Когда-то в прошлом меня покарали за то, что в моих жилах течет отцовская кровь. Теперь во имя той же отцовской крови мне приказывают — выходи замуж! Приказывают мужчины, те самые мужчины, которые всегда, во все времена, стоят у кормила власти,— так неужели я могу обрести свое женское счастье по их велению?

...В эти минуты во мне созрело твердое, отчетливое решение: я собственными руками задую в себе женщину, чтобы, задохнувшись, она умолкла навеки».

В страстности этого решения — рыбок свободы. Эн расправляется с собой поистине с изуверской жестокостью. Но в том, чтобы отдать себя во власть только природы и только политики, то есть в подчинении, не было для нее счастья. Не было бы и жизни. Это было бы угасание, еще более противостественное для Эн, чем то, на которое она себя обрекла.

Итак, благородный род Нонака угас. Последняя представительница этого рода предпочла разделить участь своей семьи, чем принять жизнь и возможность продолжения рода ценой отказа от внутренней свободы, которая являлась духовной традицией этой семьи. Не в виде догм и обетов тяготела эта традиция над Эн Нонака. Она оказалась ее существом, отказаться от которого было немисливо. Доступнее и реальнее было отказаться от жизни, что Эн и сделала. Жажда свободы оказалась сильнее жажды жизни и вошла с ней в противоречие. В судьбе Эн это противоречие дошло до крайности взаимного исключения. И тут обнаружилось, как истребительна для человека жизнь, лишенная возможности и смелости свободного решения, и как, с другой стороны, свобода, пробующая осуществовать себя вне полноты обычной земной жизни, одинокая свобода, тоже способна задохнуться.

Из огромной семьи Нонака, из множества погибших и оставшихся в живых членов этой семьи, брошенных в одинаковые условия тюремной неволи, писательница выбирает в главные герои только Эн, и сам выбор свидетельствует о направлении ее

интересов. Может быть, художника, жившего в то же время, что и семья Нонака, или позже ее на пятьдесят—сто лет, привлекла бы какая-нибудь другая фигура в этой ситуации, но современную писательницу заинтересовала судьба именно Эн. Видимо, в этой судьбе Томиэ Охара распознала те кризисы, которые мучают современного человека. Бывают биографии, необычные для своего времени, но во времена значительно более поздние они становятся рядовыми. Дело, разумеется, не в буквальном совпадении фактов. Неволя, допустим, не обязательно предполагает именно тюрьму. Но обретение и отстаивание внутренней и внешней свободы, осознание ее возможностей и пределов, культ свободы и ее культура, ее нравственный статус, достигнутый и расширяемый,— для современного

человека все это не только предмет размышлений, но и содержание жизни, которое ежедневно требует своей расшифровки и разрешения. Жившая двести лет тому назад Эн Нонака была наделена таким характером и судьбой, что перед ней эти вопросы вставали с остротой голода и жажды. Жить дальше она могла не прежде, чем их разрешит, хотя чувствовала и думала она о том, о чем и все.— о любви, о благоденствии, о власти. Как гибла она и как оживала, и снова гибла и снова распрямлялась и опять теряла дыхание — в этих подъемах и спадах билось человеческое свободолюбие, которое не завершилось и не разрешилось в пределах этой судьбы, но жизнь Эн оказалась одним из его сильных всплесков.

**И. БОРИСОВА.**

★

### Политика и наука

#### НАУКА СЕГОДНЯ

Сборник статей под редакцией С. Р. Микулинского. Составитель Б. А. Фролов. «Молодая гвардия». М. 1969. 271 стр.

Эту книгу с неослабным вниманием прочтут все, кто интересуется актуальными проблемами современной науки. На ее страницах известные советские ученые размышляют о путях развития науки, о ее новой роли, новом качестве, убедительно показывают взаимосвязь прошлого с настоящим. Материалы книги, разнообразные по темам и по жанрам, обобщены емким понятием — наука сегодня. Авторы не проходят мимо спорных, дискуссионных вопросов, жгучих проблем организации науки и научного творчества.

Книга открывается статьей вице-президента АН СССР академика А. М. Румянцева. Говоря о необходимости всестороннего развития личности, автор пишет, что мы вовсе не стремимся решать абстрактные теоретические проблемы. «Мы вовсе не ставим задачу заглядывать слишком далеко вперед или спорить о том, сможет ли каждый человек будущего гармонически сочетать в себе черты Пушкина, Менделеева, Ньютона и Шекспира».

Одна из характерных особенностей современной науки — это ее интеграция, установление более тесных связей ранее обособ-

ленных дисциплин, развитие общих методов для самых, казалось бы, различных наук. «Действительно,— пишет автор,— в XVIII и даже XIX веках одному объекту реального мира соответствовала, как правило, одна отрасль науки. В наш же век, и особенно в последние полвека, типичным явлением становится изучение одного и того же объекта целым комплексом наук». В настоящее время, подчеркивает А. М. Румянцев, становится все меньше оснований противопоставлять общественные науки естественным.

В статье «Наука в современном обществе» академик Б. М. Кедров и член-корреспондент С. Р. Микулинский рассматривают важнейшие, магистральные направления современной науки. Они пишут: «Исторический принцип рассмотрения всех явлений и процессов, который некогда был сформулирован и развит философией и все больше проникает в современное естествознание, стал обязательным методом и сильнейшим оружием анализа общественных явлений».

Науковедение представляет собой наиболее яркий пример взаимопроникновения

общественных и естественных наук. Этой проблеме, а также проблеме взаимодействия науки и техники посвящаются отдельные главы этой статьи.

Убедительным примером процесса взаимодействия наук является химия. Так, успехи современной химической науки имеют исключительное значение для развития квантовой электроники и радиозлектроники, медицины и сельского хозяйства; во взаимодействии с биологией и другими науками химия подошла к овладению процессом биосинтеза. В свою очередь электроники и радиоэлектроника легли в основу создания электронно-вычислительных машин и других устройств, без чего были бы невозможны успехи современной кибернетики.

Существенная особенность революции в естествознании и технике наших дней, говорится в статье, состоит в том, что коренные образования и в науке и в технике сливаются и образуют собой лишь различные стороны единого процесса современной научно-технической революции.

Как бы развивая мысли предыдущих авторов, физик-теоретик член-корреспондент АН СССР Е. Л. Файнберг в статье «Обыкновенное и необычное» обращается к истории величайших научных открытий. Эти революционизирующие открытия решительно меняли мир, видимый человеком, они открывали небывалые возможности преобразования этого мира, вызывали восхищение пораженных этими открытиями современников.

Примечательно, отмечает автор, что эти научные открытия видели и понимали отнюдь не все. Например, о замечательных опытах Петрова не писали ни Державин, ни Карамзин. Если они слышали о Петрове, то это был для них лишь ученый-чужак, заслуживающий дань уважения, но никак не внимания. В то же время говоря о Пушкине, об его интересе к науке, автор пишет: «В пушкинском «Современнике» мы находим три, как мы сказали бы, научно-популярные статьи князя Козловского, написанные прекрасным языком того времени». Пушкин накануне дуэли просил Вяземского написать Козловскому и напомнить ему об обещанной статье (о паровых машинах). «Вероятно, даже Пушкина тогда интересовали больше предмет и результаты науки, чем ее внутренний мир или внутренний мир

ученого. И все же, чтобы поступать так, нужно было быть Пушкиным».

Академик П. Л. Капица выступает со статьей «Будущее науки». Прогнозирование открытий (на примерах физики), по мнению ученого, можно осуществить на основе принципа экстраполяции и оценки открытий науки прошедших лет. К фундаментальным явлениям физики (имеются в виду последние сто пятьдесят лет) автор относит открытие Гальвани электрического тока; Эрстеда — о влиянии электрического тока на магнитную стрелку; внешний фотоэффект и электромагнитные волны, обнаруженные Герцем; открытие Беккерелем радиоактивности и другое. С полной уверенностью можно сказать, говорит П. Л. Капица, что в недалеком будущем физикам предстоит открыть еще очень много нового и интересного... Ученый останавливается на важнейших научных проблемах ближайшего будущего в области физики, химии, биологии.

Много новых интересных мыслей о физике и астрономии нашего времени читатель найдет в статьях известного ученого в области атомной и ядерной физики академика Л. А. Арцимовича и основателя советской школы теоретической астрофизики академика В. А. Амбарцумяна.

Рассуждая о роли науки в жизни общества и ее значении в наши дни, Л. А. Арцимович пишет: «Состояние научных исследований, их масштаб и темпы развития — это сейчас важнейшие признаки, по которым можно судить о могуществе государства».

Ученый выделяет две наиболее характерные особенности современной науки. Во-первых, радикальное изменение техники научных исследований, это — процесс индустриализации науки. На самом деле, для создания мощных ускорителей заряженных частиц, атомных реакторов или спутников и космических кораблей потребовалось изготовление новых сложных аппаратов и уникальных приборов. Изготовление такой аппаратуры породило создание новых самостоятельных областей техники; во-вторых, индивидуальные научные эксперименты в наиболее важных разделах науки, например физике, уступили свое место коллективным разработкам, в которых участвуют десятки высококвалифицированных специалистов — теоретики, экспериментаторы, конструкторы, вычислители, програм-

мисты, электрики, экономисты и др. В науке сегодняшнего дня все изменилось — и проблематика, и психология мышления, и самый характер исследования...

Крупный ученый-математик и организатор науки академик Л. С. Соболев рассуждает о принципах планирования науки, о научном поиске.

Раздел книги «Человек в науке» украшают имена лауреата Нобелевской премии академика Н. Н. Семенова, кристаллографа академика Н. В. Белова, математиков академиков А. Н. Колмогорова и П. С. Александрова, физиолога академика П. К. Анохина и гельминтолога академика К. И. Скрябина; в этом разделе профессор М. Г. Ярошевский рассматривает проблемы психологии научной деятельности.

Перечисленные проблемы, освещенные в рецензируемой книге, убедительно свиде-

тельствуют, что эпоха невиданного по темпам и уровню развития науки и техники не только породила к ней интерес широкого круга людей всех слоев общества, но и вызывает все большее внимание к истории науки маститых ученых, творцов науки. Книга стимулирует мысль читателя, дает ему материал и толчок для самостоятельного поиска решения вопроса о сегодняшнем и завтрашнем дне науки.

Статьи о проблемах переднего края науки написаны доступным языком, в них приведено много фактов, цифр, сопоставлений и аналогий. Книга «Наука сегодня» несомненно привлечет внимание широкого круга историков науки и техники и всех, кого волнуют судьбы сегодняшней науки и ее новые горизонты.

**С. ПЛОТКИН.**

★

## ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ И ЛИЧНОСТЬ ИСТОРИКА

**С. Б. Веселовский. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. «Наука». М. 1969. 583 стр.**

**М**аститый историк Степан Борисович Веселовский два с лишним десятилетия назад, обращаясь к трудам некоторых историков, с горечью констатировал стремление писать «историю человеческого общества без живых людей». Стойко противостоя этой пагубной для науки тенденции, сам он наряду с разработкой проблем феодального землевладения сугубое внимание уделял «истории в лицах», создав комплекс работ по генеалогии, посвященных отдаленному прошлому.

Следует сказать, что хотя ценность этих трудов очевидна, при жизни С. Б. Веселовскому удалось опубликовать всего одну-две специальные статьи по генеалогии. Труды эти долгие годы оставались образцовыми и единственными в советской исторической литературе.

После Октябрьской революции дворянство ликвидируется как класс, и генеалогия — научная дисциплина, занимающаяся происхождением отдельных и в силу специфики материала преимущественно дворянских родов и выяснением семейных связей, — на какое-то время утратила значимость в глазах исследователей.

Ведущие советские историки не разделяли, впрочем, подобного предубеждения, но

оно укоренилось к тридцатым годам в издательствах и редколлегиях научных журналов. Со временем создалось парадоксальное положение: советские историки плодотворно изучали феодальный класс стран Западной Европы и даже его генеалогии, тогда как история самого русского дворянства перестала быть предметом научного исследования.

Между тем все вошедшие в сборник «Исследования по истории класса служилых землевладельцев» статьи написаны С. Б. Веселовским в 1930—1932 и 1938—1940 годах. Работая над ними, ученый шел как бы «против течения», утверждая научную важность генеалогии и тех вопросов, «освещение которых без помощи генеалогии совершенно невозможно».

Разрабатывая родословия, С. Б. Веселовский руководствовался отчасти субъективными склонностями. Сам выходец из очень родовитой семьи — он был потомком знаменитых петровских дипломатов, близким родственником Софьи Перовской, — историк с детства вращался в кругу старинных дворянских фамилий, находился в курсе их семейных связей, помнил устные версии с родоприсхождении. Но для С. Б. Веселовского генеалогия менее всего была



«хобби» — он видел и ценил ее перспективы. Действительно, генеалогия дает уникальные сведения о личном составе, путях пополнения и миграции, службе и земельных имуществвах господствовавшего на протяжении целых столетий сословия — дворянства. Именно поэтому исследователь широко использует генеалогический материал в серии работ по русскому средневековью, условно называемых им «монографиями боярских родов».

«Монографии» (текст некоторых из них умещается на одной странице) освещают историю видных, преимущественно нетитулованных, родов XIV—XVI веков в лице их крупнейших представителей. С. Б. Веселовский разворачивает перед нами причудливую картину возвышения и гибели знатных семейств на общем фоне истории создающегося централизованного государства.

Бояре эпохи Ивана Калиты и Дмитрия Донского закладывали основы будущего благосостояния своих потомков, но те могут удержаться в верхах феодальной элиты, только если их деятельность протекает в русле государственной (точнее, «государевой») политики. Когда же частная личностная и государственная — великокняжеская — власть вступают в конфликт, первая неминуемо гибнет. Это положение, немаловажное для понимания психологии и позднейшего российского чиновничества, генеалог блестяще проиллюстрировал на примере Ивана Дмитриевича Всеволожа. Очерк о Всеволожах-Заболоцких, один из лучших в книге, замечателен и тем, что в нем излагаются взгляды автора на специфику процесса исторического исследования.

«Весь строй жизни Московской Руси, и не только удельной, но и царской, — отмечает С. Б. Веселовский, — не давал простора для развития и проявления крупных характеров и ярко выраженных индивидуальностей... Для нас, историков, эта трафаретность и бесцветность деятелей далекого прошлого становится печальной неизбежностью не потому, что мы невнимательны к большим характерам, не ценим их и не желаем отвести им в истории подобающее место, а потому, что сама история лишила нас источников и средств давать яркие характеристики лиц».

Зато источники об Иване Дмитриевиче позволяют «отдохнуть от безличных трафаретов и дать почти живой образ человека, который по сравнению с другими деятеля-

ми XV—XVI вв. представляется каким-то великаном, настолько ярким и характерным, что сам по себе бросает свет на время и людей, среди которых он жил». Многоопытный и мудрый государственный муж, Всеволож в запутанной ситуации помог Василию II удержать престол, за что тот обещал жениться на его дочери. Великий князь нарушил слово, и уязвленный боярин «отъезжает» к его сопернику — галичскому князю Юрию, содействуя тому в захвате Москвы и трона. Но один человек, будь он и семи пядей во лбу, не в силах повернуть вспять колесо истории. Пока Иван Дмитриевич выступал провозвестником государственного единства, его политике сопутствовал успех, теперь же, ратуя за реставрацию удельных порядков, он в конечном итоге терпит неудачу. Юрий спокойно возвращается в Галич, а могущественному прежде боярину в захолустье делать нечего. Он едет с повинной к Василию II и, лишенный вотчин и ослепленный, становится виновником падения своего рода. «Трагедия его жизни, — резюмирует С. Б. Веселовский, — это трагедия большого и талантливого человека, погибшего лично и погубившего от чрезмерного честолюбия свое потомство после больших успехов и достижений».

Едва ли не четверть книги занимает исследование «Род и предки А. С. Пушкина в истории». Веселовский описывает в нем не только историю одной конкретной семьи, но и дает развернутую характеристику перипетий того пути, которым двигался русский служилый класс, превращаясь в единое дворянское сословие. Историк предостерегает против отождествления классов капиталистического и феодального обществ Помещик XIX века мало походил на плохо обеспеченного служилого человека — война XV—XVI веков, получавшего поместье в вознаграждение за тяжелую пожизненную повинность. «За опоздание или неявку на службу, «неты на смотру», за побег из похода или уход со службы без отпуска помещик, смотря по вине, мог лишиться всего поместья или части его... Правительством доходило до применения телесных наказаний: жену, детей и людей помещика сажали в тюрьму, а самого его, если удавалось поймать, били батогами и отправляли под конвоем в полки».

Историк выступает против ортодоксальных, односторонних оценок тех или иных явлений и институций средневековой Руси.

Так, он разграничивает понятия «родова. честь» и «родовое чванство». В Смутное время «ни один из Пушкиных не выделился ни исключительными талантами, ни ярко выраженной индивидуальностью, ни большими подвигами, но все они старались быть достойными представителями своего рода, шли по мере возможности и по своему крайнему разумению в ногу с событиями делали каждый свое дело на своем месте и в общем содействовали спасению государства и родины». Пушкины не пользовались тяжелым положением России для личного обогащения. Почему? Потому что «большой груз сословных предрассудков и твердых понятий о чести рода придавал поведению Пушкиных тяжеловесную устойчивость».

При этом «монография» о Пушкиных служит как бы экраном, на поверхность которого проецируется изображение уже локальных судеб прочих заинтересовавших генеалога боярских фамилий. Хотя «монографии» посвящены различным родам, все они проникнуты единой концепцией, написаны в одном ключе.

Все предшествующие генеалоги изучали историю дворянских родов в разрезе их служебного положения. Веселовский первым прочно увязал генеалогию с историей развития и дезинтеграцией крупного землевладения. Населенная земля — основа могущества служилых родов. Монаршая милость, успехи на поле брани и на приказном поприще равно трансформировались в жалованные и купчие грамоты на деревни и пустоши. Это потребовало от историка привлечения свежих источников. В частности, он пользуется данными топонимики. Как известно, служилые люди часто сами именовали свои владения, следуя примеру тех, о ком псалмопевец сказал: «И земли свои они называют своими именами». По названиям старинных населенных пунктов Подмосковья С. Б. Веселовский реконструировал, с высокой репрезентативностью, вотчины ряда бояр.

Ученый предпочитал приступать к исследованию «с возможно меньшим количеством предвзятых суждений, начать с настойчивого и терпеливого собирания и изучения фактов, чтобы на основании их строить дальнейшие обобщения». До него основными источниками генеалогии были разрядные и писцовые книги, десяти, летописи, духовные грамоты. С. Б. Веселов-

ский первым из генеалогов глубоко изучил комплекс деловой документации XV—XVI веков, фиксирующий имущественное состояние духовных и светских феодалов. Эти документы хранились в архивах и были труднодоступны. Неутомимо трудясь в древлехранилищах, исследователь понял, что в одиночку ему не под силу поднять архивные пласты, и привлек к поискам и копировке актов архивистов и начинающих историков.

Собранные С. Б. Веселовским материалы обогатили источниковую базу не одной генеалогии, а всей исторической науки — они стали составной частью фундаментального издания «Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси». По знанию актов материала С. Б. Веселовскому не было и нет равных среди отечественных историков.

Вклад С. Б. Веселовского в генеалогию колоссален. Вместе с тем следует оттенить, что его работы не смогли положить начало качественно новому этапу в ее развитии. Сформировавшись как ученый задолго до революции (он встретил Октябрь профессором Московского университета), С. Б. Веселовский усвоил и господствующую тогда систему воззрений на историю. Впоследствии его исторические взгляды вообще существенно изменились, конкретно на генеалогию — сохранились прежними, поскольку временно приостановилось и само ее развитие.

«Дух времени» запечатлелся и в том, что ученый в своих трудах обходит молчанием опубликованные работы, где имеются расхождения с его генеалогическими выкладками. Так, в наиболее крупной монографии о предках А. С. Пушкина лишь мельком, в подстрочной сноске, поименована книга Б. Л. Модзалевского и М. В. Муравьева «Пушкины (Родословная роспись)» (1932) и ни словом не упомянуты работы М. Вернер «Предки Пушкина» (1937) и В. К. Лукомского «Архивный материал о родоначальнике Пушкиных — Радше» (1941) — вдумчивое и тонкое исследование, не вполне совпадающее в выводах с построениями С. Б. Веселовского.

Всем, знакомым с методом работы историка, известно его постоянное стремление к достижению акрибии в своих исследованиях. Однако в помещенных в книгу статьях встречаются лакуны, повторы и противоречия, быть может незаметные для большин-

ства читателей, но бросающиеся в глаза специалисту. Разгадка проста: настоящая публикация — посмертная. Если бы С. Б. Веселовский лично готовил к печати свои монографии через тридцать лет после их написания, он, конечно бы, внес в них немало исправлений и дополнений. Редакция книги (С. М. Каштанов и Э. Г. Чумаченко) проделала трудоемкую работу, особенно по уточнению ссылочного аппарата. Но в архиве С. Б. Веселовского находится пятьдесят написанных им статей о боярских родах, из них двадцать две — незавершенные (о Хвостовых, Нарышкиных и других). Публикаторы, формируя сборник выборочно из тех и других, к сожалению, сочли излишним оговаривать, что включили в него незаконченные черновики, которые автор при жизни не разрешал даже перепечатывать на машинке. Еще более досадно, что статьи не сопровождаются параллельным опубликованием двадцати семи поколенных

рописей, составлению которых генеалог придавал первостепенное значение, — их в его архиве хранятся сотни объемом около двух тысяч листов. Таблица-схема монографии дополняет и продолжает ее, помимо того, одно сопоставление их с аналогичными таблицами тех же родов, составленными и изданными прежде П. В. Долгоруковым, В. В. Руммелем и другими, наиболее зримо показывает вклад С. Б. Веселовского в генеалогическую науку.

Степан Борисович был истинным, неприхотливым ученым, чуждым чувства резиньяции.

Пятьдесят пять лет жизни из отпущенных ему природой семидесяти шести он упорно, систематически собирал и упорядочивал генеалогические данные, творя по сути дела научный подвиг, который по достоинству оценят и современники и потомки.

**В. БОЧКОВ.**

Кострома.



## В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ А. С. ПУШКИНА

**Р. В. Овчинников.** Пушкин в работе над архивными документами («История Пугачева»). «Наука». Л. 1969. 275 стр.

О том, что А. С. Пушкин был не только гениальным поэтом и писателем, но и выдающимся историком, ныне знают не только специалисты-пушкинисты и историографы. Пушкин был глубоким и оригинальным мыслителем, широко образованным и хорошо знакомым с прогрессивными течениями общественной мысли в России и за рубежом. Историзм был неотъемлемой чертой мировоззрения поэта, пронизывал все его творчество.

Среди научных трудов Пушкина важнейшее место занимает опубликованная в 1834 году «История Пугачева» — единственное законченное исследование по истории, в котором он не только воссоздал правдивую картину народного восстания, но и попытался дать ответ на один из самых острых вопросов современности — крестьянский. Полагая, что политическая свобода России «неразлучна с освобождением крестьян», поэт всем содержанием своей книги дал понять, что необходимо разрешить крестьянский вопрос, иначе разрозненные выступления крестьян пере-

растут в новую пугачевщину, которая сметет самодержавие и дворянство.

Замысел книги о Пугачеве возник у поэта в начале 1833 года, когда к нему попали материалы о дворянине-пугачевце офицере Шванвиче и он начал работу над «Капитанской дочкой». Однако прежде чем отобразить в художественном произведении Крестьянскую войну 1773—1775 годов под предводительством Е. И. Пугачева, Пушкин решил изучить ее историю на основании сохранившихся официальных документов и свидетельств современников.

Книга Пушкина положила начало научному изучению крупнейшей в истории России народной войны. Тем самым впервые в русской историографии для специального исследования было взято стихийное выступление трудящихся масс против феодально-крепостнического гнета. Обращение к подобной теме, являвшейся запретной в николаевской России, сочувственное отношение к восставшему народу и его вождю Пугачеву резко отличало труд Пушкина от сочинений представителей офици-

альной дворянской историографии, свидетельствовало о гражданской смелости поэта-историка.

В «Истории Пугачева» в полной мере проявился блестящий талант Пушкина-историка, тонкого исследователя — источниковеда, впервые разыскавшего и опубликовавшего ряд важных документов по истории Крестьянской войны.

И хотя многие вопросы, связанные с изучением истории создания Пушкиным книги о Пугачевском восстании, освещены в работах литературоведов и историков, однако до последнего времени не были изучены его приемы работы над архивными источниками. А между тем труд Пушкина написан главным образом на основании критического изучения документов, найденных им в государственных архивах России.

Этот пробел в литературоведении и историографии в значительной мере восполняет недавно опубликованная монография историка и архивиста Р. В. Овчинникова, которая как бы вводит читателя в творческую лабораторию поэта-историка.

Автор рецензируемого издания поставил перед собой две важные и чрезвычайно сложные задачи: 1) выяснить историю поисков Пушкиным документов в архивах о Пугачевском восстании, чтобы конкретно определить ту источниковедческую базу, на которую он опирался при написании книги; 2) изучить методы работы поэта-историка над архивными документами и творческие приемы их использования в «Истории Пугачева».

В известной мере ключ к решению этих трудных задач оставил сам Пушкин: сохранились его «архивные тетради», в которые поэт заносил копии и конспекты документов, выписки из них и свои собственные заметки. «Архивные тетради» содержат также черновые документальные заготовки не только для «Истории Пугачева», но отчасти и для «Капитанской дочки».

Однако, используя официальные документы из государственных архивов по истории Пугачевского восстания, Пушкин хотя и делал необходимые ссылки на источники (указывал их названия, даты, содержание и т. д.), но, «следуя практике своего времени, а может быть и намеренно, чтобы не открывать своих архивных занятий» и их целей правительству, «не указывал место хранения документов». Р. В. Овчинников хорошо показал, что Пушкин вплоть

до завершения работы над «Историей Пугачева» скрывал от правительства Николая I и ведавших архивами чиновников свой интерес к документам по истории Крестьянской войны. Это обстоятельство затруднило исследователям творчества Пушкина поиски в современных архивах тех официальных документов, которые использовал поэт в своей книге, породило различные гипотезы и легенды, многие из которых отпадают после опубликования исследования Р. В. Овчинникова.

Поэт неоднократно прибегал к маскировке своих истинных целей, сообщая правительству то о намерении писать историческое сочинение об эпохе Петра I, то «Историю Суворова». «И даже испрашивая летом 1833 года отпуск для поездки в Поволжье и на Урал,— подчеркивает Р. В. Овчинников,— Пушкин прикрыл истинную цель своего путешествия желанием посетить места, где происходили главные события задуманного им романа, не сообщая ничего о его содержании». Поэтому, например, некоторые дореволюционные исследователи творчества Пушкина писали о «суворовской» теме, характеризуя его художественные замыслы. Приведем другой пример. Используя ряд важных документов по истории восстания Пугачева из дел секретной экспедиции военной коллегии, Пушкин дал в своих выписках ссылки на Оренбургский и Нижегородский архивы, чтобы скрыть от цензуры интерес к этим документам, выданным ему для других целей. Как показал Р. В. Овчинников, находясь в Оренбургском архиве всего несколько часов, Пушкин видел копии этих обширных документов, но не мог их все переписать.

Рецензируемая книга представляет собою как бы «рассказ в рассказе». В ней воссоздается увлекательная история поисков Пушкиным архивных документов и их творческой переработки в процессе написания научного труда («История Пугачева») и художественного произведения («Капитанская дочка»), посвященных одной теме. В то же время эта книга дает представление о чрезвычайно трудоемкой и скрупулезной источниковедческой работе современного исследователя, удачно использовавшего богатые традиции отечественного пушкиноведения.

Известно, что Пушкин предъявлял строгие требования к научным трудам по истории, осуждал поверхностные сочинения

Серьезное исследование, полагал он, должно основываться на глубоком и тщательном изучении литературы вопроса и всей совокупности сохранившихся источников. «В наше время,— писал он в тридцатых годах XIX века в одной из рецензий,— главный недостаток, отзывающийся во всех почти ученых произведениях, есть отсутствие труда. Редко случается критике указывать на плоды долгих изучений и терпеливых разысканий. Что же из того происходит? Наши так называемые ученые принуждены заменять существенные достоинства изворотами более или менее удачными: порицанием предшественников, новизною взглядов, приноровлением модных понятий к старым, давно известным предметам и пр. Таковые средства (которые в некотором смысле можно назвать шарлатанством) не подвигают науки ни на шаг, поселяют жалкий дух сомнения и отрицания в умах незрелых и слабых и печалят людей истинно ученых и здравомыслящих». Думается, что далеко не все из сказанного Пушкиным о характере работы исследователей прошлого принадлежит лишь одной истории науки.

Как свидетельствует обильный фактический материал, приведенный в книге Р. В. Овчинникова, в работе над «Историей Пугачева» Пушкин неуклонно следовал изложенным им принципам. Изучив всю доступную ему отечественную и иностранную литературу по истории Пугачевского восстания, в общем-то весьма небольшую в его время, он начал собирать рукописные мемуары и сочинения современников интересовавших его событий. Позже Пушкин имел основания написать, что он «прочел со вниманием все, что было напечатано о Пугачеве».

Однако собранные поэтом источники не давали сколько-нибудь полной и правдивой картины Пугачевского движения. Поэтому Пушкин, добываясь объективности и достоверности изображаемых событий, обратился к официальным документам правительственных учреждений и, по его собственному выражению, надолго «зарылся в архивы».

Чтобы определить, какие документы по истории восстания Пугачева могли стать объектом разысканий Пушкина, Овчинников проделал исключительно трудоемкую и кропотливую работу: он реконструировал происхождение, состав и содержание «пугачевских» фондов в восьми наиболее круп-

ных столичных (в Петербурге и Москве) государственных архивах, а также в архивах губернских и уездных городов, находившихся на территории, охваченной Крестьянской войной (Оренбургская, Казанская, Нижегородская, Астраханская, Симбирская губернии) Одновременно он попытался определить состав документов по этой теме, хранившихся в фамильных фондах некоторых сановников и чиновников екатерининского времени, участвовавших в подавлении восстания.

Многолетние разыскания в архивах дали плодотворные результаты. Овчинникову удалось довольно точно определить перечень тех дел, с которыми мог познакомиться Пушкин и которые он действительно использовал для своего труда. Это позволило более реально представить объем конкретных сведений о Пугачевском восстании, на которые опирался поэт, работая над своей книгой.

Автор рецензируемого издания убедительно доказал, что «фактическая сторона пушкинской монографии примерно на 80 процентов построена на использовании архивных документов «пугачевских» книг Военной коллегии». В приложении к рецензируемой книге опубликован «Каталог архивных документов и соответствующих им текстов Пушкина в «Архивных тетрадах» и в «Истории Пугачева», содержащий 331 название. Этот «Каталог», а также составленный Овчинниковым сборник, содержащий полные тексты сопоставляемых с печатным изданием «Истории Пугачева» документов и выписок в том же порядке, что и «Каталог»<sup>1</sup>, представляют исключительную ценность для всех исследователей творчества Пушкина. «Каталог» кратко и наглядно показывает основные этапы изучения Пушкиным архивных документов.

Р. В. Овчинников обнаружил в хранилищах Москвы и Ленинграда ряд новых материалов о работе Пушкина над архивными документами и людьми, информировавших поэта о содержании государственных архивов.

Большой интерес в рецензируемом издании представляет раздел, посвященный вос-

<sup>1</sup> Этот сборник материалов объемом в 40 печатных листов хранится в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР в Ленинграде.

становлению истории сбора документов Пушкиным в 1835—1836 годах, после выхода в свет «Истории Пугачева». Известно, что поэт собирался выпустить второе, расширенное издание книги о Пугачевском восстании, собирал о нем новые материалы вплоть до своей трагической гибели, пытаясь, в частности, получить доступ к следственному делу о Пугачеве и другим документам, позволяющим глубже раскрыть социальную сущность всего движения.

Однако в целом, как показал Р. В. Овчинников, несмотря на свою настойчивость, помощь друзей и неоднократные обращения к правительству, Пушкину так и не удалось получить доступ ко многим важным документам по истории Пугачевского восстания.

Поэт подвергал тщательной проверке собранные из различных источников факты и лишь после этого привлекал их для написания «Истории Пугачева». Овчинников показал, что поэт-историк широко использовал самые различные источниковедческие приемы: сопоставлял мемуары с данными официальных документов, а для перепроверки полученных результатов обращался к фольклору о Пугачевском восстании, отмеченному печатью «истины неукрашенной, но простодушной». Пушкин сам записал рассказы многих очевидцев восстания, народные песни, сказания. Не переоценивая этого вида исторических источников, Пуш-

кин вновь поверял их «историческою критикою».

«Стремясь к художественной выразительности своего изложения,— суммирует автор свои наблюдения,— Пушкин в работе над историческими источниками применял методы, характерные для литературного творчества. Он отбирал документы и факты, которые наиболее рельефно, колоритно и эмоционально отображали суть описываемых событий, трансформировал содержание источников, достигая этим большой простоты и динамичности повествования... Пушкин произвел преобразование стиля научно-исторической литературы, сблизив ее до некоторой степени с художественной прозой».

Эти выводы, как и другие наблюдения в книге Р. В. Овчинникова, основаны на тщательном изучении литературы и особенно новых архивных материалов. Мы разделяем мнение ответственного редактора этой книги, известного пушкиниста Н. В. Измайлова, о том, что «ни один исследователь «Истории Пугачева» и других исторических трудов Пушкина, ни один исследователь «творческой лаборатории» поэта-историка не сможет обойтись без нее и без учета ее выводов». Думается также, что эту работу с большим интересом и пользой для себя прочтут все те, кто интересуется творчеством А. С. Пушкина.

**С. ТРОИЦКИЙ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**Н. МОСКВИН.** *Конец старой школы.* «Советский писатель». М. 1969. 277 стр.

Повесть «Конец старой школы» известного писателя Н. Москвина впервые появилась в 1931 году под заглавием «Гибель Реального», а в 1966 году была значительно переработана для нынешнего издания. Повесть написана на основе впечатлений детства и юности писателя, учившегося в Тульском реальном училище. Канун первой мировой войны, военные годы, Февральская революция, Великая Октябрьская революция, 1918—1919 годы — вот период, которому посвящена повесть. Чем была старая школа, какие потрясения и преобразования она пережила, как отразилась на ее жизни политическая жизнь и классовая борьба времени — об этом рассказывает Н. Москвин. Нетрудно увидеть, что прототипом одного из героев — Миши Брусникова — явился сам автор.

В советской литературе немало книг рисовало старую школу — можно вспомнить и «Гимназию» К. Чуковского, «Швамбраню» и «Кондуит» Л. Кассиля и многие другие. Казенщина преподавания, зубрежка, «камчадалы», дворянские и купеческие сынки, «кухаркины дети», «батюшки», преподававшие «закон божий», учителя-«монстры» или редкие «белые вороны» среди них, умевшие заронить в сердца учеников искры революционных воззрений, любовь к родной литературе, — все это было разнообразно представлено в тонах гротескных, сатирических, порою гиперболически заостренных.

Повесть Н. Москвина выделяется спокойной объективностью письма, реалистичностью повествования о жизни «в формах самой жизни», удивительной памятью писателя, воспроизводящего характерные подробности времени и быта. Реальное училище, революционная ломка его окаменелых порядков, превращение в единую трудовую школу II ступени, образование ученического комитета, совместное обучение мальчиков и девочек, упразднение «закона божия», драматический, спортивный и другие кружки, школьные журналы, борьба за обновление школы — все изображено в повести живописно и выпукло, без нарочитой тенденциозности и нажима. С верным чувством меры и нравственной чистотой написана первая «школьная любовь» Миши Брусникова, за-

стенчивость и нежность полудетского чувства.

Н. Москвин умело разнообразит формы и способы повествования. Рассказ от автора сменяется письмами школьников, дневниками Миши Брусникова, отрывками из дневника его товарища Антона Телегина, сына рабочего Оружейного завода, из дневника сына фабриканта самоваров Зиновия Яшмарова. Перед читателем возникает галерея педагогов — все они схвачены цепким, все замечающим глазом школьника, запомнившего их на всю жизнь. Каждый из них — и даже служители Филимон и Елисей — это резкие, четкие портреты, рельефные, своеобразные типы. Вот один из таких портретов — учителя танцев офицера Саратовского:

«Штабс-капитан Саратовский гибок и изыщен. Зелено-коричневый френч плотно на груди, еще плотнее, теснее в талии и вдруг мягкими складками — вниз. Между штыками во френч штабс-капитанскими погонами пушистые, легчайшие усы. И ноги. Отличные танцевальные ноги: нежно-мягкие хромовые сапоги с шелковым шелестом-шепотом. В танце мимо пола, чуть-чуть носком по паркету и мимо — по воздуху, в спиралях, во взлете...»

Николай Москвин, умерший в октябре 1968 года, был опытным рассказчиком. В последние годы жизни Н. Москвин написал свои лучшие книги: «След человека», «Два долгих дня», «Лето летающих» и много рассказов.

Переиздание «Конца старой школы», надо думать, не останется последним посмертным выпуском его книг, лучшие из них еще не раз дойдут до читателя в новых изданиях.

**Ф. Левин.**

★

**И. КРАМОВ.** *Утренний ветер.* Повесть. «Детская литература». М. 1968. 192 стр.

Есть люди, за жизнью которых пристально следят современники, а рассказы о которых поражают воображение потомков. К таким людям относится Лариса Рейснер, чье имя прочно вошло в летопись русской революции. Жизненному и писательскому подвигу Ларисы Рейснер и посвящена повесть И. Крамова «Утренний ветер».

Со страниц книги встает яркий романтический образ молодой женщины, которая как

бы воплотила в себе новь революционной, борющейся России. Мы видим Ларису Рейснер на кораблях Волжской военной флотилии, в разведке, в боях за Виянжск и Казань. Но отдавая должное воинскому подвигу своей героини, И. Крамов не ставит его в центр повествования.

...Тревожная, предгрозовая атмосфера, всеобщее ожидание социального взрыва. И в этой сложной сумятице эпохи означено начало пути совсем юной девушки, напряженно ищущей свое место в жизни, пытающейся понять и приобщиться к самым главным, определяющим время событиям.

Раннее духовное и интеллектуальное созревание выделяло Ларису среди ее сверстников. Она много читала, писала стихи, размышляла о литературе и путях ее развития. «Мне кажется, я начинаю понимать, в чем состоит главный недостаток нашей новой, переходной литературы. Она мысли нового века, страдания, тоску, переживания новой цивилизованной эпохи излагает в тех же старых классических прекрасных формах прошедшего века. Явилось новое содержание, надо было найти новую, совершенную форму». Это пишет Рейснер в семнадцать лет. А в восемнадцать она выпускает книжку «Женские типы Шекспира» и смело вторгается в область признанных ученых авторитетов. Двадцатилетней— в 1915 году она начинает издавать журнал «Рудин», и на его страницах публикует свои первые литературно-критические статьи, где отводит литературе и искусству роль вечаевого колокола, который в сумрачной атмосфере тех лет должен был будить, звать к бунту и сопротивлению.

И. Крамов вводит читателя в круг общения Ларисы — это среда поэтов, журналистов, ученых, среда, которая оттачивает ее интеллект. Но ни академические научные выкладки, ни спорные философские концепции, ни эстетствующая поэзия не могут обмануть ее пытливого ума, удовлетворить ее жажду деятельности во имя подлинной свободы. Целая, действительная натура, она хочет нащупать основной нерв своего высокого и тревожного времени. Лариса Рейснер уходит в революцию и революцией отдаст свои знания, свое яркое перо журналиста, свою жизнь.

В фокусе книги — проблема становления личности на переломе эпох. А эта проблема неминуемо влечет за собой новую, еще более серьезную проблему — отношение осознавшей себя личности к своему времени.

Блок писал в те годы о трагическом сознании «неслиянности и нераздельности всего — противоречий непримиримых и требовавших примирения».

«Неслиянна была утонченная культура, воплотившая свои поиски в поэзии Блока, в полотнах Нестерова и Врубеля, в музыке Скрябина, неслиянна с тем, что происходило за стенами тихих петербургских квартир, где «черная, земная кровь» бунтовала и Россия готовилась к искуплению за позор рабства,— пишет И. Крамов.— Но эта высокая утонченная культура была неотделима от

России, от ее беспокойной и ищущей духовности. Нельзя было ее ни зачеркнуть, ни отсечь. Она должна была слиться с общим потоком народной жизни и войти в него с сознанием сделанного и завоеванного...»

Л. Рейснер, как и многие другие труженики духа, перешагнула порог тихой петербургской квартиры и ушла в «мир, открытый настежь бешенству ветров».

Она окунулась в жизнь кипучую и яркую, оказалась среди людей, которые потрясли ее своей непосредственностью и цельностью, своим мужеством и беззаветностью. Встреча с этими людьми и с этой жизнью и сформировала Ларису Рейснер как писателя.

Повесть, обращенная к юношеству, затрагивает сложные проблемы и раскрывает перед читателем страницы и образы революционной истории, которые до этого, возможно, ему были неизвестны.

В. Мальт.

★

**ВЛ. МУРАВЬЕВ. Первые песни. Повесть. «Детская литература». М. 1968. 160 стр.**

За последние годы появилось немало книг о революционерах-шестидесятниках.

Но шестидесятые годы прошлого века были еще и временем формирования нового для России человеческого и социального типа интеллигентного труженика. И хотя за первым для нас рядом революционеров и выдающихся общественных деятелей тех лет разнородная интеллигентская масса (пестрая по своим взглядам на жизнь и при этом единая в своем культурническом и просветительском труде) как бы сливается в слабо различимое целое, однако роль ее для исторической эволюции России переоценить трудно.

Таким интеллигентным тружеником, успевшим только наработаться в досталь и умереть от чухотки, и является герой повести В. Муравьева Иван Куратов.

Иван Куратов, по национальности коми, сын деревенского дьячка,—лицо исторически реальное, и повесть о нем построена на документах. Он после окончания семинарии учительствовал в Усть-Сысольске — в университет попасть не удалось,— писал стихи, собирал материалы для грамматики и словаря коми, кое-что из собранного им публиковалось в «Вологодских губернских ведомостях». Но двадцати шести лет, в 1868 году, он вынужден был уехать из Усть-Сысольска. А в 1876 году «Туркестанские ведомости» писали в некрологе о Куратове: «С ранней молодости, как видно из оставшейся значительной переписки и других бумаг, Куратов посвятил себя на служение своему родному народу. В каждой строке заметок покойного проглядывает необыкновенная привязанность и любовь его к зырянскому племени... В лице Ивана Алексеевича наша местная администрация лишилась способного, неусыпного и честного деятеля, а общество — истинного гражданина».



В этом смысле показательное отношение Ивана Куратова к плану «Северной компании», созданному Сидоровым и Латкиным, промышленниками из Усть-Сысольска, поспособствовавшими по мере сил тому, чтобы выжить из города молодого учителя. Авторы проекта «Северной компании» в специальной главе «О выгодах казны от заселения Северного края преступниками» рисовали «грандиозную картину, как все тюрьмы в империи первого числа каждого месяца представляют компании списки осужденных, и компания отбирает себе подходящих, то есть физически здоровых людей, и огромные этапы осужденных идут на Север». «По приезде на место,— предлагалось в проекте,— преступники... немедленно принимаются за постройку себе жилищ... в виде маленьких избушек», получают звание колонистов и отдаются «в полную власть компании», которая заставляет их работать.

«— Грандиозно! — оценил план Сидорова городинчик.

— Какой глубокий ум! — вставил судья.

— А пожалуй, ежели так устроить, глядишь, и вправду всё будем покупать по грошовой цене,— сказал отец Вонифатий.— Нынче мужики работать вовсе не хотят, а каторжных заставят...»

Только маленькая группа усть-сысольских интеллигентов — учитель, врач, ссыльный студент — возмущенно назвала этот проект «рабовладельческим» да еще Салтыков-Щедрин не обошел его молчанием в своих «Отечественных записках» и написал, что «главными пассажирами новой железной дороги от Петербурга до Печоры будут жандарм и сопровождаемый им «партикулярный молодой человек». Проект колонизации Севера силами каторжников провалился, но и Ивану Куратову пришлось уехать из города.

Это один из эпизодов биографии провинциального интеллигента, а подобных эпизодов случалось немало. Совсем незадолго до смерти он с большим трудом добился осуждения за мошенничество дворянина, офицера в чинах... «Малое дело»? Но в тогдашней России малые дела стоили великих усилий.

К тому же дела вроде бы «маленькие», незаметные для большинства современников, в исторической перспективе нередко оказываются очень значительными. Так случилось и с наследием Ивана Куратова. «Заметки», о которых говорится в некрологе, не только были исполнены «необыкновенной привязанностью и любовью к зырянскому племени», но и содержали первую научно составленную грамматику языка коми, материалы для толкового словаря и другие лингвистические исследования, а также записи произведений коми фольклора, стихи самого Куратова и его переводы русских поэтов на язык коми. (При жизни автора было опубликовано всего лишь пять его стихотворений да «Очерк зырянского языка» в «Вологодских губернских ведомостях»). Только в двадцатых годах нашего века рукописи И. Куратова были найдены, и стала очевидной его огром-

ная роль в исследовании культуры и создании литературного языка народа коми.)

В книге В. Муравьева «Первые песни», живо и интересно написанной, широко освещена деятельность Куратова — ученого и поэта, переведившего на родной язык стихи Пушкина, Кольцова, Никитина. Эта повесть об интеллигенте-труженике будет очень полезна для подростков и юношества. Иван Куратов был одним из тех, кто, сея «разумное, доброе, вечное», вот так, по зернышкам, разбросал свою жизнь, не надеясь на скорые всходы, но подготовив для них благодатную почву. Он заслуживает доброй памяти людской.

Ю. Айхенвальд.

★

**Д. МАКСИМОВ. Брюсов. Поэзия и поэзия. «Советский писатель». Л. 1969. 240 стр.**

Книга эта не является переизданием известной монографии Д. Максимова «Творчество Валерия Брюсова», вышедшей в 1940 году и давно уже ставшей непременным пособием при изучении Брюсова. Новое исследование ученого преследует цель, какая не ставилась еще ни в одной работе о Брюсове: дать слитный образ поэта, в котором нашли бы свое объяснение противоречия брюсовского творчества и натуры, до сих пор порождающие прямо противоположные критические оценки. Известна, например, очень ироническая статья Марины Цветаевой «Герой труда», в которой отрицается значение и достоинства поэзии Брюсова — ее Цветаева считает выражением нищеты воображения и духовного предела. Близкая точка зрения высказывается и другими исследователями. В иных же работах так далеко заходит апология Брюсова, что ставится вопрос о его гениальности (например, в статье П. Беркова, опубликованной в ереванских «Брюсовских чтениях»).

Д. Максимов стремится создать целостный образ личности Брюсова во всей ее неповторимости, в сочетании черт «высоких» и «низких». Книга насыщена тонкими наблюдениями, остроумными замечаниями, интересными рассуждениями о том, как «соединялись в личности Брюсова ее «стихия» и ее «воля». Д. Максимов пишет: «Брюсов был демиургом своего поэтического мира, строил его и подымался над ним...» «Он неутомимо «пытал естество», осуществлял бесчисленные «пробы» и смелые разведки». Вместе с тем Д. Максимов подчеркивает известную органичность поэтического мира и поэзии Брюсова, ее новаторский характер, новизну ее тем, жанров и форм.

Широко анализируется в книге урбанистическая лирика Брюсова, которая рассматривается как новый, после стихов Некрасова, этап в развитии городской темы. Внимательно прослеживает Д. Максимов путь Брюсова, не только его «взлеты», но и его «падения», стремясь на каждой стадии вскрыть единство его личности, хотя бы и

сотканное из взаимоисключающих элементов.

Параллельно Д. Максимов затрагивает и вопросы, связанные с возникновением и эволюцией самого русского символизма. Автор книги о Брюсове неизбежно должен был столкнуться с ними, но трактовка их в книге Д. Максимова носит следы не общего отношения к предмету. Автор избегает односторонних оценок и предвзятых, много раз повторяющихся суждений. Он предлагает не смотреть на символизм как на «равное самому себе» на всех этапах развития «явление реакции», но выделять в нем различные, часто враждебные друг другу, линии, улавливать внутреннюю дифференциацию, приведшую к символизму после событий 1905 года к размежеванию и распаду. Неоднозначность, внутренняя неоднородность русского символизма отчетливо «просматриваются» на произведениях и на судьбе Брюсова — признанного вождя этого течения, художника, совмещавшего подлинно демократические черты творчества и натуры с последовательным отстаиванием основ индивидуалистической эстетики. Но демократизм побеждал, что и привело Брюсова в лагерь революции. Таким — противоречивым, но единым — мы видим поэта на страницах книги Д. Максимова.

Нельзя не пожалеть лишь о том, что в некоторых разделах книга выглядит беднее, чем она могла бы быть и чем была книга 1940 года. Это относится прежде всего к главам третьей и четвертой. В них рассматриваются два очень важных периода в истории России, жизни Брюсова и судьбе символизма — период первой русской революции и годы реакции. Сам Брюсов ставил в это время важнейшие проблемы жизни и искусства, причем говорил о них с необыкновенной широтой и откровенностью (например, стихотворение «Грядущие гунны», публицистические статьи, письма). В книге освещение их сжато до предела, и хотя наблюдения автора глубоки и содержательны, ощущение некоторой недоговоренности все-таки остается. Поэзия Брюсова не всегда проясняется здесь с той основательностью, с какой она анализируется в других главах. Но это, пожалуй, единственный упрек в адрес Д. Максимова, признанного знатока и истолкователя русской поэзии двадцатого века.

Л. Долгополов.

Ленинград.

★

**МАЙЯ ГАНИНА.** Записки о пограничниках. «Молодая гвардия». М. 1969. 176 стр.

Книга Майи Ганиной семилетней давности называется «Я ищу тебя, человек...». Новая книга озаглавлена просто — «Записки о пограничниках». Рассказы о пограничниках подразумевают обычно острый сюжет, драматизм ситуаций. Очерки Майи Ганиной — о будничном, обыденном. Ее по-прежнему интересует прежде всего человек. «Каждая

точка на карте, где мне посчастливилось побывать, памятна не столько пейзажем или событием, сколько людьми... помню каждого объемно, подробно, эти люди, их судьбы, их мысли — во мне».

В книге пять очерков: «Армения, год 1965-й», «Эстония, год 1966-й», «Памир, год 1965-й», «Тянь-Шань, год 1968-й», «Острова, год 1967-й»... — далекие и близкие пограничье страны. «Ум зреет не от долгой жизни, но от частых путешествий», — вспоминает Ганина изречение Авиценны. И расшифровывает: «Зреет встречами...»

Люди, встреченные в пути, остались в памяти автора, пришли в книгу. Пограничники — главные ее герои. Ганина вглядывается в каждого — благо на погранзаставе все наперечет, — и думает о каждом, и делится своими мыслями с читателем. Толя Шумский — на «гражданке» шахтер. «...Немного словен из самолюбивого нежелания окзаться вдруг глупее, неосведомленнее себе-седника, из-за того, что потенциальные возможности его ума больше, чем реальные знания... Люди подобного склада встречаются не часто, и мне каждый раз интересно угадывать это мучительное самолюбивое понимание, что можно знать больше, чем знаешь».

Не все персонажи очерков Ганиной удачливы, не все хорошо, но отношение автора к ним неизменно доброе, заинтересованное. Всегда жадность, всегда внимание — попал ли в поле зрения молодой ершистый сержант или офицерская жена на пограничной заставе. «Та удивительная тишина, которая потрясает меня здесь, которую я выхожу специально, наслажденно слушать, для нее тягостна. Тишина, тишина, тишина — здесь, в Туркмении, а молодость проходит, иazole губ Нины устала складочка...» Конечно, скучно и тоскливо на погранзаставах — соглашается автор и протестует, возражает, вспомнив уже в другом очерке разговор с Иваном Андреевичем Скотниковым:

«Да нет, почему же скучно? Работая, работа живая. Читаю. Товарищи хорошие. Да я вообще никогда не скучаю. Я не знаю, что такое за картами или домино убивать время. Я лучше подумаю, похожу».

Собственные размышления — о себе, о молодежи, о том, как прожить жизнь не «начерно», — автор щедро вставляет в «Записки». Автор — тоже герой этих очерков, и, пожалуй, герой в буквальном смысле этого слова. Не многие мужчины-писатели могут рассказать, вернувшись из командировки, что им пришлось соскальзывать со скалы по канату, в кровь обдирая руки, не многие решатся отправиться «за материалом» верхом на низкорослых лошадаках по высотам, где горы небрежно называются «шеститысячниками», где много солнца, но не хватает кислорода. «Солнце, солнце бьет в упор. Сколько? Пятьдесят? Шестидесять градусов? Раскаленная, тяжело колышущаяся, словно ванна с жидким металлом, среда... Нет сил руки поднять, вздохнуть...»

«В данную минуту... преодоление сопротивления состоит лишь в том, чтобы удержаться. Чтобы кровь не прорвала разбухшие сосуды... чтобы не исчезло дыхание».

Писательское щегольство? Нет, любознательность и интерес к людям: лежбище котиков посчастливится увидеть, может быть, только раз в жизни, а каждый встреченный на далекой заставе человек — единственный в своем роде...

Скромная книга Майи Ганиной, всего в 5,5 печатных листа, ненавязчиво и искренне учит любви к своей стране, людям, ее охраняющим. И, может быть, чувство родной земли у автора и ее героев обострено именно тем, что до полосатого столбика границы остается ее всего-то несколько метров.

С. Григорьева.

★

**Р. БАЛАНДИН.** Планета обретает разум. Биосфера — техносфера. «Наука и техника». Минск. 1969. 168 стр.

Автор не случайно выбрал такое название для своей книги. Геолог по специальности, самозабвенно влюбленный в свою науку, он задался целью показать роль и влияние человека в геологических процессах нашей планеты. Еще в начале нашего века выдающийся русский ученый В. И. Вернадский писал: «Деятельность человека — особый геологический процесс».

Миллионы лет (вернее, даже миллиарды лет) геологические силы создавали облик нашей Земли. Могучее развитие технического прогресса в нашу эпоху, широкое внедрение техники во все сферы нашей жизни, преобразования природы, вызванные бурной технической деятельностью человека, меняют лицо планеты. Современную эпоху можно рассматривать как новый этап эволюции Земли.

Популяризируя в начале книги идеи В. И. Вернадского, автор в дальнейшем выдвигает свою оригинальную точку зрения о сущности и роли геологической деятельности человека. Он вводит понятие техносферы как новой, исключительной активной оболочки планеты, формируемой развитием технического прогресса и мощной техникой.

«Идея техносферы представляется мне волшебным стеклышком, сквозь которое все вокруг видится чуть иначе, чем всегда, и даже привычные предметы обретают особенные оттенки», — пишет автор.

Развивая понятие о техносфере как о новой оболочке планеты, автор детально перечисляет ее свойства. В книге затрагивается много проблем, высказываются различные гипотезы, многие из которых вызывают возражения, да и книга в целом заставляет читателя мыслить, задумываться, спорить.

Рассматривая объективные законы, управляющие деятельностью человека, автор проводит параллель между биосферой и техносферой, отмечая сходство и различия в их свойствах. Следует заметить, что эти разделы книги представляют не только боль-

шой теоретический, но и практический интерес. Они могут побудить ученых к дальнейшим исследованиям, которые будут способствовать более разумному использованию природных богатств.

Подчеркивая роль техносферы в изменении лика Земли, автор предупреждает, что отношения человека с природой должны опираться на разум и его техническая деятельность должна проводиться в полной гармонии с окружающей средой. Иначе наши технические достижения могут обратиться против нас. Эта мысль подкрепляется примерами неразумного отношения к природным богатствам.

В заключение следует отметить, что эта книга, написанная с большим популяризаторским мастерством, будет прочтена с удовольствием не только специалистами — геологами, географами, биологами, но и самым широким читателем.

Б. Розен.

★

**М. И. БЕЛОВ.** Мангазея. Гидрометеоздат. Л. 1969. 127 стр.

Вторая половина XVI—XVII век — одна из романтических и в то же время трагических страниц истории Сибири. Это время освоения русским населением обширных зауральских земель, когда отряды отважных русских землепроходцев открывали «неизвестные земли», совершая рискованные морские походы по «Студеному морю», преодолевая тысячи верст тундры и дремучей тайги, продвигались на восток — «встречь солнцу» и вышли наконец к Тихому океану. Это время возникновения первых русских городов, зарождение ремесленного производства, начало освоения неисчерпаемых природных богатств Сибири.

М. И. Белов страница за страницей раскрывает перед читателем историю возникновения, расцвет и угасание одного из замечательных русских городов, возникших на рубеже XVI—XVII веков — Мангазея. Несбычна судьба этого города. Старая русская пословица гласит: «Что ни город — то норов». Свой «норов» имела и Мангазея, поставленная в 1601—1604 годах на севере Западной Сибири, за Полярным кругом, на берегу большой сибирской реки Таз. Центр огромного уезда — от берегов Обской губы на западе и до реки Анабар на востоке, — Мангазея несколько десятков лет являлась столицей арктической Сибири, надежным форпостом русского продвижения на восток. Многие десятки тысяч шкурок ценных пушных зверей, в первую очередь соболей, давала Мангазея, за что была прозвана современниками «златокопящей государевой вотчиной».

Нельзя сказать, что этот древний город стал впервые предметом пристального изучения историка (отдельные стороны жизни древнего города неоднократно служили объектом изучения). Однако широкий читатель впервые получил доступ к страницам истории этого почти легендарного города.

На вопрос, как примет читатель новую книгу, пожалуй, ответ уже получен — книга разошлась и ее почти нигде нельзя купить.

Ранней весной 1670 года по заснеженным дорогам мчится возок в Тобольск, все дальше и дальше увоза от русской столицы нового и на этот раз последнего мангазейского воеводу Данилу Наумова. Именно через него автор знакомит читателя с теми событиями, которые предшествовали появлению за Полярным кругом русской крепости, с историей русского арктического мореплавания и знаменитого «мангазейского морского хода» из архангельского Поморья на север Западной Сибири — в Мангазею, с городскими укреплениями и посадскими постройками. Этот литературный прием позволяет автору легко и увлекательно рассказать читателю о многих событиях, сообщить не один десяток дат и имен.

Наряду с изложением нового материала, впервые пущенного в научный оборот, автор возвращается к отдельным событиям, гипотезам, которые освещались и в научной и в научно-популярной литературе, но находя при этом неожиданные штрихи, переосмысливая эти эпизоды и события по-новому. В первую очередь здесь можно назвать небольшую главу «По запретному пути» — рассказ о трагически погибшей полярной экспедиции XVII века, следы которой были обнаружены в 1940 году и исследованы в 1945 году. Блестящее знание истории освоения арктических земель позволило автору связать в тончайшее кружево множество событий XVII и XVIII веков и определить не только отправной пункт (им была Мангазея), время, маршрут, но и имена участников этого трагического ледового похода.

Несмотря на строгую историчность всей книги, фундаментальность ее основных положений, в текст вкрались (к счастью, немногочисленные) досадные неточности. Вряд ли в то время при возведении деревянных изб в Мангазее специально создавали в качестве фундамента «слой замороженной строительной щепы», щепы постоянно входит в состав культурного слоя древнерусских городов, особенно интенсивна она там, где постройки неоднократно перестраивались; странно звучит утверждение автора о фресковых росписях в соборной мангазейской церкви: известно, что техника фрески — это роспись по сырой штукатурке, а деревянные стены церквей не штукатурились; неточно дано описание городских стен — стены не «держались» на городнях, а состояли из городен-срубов.

Последняя глава книги «Мангазейское городище» представляет собой краткую информацию о начале раскопок этого интересного памятника. Остатки древнего города, закованные в ледяной панцирь мерзлоты, представляются гигантским музеем, в котором великолепно сохранились не только фрагменты деревянных построек (иногда на четыре-пять венцов!), но и изделия из кожи, дерева, кости, а также ткани.

Несомненно, что дальнейшее исследование добытого материала, публикация его явится знаменательным вкладом не только в изучение культуры русского населения Сибири XVII века, но и культуры Московской Руси в целом.

О. Овсянников.

★

**Ж. ДЕЛАБОРД и Х. ЛООФС.** На краю земли (Огненная Земля и Патагония). Перевод с немецкого. «Мысль». М. 1969. 128 стр.

Южная оконечность американского материка. Отвесная твердыня Анд и бесконечная пампа. Мертвый лес на обрывистых скалах. Темное, низкое, дождливое небо. На этой неприютной земле — редкие поселения колонистов, лесорубов, нефтяников, охотников на тюленей. Об этих людях, об их жизни пионеров сурового края рассказывают Ж. Деллаборд и Х. Лоофс.

Несколько месяцев провели они в скитаниях на западном побережье материка — как бы фокусе всей необъятной Патагонии. Когда-то это была страна индейцев. Дети природы, жившие еще в условиях каменного века, они охотились на быстроногих гуанако (разновидность лани) или кочевали в каное на море. По кострам, пылавшим в лодках индейцев, Магеллан и назвал открытый им берег — Огненная Земля. Но пришли белые. Сперва золотоискатели, потом овцеводы. Индейцев стали преследовать, травить, убивать. Регулярные армии повели истребительную войну: овцеводы нуждались в свободном пространстве для пастбищ. И исконное индейское население было полностью уничтожено. Патагония осталась без патагонцев: «...это название теперь точно так же не имеет опоры, как упавшие деревья, тысячами лежащие на земле Патагонии; оно так же пусто, как пампа, как обожженные огнем стволы, в дуплах которых свистит ветер. Практически от Рио-Негро до мыса Горн нет больше ни одного патагонца».

Теперьшнее население края — это пестрая смесь испанских, индейских, балканских и германских народностей. Патагония стала крупнейшим районом овцеводства на земле. Пастухи верхом на лошадях охраняют несметные стада. Ураганные ветры — виновники всегдашней непогоды — заставляют овец прикрываться густой шерстью. Грузовые суда перевозят руно и замороженные туши в Европу.

Нефть — другое богатство этого края. Сравнительно недавно в безлюдных местах выросли буровые вышки. В огнеземельской пустыне возник как по волшебству целый город из сборных домов. Чтобы избавиться от опасной «опеки» гринго — североамериканцев, — были быстро подготовлены собственные специалисты. Теперь нефть, бьющая на юге континента, полностью удовлетворяет потребности добывающих стран. Нефть — символ национального достоинства Чили и Аргентины, которые владеют этим краем.

Столица чилийской Патагонии — Пунта-Аренас. Помпезные виллы богатых владельцев, проживающих в метрополии или в Европе, соседствуют с печальной, серой нищетою барачков. Круглый год не стихают ураганы и ветры. День и ночь в очагах мерзнувшего города пылает огонь. Иногда монотонную жизнь нарушают потоки овец, идущих в последний путь — на бойню. «Будто через город с неожиданной стремительностью проходит сама пампа и дикое одиночество Патагонии мимоходом мстит этому ненадежному поселению».

В лабиринтах фиордов — редкие ранчо фермеров, жилища лесорубов и смотрителей маяков, пристанища последних «индейцев моря». Старенький корабль два раза в год снабжает их провиантом. Моряки, в своих вязаных шапочках и кожаных капюшонах, словно сошедшие со старинных гравюр, являются одновременно ковбоями, па-

стухами, грузчиками и лесорубами. Из-за частой перемены от штиля к буре, от дождя к туману в этом уголке земного шара чаще всего случаются кораблекрушения. Суровая жизнь среди враждебной природы способствует проявлению лучших человеческих качеств. Гостеприимство стало «законом пустыни». Каждый готов открыть свою дверь прохожему с естественностью и радушием.

Замечателен язык книги. Дикая красота природы, героические в борьбе с этой суровой природой люди, широкие картины их жизни — все это нарисовано пластичными, емкими фразами, богатой и образной лексикой. Книга Ж. Делаборда и Х. Лоофса написана с неподдельной любовью к этому «краю земли» и его мужественным обитателям, жизнь и судьба которых вызывают серьезные раздумья.

**Е. Третьяков.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** Памяти Герцена. 15 стр. Цена 3 к.
- В. И. Ленин.** Письмо к американским рабочим. 24 стр. Цена 3 к.
- Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине.** В 5-ти томах. Том 5. Воспоминания зарубежных современников. 558 стр. Цена 3 р. 30 к.
- В. И. Ленин и Коммунистический Интернационал.** 562 стр. Цена 1 р. 99 к.
- Герои подполья.** О подпольной борьбе советских патриотов в тылу немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Вып. 2. Составитель В. Е. Быстров. 591 стр. Цена 1 р. 20 к.
- К. Готвальд.** Избранные статьи и речи 311 стр. Цена 46 к.
- М. Рейман.** Избранные статьи и речи. 639 стр. Цена 1 р. 9 к.
- Л. Свобода.** Избранные статьи и речи. 168 стр. Цена 31 к.
- А. Шлихтер.** Ильич, каким я его знал. Кое-что из встреч и воспоминаний. 127 стр. Цена 15 к.

### «ЭКОНОМИКА»

- Х. Гулянян.** Управление социалистической промышленностью в современных условиях. 127 стр. Цена 39 к.
- Т. Калиновская.** Организация и управление снабжением и сбытом в капиталистических монополиях. Опыт фирм США. 182 стр. Цена 57 к.
- Г. Кархин.** Связи настоящего и будущего в экономике. 238 стр. Цена 1 р.
- Ф. Цымбаленко.** Планирование труда и заработной платы в торговле. 96 стр. Цена 25 к.
- Экономика, организация и планирование материально-технического снабжения и сбыта.** 383 стр. Цена 1 р. 6 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Л. Васильева.** Лебеда. Стихи. 112 стр. Цена 32 к.
- Б. Галин.** Время далекое — товарищи близкие. Литературные портреты. 392 стр. Цена 87 к.
- А. Горелов.** Гроза над соловьиным садом (Александр Блок). 511 стр. Цена 1 р. 26 к.
- Б. Дубровин.** Всего лишь день. Лирика. 574 стр. Цена 35 к.
- С. Залыгин.** Интервью у самого себя. 238 стр. Цена 52 к.
- В. Катаев.** Маленькая железная дверь в стене. 207 стр. Цена 61 к.
- В. Кирпотин.** Разочарование и крушение Родина Раскольникова. 447 стр. Цена 1 р. 19 к.
- Л. Лондон.** Как стать главным инженером. Повесть. 176 стр. Цена 28 к.
- Э. Пархомовский.** Вокруг тигра. Фельетоны и рассказы. 277 стр. Цена 35 к.
- В. Поздышев.** Неслышный снег. Рассказы. 216 стр. Цена 30 к.
- Р. Рза.** Долгое эхо. Стихи и поэмы. Перевод с азербайджанского. 175 стр. Цена 62 к.

- А. Твардовский.** Василий Теркин. Книга про бойца. 239 стр. Цена 1 р. 21 к.
- А. Твардовский.** За далью — даль. Из лирики этих лет. 1959—1968. 239 стр. Цена 1 р. 21 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- В. Богомолов.** Рассказы. 160 стр. Цена 20 к.
- Гуляка и волшебник.** Танские новеллы (VII—IX вв.). Перевод с китайского И. Соколовой и О. Фишман. Составление Л. Эйлина. Послесловие А. Желоговцева. Стихи в переводе В. Марковой. 384 стр. Цена 47 к.
- Н. Доризо.** Избранные стихи. Вступительная статья С. Васильева. 368 стр. Цена 1 р. 68 к.
- М. Исанос.** Стихи. Перевод с румынского. Предисловие М. Алигер. 176 стр. Цена 46 к.
- А. Исбах.** Во главе колонны. Очерки о французской литературе. Роллан, Барбюс, Сент-Экзюпери, Риффо, Маньян. 240 стр. Цена 77 к.
- Г. Келлер.** Новеллы. Перевод с немецкого. 256 стр. Цена 61 к.
- Д. Кугультинов.** Избранные произведения. В двух томах. Переводы с калмыцкого. Предисловие С. Липкина. Том 1. Стихотворения. 432 стр. Цена 1 р. 19 к. Том 2. Поэмы. 448 стр. Цена 1 р. 61 к.
- Ш. Куруп.** Утренняя звезда. Перевод с языка малайлам. Вступительная статья Е. Чельшева. Подстрочные переводы Чандры Секхара и С. Эминовой. 160 стр. Цена 40 к.
- Н. Лайне.** Красные гроздья рябины. Стихотворения. Перевод с финского. Предисловие Т. Стрешневой. 288 стр. Цена 78 к.
- М. Матусовский.** Это было недавно. Это было давно. Стихи. Предисловие П. Антокольского. 272 стр. Цена 1 р. 9 к.
- Д. Мориер.** Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана. Роман. Перевод с английского О. Сенюковского. Вступительная статья и примечания И. Брагинского. 416 стр. Цена 82 к.
- Т. Мотылева.** Роман Анны Зегерс «Седьмой крест». 104 стр. Цена 22 к.
- Б. Немцова.** В замке и около замка. Рассказы. Повести. Письма к родным и друзьям. Перевод с чешского. 336 стр. Цена 66 к.
- А. Островский.** Избранные пьесы. Вступительная статья В. Лакишина. 464 стр. Цена 87 к.
- Н. Сингх.** Сундари. Роман. Перевод с пенджабского Н. Толстой. 176 стр. Цена 47 к.
- У. Уитмен.** Избранные произведения. Листва травы. Проза. Перевод с английского. Вступительная статья М. Менделсона. 416 стр. Цена 76 к.
- О. Шестинский.** Стихотворения. 240 стр. Цена 62 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- К. Багинин.** На затонувшем корабле. Роман. В 2-х книгах. 399 стр. Цена 76 к.
- И. Волобуева.** Слышишь? Стихи. 96 стр. Цена 22 к.

**К. Воннегат-младший.** Колыбель для кошки. Роман-памфлет. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой. 223 стр. Цена 54 к.

**Х. Диас.** Трудные годы. Рассказы. Перевод с испанского. 94 стр. Цена 19 к.

**Д. Кара Чобан.** Признание сердца. Книга стихов. Перевод с гагаузского. 111 стр. Цена 23 к.

**А. Лебедев.** Балтийская слава. Стихи. 72 стр. Цена 22 к.

**Г. Санников.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 10 к.

#### «НАУКА»

**Е. Заозерская.** У истоков крупного производства в русской промышленности XVI—XVII века. 476 стр. Цена 1 р. 97 к.

**И. Ильинская.** Лексика стихотворной речи Пушкина. 259 стр. Цена 82 к.

**М. Исаев.** Сто тридцать равноправных. О языках народов СССР. 190 стр. Цена 33 к.

**Исторические связи Скандинавии и России IX—XX вв.** Сборник статей. 403 стр. Цена 1 р. 97 к.

**В. Котляров.** США и Бирма (Американская стратегия и политика). 249 стр. Цена 89 к.

**Я. Кронрод.** Закон стоимости и социалистическая экономика. 159 стр. Цена 24 к.

**Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка.** Коллективная монография. 604 стр. Цена 2 р. 54 к.

**Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.** Сборник статей. 376 стр. Цена 2 р. 28 к.

**Б. Сапожников.** Японо-китайская война и колониальная политика Японии в Китае (1937—1941). 226 стр. Цена 1 р.

**Б. Ширендыб.** В. И. Ленин и монгольский народ. 60 стр. Цена 20 к.

#### «ПРОГРЕСС»

**Ф. Грубин.** Романс для корнета. Стихи. Перевод с чешского. 288 стр. Цена 90 к.

**Д. Намдаг.** Тревожные годы. Перевод с монгольского. 288 стр. Цена 97 к.

**Общий рынок и международные отношения в Западной Европе.** Сборник статей по материалам зарубежной прессы. 263 стр. Цена 1 р. 12 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Ф. Алиева.** Живые легенды. Поэма. 72 стр. Цена 31 к.

**А. Карманов.** Ветры стальных магистралей (Серия «Мы — рабочие»). 112 стр. Цена 15 к.

**Ю. Кочин.** Не край света. Документальная повесть. 96 стр. Цена 13 к.

**Д. Кравченко.** Под именем Шмидхена. Документальная повесть. 240 стр. Цена 57 к.

**С. Мелешин.** Радуга — орбита лебедей. Повесть и рассказы. 224 стр. Цена 45 к.

**Н. Мельников.** Космопроходы. Документальные новеллы. 192 стр. Цена 66 к.

**Е. Таратута.** Русский друг Энгельса. Документальная повесть. 144 стр. Цена 19 к.

**Я. Ухсай.** Звезда моего детства. Поэмы. 160 стр. Цена 66 к.

**В. Шляпентох и др.** Социология для всех. 192 стр. Цена 66 к.

#### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**И. Булышкина и Н. Ермолович.** За литейным мостом. Повесть. 223 стр. Цена 63 к.

**Л. Кассиль.** Твои защитники. Рассказы. 64 стр. Цена 87 к.

**Л. Любимов.** Небо не слишком высоко (Серия «В мире прекрасного»). 223 стр. Цена 1 р. 24 к.

**Г. Садовников.** Продавец приключений. Сказка. 287 стр. Цена 61 к.

**М. Шатирян.** Музыкальная команда. Повесть. 175 стр. Цена 51 к.

#### МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Голос мужества.** Военная лирика. Составитель И. Лепин. Вступление А. Суркова. Пермь. Книжное издательство. 305 стр. Цена 2 р. 72 к.

**Горный и литература народов Советского Союза.** Ереван. Издательство Ереванского университета. 627 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Н. Дамдинов.** Учитель мой Ленин. Поэма. Перевод с бурятского. Улан-Удэ. Бурятское книжное издательство. 43 стр. Цена 9 к.

**Ильич подарил весну...** Стихи узбекских поэтов. Переводы. Ташкент. Издательство художественной литературы имени Гафура Гуляма. 97 стр. Цена 40 к.

**Исследования по современному русскому языку.** Сборник статей, посвященный памяти Е. М. Галкиной-Федорук. Издательство Московского университета. 272 стр. Цена 1 р. 7 к.

**И. Нонешвили.** Стихи и поэмы. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 412 стр. Цена 1 р. 24 к.

**В. Овечкин.** Жизнь продолжается. Рассказы. Очерки. Районные будни. Составитель В. Овечкин и А. Узилиевский. Вступительная статья Ш. Рашидова. Ташкент. Издательство художественной литературы имени Гафура Гуляма. 607 стр. Цена 1 р. 14 к.

**Прапесня.** Из армянской народной поэзии. Перевод Н. Гребнева. Составитель Л. Мкртчян. Предисловие Л. Арутюнова. Ереван. «Айастан». 162 стр. Цена 48 к.

**Творчество А. Платонова.** Статьи и сообщения. Редактор В. Скобелев. Воронеж. Издательство Воронежского университета. 247 стр. Цена 1 р. 20 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Д. Г. Большой** (первый зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путиковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 25/V 1970 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 6/VIII 1970 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 27,6 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
А 16014. Зак. 1866. Тираж 160.300 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

## **«НОВЫЙ МИР» В 1971 ГОДУ**

В 1971 году редакция журнала «НОВЫЙ МИР» предполагает опубликовать следующие произведения:

- Ф. Абрамов** — «Осенние костры», роман;
- А. Азольский** — «Дежурный монтер», повесть;
- Ч. Айтматов** — «Путешествие по Героической книге», повесть;
- Г. Бакланов** — «Друзья», роман;
- А. Бек** — новый роман;
- В. Белов** — новая повесть;
- В. Быков** — новая повесть;
- Н. Воронов** — «Два города», роман;
- Р. Гамзатов** — «Мой Дагестан», книга вторая;
- Е. Герасимов** — «Море в Черкассах», повесть;
- С. Залыгин** — «Малая ГЭС», повесть;
- Ф. Искандер** — «Сандро из Чегема», повесть;
- В. Некрасов** — «Городские прогулки», рассказы;
- А. Рекемчук** — «Пророк в своем отечестве», повесть;
- Е. Ржевская** — «Февраль — кривые дороги», повесть;
- А. Рыбаков** — «Жизнь Вари Ивановой», роман;
- В. Семин** — «Женя и Валентина», роман;
- В. Тендряков** — новая повесть;
- Ю. Трифонов** — «Исход», роман;
- К. Федин** — «Костер», главы из романа;

**Эрве Базен** — «Счастливыцы с острова Отчаяния», роман, перевод с французского;

**Торнтон Уайлдер** — «Мост короля Людовика Святого», роман, перевод с английского.

В прозаическом разделе журнала также предполагается опубликовать произведения **А. Ананьева**, **С. Антонова**, **В. Астафьева**, **Н. Баранской**, **Ю. Бондарева**, **А. Борщаговского**, **Г. Владимова**,



**О. Гончара, Д. Гранина, Ю. Домбровского, Е. Дороша, Е. Драбкиной, Н. Дубова, В. Катаева, Н. Мельникова, Ю. Нагибина, П. Нилина, Е. Носова, Б. Полевого, С. Славича, И. Соколова-Микитова, Г. Троепольского, В. Фоменко, А. Шарова, В. Шукшина и других.**

В журнале будут напечатаны воспоминания **Н. Атарова** «Валентин Овечкин», Героя Советского Союза **Э. Кренкеля** «Мои позывные «РАЕМ» (2-я книга), Маршала Советского Союза **Н. Крылова** «Огненный бастион» (об обороне Севастополя), **М. Шагинян** «Человек и время».

В поэтическом разделе редакция намерена напечатать стихи **И. Абашидзе, М. Алигер, П. Антокольского, Б. Ахмадулиной, М. Бажана, О. Берггольц, П. Бровки, Д. Вааранди, О. Вацетиса, Е. Винокурова, А. Вознесенского, Р. Гамзатова, М. Дудина, Е. Евтушенко, А. Жигулина, Зульфии, В. Казанцева, С. Капутикян, М. Карима, В. Корнилова, В. Коротича, Д. Кугультинова, А. Кулешова, К. Кулиева, Ю. Левитанского, В. Лифшица, М. Луконина, Л. Мартынова, Ю. Марцинкявичюса, Н. Матвеевой, Э. Межелайтиса, А. Мухтара, С. Наровчатова, С. Орлова, П. Панченко, Л. Первомайского, Р. Рзы, Р. Рождественского, Д. Самойлова, П. Севака, Б. Слуцкого, Я. Смелякова, Вл. Соколова, М. Танка, Н. Тихонова, О. Чиладзе, О. Чухонцева, В. Шефнера, Г. Эмина и других.**

#### ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

12 мес.	6 мес.	3 мес.
8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.

ПОДПИСКА НА «НОВЫЙ МИР» ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ И АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ», В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ БЕЗ ВСЯКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

О ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ОФОРМЛЕНИИ ПОДПИСКИ  
ПРОСИМ СООБЩАТЬ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА.

Цена 70 коп.

70636